Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

том 5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений
выходит под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Чудесное посещение

НОЧЬ СТРАННОЙ ПТИЦЫ

I

В Ночь Странной Птицы в Сиддертоне (и ближе) многие жители видели сияние над Сиддерфордской пустошью. Но в Сиддерфорде его не видел никто, так как сиддерфордцы по большей части уже легли спать.

Весь день то и дело поднимался ветер, так что жаворонки в поле сбивчиво щебетали низко над землей, а когда решались подняться, их носило по ветру, как листья. Солнце зашло в кровавой сумятице туч, а месяц так сквозь них и не пробился. Сияние, говорят, было золотое, как зажегшийся в небе луч, и оно не лежало ровным отсветом — его повсюду прорезали зигзаги огненных вспышек, точно взмахи сабель. Оно возникло на одно мгновение, и темная ночь после него осталась, как была, такой же темной. «Природа» поместила о нем ряд писем и одну безыскусную зарисовку, которая никому не показалась похожей. (Вы можете ее увидеть, эту непохожую зарисовку сияния, на странице 42-й в томе CCIX указанного издания.)

В Сиддерфорде сияния не видел никто, но Энни, жене рыбака Дергана, не спалось в ту ночь, и она видела его отсвет — мерцающий золотой язычок, заплясавший на стене.

Она же была одной из тех, кто слышал звук. Кроме нее, слышал звук придурковатый Дерган Недоумок и мать непутевой Эмори. Они рассказывали, что прозвучало так, как будто запели дети или задрожали струны

арфы,— внезапное гудение, какое иногда сам собою издает орган. Началось и тут же оборвалось, точно открыли и закрыли дверь, и ни до, ни после они ничего не слышали, кроме завывания ночного ветра над полем да рева в пещерах под Сиддерфордской скалой. Мать Эмори сказала, что ей, когда она услышала, захотелось плакать, а Недоумок только печалился, что не слышит их больше.

Вот и все, что вам могут рассказать о сиянии над Сиддерфордской пустошью и о якобы сопровождавшей его музыке. Действительно ли они как-то связаны со Странной Птицей, о которой пойдет рассказ, я не берусь судить. А ради чего я привожу здесь эти сведения, станет ясней из дальнейшего.

ПОЯВЛЕНИЕ СТРАННОЙ ПТИЦЫ

II

Сэнди Брайт шел домой от Спиннера и нес свиной окорок, полученный им в обмен на стенные часы. Сияния он никакого не видел, зато и слышал и видел Странную Птицу. Ему вдруг послышалось вроде бы хлопанье крыльев и чей-то стон — женский как будто; а так как человек он нервный и был как есть один на дороге, он испугался и, оглянувшись (в холодном поту!), увидел что-то большое и черное в тусклой темноте кедровника на склоне холма. Оно неслось, казалось, прямо на него, и, бросив свой окорок, он опрометью кинулся бежать, но тут же споткнулся и упал.

Напрасно старался он — в таком он был смятении духа — вспомнить начальные слова молитвы господней. А Странная Птица кружила над ним — большая, больше его самого, с широченным разворотом крыльев и, как ему представилось, черная. Он завопил и уже подумал, что тут ему и конец. Но птица пронеслась мимо вниз понад склоном холма и, взмыв над церковным домом, скрылась в тумане на долине ближе к Сиддерфорду.

А Сэнди Брайт все лежал ничком и глядел в темноту вслед этой Странной Птице. Наконец приподнялся и, встав на колени, возблагодарил милосердное небо, от-

вратившее от него неминучую гибель, а сам поводил глазами вниз по склону холма. Сошел он вниз и, вступив уже в деревню, все разговаривал сам с собой и каялся вслух в своих грехах, чтобы Странная Птица не вернулась. Кто его слышал, думали все, что он пьян. Но с этой ночи он стал другим человеком: бросил пить и перестал обманывать казну, продавая без патента серебряные побрякушки. А окорок так и остался лежать на склоне холма, пока его наутро не подобрал хозяин кредитной лавки в Порт-Бердоке.

Следующим видел Странную Птицу конторщик нотариуса из Айпинг-Хенгера, вздумавший перед утренним завтраком подняться на холм, чтобы поглядеть на солнечный восход. Тучи за ночь разогнало ветром, и только несколько легких облаков таяло в ясном небе. Сперва ему почудилось, что он видит орла. Птица была где-то около зенита, в невообразимой дали,— просто светлое пятнышко над розовыми перистыми облаками,— и казалось, она трепетала и билась о небо, как пленная ласточка об оконное стекло. Потом она спустилась в тень земли, проскользнула по длинной дуге к Порт-Бердоку, сделала круг над Хенгером и исчезла за рощами Сиддермортон-парка. Она показалась очень большой — больше, чем в рост человека. Перед тем как ей скрыться, свет восходящего солнца хлестнул через гребень холмов и задел ее крылья — и они вспыхнули ярко, как огонь, а цветом, как драгоценные камни. Так она и пронеслась, а конторщик стоял и смотрел, разинув рот.

Какой-то батрак, направляясь в поле, проходил под каменной стеной Сиддермортон-парка и увидел, как Странная Птица промелькнула на миг над его головой и скрылась в одном из туманных просветов между буками. Цве́та крыльев он не разглядел и только мог засвидетельствовать, что ноги птицы, голенастые длинные ноги, были розовы и голы — точно нагое тело, а туловище белое в крапинку. Она стрелой прорезала воздух и исчезла.

Таковы сообщения о Странной Птице первых трех очевидцев.

Однако в наши дни не может человек струхнуть перед дьяволом и собственными своими грехами или увидеть при свете зари радужные крылья — и после ничего об

этом не рассказывать. Молодой конторщик нотариуса рассказал за завтраком о чуде сестре и матери, а после, когда шел на свою службу в Порт-Бердок, говорил о нем в дороге с хэммерпондским кузнецом и все утро, забросив переписку дел, судачил с другими конторщиками. А Сэнди Брайт пошел обсудить случившееся с мистером Джекилем, проповедником-примитивистом[1], пахарь же рассказал старому Хью, а позже еще и викарию[2] Сиддермортонского прихода.

— Здешний народ не склонен к фантазиям,— сказал Викарий.— Хотел бы я знать, что в этом рассказе правда? Если отбросить, что крылья показались ему коричневыми, можно бы подумать, что это был фламинго.

ОХОТА НА СТРАННУЮ ПТИЦУ

III

Викарий Сиддермортонского прихода (что в девяти милях по птичьему полету в глубь страны от Сиддермута) был орнитологом. Холостой человек его положения почти неизбежно должен пристраститься к тому или другому занятию этого рода — ботанике, собиранию древностей, фольклору. Он увлекался еще и геометрией и от случая к случаю предлагал «Педагогическому вестнику» какую-нибудь неразрешимую задачу, но его коньком была орнитология. Он уже добавил двух залетных гостей к списку редких для Британии птиц. Имя его не раз появлялось на страницах «Зоолога» (хотя сейчас, боюсь, оно уже забыто, жизнь так быстро шагает вперед!). Назавтра после появления Странной Птицы к нему один за другим пришли двое и в подкрепление рассказа батрака — хотя прямой связи тут и не было — поведали о сиянии над Сиддерфордской пустошью.

У Сиддермортонского викария было в его научных занятиях два соперника: Галли из Сиддертона — тот, что воочию видел сияние (это он послал в «Природу»

---

[1] «Примитивизм» — одно из разветвлений баптизма.

[2] Викарием в Англии именуется обычно приходский священник, получающий содержание от светского землевладельца.

его зарисовку), и Борленд, купец, увлекавшийся естественной историей и державший в Порт-Бердоке магазин «Диковинки моря». Борленду, полагал викарий, надо бы держаться своих головоногих, а он зачем-то нанял чучельника и, пользуясь преимуществом приморского жителя, ловил редких морских птиц. Каждый, кто знает, что такое коллекционер, мог не сомневаться, что и суток не пройдет, как оба эти человека кинутся обрыскивать местность в погоне за необычайной гостьей.

Викарий сидел у себя в кабинете и уставил глаза в корешок книги Сондерса «Птицы Британии». Уже в двух местах там значилось: «Единственная известная в Англии особь представлена в частном собрании преподобного К. Хильера, викария прихода Сиддермортон». Третье такое примечание! Вряд ли кто другой из коллекционеров может похвалиться подобным успехом.

Викарий посмотрел на часы — ровно два. Он недавно откушал и обычно в этот час — после второго завтрака — «предавался отдохновению». Он знал, что если сейчас пройдется по солнцепеку, это плохо скажется на самочувствии — появятся боль в затылке и общая слабость. Но Галли уже, наверно, не зевает, вышел давно на охоту! Что, если птица весьма примечательная и достанется Галли?

Ружье стояло в углу. (Радужные крылья и розовые ноги! Несообразность окраски — вот что сильнее всего разжигало любопытство!) Он взял ружье.

Он думал выйти через стеклянную дверь на веранду, спуститься в сад и оттуда выбраться на верхнюю дорогу, чтобы не попасться на глаза своей экономке. Он знал, что та не одобряла его охотничьи прогулки. Но садом прямо на него шла жена его помощника и две ее дочки — все три с теннисными ракетками в руках. Жена его помощника была молодая особа непреклонной воли. Она преспокойно играла в теннис на лужайке перед его верандой, срезала его розы, расходилась с ним по богословским вопросам и во всеуслышание осуждала его поведение в частной жизни. Он пребывал в малодушном страхе перед ней, всегда старался ее умилостивить. Но поступиться своею страстью к орнитологии — это уж слишком!

Словом, он вышел через парадное.

IV

Если бы не коллекционеры, Англия, можно сказать, была бы полным-полна редких птиц, чудесных бабочек, странных цветков и тысячи интересных вещей. Но коллекционер благополучно предотвращает это, либо все истребляя своей рукой, либо же уплачивая сумасшедшие деньги и тем самым толкая людей низших сословий на истребление всего, что появится необычайного. Этим он заодно обеспечивает людям работу — наперекор всяким парламентским актам. Таким путем он, например, уничтожает корнуэльскую розовоклювую галку, батскую белую бабочку, пятнистую лилию «испанская королева» и может приписать себе честь окончательного истребления бескрылой гагарки, как и сотни других редких птиц, растений, насекомых. Все это прямая заслуга коллекционера и совершена им одним. Во имя науки! И это правильно, это так и должно быть; в самом деле, все необычное безнравственно (подумайте хорошенько — и вы сами придете к этой мысли), равно как необычный образ мысли есть безумие. (Попробуйте подыскать иное определение, пригодное для всех случаев как того, так и другого.) А если разновидность встречается редко, то отсюда следует, что она не приспособлена к жизни. Коллекционер, по сути дела, лишь солдат-пехотинец в дни, когда главенствует тяжелое оружие: он предоставляет сражающимся делать свое дело, а сам прирезывает сраженных. Итак, можно летней порой пройти из конца в конец всю Англию и увидеть только девять-десять видов самых обычных полевых цветов и еще более обычных бабочек да с дюжину обычных птиц, и ни разу не столкнуться с оскорбительным нарушением однообразия — не вспыхнет на ветке странный цветок, не встрепенется незнакомое крыло. Все лишнее забрано в коллекции многие годы назад. По сей причине мы все должны любить коллекционеров и свято помнить, когда они нам демонстрируют свои домашние коллекции, чем мы им обязаны. Эти их пропахшие камфарой маленькие ящики, их стеклянные витринки и альбомы из промокательной бумаги не что иное, как могилы Редкого и Прекрасного, символы Торжества Досуга (благонравно проведенного!) над Радостями Жизни. (Впро-

чем, это все, как вы справедливо можете заметить, не имеет никакого касательства к Странной Птице.)

V

Есть среди пустоши место, где между кочками влажного мха посверкивает черная вода и волосатая росянка (пожирательница беспечных насекомых) протягивает свои голодные окровавленные руки к богу, который отдает одни свои творения на пропитание другим. По кромке болотца растут березы с серебряной корой, и светлая зелень лиственницы мешается с темной зеленью ели. Туда-то под медовое жужжание вереска и пришел Викарий в полуденный зной, неся ружье под мышкой, ружье, заряженное крупной дробью в расчете на Странную Птицу. А в свободной руке он держал носовой платок, которым поминутно отирал с лица бисеринки пота.

Он прошел бережком мимо большого пруда, мимо заводи, полной бурых листьев, где берет свое начало Сиддер, и по дорожке (сперва песчаной, потом меловой) вышел к калитке, ведущей в парк. К калитке нужно подняться на семь ступенек, а затем, по ту сторону, спуститься на шесть. Это устроено так с той целью, чтобы не могли убежать олени. И когда Викарий остановился в проходе, его голова возвышалась над землей футов на десять, если не больше. И вот, скосив глаза туда, где заросли папоротника-орляка заполняли просвет между двумя купами старых буков, он углядел что-то многоцветное, то взвивавшееся, то исчезавшее. Лоб у него взмок, мускулы напружились; он втянул голову в плечи, стиснул в руках ружье и застыл на месте. Потом, не отводя глаз, он спустился по ступенькам в парк и, все еще держа в обеих руках ружье, не пошел, а скорее пополз к той заросли орляка.

Ничто не шевельнулось, и он уже начал было опасаться, что его обманули глаза. Он подошел к папоротнику вплотную и под шумный шелест залез в него чуть не по плечи. Тут что-то переливавшееся разными цветами взвилось прямо перед ним, ярдах в двадцати, не больше, и забилось в воздухе. Миг — и оно повисло над папоротником на полном развороте крыльев. Он увидел,

что это такое, у него перехватило дыхание, и — от неожиданности и по привычке — он нажал курок.

Раздался крик нечеловеческой муки, крылья дважды всплеснули в воздухе, и жертва быстро по косой слетела вниз и хлопнулась наземь, на зеленый косогор за буками,— куча корчащегося тела, сломанных крыльев и разлетающихся окровавленных перьев.

Викарий стоял в ужасе, сжимая в руке дымящееся ружье. Это была вовсе не птица, а юноша с необычайно красивым лицом, одетый в шафрановую ризу и с радужными крыльями, по перьям которых широкие волны тонов — вспышки пурпурного и багряного, золотисто-зеленого и ярко-голубого — накатывались волна на волну, пока он бился в агонии. Никогда еще Викарий не видел такого роскошного разлива красок: ни окна с многоцветными стеклами, ни крылья бабочек, ни даже великолепие разглядываемых через призму кристаллов — никакие цвета на земле не могли с этим сравниться. Ангел дважды поднимался, но лишь затем, чтобы тут же снова повалиться на бок. Потом биение крыльев затихло, испуганное лицо стало бледным, переливы красок потускнели, и вдруг он, рыдая, распластался на земле, и переменчивые цвета сломанных крыльев быстро угасли, слившись в однородный тускло-серый цвет.

— О, что со мной случилось? — вскричал Ангел (потому что это был Ангел) и затрясся в судороге, вцепившись в землю вытянутой рукой; потом затих.

— Боже! — сказал Викарий.— У меня и в мыслях не было...— Он осторожно подошел поближе.— Извините меня,— сказал он,— боюсь, я вас подстрелил.

Это было лишь утверждением очевидного.

Ангел, казалось, только сейчас заметил его присутствие. Он приподнялся, опершись на одну руку, и карими своими глазами посмотрел Викарию в глаза. Затем, подавив стон и прикусив нижнюю губу, он через силу приподнялся и сидя оглядел Викария с головы до ног.

— Человек! — сказал Ангел, зажав виски ладонями.— Человек в нелепейшей черной одежде и без единого перышка. Значит, я не обманулся. Я в самом деле попал в Край Сновидений!

ВИКАРИЙ И АНГЕЛ

VI

Есть вещи явно невозможные. Эту ситуацию даже самый слабый интеллект признает невозможной. То же, верно, скажет о ней и «Атенеум», если удостоит нашу повесть рецензией. Папоротник в брызгах солнечного света, развесистые буки, Викарий и ружье, в общем, приемлемы. Другое дело Ангел! Любой здравомыслящий человек вряд ли станет читать дальше такую сумасбродную книгу. Викарий и сам вполне оценил всю немыслимость положения. Но у него не хватило решимости. Вследствие этого он, как вы сейчас узнаете, не отринул немыслимое. Он разомлел, он плотно перед тем позавтракал, он не был настроен вдаваться в тонкие умствования. Ангел захватил его врасплох, а дальше сбил его с толку сперва неуместным радужным свечением, а затем сильным трепетом крыльев. Викарию поначалу не пришло на ум спросить себя, возможен ли Ангел или нет. В тот первый миг растерянности он его принял — и беда свершилась. Поставьте себя на его место, мой уважаемый «Атенеум». Вы пошли на охоту. Вы кого-то подстрелили. Уже это одно должно привести вас в расстройство. Вы видите, что подстрелили Ангела и он минуту бьется на земле, потом, приподнявшись, заводит разговор. Он не извиняется за свою немыслимость. Напротив, он перекладывает вину на вас. «Человек! — говорит он, тыча пальцем.— Человек в нелепейшей черной одежде и без единого перышка. Значит, я не обманулся. Я в самом деле попал в Край Сновидений!» Вы просто должны ответить. Если только вы не дали стрекача. Или должны размозжить ему череп вторым зарядом, чтобы избежать объяснений.

— В Край Сновидений! Извините меня, если я осмелюсь высказать предположение, что вы сами явились оттуда,— заметил Викарий.

— Как это может быть? — сказал Ангел.

— У вас из крыла сочится кровь,— сказал Викарий.— Прежде чем продолжать разговор, доставьте мне такое удовольствие... печальное удовольствие.... и разрешите мне его перевязать. Я, право же, искренне сожа-

лею...— Ангел закинул руку за спину и передернулся от боли.

Викарий помог своей жертве встать на ноги. Ангел послушно повернулся, и Викарий, с охами и вздохами, внимательно осмотрел пораненные крылья. Он не без любопытства обнаружил, что они сочленяются с верхним внешним краем лопаток, образуя как бы дополнительные плечевые суставы. Левое крыло почти не пострадало — только оказались выбиты два-три правильных пера да парочка дробинок застряла в ala spuria[1]; но в правом была, по-видимому, перебита кость. Викарий, как умел, остановил кровотечение и подвязал крыло, использовав вместо бинта свой носовой платок и кашне, которое экономка заставляла его носить во всякую погоду.

— Боюсь, некоторое время вы не сможете летать,— сказал он, ощупывая кость.

— Мне не нравится это новое ощущение,— сказал Ангел.

— Эта боль при ощупывании кости?

— Как вы сказали? — спросил Ангел.

— Боль.

— Боль! Вы называете это «болью». Да, боль мне решительно не нравится... Много ее у вас, этой боли, в Краю Сновидений?

— Увы, немало,— сказал Викарий.— Для вас она внове?

— Совершенно внове,— сказал Ангел.— Она мне не нравится.

— Занятно! —сказал Викарий и для крепости прикусил узел зубами.— Полагаю, как временная перевязка это сойдет,— сказал он.— Я в свое время обучался оказывать первую медицинскую помощь, но меня не учили накладывать повязку на крыло. Боль не стала легче?

— Сперва жгло огнем, а теперь печет,— сказал Ангел.

— Боюсь, печь будет еще довольно долго,— заметил Викарий, все еще занимаясь раной.

Ангел пожал левым крылом и круто повернулся, чтобы еще раз посмотреть на Викария. Он, пока шел разговор, все пытался поглядеть на собеседника через пле-

---

[1] В ложном плече (*лат.*).

чо. Подняв брови, он оглядел его с головы до ног, и улыбка широко разлилась по его красивому, с нежными чертами лицу.

— Невероятно!— сказал он, мило усмехнувшись.— Разговаривать с человеком!

— Знаете,— сказал Викарий,— сейчас, когда я об этом думаю, мне равным образом кажется невероятным, что я разговариваю с Ангелом. Я привык трезво смотреть на вещи. Викарию иначе и нельзя. Ангелов я всегда мыслил как некое художественное понятие...

— Мы точно так же мыслим о людях...

— Но вы же видели столько людей...

— До этого дня ни одного. То есть на картинах и в книгах, конечно, сколько угодно. А сегодня с восхода солнца я видел уже немало настоящих, осязаемых людей и видел, кроме того, двух-трех коней — знаете, такие странные четвероногие, немного похожие на обычного единорога, только безрогого; и еще целый сонм уродливых, угловатых созданий, называемых «коровами». Я, понятно, слегка испугался при виде такого множества мифических чудищ и забрался сюда, чтобы спрятаться до темноты. Я полагаю, что немного погодя станет опять темно, как было вначале. Фу! С этой вашей болью шутки плохи. Хорошо бы поскорей проснуться.

— Мне что-то невдомек,— пробормотал Викарий, сдвинув брови и хлопнув себя ладонью по лбу.— «Мифическое чудище»! — Наихудшим ругательством, примененным к нему за долгие годы (неким сторонником отделения церкви от государства), было «пережиток средневековья».— Так ли я вас понял? Вы меня считаете чем-то... чем-то, что вам снится?

— Разумеется,— сказал с улыбкой Ангел.

— И весь мир вокруг меня, эти корявые деревья и разлапистые папоротники...

— Все это очень похоже на сон,— сказал Ангел.— Ну совсем такое, как может привидеться кому-нибудь во сне... или родиться в воображении художника.

— Так у вас есть среди ангелов художники?

— Художники всех разборов, ангелы с чудесным воображением — они изобретают людей, и коров, и орлов, и тысячи невозможных существ.

— Невозможных существ! — повторил Викарий.

— Невозможных существ,— сказал Ангел.— Мифических.

— Но я-то реален! — провозгласил Викарий.— Уверяю вас, вполне реален.

Ангел пожал крылами и, вздрогнув от боли, улыбнулся.

— Я всегда могу отличить, снится ли мне что или я вижу это наяву,— сказал он.

— *Вам* и снится! — Викарий посмотрел по сторонам.— *Вам* снится! — повторил он.— У меня помутилось в голове.

Он протянул руку, вперед, шевеля всеми пальцами.

— Ага! — сказал он.— Кажется, я что-то себе уяснил.— Его и в самом деле осенила блестящая мысль. В конце концов он недаром изучал в Кембридже математику.— Попрошу вас: назовите мне несколько животных *вашего* мира... Реального мира, известных вам реальных животных.

— Реальных животных!—улыбнулся Ангел.—Что ж, есть у нас грифы и драконы... есть джаббервоки и... херувимы... и сфинксы и... гиппогрифы... и морские девы... и сатиры... и...

— Благодарю,— перебил Викарий, когда Ангел, казалось, только вошел во вкус.— Благодарю. Вполне достаточно. Я начинаю понимать.

Секунду он молчал, наморщив лоб.

— Да... Теперь я вижу.

— Что вы видите? — спросил Ангел.

— Грифы, сатиры и так далее. Ясно, как...

— А я их не вижу,— сказал Ангел.

— Нет, конечно. Все дело в том, что в этом мире их и не увидишь. Но наши люди с воображением, знаете ли, все нам о них рассказали. И даже мне иногда (здесь в деревне есть такие места, где вы просто должны все принимать так, как вам предлагают, а если нет, то это сочтут за обиду), даже мне, скажу вам, снились они не раз — джаббервоки, оборотни, мандрагоры... С нашей точки зрения, знаете ли, они создания из мира снов.

— Из мира снов!—молвил Ангел.—Как странно. Какой необычайный, удивительный сон! Все навыворот.

Людей вы называете реальностью, ангелов — мифом. Это наводит на мысль, что каким-то образом должны существовать два мира...

— По меньшей мере два,— вставил Викарий.

— ...Которые лежат совсем близко друг от друга и при этом все же не подозревая...

— Близко, как в книге страница к странице.

— ...Проникая друг в друга, но живя каждый своею жизнью. Сон поистине упоительный!

— Да... А нам и во сне не снилось... То есть снилось только во сне!

— Да,— сказал Ангел задумчиво.— Так оно, верно, и есть — что-нибудь в этом роде. Мне теперь припоминается: иной раз, когда я засыпаю или когда задремываю под полуденным солнцем, мне вдруг привидятся странные помятые лица, вроде вашего, и деревья с зелеными листьями на ветвях, и вот такая несуразная, неровная земля, как здесь... Так оно, верно, и есть. Я упал в другой мир.

— Иногда, лежа в постели,— начал Викарий,— уже в полусне, я, случается, вижу лицо, такое же красивое, как ваше, и странную ослепительную панораму, чудесные картины, проплывающие мимо, парящие над ними крылатые тела, расхаживающие взад и вперед дивные — а иной раз и грозные — образы. И мне даже слышалась порой звучащая в моих ушах сладостная музыка... Возможно, когда наше внимание отвлечено от чувственного мира, от давящего на нас окружающего мира,— например, когда мы переходим в сумрак отдыха, то другие меры... Совсем как со звездами: звезды, эти иные миры в пространстве, мы видим, когда отступает сияние дня... Художники-сновидцы, те видят подобные вещи более явственно...

Они посмотрели друг на друга.

— И я каким-то непостижимым образом упал из своего родного мира в этот ваш мир! — сказал Ангел.—В мир моих снов, ставших явью.— Он посмотрел вокруг.— В мир моих снов.

— Умопомрачительно! — сказал Викарий.— Это, пожалуй, наводит на мысль, что (гм-гм), что четвертое измерение все-таки существует. В каковом случае, разумеется,— продолжал он с жаром, так как любил

геометрические умозрения и даже несколько гордился своими познаниями в этой области,— можно мыслить любое число трехмерных миров: они существуют бок о бок, и каждый для другого — только смутный сон. Нагромождены мир на мир, вселенная на вселенную! Это вполне возможно. Нет ничего невероятнее абсолютно возможного! Но удивительно, как же это выпали вы из вашего мира в мой...

— Быть не может!— сказал Ангел.— Олень и лани! Совсем, как их рисуют на гербах. Но как все это дико! Неужели я и вправду не сплю?

Он протер глаза крепко сжатыми кулаками.

Шесть или семь пятнистых оленей прошли вереницей наискось через строй деревьев и остановились, приглядываясь.— Нет, это не сон,— сказал Ангел.— Я в самом деле подлинный, осязаемый ангел; ангел в Краю Сновидений.

Он рассмеялся. Викарий стоял, рассматривая его. Его преподобие скривил по своему обычаю рот и медленно поглаживал подбородок. Он спрашивал себя, не *попал ли и он в Страну Снов.*

VII

В стране ангелов, как узнал Викарий из дальнейших разговоров, нет ни боли, ни горести, ни смерти, нет женитьб и сватовства, рождения и забвения. Только временами возникают новые предметы. Это земля без холмов и долин, дивно ровная земля, где мерцают странные строения, где непрестанно светит солнце или полный месяц и непрестанно веют тихие ветры сквозь узорные сплетения ветвей, играя на них, как на эоловых арфах. Это Страна Чудес, где в небе парят сверкающие моря с плывущими по ним неведомо куда караванами странных судов. Там цветы пламенеют в небе, а звезды горят под ногами, и там дыхание жизни — услада. Земля уходит в бесконечность,— там нет ни солнечной системы, ни межзвездного пространства, как в нашей вселенной,— и воздух возносится ввысь мимо солнца в самую дальнюю бездну неба. И там все сплошь одна Красота. Вся красота наших пластических искусств — только беспомощная передача того, что смутно улавливает глаз, мельком за-

глянув в тот чудесный мир; а наши композиторы, самые своеобразные из наших композиторов — это те, кто слышит, хоть и еле-еле, прах мелодий, разносимый ветрами той страны. И всюду там расхаживают ангелы и дивные дива из бронзы, мрамора и живого огня.

Это Страна Закона — ибо там у них, что ни возьми, все подчинено закону,— но их законы все как-то странно отличны от наших. Их геометрия отличается, потому что пространство у них имеет кривизну, так что всякая плоскость у них представляет собою цилиндр; и закон тяготения у них не согласуется с законом обратных квадратов, а основных цветов у них не три, а двадцать четыре. Фантастические, по понятиям нашей науки, вещи там зачастую — нечто само собой ясное, а вся наша земная наука показалась бы там бредом сумасшедшего. Так, например, на растениях нет цветков — вместо них бьют струи разноцветных огней. Вам это, конечно, покажется бессмыслицей, потому что вы не понимаете. Да и то сказать, большую часть того, что сообщил Ангел, Викарий не мог себе представить, ибо его личный опыт, ограниченный нашим материальным миром, жестоко спорил с его разумом. Это все было слишком странно и потому невообразимо.

Что столкнуло два эти мира-близнеца таким образом, что Ангел вдруг упал в Сиддерфорд, ни Ангел, ни Викарий не могли бы сказать. Не ответит на сей вопрос и автор настоящей повести. Автора занимают только связанные с этим случаем факты, но объяснять их он не расположен, считая себя недостаточно компетентным. Объяснения — это ошибка, в которую склонен впадать век науки. Существенным фактом в данном случае явилось то, что в Сиддермортон-парке 4 августа 1895 года в отблеске славы одного из чудесных миров, где нет ни печали, ни горестей, и все еще верный ему, стоял Ангел, светлый и прекрасный, и вел разговор с Викарием прихода Сиддермортон о множественности миров. В том, что Ангел был ангелом, автор готов, если надо, дать присягу — но и только.

VIII

— У меня появилось,— сказал Ангел,— какое-то крайне непривычное ощущение — вот здесь. Оно у меня

с восхода солнца. Я не помню, чтобы раньше у меня вообще бывали здесь какие-либо ощущения.

— Не боль, надеюсь? — спросил Викарий.

— О нет! Оно совсем другое, чем боль,— что-то вроде ощущения пустоты.

— Может быть, разница в атмосферном давлении...— начал Викарий, потирая подбородок.

— И знаете, у меня еще какое-то совсем особенное чувство во рту,— мне как бы... так нелепо!.. как бы хочется что-нибудь в него запихать.

— Ну да! — спохватился Викарий.— Понятно! Вы голодны.

— Голоден? — повторил Ангел.— А что это значит?

— У вас там не надо есть?

— Есть? Слово вовсе для меня незнакомое.

— Класть, понимаете, пищу в рот. Здесь иначе нельзя. Вы скоро научитесь. Если не есть, то становишься худым и несчастным, страдаешь от... от сильной... ну, понимаете... боли, и в конце концов ты должен умереть.

— Умереть! — сказал Ангел.— Еще одно непонятное слово.

— Здесь оно понятно каждому. Это значит, знаете, отбыть,— сказал Викарий.

— Мы никогда не отбываем,— возразил Ангел.

— Вы не знаете, что вас может постичь в этом мире,— начал Викарий и призадумался.— Если вы ощущаете голод и способны чувствовать боль и если у вас перебито крыло, то не исключено, что вы можете и умереть, прежде чем выберетесь отсюда. На всякий случай вам, пожалуй, неплохо бы поесть. Я бы, например... гм-гм! Есть много вещей, куда более неприятных.

— Наверное,— сказал Ангел,— мне и впрямь нужно есть. Если это не слишком трудно. Не нравится мне ваша «боль» и не нравится ваше «голоден». Если ваше «умереть» в том же роде, я предпочту есть. Какой странный, несуразный мир!

— Обычно считается, что «умереть» хуже, чем «боль» и «голод»... А впрочем, как когда.

— Вы все это должны будете объяснить мне позже,— сказал Ангел.— Если я не проснусь. А сейчас, пожалуйста, покажите мне, как надо есть. Если вы не против. Я чувствую как бы настоятельную потребность...

— Ах, извините,— спохватился Викарий и предложил ему руку.— Вы мне доставите большое удовольствие, если будете моим гостем. Дом мой не так далеко отсюда — мили две, не больше.

— Ваш дом? — сказал Ангел, немного озадаченный, но все же он с признательностью взял Викария под руку, и они, беседуя на ходу, медленно прошли сквозь буйные заросли орляка, испятнанного солнцем, через листву деревьев, перебрались дальше по ступенькам, за ограду парка и, сделав милю с лишним по вереску под жужжание пчел, спустились с холма к дому.

Вы пленились бы этой четой, когда могли бы их видеть в тот час. Ангел — стройный и невысокий, едва пяти футов ростом, с красивым, немного женственным лицом, каким бы мог написать его старый итальянский мастер (есть в Национальной галерее холст неизвестного художника «Товий и Ангел» — так Ангел там очень на него похож, те же черты, та же одухотворенность). На нем была только затканная пурпуром шафрановая рубашка, не прикрывавшая голых колен, ноги босы, крылья (перебитые теперь и свинцово-серые) сложены за спиной. Викарий — приземистый, изрядно толстый, краснощекий, рыжий, чисто выбритый и с ясными рыжевато-карими глазами. На нем была крапчатая соломенная шляпа с черной лентой, весьма благопристойный белый галстук, часы на изящной золотой цепочке. Он был так занят своим спутником, что только когда показался в виду церковный дом, вспомнил, что его ружье осталось лежать, где он его выронил,— в заросли орляка.

Зато он был рад узнать, что боль в перевязанном крыле становится все легче и легче.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ

IX

Скажем начистоту: Ангел в нашей повести—это ангел художника, а не тот ангел, коснуться которого было бы нечестием,— не ангел религиозного чувства и не ангел народной веры. Последний всем нам знаком. Он — или,

верней, она — одна среди ангельского сонма отчетливо отмечена женскими чертами: она носит платье безупречной, незапятнанной белизны, с широкими рукавами, и она блондинка — у нее длинные золотые кудри, и глаза небесно-голубые. Она чистейшая женщина — чистейшая дева или чистейшая матрона — в robe de nuit[1] с прикрепленными к лопаткам крыльями. Ее призвание — добрые домашние дела: она склоняется над колыбелью или помогает вознестись на небо какой-нибудь родственной душе. Нередко она держит в руке пальмовую ветвь, но никто б не удивился, встретив ее заботливо несущей грелку какому-нибудь бедному зябкому грешнику. Это она в «Лицеуме» среди сонма подруг слетает в тюрьму к Маргарите в исправленной последней сцене «Фауста»; и примерным мальчикам и девочкам, которым суждена ранняя смерть, являются такие ангелы в романах госпожи Генри Вуд. Эта беленькая женственность с присущим ей неописуемым очарованием отдающего лавандой благочестия, с ее ароматом целомудренной и правильной жизни, есть, по всей видимости, чисто тевтонское изобретение. Латинская мысль ее не знает. У старых мастеров вы ее не найдете. Она сопричастна той милой наивной, дамской школе искусства, для которой величайшая победа — «слеза умиления» и в которой нет места остроумию и страсти, презрению и пышности. Белый ангел изготовлен в Германии, в стране белокурых женщин и семейственной сентиментальности. Он... то есть она, приходит к нам холодная и благоговеющая, чистая и невозмутимая, молчаливо-успокоительная, как ширь и тишина звездного неба, тоже несказанно дорогого тевтонской душе... Мы ее почитаем. И ангелов древних евреев, духов могучих и таинственных, — Рафаила, Задкиила и Михаила, чью тень уловил один лишь Уаттс, чей блеск увидел один лишь Блейк, — их мы тоже истинно почитаем.

Но Ангел, которого подстрелил Викарий, он совсем не тот, — не ангел итальянского искусства, многоцветный и веселый. Он пришел не из какого-нибудь святого места, а из Страны Прекрасных Сновидений. В лучшем случае, он создание римско-католическое. А потому от-

---

[1] Ночная рубашка (*франц.*).

неситесь терпимо к его потрепанному оперению и не спешите с обвинением в нечестии, пока не дочитаете повесть до конца.

В ЦЕРКОВНОМ ДОМЕ

X

Жена его помощника с двумя своими дочерьми и миссис Джехорем еще играли в теннис на лужайке перед окнами викариева кабинета, играли с жаром, болтая о выкройках для блузок. Но Викарий забыл о дамах и направился домой через сад.

Дамы увидели шляпу Викария над рододендронами, а рядом с ней чью-то непокрытую кудрявую голову.

— Я должна поговорить с ним о Сьюзен Уиггин,— сказала жена его помощника. Она приготовилась к подаче и стояла с ракеткой в правой руке и мячом между пальцами левой.—Он просто должен — должен как викарий навестить ее. Он, а не Джордж. Я уже... Ах!

Та чета вдруг обогнула угол и показалась на виду. Викарий под руку с...

Понимаете, для милой дамы это было, как гром среди ясного неба. Ангел был обращен к ней лицом, так что крыльев она не увидела — только лицо неземной красоты в нимбе каштановых волос и грациозную фигуру, облаченную в шафрановую тунику, едва доходившую до колен. Мысль об этих коленях вдруг пронзила и Викария. Он тоже был поражен ужасом. Как и две девицы, как и миссис Джехорем. Все пятеро были поражены ужасом. Ангел в удивлении смотрел на группу пораженных. Видите ли, он никогда до тех пор не видел никого, пораженного ужасом.

— Ми-ис-тер Хильер,— сказала жена его помощника.— Это уж чересчур! — Минуту она стояла, онемев.— О-о!

Она резко повернулась к окаменевшим девицам.— Идемте!—Викарий открывал и закрывал безголосый рот. Мир вокруг него загудел и завертелся волчком. Взметнулся водоворот воздушных юбок, четыре дышащих негодованием лица проплыли в открытую дверь коридора, проходившего насквозь через весь дом. Викарий почувствовал, что с ними вместе уплывает его доброе имя.

— Миссис Мендхем,— заговорил он, рванувшись за ними.— Миссис Мендхем! Вы не понимаете...

— О-о! — хором простонали они снова.

Одна, две, три, четыре юбки скрылись в дверях. Викарий прошел, шатаясь, до середины лужайки и обмер.

— Вот что получается,— донесся до него голос миссис Мендхем из глубины коридора,— когда в приходе неженатый викарий...— Закачалась подставка для зонтов. Парадная дверь произвела четыре быстрых выстрела. Наступила тишина.

— Я должен был это предусмотреть,— сказал Викарий.— Она всегда излишне спешит.

Он по привычке поднес руку к подбородку. Потом повернулся к спутнику. Ангел был, как видно, хорошо воспитан. Он взял с плетеного кресла яркий зонтик миссис Джехорем, забытый ею впопыхах, и с глубочайшим интересом изучал его. Он его раскрыл.

— Какой забавный аппаратик! — заметил он.— Для чего он?

Викарий не ответил. Ангел был одет, несомненно...— Викарий знал, что тут был уместен какой-то французский оборот, но выпало из памяти, какой. Он так редко прибегал к французскому языку. Не «de trop» [1]—это он помнил. Что хотите, только не de trop. Ангел сам был de trop, но никак не его костюм. Ага! Sans culotte! [2].

Викарий сейчас впервые посмотрел на гостя критическим взглядом.— Да, трудно будет объяснить,— тихо укорил он самого себя.

Ангел воткнул зонтик в дерн и подошел понюхать душистый шиповник. На ярком солнечном свете его каштановые волосы походили сейчас на нимб. Он уколол палец.

— Странно! — сказал он.— Опять боль.

— Да,— сказал Викарий, размышляя вслух.— Он очень красив, и он интересней такой, как есть. Таким он мне нравится куда больше. Но боюсь, без этого нельзя!

Нервно кашлянув, он подступил к Ангелу.

---

[1] Чересчур (*франц.*).

[2] Букв. «без штанов» (*франц.*).

XI

— Это,— сказал Викарий,— были дамы.

— Какая нелепость! — отозвался Ангел, улыбаясь и нюхая шиповник.— И какие причудливые формы.

— Пожалуй,— сказал Викарий.— Вы заметили...гм!.. как они себя повели?

— Они ушли. Мне даже показалось — убежали. Испугались? Я-то, понятно, испугался бескрылых созданий. Надеюсь... их не крылья мои испугали?

— Весь ваш вид в целом,— сказал Викарий и невольно покосился на розовые ноги.

— Вот как. Мне и в голову не приходило. Разумеется, я им показался так же странен, как вы мне.— Он глянул вниз.— И мои ступни. У вас-то копыта, как у гиппогрифа.

— Башмаки,— поправил Викарий.

— У вас это зовется «башмаки»? Все равно, мне жаль, что я их спугнул...

— Видите ли,— начал Викарий, поглаживая подбородок,— у наших дам, гм, особые... не совсем артистические взгляды относительно, гм, одежды. В вашем туалете вы, я опасаюсь, серьезно опасаюсь, что... как он ни красив, ваш костюм, вы... окажетесь в обществе, гм, несколько обособленным. У нас есть поговорка: «Пришел в Рим, так веди себя, гм, римлянином». Поверьте мне, если вы намерены... гм, общаться с нами во время... вашего невольного пребывания...

Ангел отступил на шаг и на другой, между тем как Викарий надвигался на него ближе и ближе в своем старании показать себя хорошим дипломатом и принять доверительный тон. На красивом лице гостя отразилась растерянность.

— Я не совсем понимаю, почему вы все время производите горлом эти шумы? Это связано с «умереть» или «есть» или с чем-то еще из этих ваших?..

— Как ваш хозяин, я...— перебил Викарий и запнулся.

— Как мой хозяин...— повторил за ним Ангел.

— Вы не откажетесь временно, пока мы не приспособим для вас что-нибудь более постоянное, надеть, гм, костюм — совсем новый, уверяю вас... такой, как на мне?

— О!—воскликнул Ангел. Он отступил подальше, чтобы оглядеть Викария с ног до головы.— Носить одежды такие, как на вас! — сказал он. Это и озадачило его и позабавило. Глаза его стали круглыми и яркими, в уголках рта заиграла морщинка.

— Чудесно! — сказал он и захлопал в ладоши.— Какой, однако, странный, сумасшедший сон! Где они, эти одежды? — Он схватился за вырез своей шафрановой ризы.

— Дома! — остановил его Викарий.— Пожалуйте за мной. Переоденемся... дома.

XII

Так Ангел был облачен в панталоны своего хозяина, рубашку, разрезанную вдоль спины (чтобы удобней устроить крылья), носки и туфли — парадные туфли Викария, воротник с галстуком и летний долгополый сюртук. Но когда надевали сюртук, снова дала себя знать боль, и это напомнило Викарию, что повязка наложена временная.

— Я позвоню, чтобы чай подали сейчас же, и пошлю Груммета за Крумпом,— сказал Викарий.— А обедать будем пораньше.

Пока Викарий выкрикивал в пролет лестницы свои распоряжения, Ангел в полном восторге разглядывал себя в трюмо. Если боль была ему чужда, то, видно, не чуждым (из-за снов, быть может) оказалось ему наслаждение несообразным.

Чай они пили в гостиной. Ангел сидел на рояльном табурете (на рояльном — из-за крыльев). Сначала он захотел лечь на коврик перед камином. В платье Викария он выглядел далеко не таким лучезарным, как там, на пустоши, одетый в шафрановую ризу. Его лицо все еще сияло, цвет волос и румянец на щеках были необычайно ярки, и в глазах его горел сверхчеловеческий свет, но крылья под сюртуком создавали впечатление горба. Смена одежды делала его вполне земным существом, штаны на нем морщились поперечными складками, туфли были ему сильно велики.

Он был очаровательно любезен и совершенно несведущ в самых элементарных вещах, связанных с цивили-

зацией. Как едят, он усвоил без особого труда, но Викарий немало повеселился, обучая гостя пить чай.

— Сплошная нелепость,— сказал Ангел.— В каком вы живете милом, забавно-уродливом мире. Подумать только — набивать всякой всячиной рот! Мы пользуемся ртом, только чтобы говорить и петь. Наш мир, знаете, неизлечимо красив. У нас так мало уродства, что мне все это кажется... восхитительным.

Миссис Хайниджер, экономка Викария, подавая чай, неодобрительно покосилась на Ангела. Она его зачислила в разряд «подозрительных просителей». Трудно сказать, кем бы она его посчитала, если бы увидела в шафрановом одеянии.

Ангел, шаркая ногами, прохаживался по комнате — чашка чая в одной руке, бутерброд в другой — и рассматривал мебель. За стеклянными дверьми, окаймляя лужайку, пламенели в жарком свете солнца подсолнух и георгины, а среди них огненным треугольником торчал зонтик миссис Джехорем. Очень смешным показался Ангелу портрет Викария над камином: непонятно было, зачем его туда повесили.

— Вы округлый,— заметил Ангел, кивнув на портрет.— Зачем вам нужен второй, плоский «вы»? — И его чрезвычайно позабавил зеркальный экран перед топкой камина. Дубовые стулья он нашел нелепыми.

— Вы же не прямоугольный,— сказал он, когда Викарий объяснил их назначение.— Мы никогда не складываемся пополам: мы, когда хотим отдохнуть, раскидываемся на асфоделях.

— Сказать по правде,— отвечал Викарий,— стулья всегда вызывали у меня недоумение. Их завели, мне думается, в те давние времена, когда полы были холодные и очень грязные. Я думаю, мы сохраняем их по привычке. У нас это стало как бы инстинктом — сидеть на стуле. Во всяком случае, если бы я зашел навестить одну из своих прихожанок и вдруг разлегся бы на полу,— казалось бы, самое естественное дело,— уж не знаю, как бы она поступила! Во всяком случае, это мигом разнеслось бы по всему приходу. А между тем полулежачая поза представляется мне наиболее естественной для отдыха. Греки и римляне...

— Что это такое? — перебил Ангел.

— Чучело зимородка. Я его убил.

— Убили!

— Подстрелил,— сказал Викарий.— Из ружья.

— Подстрелили! Как меня?

— Вас я, как видите, не убил. К счастью.

— Убивать — значит делать вот такое?

— Да, отчасти...

— Боже! И вы хотели сделать такое со мной,— хотели вставить мне стеклянные глаза и повесить меня в стеклянном ящике, заполненном чем-то очень некрасивым — зеленым и коричневым?

— Видите ли,— начал Викарий,— я ведь не сразу понял...

— Это и есть «умереть»?— вдруг спросил Ангел.

— Это мертвая птица. Она умерла.

— Бедненькая. Я должен побольше есть. Но вы сказали, что вы ее убили. Почему?

— Видите ли,— начал Викарий,— я увлекаюсь птицами, и я их... гм... коллекционирую. У меня недоставало этой разновидности.

Ангел остановил на нем недоуменный взгляд.

— Такую красивую птицу,— сказал он, содрогнувшись.— Потому что вам так вздумалось! У вас недоставало разновидности!

Минуту он размышлял.

— Вы часто убиваете?— спросил он Викария.

МУЖ НАУКИ

XIII

Пришел доктор Крумп. Груммет повстречал его в каких-нибудь ста ярдах от ворот. Это был крупный, грузный человек, чисто выбритый и с двойным подбородком. На нем была серая визитка (он всегда отдавал предпочтение серому) и клетчатый черно-белый галстук.

— Ну-с, что у нас болит? — спросил он еще в дверях и без тени удивления посмотрел в лучезарное лицо Ангела.

— Этот, гм-гм, джентльмен,—сказал Викарий,—или... гм... Ангел (Ангел поклонился)—ранен пулей... Из охотничьего ружья.

— Из охотничьего?—сказал доктор Крумп.—В июле месяце! Могу я взглянуть на рану, мистер... Ангел, так как будто?

— Он, вероятно, сможет облегчить вам боль,— сказал Викарий.— Позвольте, я помогу вам снять сюртук.

Ангел послушно повернулся.

— Искривление позвоночника? — про себя, но достаточно громко бормотал доктор Крумп, обходя Ангела вокруг.— Нет! Аномальный нарост. Ух ты! Вот так штука! — Он ухватил левое крыло.— Очень любопытно,— сказал он.— Двойные передние конечности. Раздвоение клювообразного отростка лопатки. Случай, конечно, возможный, но я с ним встречаюсь впервые.— Ангел дернулся под его ощупывающей рукой.— Плечо, предплечье — лучевая кость и локтевая. Все налицо. Несомненно, прирожденное. Перелом плеча. Любопытное изменение кожного покрова — перообразное. Ей-богу, почти крыло! Представляет, верно, большой интерес для сравнительной анатомии. Никогда не видел ничего подобного!.. Как вы, однако, попали под выстрел, мистер Ангел?

Викарий был неприятно поражен грубым практицизмом врача.

— Наш друг! — Ангел кивнул на Викария.

— К несчастью, это дело моих рук,— сказал Викарий и вышел вперед, чтобы дать объяснение.— Я принял этого джентльмена — то есть Ангела (гм-гм) — за большую птицу...

— Вы приняли его за большую птицу! Что же будет дальше? Нам пора заняться вашими глазами,— сказал доктор Крумп.— Я вам и раньше это говорил.— Он продолжал выстукивать и прощупывать, отмечая такт хмыканьем и невнятным бурчанием...— А знаете — для дилетанта повязка сделана очень недурно. Я ее, пожалуй, оставлю,— сказал он.— Любопытное уродство! Вам это не доставляет неудобства, мистер Ангел?

Он неожиданно обошел кругом, чтобы заглянуть Ангелу в лицо.

Ангел подумал, что его спрашивают о ране.

— Да, некоторое,— сказал он.

— Если бы не кости, я посоветовал бы мазать йодом утром и на ночь. Йод — самое верное дело. Смазывая йодом, можно даже лицо сделать совсем плоским. Но костные наросты, разрастание костей, тут, понимаете, дело посложней. Я, конечно, мог бы спилить их. Однако второпях такая вещь не делается...

— Вы о моих крыльях? — Ангел встревожился.

— О крыльях? — сказал врач.— Зовите их, коль угодно, крыльями! О них — а то о чем же?

— Спилить их?! — воскликнул Ангел.

— Не согласны? Что ж, дело ваше. Я вам только могу посоветовать...

— Спилить крылья! Какое вы смешное создание! — Ангел рассмеялся.

— Как хотите,— сказал врач. Он не переносил людей, которые любят смеяться.—Очень любопытные наросты,— сказал он, обращаясь к Викарию. И к Ангелу: — Хотя и неудобные. До сих пор я никогда не слышал о случаях такого полного удвоения — по крайней мере в животном мире. В растительном оно довольно обычно. В вашей семье это у вас одного? — Он не стал ждать ответа.— Частичное расщепление конечностей, такие случаи, мой милый Викарий, довольно обычны; знаете, шестипалые дети, телята о шести ногах или кошки с двойными пальцами. Разрешите, я вам помогу,— обратился он к Ангелу, который никак не мог управиться с сюртуком.— Но такое полное удвоение, да еще такое крылоподобное! Далеко не столь примечательно было бы, имей он попросту вторую пару рук.

Сюртук наконец надели. Врач и Ангел посмотрели друг на друга.

— Правда,— сказал доктор Крумп,— начинаешь понимать, как возник этот красивый миф об ангелах. Вид у вас несколько чахоточный, мистер Ангел, вас не лихорадит? Слишком яркий румянец — чуть ли не худший симптом, чем чрезмерная бледность. Любопытно, что ваша фамилия — Ангел. Я вам пришлю жаропонижающее питье — на случай, если ночью появится жажда...

Он сделал пометку на манжете. Ангел следил за ним задумчиво, с засветившейся в глазах улыбкой.

— Одну минуту, Крумп,— сказал Викарий и, взяв доктора под руку, проводил его до дверей.

Улыбка Ангела засияла ярче. Он глянул вниз на свои обутые в черное ноги.

— Он положительно думает, что я человек! — сказал Ангел.— Как он отнесся к крыльям, меня просто поразило. Какое же он смешное создание! Нет, сон и вправду необыкновенный!

XIV

— Вы не поняли,— шептал Викарий.— Он и есть ангел.

— Ш-ш-то-о? — чуть не взвизгнул Доктор. Его брови поднялись, он улыбнулся.

— А крылья?

— Вещь вполне естественная, вполне... Небольшое уклонение от нормы.

— Вы уверены, что эти крылья естественны?

— Все, что существует, дорогой мой, естественно. Неестественного в мире не бывает. Если бы я думал, что бывает, я бросил бы практику и постригся в монахи. Бывают, конечно, аномалии. И даже...

— Но то, как я на него набрел...— начал Викарий.

— Да, расскажите мне, где вы его подобрали? — сказал Доктор. Он уселся в прихожей на столике.

Викарий начал, помявшись—он не был искусным рассказчиком,— со слухов о большой странной птице. Говорил он неуклюжими фразами (он хорошо знал своего епископа и, имея всегда перед глазами этот устрашающий пример, избегал привносить в повседневную речь тот стиль, которым пользовался в своих проповедях), и через каждые его три-четыре фразы Доктор слегка кивал головой и всасывал уголки губ, как бы разделяя рассказ на этапы и отмечая, что пока все в нем шло так, как и должно было идти. «Самовнушение»,— пробурчал он раз.

— Извините? — переспросил Викарий.

— Ничего,— сказал Доктор.— Уверяю вас, ничего. Продолжайте. Так что же дальше? Это все чрезвычайно интересно.

Викарий рассказал, как он взял ружье и пошел на охоту.

— После дневного завтрака, так вы сказали? — перебил Доктор.

— Сразу после завтрака,— подтвердил Викарий.

— Этого, вы сами знаете, вам делать не следовало. Но прошу вас, продолжайте рассказ.

Он дошел до того, как, поднявшись к калитке, увидел Ангела.

— Стоя на солнцепеке,— ввернул Доктор.— В тени было двадцать шесть.

Когда Викарий кончил, Доктор сжал губы еще плотней, чем раньше, чуть улыбнулся и многозначительно посмотрел Викарию в глаза.

— Вы не... не думаете,— начал Викарий, запинаясь.

Доктор покачал головой.— Позвольте,— сказал он, взяв Викария за локоть.

— Вы выходите,— говорит он,— на полный желудок и в самую жару. На солнце уж, верно, выше тридцати. В вашем сознании, насколько оно наличествует, вихрятся мысли о чем-то крылатом. Я говорю «насколько наличествует», потому что большая часть вашей нервной энергии отлила книзу, на переваривание съеденного завтрака. Человек, валявшийся в орляке, встает перед вами, и вы палите, не целясь. Он кидается вверх по косогору... и тут оказывается... оказывается... что у него удвоение верхних конечностей, причем вторая их пара имеет некоторое сходство с крыльями. Конечно, это не более как совпадение. Ну, а радужные краски и прочее... Разве раньше у вас никогда не плавали перед глазами цветные пятна в яркий солнечный день?.. Вы уверены, что они были только на крыльях и больше нигде? Припомните.

— Но он и сам говорит, что он ангел! — возразил Викарий, выпучив круглые глазки и глубже засунув в карманы свои пухлые ручки.

— Эге! — произнес Доктор, сверля его глазами.— Так я и полагал.— Он умолк.

— А вы не думаете...— начал Викарий.

— Этот человек — имбецил,— сказал Доктор тихо и внушительно.— Им-бе-цил.

— Кто? — переспросил Викарий.

— Имбецил. Слабоумный. Вы не обратили внимания на женственность его лица? На его бессмысленный смешок? На его длинные волосы? И посмотрите, как он одет...

Рука Викария потянулась к подбородку.

— Это все признаки слабоумия,— сказал Доктор.— Многие дегенераты этого типа проявляют такую же склонность—присваивать себе какое-нибудь величественное наименование, намекающее на грозную силу. Один называет себя принцем Уэлльским, другой — архангелом Гавриилом, третий — самим господом богом. Ибсен мнит себя Великим Учителем, а Метерлинк — новым Шекспиром. Я недавно читал об этом — у Нордау. Несомненно, это странное, прирожденное уродство подсказало ему мысль...

— Но право же...— начал Викарий.

— Я не сомневаюсь, что он сбежал из приюта.

— Я не могу полностью принять...

— Вам придется. А нет, так на то есть полиция, или, на худой конец, можно дать объявление; впрочем, его родные, возможно, пожелают избежать огласки... Кому приятно, если в семье...

— Он с виду совершенно...

— Не пройдет и двух дней, как его начнут разыскивать друзья,— успокоил Доктор, потянувшись за своими часами.— Он, я полагаю, живет неподалеку от наших мест. С виду он безопасен. Я, пожалуй, загляну к вам завтра еще раз посмотреть его крыло.— Крумп соскользнул со стола и выпрямился.

— А бабушкины-то сказки крепко в вас засели,—сказал он, похлопав Викария по плечу.— Но, знаете — ангел, это уж... Ха-ха-ха!

— А ведь я и в самом деле подумал...— проговорил с сомнением Викарий.

— Взвесьте факты,— сказал Доктор, все еще нащупывая часы,— взвесьте все факты на весах нашего точного анализа. Что от них останется? Всплески красок, игра фантазии, muscae, volantes [1].

— А все-таки,— молвил Викарий,— я мог бы присягнуть, что крылья радужно сияли и что...

---

[1] Летающие мошки *(лат.)*.

— Подумайте хорошенько (Доктор вынул часы): зной, слепящее солнце; голову напекло... Но мне в самом деле пора. Без четверти пять. Я навещу вашего... ангела (ха-ха!) завтра днем, если его тем временем никто не заберет от вас. Повязку вы сделали в самом деле очень недурно. Мне это льстит. Значит, мы не зря проводили занятия по оказанию первой помощи... Всего хорошего.

ПОМОЩНИК ВИКАРИЯ

XV

Викарий полумашинально отворил дверь, чтобы выпустить Крумпа, и увидел своего помощника Мендхема, который шел по аллее вдоль стены мышиного горошка и таволги. Тут его рука потянулась к подбородку, в глазах отразилось смущение. А ну, как он и впрямь обманулся? Проходя мимо Мендхема, Доктор высоко поднял шляпу над головой. «Умнейший человек, этот Крумп,— подумал Викарий,— и куда вернее судит о твоем рассудке, чем ты сам». Викарий так остро это почувствовал. Тем трудней представилось предстоящее объяснение. А ну, как он вернется сейчас в гостиную и увидит спящего на коврике простого бродягу?

Мендхем был щупленький человечек с величественной бородой. Казалось, весь рост у него ушел в бороду, как у горчицы в семя. Но когда он говорил, вы убеждались, что у него есть также и голос.

— Моя жена пришла домой в ужасном состоянии,— прогремел он еще издалека.

— Заходите,— сказал Викарий,— заходите. Замечательный, знаете, случай... Пожалуйте в дом. В мой кабинет, прошу. Я чрезвычайно сожалею. Но когда я все вам объясню...

— И, надеюсь, принесете извинения,— прогремел Помощник.

— И принесу извинения. Простите, не сюда. В кабинет.

— Так кто же была эта женщина? — сказал Помощник, обернувшись к Викарию, едва тот прикрыл дверь своего кабинета.

— Какая женщина?

— Ну-ну-ну!

— Нет, в самом деле?

— Накрашенная особа в легком наряде — скажем откровенно, в возмутительно легком,— с которой вы прогуливались по саду.

— Мой дорогой Мендхем... это был Ангел!

— Ангел, да и прехорошенький, а?

— Мир становится таким прозаическим,— вздохнул Викарий.

— Мир,— взревел Помощник,— становится с каждым днем черней. Но чтобы человек вашего положения открыто, без стыда...

— Тьфу ты! — сказал Викарий в сторону. Он редко позволял себе чертыхаться.— Послушайте, мистер Мендхем, тут в самом деле недоразумение. Уверяю вас...

— Превосходно,—сказал Помощник.— Тогда объясните! — Он стоял, расставив тощие ноги, а руки скрестив на груди, и хмурился на Викария над густой своей бородой.

(Объяснения, повторяю, я всегда считал характерной ошибкой нашего века науки.)

Викарий беспомощно огляделся. Мир вокруг сделался тусклым и мертвым. Может быть, все, что началось сегодня днем, ему просто снится? Там, в гостиной, в самом деле ангел? Или это игра какой-то сложной галлюцинации?

— Итак? — сказал Помощник, выждав целую минуту.

Рука Викария затрепыхалась на подбородке.

— Такая сложная история... Не знаю, как и приступить...

— Еще бы! — строго сказал Мендхем.

Викарий, едва сдержавшись, терпеливо продолжал:

— Сегодня днем я пошел поохотиться на некую странную птицу... Вы верите в ангелов, Мендхем? В настоящих ангелов?

— Я здесь не затем, чтобы обсуждать вопросы теологии. Я супруг оскорбленной женщины.

— Но то, что я вам сказал, не фигура речи: это действительно ангел, настоящий ангел — с крыльями. Сейчас он в соседней комнате. Вы меня не поняли, и потому...

— Ну, знаете, Хильер...

— Говорю вам, это правда, Мендхем. Клянусь, что правда.— В голосе Викария зазвучало раздражение.— Не знаю, за какие грехи мне пришлось принять в свой дом и одеть небесного гостя. Знаю только, что — хоть это, безусловно, может показаться неподобающим — сейчас у меня в гостиной сидит ангел, одетый в мой новый костюм, и допивает свой чай. Он погостит у меня — по моему приглашению — неопределенный срок. Я, спору нет, поступил неосмотрительно. Но не могу я, понимаете ли, выгнать его только из-за того, что миссис Мендхем... Я, может быть, и слабоволен, но все же джентльмен.

— Ну, знаете, Хильер...

— Уверяю вас, это правда.—В голосе Викария задрожала нота истерического отчаяния.— Я выстрелил в него, приняв за фламинго, и попал ему в крыло.

— Я думал, это случай, когда должен вмешаться епископ. Но здесь, я вижу, будет уместней вмешательство психиатров.

— Пойдите и посмотрите, Мендхем!

— Но ангелы не существуют.

— Мы учим людей другому,— сказал Викарий.

— Не существуют как материальные тела,—уточнил Помощник.

— Все-таки пойдите и посмотрите сами.

— Не хочу я смотреть ваши галлюцинации...—начал Помощник.

— Я ничего не смогу объяснить, пока вы не пойдете и не посмотрите на него,— сказал Викарий.— Ничто другое на небе или на земле так не похоже на ангела, как этот человек. Вы просто должны увидеть его, если хотите понять!

— Я не хочу ничего понимать,—сказал Помощник.— Не хочу по доброй воле идти на то, чтобы меня морочили. Скажите сами, Хильер, что это, если не попытка меня обморочить?.. Фламинго! Как бы не так!

XVI

Ангел допил чай и теперь стоял у окна, задумчиво глядя вдаль. Старая церковь в глубине долины, озаренная заходящим солнцем, казалась ему очень красивой, но он

не мог понять, что означают могильные камни, выстроившиеся рядами по косогору за церковью. Когда вошли Мендхем с Викарием, он обернулся.

Мистер Мендхем мог с полным удовольствием нагрубить своему патрону, как он грубил прихожанам, но не тот он был человек, чтобы нагрубить приезжему. Он поглядел на Ангела, и версия о «неизвестной даме» сразу отпала. Красота Ангела была слишком явно красотою юноши.

— Мистер Хильер сообщил мне, что вы изволите... э... как ни странно... называть себя Ангелом?

— ...Что вы Ангел,— поправил Викарий.

Ангел поклонился.

— Вот я и пришел,— сказал Мендхем.— Как-никак любопытно поглядеть.

— Очень,— сказал Ангел.— Черный цвет и самая форма.

— Простите, как?

— Черный цвет и хвостатая одежда,— повторил Ангел.— И нет крыльев.

— Именно,— сказал Мендхем, хотя и был в полном недоумении.— Мы, естественно, любопытствуем узнать, как и почему вы появились в деревне в таком оригинальном костюме.

Ангел поглядел на Викария. Викарий схватился за подбородок.

— Понимаете...—начал Викарий.

— Пусть он сам объяснит,— сказал Мендхем.— Прошу вас.

— Я только хотел помочь...— начал снова Викарий.

— А я не хочу, чтобы вы помогали.

— Тьфу ты! — буркнул Викарий.

Ангел переводил взгляд с одного на другого.

— У вас пробежало по лицам такое шершавое выражение! — сказал он.

— Видите ли, мистер... мистер... не знаю, как вас зовут,— сказал Мендхем уже не столь медоточивым голосом.— Дело обстоит так: моя жена, или, точнее говоря, четыре дамы играли в лаун-теннис, когда внезапно вы наскакиваете на них; да, сэр, вы наскакиваете на них из кустов рододендрона в полном неглиже. Вы и мистер Хильер.

— Но я же...— вмешался Викарий.

— Знаю. В неглиже был этот джентльмен. Я, разумеется (это — мое естественное право), должен потребовать объяснений! — Голос его загудел орга́ном.— И я требую объяснений!

Ангел тихо улыбнулся на его гневный тон, на грозную позу, когда Мендхем вдруг скрестил руки на груди.

— Я в этом мире недавно...— начал Ангел.

— Девятнадцать лет по меньшей мере,— сказал Мендхем.— В такие годы пора бы знать приличия! Это не оправдание!

— Могу я сперва задать вам один вопрос? — сказал Ангел.

— Да.

— Вы думаете, я Человек — подобно вам самим? Как подумал тот клетчатый?

— Если вы не человек...

— Еще один вопрос. Вы никогда не слышали об ангелах?

— Не советую вам подносить мне эти россказни! — предупредил Мендхем, возвращаясь к своему привычному крещендо.

— Но, Мендхем,— вмешался Викарий.— У него же крылья!

— Очень вас прошу, дайте мне поговорить с ним,— оборвал его Мендхем.

— Какой вы смешной! — сказал Ангел.— Что я ни скажу, вы меня перебиваете.

— Что же вы хотите сказать? — снизошел Мендхем.

— Что я в самом деле ангел...

— Чушь!

— Вот и опять!

— Вы лучше расскажите мне по чести, как вы очутились в кустах рододендрона в саду Викария Сиддермортонского прихода в том виде, в каком вы были. И в обществе самого Викария! Будьте любезны забыть вашу нелепую выдумку!..

Ангел пожал крылами.

— Что с ним, с этим человеком? — спросил он Викария.

— Мой милый Мендхем,— сказал Викарий,— я мог бы в двух словах...

— Кажется, мой вопрос достаточно ясен.

— Но вы не говорите, какой вам нужен от меня ответ, а если я отвечаю другое, вам не нравится.

— Чушь! — снова буркнул Мендхем. Потом опять повернулся к Викарию.

— Откуда он взялся?

Викарию стало страшно. К этому времени его вновь одолели сомнения.

— Он говорит, что он Ангел! — сказал Викарий.— Почему вы не хотите его выслушать?

— Ангел никогда не напугал бы четырех дам...

— Ах вот что вас так огорчило! — сказал Ангел.

— Достаточная, по-моему, причина! — объявил помощник Викария.

— Но я же не знал,— сказал Ангел.

— Нет, уж это слишком!

— Я искренне сожалею, что напугал тех дам.

— Еще бы вам не жалеть! Но я вижу, мне ничего от вас не добиться, от вас обоих.— Мендхем направился к двери.— Я уверен, в этом деле кроется что-то постыдное. А то почему бы вы не рассказали напрямик все как есть? Сознаюсь, вы меня озадачили. Чего ради в наш просвещенный век вы мне рассказываете вдруг эту фантастическую, эту неправдоподобную историю об ангеле, не возьму в толк! Какая вам польза от нее?

— Но постойте же и взгляните на его крылья! — молил Викарий.— Уверяю вас, он крылатый!

Мендхем уже взялся за ручку двери.

— С меня довольно и того, что я видел,— сказал он.— Вы, может быть, просто затеяли глупую шутку, Хильер?

— Ну что вы, Мендхем! — укорил Викарий.

Помощник остановился в дверях и поглядел через плечо на Викария. Он дал волю всему, что накопил против него за долгие месяцы.

— Не понимаю, Хильер, почему вы решили стать священником? Хоть убей, не понимаю! В воздухе носятся всевозможные веяния — социальные движения, экономические преобразования, женское равноправие, рационализация одежды, воссоединение христианских церквей, социализм, индивидуализм, права личности — все

эти волнующие вопросы дня... Мы все — последователи Великого Преобразователя. А вы, вы набиваете птичьи чучела и повергаете в ужас дам своим полным пренебрежением к...

— Что вы, Мендхем...— начал Викарий.

Помощник не желал его слушать.

— Вы позорите свой сан вашим легкомыслием!.. Но это — пока только предварительное следствие,— добавил он с угрозой в зычном голосе и тут же (громко хлопнув дверью) вышел вон.

XVII

— Люди все такие странные? — спросил Ангел.

— Я в трудном положении,— сказал Викарий.— Понимаете...— Он запнулся, ища помощи у подбородка.

— Начинаю понимать,— сказал Ангел.

— Никто не поверит.

— Понимаю.

— Будут думать, что я говорю неправду.

— И что же?

— Мне это будет очень больно.

— Больно!.. Боль,— сказал Ангел.— Нет, я надеюсь, не будет.

Викарий покачал головой. Уважение прихожан составляло до сих пор всю радость его жизни.

— Понимаете,— сказал он,— все бы выглядело куда более приемлемо, если бы вы говорили, что вы просто человек.

— Но я не человек,— сказал Ангел.

— Да, вы не человек,— подтвердил Викарий.— Так что не выйдет...

...Здесь, знаете, никто никогда не видел ангела, не слышал об ангелах, кроме как в церкви. Если бы вы избрали для своего дебюта церковную кафедру во время воскресной службы,— все могло бы повернуться иначе. Но теперь уже не изменишь... (Тьфу ты!) Никто, решительно никто в вас не поверит!

— Надеюсь, я вам не доставляю неудобства?

— Нисколько,— сказал Викарий.— Нисколько. Вот только, что... Разумеется, может выйти не совсем удоб-

но, если вы станете рассказывать слишком неправдоподобную историю. Я бы позволил себе посоветовать вам (Гм!)...

— Да?

— Видите ли, люди в этом мире, поскольку они сами люди, почти неизбежно будут видеть в вас человека. Если вы станете утверждать другое, они просто объявят, что вы говорите неправду. Только исключительные люди ценят исключительное. В Риме следует... ну... немного считаться с римскими предрассудками и говорить на латыни. Увидите, так будет лучше для вас же...

— Вы предлагаете мне делать вид, будто я превратился в человека?

— Вы сразу уловили мою мысль.

Ангел смотрел на любимые мальвы Викария и думал.

— Может случиться,—медленно проговорил он,—что в конце концов я и впрямь превращусь в человека. Я не стану утверждать, что это невозможно. Вы говорите, ангелов в этом мире нет. Кто я такой, чтобы противопоставлять себя вашему опыту? Всего лишь однодневка... для этого мира. Если вы говорите, что здесь ангелов нет, значит, я должен быть чем-то иным. Я ем, тогда как ангелы не едят. Я, быть может, уже стал человеком.

— Во всяком случае, это удобная точка зрения,— сказал Викарий.

— Если она удобна для вас...

— Вполне удобна. А теперь подумаем, как нам объяснить ваше присутствие в доме?

Ну, скажем,— продолжал Викарий после минутного раздумья,— скажем, к примеру, вы самый обыкновенный человек, который любит купаться; вам вздумалось выкупаться в Сиддере, и, скажем, у вас украли одежду, а я застал вас в этом крайне неудобном положении. Если я предложу миссис Мендхем такое объяснение, то в нем хоть не будет сверхъестественного начала. В наши дни сверхъестественное все считают совершенно неуместным — даже на церковной кафедре. Вы просто не поверите...

— Жаль, что дело было не так,— сказал Ангел.

— Конечно,— сказал Викарий.— Очень жаль, что не так. Но, во всяком случае, вы меня весьма обяжете, если не будете выставлять на вид вашу ангельскую природу.

Обяжете всех — не меня одного: установилось мнение, что вещей такого рода ангелы не делают. А ничто не доставляет худшей боли, могу вас заверить, чем отказ от привычного мнения. Установившиеся мнения можно назвать — и во многих смыслах — нашими духовными зубами. Я со своей стороны (Викарий провел рукой перед глазами), я верю, не могу не верить, что вы ангел... Как мне не верить собственным своим глазам?

— Мы нашим верим всегда,—сказал Ангел.

— Мы тоже — в известных пределах.

Часы на камине прозвонили семь, и почти одновременно миссис Хайниджер объявила, что обед подан.

ПОСЛЕ ОБЕДА

XVIII

Ангел с Викарием сидели за столом. Викарий, заправляя салфетку за воротник, наблюдал, как Ангел бьется над супом.

— Вы скоро сладите с этим делом,— сказал Викарий.

С ножом и вилкой гость уже кое-как управлялся — неуклюже, но успешно. Ангел украдкой поглядывал на Делию, маленькую служанку. Потом, когда они сидели и щелкали орехи (что Ангелу пришлось вполне по нраву) и девушка ушла, Ангел спросил:

— Это была тоже дама?

— Как вам сказать,— ответил Викарий (Крак!) — Нет... не дама. Она служанка.

— Это видно,— сказал Ангел,— у нее и сложение более приятное.

— Не вздумайте сказать это при миссис Мендхем! — предупредил Викарий, втайне обрадованный.

— У нее не выпирает так сильно под ключицами и на бедрах, а в промежутке ее больше. И цвета ее одежд не такие несогласованные — они просто безразличные. А лицо...

— Миссис Мендхем и ее дочери играли перед тем в теннис,— сказал Викарий, сознавая, что не должен слу-

шать дурное даже о своем смертельном враге.— Вам эти штучки нравятся, эти орехи?

— Очень! — ответил Ангел. (Крак!).

— Видите ли,— продолжал Викарий (ням-ням-ням).— Сам я нимало не сомневаюсь, что вы ангел.

— Да! — сказал Ангел.

— Я вас подстрелил, я видел, как вы взлетели. Тут все бесспорно. В моем сознании. Я допускаю, что это необычно и идет вразрез с моими установившимися понятиями, но — в практическом плане — я убежден, совершенно убежден, что виденное мною я действительно видел. Но, судя по поведению моих посетителей... (Крак!) Я просто не вижу, как нам убедить людей. Люди в наш век очень уж придирчивы по части доказательств. Так что я полагаю, многое можно сказать в пользу избранной вами линии поведения. Временно хотя бы, мне думается, вам самому будет лучше действовать, как вы наметили,— по возможности держаться так, как будто вы человек. Впрочем, неизвестно, когда и как вы получите возможность вернуться. После всего приключившегося (буль, буль, буль,— Викарий наполняет свою рюмку),— после всего приключившегося я бы не удивился, когда бы у меня на глазах распались стены комнаты и воинство небесное явилось забрать вас отсюда или даже забрать нас обоих. Благодаря вам мое воображение так расширилось! Я долгие годы забывал Страну Чудес. И все-таки... Несомненно, будет умнее подготовить их постепенно.

— Ваша жизнь,— сказал Ангел,— ...Она еще темна для меня. Как вы здесь начинаетесь?

— Ах, подумать только! — вздохнул Викарий.— Еще и это объяснять! Мы свое существование начинаем, знаете, младенцами, беспомощным розовым комочком, завернутым в белое, пучеглазым, жалобно пищащим в купели. Потом младенцы подрастают, становятся даже красивыми, если их умыть. Они продолжают расти до известного размера. Они становятся детьми — мальчиками и девочками, юношами и девушками (Крак!)... молодыми мужчинами и молодыми женщинами. Это лучшая пора жизни, по мнению большинства, во всяком случае, самая красивая. Она полна великих надежд и мечтаний, смутных волнений и неожиданных опасностей.

— Это была девушка? — спросил Ангел, указав на дверь, в которую вышла Делия.

— Да,— сказал Викарий,— девушка. — И задумался.

— А потом?

— Потом,— продолжал Викарий,— очарование блекнет, и жизнь начинается всерьез. Молодые мужчины и молодые женщины разбиваются на пары—в своем большинстве. Они приходят ко мне, робкие, застенчивые, в праздничной уродливой одежде, и я венчаю их. А потом у них появляются розовенькие младенцы, и многие из прежних юношей и девушек делаются толстыми и грубыми; а другие — худыми и сварливыми; их милый румянец пропадает, они внушают себе ложную и нелепую мысль о своем превосходстве над более молодыми, и вся красота и радость уходит из их жизни. Вот они и начинают называть красоту и радость в жизни младших Иллюзией. А потом они превращаются понемногу в старые развалины.

— Превращаются в развалины? — сказал Ангел.— Как нелепо!

— Волосы у них лезут, приобретают тусклую окраску или пепельно-серую,— продолжал Викарий.— Взять, к примеру, меня.— Он нагнул голову вперед, показывая круглую сияющую лысинку величиной в флорин.— И зубы у них выпадают. Лица дряблеют, становятся сухими и морщинистыми, как печеное яблоко. Вы сказали про мое: «помятое». Они все больше думают о том, чего бы им поесть и попить, и все меньше — о прочих радостях жизни. Суставы рук и ног становятся у них вихлявыми, сердца слабеют; а бывает и так, что легкие у них выкашливаются по кусочкам. Боль...

— Ах! — простонал Ангел.

— ...Боль все верней завладевает их жизнью. И тогда они уходят. Они не хотят, но должны уходить... из мира. Уходят они очень неохотно, цепляясь под конец за самую боль его, лишь бы остаться в нем подольше...

— Куда они уходят?

— Когда-то я думал, что знаю. Но теперь я постарел и знаю, что этого я не знаю. Есть у нас легенда... а может, она и не легенда. Можно быть священнослужителем и не верить в нее. Стокс утверждает, что ничего в

ней нет...— Викарий покачал головой, печально глядя на бананы.

— А вы? — спросил Ангел.— Вы тоже были маленьким розовым младенцем?

— Не так давно и я был маленьким розовым младенцем.

— Вы были тогда одеты так же, как теперь?

— О нет! Что за дикая мысль? На мне, надо думать, как на них на всех, были длинные белые одежды.

— И потом вы стали маленьким мальчиком?

— Да. Маленьким мальчиком.

— А потом юношей в блеске красоты?

— Боюсь, я не блистал красотой. Я был хилым, был слишком беден и сердцем был робок. Я упорно учился и корпел над умирающими мыслями давно умерших людей. Так я упустил свою золотую пору, и ни одна девушка не пришла ко мне, и до времени настала скука жизни.

— А есть у вас свои маленькие розовые младенцы?

— Ни одного,— сказал Викарий после еле уловимой заминки.— Но все равно я тоже, как видите, понемногу превращаюсь в развалину. Уже и спина у меня начала клониться, точно стебель вянущего цветка. А там пройдет еще две-три тысячи дней, и я совсем одряхлею, и тогда я уйду из этого мира... Куда, я не знаю.

— И вы должны есть вот так каждый день?

— Есть, и добывать одежду, и сохранять крышу над головой. В нашем мире есть очень неприятные вещи, по названию Холод и Дождь. Прочие люди — слишком долго объяснять, как и почему,—сделали меня чем-то вроде припева в песне их жизни. Они приносят ко мне своих розовых младенцев, и я должен наречь младенцу имя и произнести известные слова над каждым новым розовым младенцем. Когда мальчики и девочки вырастают в юношей и девушек, они опять приходят, и я совершаю над ними обряд конфирмации. Со временем вы все это поймете лучше. Далее, перед тем, как они соединятся в пары и у них появятся их собственные розовые младенцы, они должны прийти ко мне вновь и прослушать то, что я прочту им из некой книги. Если девушка заведет себе розового младенца, не дав мне сперва почитать над нею минут двадцать из той моей книги, то ни одна дру-

гая девушка в деревне не захочет с нею разговаривать и она будет отверженной среди людей. Это чтение, как вы увидите, необходимо. Как ни странно вам это покажется. А позже, когда они обратятся в развалины, я стараюсь внушить им веру в некий странный мир, в который я и сам не очень верю,— мир, где жизнь совершенно отлична от той, какая им выпала на долю или какой они желали себе. Под конец же я их хороню и читаю из моей книги для тех, кому тоже скоро настанет черед уйти в неведомый край. Я стою подле них на заре, и в полдень, и на закате их жизни. И каждый седьмой день я, который и сам — человек, я, который не вижу дальше, чем они, говорю им о Жизни Грядущей, о жизни, про которую мы ничего не знаем. Если только она вообще существует. И, ее предвещая, сам я медленно превращаюсь в развалину.

— Какая странная жизнь! — сказал Ангел.

— Да,— повторил Викарий.— Какая странная жизнь! Но то, что делает ее странной для меня, возникло лишь совсем недавно. Я принимал в ней все как должное, пока в мою жизнь не вступили вы.

— ...В нашей жизни все так настоятельно,— продолжал Викарий.— Своими мелкими нуждами, преходящими усладами своими (Крак!) она опутывает наши души. Пока я проповедую этим моим людям о жизни иной, одни из них ублажают свое тело и жуют сласти, другие — те, что постарше,— дремлют, юноши поглядывают на девушек, солидные отцы семейств выставляют напоказ белые жилеты и золотые цепочки, тщеславие свое и чванство, воплощенное в реальную сущность; их жены кичатся друг перед дружкой кричащими шляпками. А я бубню и бубню о вещах незримых и нереальных. «Да не увидят глазами,—я читаю,—и не услышат ушами, и сердцем не уразумеют»,— и я поднимаю взгляд и ловлю какого-нибудь бессмертного зрелого мужа на том, как он потихоньку любуется ловко сидящей на его руке перчаткой ценою в три с половиной шиллинга пара. Так за годом год все в тебе приглушается. В молодости я, когда болел, то чувствовал как нечто почти зримо достоверное, что под этим преходящим и призрачным миром есть другой, реальный мир — непреходящий мир Жизни Вечной. А теперь...— Он посмотрел на пальцы своей пухлой бе-

лой руки, играющие на ножке рюмки.— Я с того времени оброс жирком,— сказал он. (Пауза.)

Я сильно изменился и преобразился. Борьба Плоти и Духа меня не смущает, как бывало. Я с каждым днем все меньше верю в свою религию и больше верю в бога. Я живу, боюсь я, слишком успокоенной жизнью, честно отправляю требы, занимаюсь понемножку орнитологией, понемножку шахматами, балуюсь математическими пустячками... Дни мои в его руце...

Викарий вздохнул и задумался. Ангел глядел на него, и в глазах Ангела отразилось смятение перед загадкой Викария. «Буль-буль-буль»,— шло из графина: Викарий снова наполнял свою рюмку.

XIX

Так Ангел обедал и беседовал с Викарием, и вот надвинулась ночь, и его стала одолевать зевота.

— Уаа-о! — произнес вдруг Ангел.— Что со мной? Какая-то высшая сила словно вдруг растянула мне рот, и большой глоток воздуха сам вошел мне в горло.

— Вы зевнули,— сказал Викарий.— У вас в ангельской стране никогда не зевают?

— Никогда,— сказал Ангел.

— Хоть вы и бессмертны!.. Я думаю, вам пора идти спать.

— Идти спать? — удивился Ангел.— А куда?

Пришлось объяснить ему про темноту и про искусство укладываться спать (ангелы, оказывается, спят только затем, чтобы видеть сны, и сны они смотрят, как первобытный человек, уткнув лоб в колени. Спят они днем, в жару, на лугах, усыпанных белыми маками). Спальные принадлежности показались Ангелу довольно нелепой затеей.

— Почему все приподнято на высоких деревянных ножках? — сказал он.— У вас же есть пол, а вы еще кладете все, что вам нужно, на деревянное четвероногое. Зачем?

Викарий объяснил философски туманно. Ангел обжег палец о пламя свечи и обнаружил полное незнание элементарных законов горения. Ему даже очень понрави-

лось, когда язычок огня побежал вверх по занавесям. Погасив пожар, Викарий должен был тут же прочитать лекцию об огне. Пришлось дать еще целый ряд всевозможных разъяснений, их потребовало даже мыло. Прошло не меньше часа, пока Ангела удалось благополучно уложить в постель.

— Он очень красив,— сказал Викарий, когда, вконец измученный, сошел вниз.— И он, несомненно, настоящий Ангел. Но боюсь, с ним все-таки будет тьма хлопот, пока он освоится с нашим земным укладом жизни.

Он был, казалось, сильно обеспокоен. Даже угостился лишней рюмкой хереса, перед тем как убрать вино в шкафчик.

XX

Помощник Викария стоял перед зеркалом и торжественно отстегивал свой воротник.

— Я в жизни не слышала более фантастической выдумки,— отозвалась миссис Мендхем из своего плетеного кресла.— Он, несомненно, сумасшедший. Ты уверен, что...

— Абсолютно, моя дорогая. Я передал тебе все, как было,— каждое слово, каждую мелочь.

— Превосходно! — сказала миссис Мендхем.— Тут же нет ни капли смысла.

— Вот именно, моя дорогая.

— Викарий,— сказала миссис Мендхем,— несомненно, сошел с ума.

— Этот горбун—положительно самый странный субъект из всех, кого я встречал на протяжении многих лет. С виду иностранец — круглое с ярким румянцем лицо и длинные каштановые волосы... Он не подстригал их, верно, несколько месяцев! — Мендхем аккуратно положил запонки на полочку туалетного стола.— Пялит на вас глаза и жеманно улыбается. Сразу видно, что глуп. И какой-то женственный.

— Но кем он может быть? — сказала миссис Мендхем.

— Не представляю себе, моя дорогая, ни кто он, ни откуда взялся. Бродячий певец, возможно, или что-нибудь в этом роде.

— Но как он мог очутиться возле тех кустов... в таком ужасном наряде?

— Не знаю. Викарий не дал мне никакого объяснения. Он просто сказал: «Мендхем, это ангел».

— А не стал ли он попивать?.. Они, допустим, могли купаться, где-нибудь около источника,— гадала миссис Мендхем.— Но я не заметила, чтобы он нес на руке остальную одежду.

Помощник Викария сел на кровать и принялся расшнуровывать свои башмаки.

— Для меня все это непроницаемая тайна, моя дорогая. (Шнурки — *флип, флип.*) Галлюцинация — вот единственное милосердное предполо...

— Ты уверен, Джордж, что это не была женщина?

— Абсолютно,— сказал Помощник Викария.

— Я, конечно, знаю, каковы мужчины.

— Это молодой человек лет девятнадцати, двадцати,— сказал Помощник Викария.

— Не понимаю,— сказала миссис Мендхем.— Ты говоришь, этот субъект гостит у Викария.

— Хильер просто сошел с ума,— провозгласил Помощник Викария. Он встал и прошлепал в носках через всю комнату к двери, чтобы выставить башмаки в коридор.— Судя по его тону, он как будто и в самом деле верит, что его калека — ангел. (Ты свои туфли выставила, дорогая?)

— (Они там, у гардероба.) Он был всегда немножко, знаешь, чудаковат. В нем есть что-то детское... Но — ангел!

Ее супруг вернулся и стоял у огня, завозившись с подтяжками. Миссис Мендхем любила, чтобы и летом топился камин.

— Он уклоняется от всех серьезных жизненных проблем и вечно носится с каким-нибудь новым сумасбродством,— сказал Помощник Викария.— Ведь это ж надо — ангел! — Он рассмеялся.— Нет, Хильер — несомненно сумасшедший! — сказал он.

Миссис Мендхем тоже рассмеялась.

— Но это все-таки не объясняет, откуда взялся горбун.

— Горбун, верно, тоже сумасшедший,— решил Мендхем.

— Единственное разумное объяснение,— сказала миссис Мендхем. (Пауза.)

— Ангел или не ангел,— сказала миссис Мендхем,— я знаю, чего я вправе требовать. Предположим даже, человек искренне думал, что находится в обществе ангела,— это еще не причина, чтобы он не вел себя, как джентльмен.

— Совершенно верно.

— Ты, конечно, напишешь епископу?

Супруг кашлянул.

— Нет, епископу я писать не стану,— сказал супруг.— Это, мне кажется, будет выглядеть не совсем лояльно... К тому же он, ты знаешь, оставил без внимания мое последнее письмо.

— Но разве...

— Я напишу Остину. Под секретом. А он, ты знаешь, непременно передаст епископу. И ты не должна забывать, моя дорогая...

— ...что Хильер может дать тебе расчет? Мой дорогой, для этого он слишком безволен! Я тогда поговорю с ним сама! А кроме того, ты же исполняешь за него всю его работу. Фактически весь приход целиком у нас на руках. Не знаю, до чего бы дошли наши бедняки, если бы не я! Да он их завтра же всех поселил бы бесплатно у себя в доме! Взять хоть эту медоточивую Ансель...

— Я знаю, моя дорогая,— перебил Помощник Викария, отвернувшись и продолжая разоблачаться.— Ты мне рассказывала про нее не далее, как сегодня перед обедом.

XXI

Поднявшись в тесную спаленку на чердаке, мы добрались в нашей повести до места, где можно наконец отдохнуть. И так как мы изрядно поусердствовали, развертывая перед вами события, будет, пожалуй, неплохо остановиться и подвести итог.

Оглянувшись, вы увидите, что сделано немало: мы начали с сияния—«не сплошного и ровного, а повсюду прорезаемого зигзагами огненных вспышек, подобных взмахам сабель»,— и могучего пения арф, и пришествия Ангела на многоцветных крыльях.

Быстро и ловко, как не может не признать читатель, крылья были подрезаны, нимб сорван, блистательная красота запрятана под сюртук и панталоны, и Ангел практически превратился в человека, состоящего под подозрением, что он то ли помешанный, то ли шарлатан. Вы слышали также, или, во всяком случае, получили представление, как судили о странном госте Викарий, и Доктор, и Жена Помощника Викария. Далее вы узнаете еще немало примечательных суждений.

Отблески летнего заката на северо-западе угасли в ночи, и Ангел спит, и снится ему, что он снова в чудесном мире, где всегда светло и каждый счастлив, где огонь не жжет и лед не студен; где звездный свет струится ручейками среди неувядаемых пурпуровых цветов к морям Безмятежного Покоя. Он спит и видит во сне, что вновь его крылья пылают тысячью красок и несут его по кристальному воздуху мира, откуда он пришел.

Он спит и видит сны. Но Викарий, слишком встревоженный, лежит и не может уснуть. Больше всего его смущают великие возможности миссис Мендхем; однако вечерний разговор открыл перед его разумом странные горизонты, и он взволнован ощущением, будто он смутно, полузрячим взором увидел кое-что от незримого доселе мира чудес, лежащего вокруг нашего мира. Двадцать лет — с тех пор, как получил этот приход,— он тут жил в деревне повседневной жизнью, защищенный своей привычной верой и шумом житейских мелочей от всяких мистических снов. Но теперь, переплетаясь с привычной досадой на докучное вмешательство ближнего, возникло до сих пор совершенно ему незнакомое чувство соприкосновения с какими-то странно новыми явлениями.

Было в этом чувстве что-то зловещее. Даже была минута, когда оно взяло верх над всеми прочими соображениями, и Викарий в ужасе вскочил с кровати, весьма убедительно ушиб коленку, нашарил наконец коробок со спичками и зажег свечу, чтобы вернуть себе веру и реальность своего обыденного мира. Но в общем наиболее ощутимо давила мысль о миссис Мендхем, об этой неотвратимой лавине! Ее язык, казалось, навис над ним дамокловым мечом. Чего только она не наговорит по этому поводу, покуда не иссякнет ее негодующая фантазия!

А пока счастливый пленитель Странной Птицы напрасно старался уснуть, Галли из Сиддертона осторожно разряжал свою двустволку после утомительного и бесплодного дня, а Сэнди Брайт, преклонив колени, молился, не преминув тщательно запереть окно. Энни Дерган крепко спала с раскрытым настежь ртом, а мать непутевой Эмори стирала во сне чужое белье, и обе они еще задолго до сна полностью исчерпали тему о Струнах арфы и о Сиянии. Дерган Недоумок сидел в постели, то мурлыча обрывки мелодии, то напряженно прислушиваясь, не зазвучат ли звуки, которые он слышал раз и жаждал услышать вновь. Ну, а конторщик нотариуса из Айпинг-Хенгера — тот бился над стихами в честь продавщицы из портбердокской кондитерской и начисто забыл о Странной Птице. А вот батрак, который видел ее у ограды Сиддермортон-парка, приобрел фонарь под глазом. Это явилось наиболее вещественным следствием небольшого спора в «Корабле» о птичьих ногах. Происшествие заслуживает (хотя бы и такого беглого) упоминания, поскольку оно, по-видимому, представляет собою единственный достоверный случай, когда ангел оказался виновником чего-либо подобного.

НАУТРО

XXII

Зайдя разбудить Ангела, Викарий увидел, что тот уже одет и стоит, глядя в окно. Было дивное утро, роса еще не сошла, из-за угла дома косые лучи восходящего солнца били, желтые и горячие, в склон холма. Птицы уже всполошились в живой изгороди и в зарослях кустов. Вверх по склону — как-никак был уже август месяц — медленно полз плуг. Ангел подпер подбородок обеими руками и не обернулся, когда Викарий подошел к нему.

— Как крыло? — спросил Викарий.

— Я о нем забыл,— ответил Ангел.— Этот там — человек?

Викарий посмотрел.

— Это пахарь.

— Почему он ходит так взад и вперед? Ему это нравится?

— Он пашет. В этом его работа.

— Работа! А зачем он ее делает? Она так однообразна — разве это не скучно?

— Скучно,— согласился Викарий.— Но ему надо ее делать, чтобы... понимаете... заработать на жизнь. Получить еду и всякое такое.

— Как странно! — удивился Ангел.— Люди все должны это делать? И вы?

— О нет. Он работает за меня. Исполняет мою долю работы.

— А почему? — спросил Ангел.

— О! В уплату за все то, что я, знаете ли, делаю для него. Мы в нашем мире полагаем справедливым разделение труда. Обмен не грабеж.

— Понимаю,— молвил Ангел, все еще следуя взглядом за тяжелыми движениями пахаря.

— А вы что делаете для него?

— Вам кажется, это легкий вопрос,— сказал Викарий,— а на деле он... куда как труден! Наше общественное устройство очень сложно. Невозможно так вот на ходу, перед завтраком, объяснить все эти вещи. Вы разве не голодны?

— Да, как будто,— медленно проговорил Ангел, не отходя от окна, и резко вдруг добавил: — Все же не могу я не думать о том, что пахать, наверно, совсем не весело.

— Возможно,— сказал Викарий,— очень возможно. Но завтрак подан. Вы не сойдете вниз?

Ангел нехотя отошел от окна.

— Наше общество,— объяснил Викарий на лестнице,— сложный организм.

— Да?

— И в нем так установлено, что одни делают одно, другие — другое.

— И пока мы с вами будем есть, тот худой, сутулый, старый человек так и будет плестись за тем тяжелым железным резаком, который волочит пара лошадей?

— Да. Вы скоро убедитесь, что это совершенно правильно. А, грибочки и яйцо-пашот! Такова социальная система! Садитесь, прошу! Может быть, вам она представляется несправедливой?

— Мне все это непонятно,— молвил Ангел.

— Напиток, который я вам предлагаю, называется *кофе*,— сказал Викарий.— Это естественно. Когда я был молодым человеком, мне тоже многое казалось непонятным. Но позднее приходит Более Широкий Взгляд на Вещи. (Эти черные штучки называются грибами; с виду они превосходны!) Побочные Соображения. Все люди — братья, конечно, но иные из них, так сказать, младшие братья. Есть работа, требующая культуры и утонченности, есть и другая, при которой утонченность и культура явились бы помехой. И не следует забывать о праве собственности. Должно воздавать кесарю... Знаете, чем разъяснять сейчас эти материи (отведайте этого), я, пожалуй, дам вам лучше почитать одну книжечку (ням, ням, ням — грибочки на вкус не хуже, чем на вид), в которой это все изложено очень ясно и просто.

СКРИПКА

XXIII

После завтрака Викарий прошел в маленькую комнату рядом с кабинетом отыскать для Ангела книжку по политической экономии. Ибо невежество Ангела в социальных вопросах было не пробить никакими устными разъяснениями. Дверь оставалась открыта.

— Что это? — сказал Ангел, войдя за ним следом.— Скрипка! — Он снял ее.

— Вы играете? — спросил Викарий.

Ангел уже держал в руке смычок и вместо ответа провел им по струнам. Звук был так хорош, что Викарий сразу обернулся.

Ангел крепче стиснул рукою гриф. Смычок пролетел обратно, заколыхался, и мелодия, которой Викарий никогда в своей жизни не слышал, заплясала в его ушах. Ангел продвинул скрипку под свой изящный подбородок и продолжал играть, и, пока он играл, его глаза светились все ясней, а губы улыбались. Сперва он смотрел на Викария, потом его лицо приняло отсутствующее выражение. Казалось, он смотрит уже не на Викария, а сквозь него, на что-то постороннее, что-то, что жило в его памя-

ти, в его воображении, что-то бесконечно далекое, дотоле невиданное и во сне...

Викарий пытался следить за музыкой. Мелодия казалась подобной огню, она налетала, сияла, искрилась и плясала, проносилась и появлялась вновь. Нет!.. Не появлялась! Другая мелодия, схожая и несхожая с прежней, взвивалась вслед за той, колыхалась, исчезала. Потом еще одна — та же и не та. Было похоже на трепетные языки огня, что вспыхивают попеременно над только что разведенным костром. «Здесь две мелодии — или два мотива — как верней?» — думал Викарий. Надо сказать, он удивительно мало смыслил в музыкальной технике. Гонясь друг за другом, мелодии, танцуя, уносились ввысь из костра заклинаний — гонясь, колыхаясь, крутясь — в высокое небо. Внизу разгорался костер, пламя без топлива, на ровном месте, и две резвящихся бабочки звука, танцуя, уносились от него, уносились ввысь, одна над другой, стремительные, порывистые, неотчетливые.

«Две резвящихся бабочки — вот что это было!» О чем думает Викарий? Где он? Ну конечно же, в маленькой комнате рядом с кабинетом! И Ангел стоит напротив и улыбается ему, играя на скрипке и глядя сквозь него, точно он не более как окно... Опять тот мотив — желтое пламя, в бурном порыве расходящееся веером; сперва один, и за ним, взметнувшись быстрым наплывом, другой. Снова два создания из огня и света, гонясь друг за другом, уносятся ввысь, в этот светлый безмерный простор.

Кабинет и вся реальность жизни вдруг поблекли перед глазами Викария, становились все прозрачней, как расплывающийся в воздухе туман; и он с Ангелом уже стоят рядом на самой вершине творимой башни музыки, вокруг которой кружили сверкающие мелодии, исчезали, появлялись опять. Он был в стране красоты, и вновь, как вначале, блеск небес озарял лицо Ангела и жаркая радость красок билась в его крыльях. Себя самого Викарий видеть не мог. Но я не берусь описать вам видение этой великой и широкой земли, ее невообразимую незамкнутость, и высоту, и благородство. Там ведь нет пространства, подобного нашему, нет и времени, каким мы его знаем; пришлось бы, хочешь не хочешь, говорить путаными метафорами и с досадой в конце кон-

цов признаться в своем бессилии. И было это всего лишь видением. Чудесные создания, носившиеся в эфире, не видели их, стоявших там, на башне, и пролетали сквозь них, как можно пройти сквозь туман. Викарий утратил всякое ощущение длительности, всякое понятие о необходимости...

— Ах! — сказал Ангел и вдруг опустил скрипку.

Викарий забыл о книжке по политической экономии, забыл обо всем, покуда Ангел не кончил. Минуту он сидел притихший. Потом, вздрогнув, очнулся. Он сидел на старом с железной оковкой сундуке.

— Да,— сказал он медленно,— вы, оказывается, большой искусник.— Он растерянно посмотрел вокруг.— У меня, пока вы играли, было как бы видение. Мне чудилось, будто я вижу... Что же я видел? Пронеслось! — Он стоял, точно ослепленный ярким светом.— Я больше никогда не буду играть на скрипке,—сказал он.—Я вас прошу, унесите скрипку в вашу комнату... и возьмите ее себе... И порой играйте для меня. Я совсем не знал, что такое музыка, пока не услышал вашу игру. У меня такое чувство, точно до этого дня я никогда и не слышал музыки.— Он смотрел на Ангела во все глаза, потом обвел взглядом комнату.— Раньше, слушая музыку, я никогда ничего подобного не чувствовал,— сказал он. И покачал головой.— Больше я никогда не буду играть.

АНГЕЛ ИССЛЕДУЕТ ДЕРЕВНЮ

XXIV

Викарий — полагаю, очень неразумно — позволил Ангелу одному пойти в деревню, чтобы расширить свои представления о человечестве. Неразумно, ибо разве мог он представить себе, какой прием встретит там Ангел? Неразумно, но, боюсь, не безраздумно. В деревне он всегда держался с достоинством, он и помыслить не мог о том, чтобы ему пройтись вдвоем со своим гостем по улочке,— тот непременно станет обо всем расспрашивать и указывать пальцем, а он, Викарий, должен будет объяснять. Ангел может повести себя странно — а в деревне уж непременно вообразят что-нибудь и вовсе дикое. Будут смо-

треть на них во все глаза: «Кто это с ним?» К тому же разве долг не велит ему заблаговременно заняться своей проповедью? И вот, получив необходимые наставления, Ангел бодро отправился в путь один, еще ничего почти не ведая об особенностях, отличающих человеческий образ мыслей от ангельского.

Ангел медленно брел, заложив белые руки за свою горбатую спину. Он пытливо заглядывал в глаза каждому встречному. Маленькая девочка, рвавшая жимолость и вику, поглядела ему в лицо, потом подошла и вложила ему в руку свой букетик. Это был пока, пожалуй, единственный случай, когда кто-либо из людей (не считая Викария и еще одного существа) отнесся к нему с добротой. Потом, проходя мимо домика матушки Гестик, он услышал, как та бранила свою внучку.

— Ах ты наглая дрянь!—кричала матушка Гестик.— Щеголиха бесстыжая!— Ангел остановился, пораженный странным звучанием голоса матушки Гестик.— Вырядилась в лучшее платье, в шляпу с пером, и шасть со двора — фу-ты, ну-ты! — к своим кавалерам, а я тут работай на нее, как каторжная! Корчишь из себя барыню, голубушка моя, а сама шлюха шлюхой: тебе один шаг до гибели. Лень да франтовство до добра не доведут!

Голос внезапно смолк, и в сотрясенном воздухе разлилась благостная тишина.

— Как дико и нелепо! — сказал Ангел, не сводя глаз с удивительного ларчика раздора. — Кого-то корчат! — Он не знал, что матушка Гестик вдруг обнаружила его присутствие и рассматривает его сквозь щели в ставне. Но вдруг дверь распахнулась, и старуха уставилась Ангелу в лицо. Странное явление: пыльные седые волосы и грязное розовое платье, расстегнутое спереди будто нарочно затем, чтобы выставить напоказ дряблую шею и грудь,— ржавая водосточная труба, которая вот-вот станет изрыгать непостижимую ругань.

— Так-то, сударь,—начала миссис Гестик.— Больше вам и делать нечего, как подслушивать у чужих дверей, сплетни собирать?

Ангел недоуменно смотрел на нее.

— Ишь ты как! — продолжала миссис Гестик, видно, и в самом деле очень рассерженная.— Подслушивать!

— Если вам не нравится, что я вас слушаю...

— Не нравится, что он слушает! Еще бы мне это нравилось! Что вы в самом деле думаете? Ишь, простачок нашелся!..

— Но если вы не хотели, чтобы я вас слышал, зачем вы так громко кричали? Я подумал...

— Он подумал! Дурак безмозглый, вот ты кто! Дурень пучеглазый. Что, не придумал ничего умней, как стоять, разиня свое поганое хайло — авось, что и попадет в него! А потом побежишь разносить по деревне! Ах ты жирная рожа, чурбан, разносчик сплетен! Уж я бы так постыдилась рыскать и подглядывать вокруг домов, где живут приличные люди...

Ангел с удивлением открыл, что какая-то неизъяснимая особенность ее голоса вызывает в нем крайне неприятные ощущения и сильное желание удалиться. Но, перебарывая себя, он стоял и вежливо слушал (как принято слушать в Ангельской Стране, пока другой говорит). Весь в целом этот взрыв был для него непонятен. Было непостижимо, по какой причине внезапно выдвинулась — так сказать, из бесконечности — эта исступленная голова. И он никак не представлял себе — весь его прежний опыт это исключал,— что можно задавать вопрос за вопросом, не дожидаясь ответов.

Ни на миг не прерывая свою цветистую речь, миссис Гестик заверила его, что он не джентльмен, спросила, не называет ли он себя таковым, отметила, что в наши дни это делает каждый проходимец, сравнила его с раскормленной свиньей, удивилась его бесстыдству, справилась, не совестно ли ему перед самим собой стоять тут у дверей, осведомилась, не врос ли он в землю, полюбопытствовала, что он этим хочет доказать, пожелала узнать, не обворовал ли он огородное пугало, чтобы напялить на себя его наряд, высказала догадку, что на такое поведение его толкает непомерное тщеславие, поинтересовалась, знает ли его мамаша, что он вышел погулять, добавила в заключение: «У меня, голубчик, кое-что найдется, чтобы сдвинуть вас с места!» — и скрылась, яростно хлопнув дверью.

Наступившая временно тишина показалась Ангелу поразительно мирной. Голова шла у него кругом, но теперь он наконец получил возможность разобраться в своих

новых ощущениях. Он перестал улыбаться и кланяться и только стоял в удивлении.

— Какое-то странное чувство, сродное боли,— сказал Ангел.— Чуть ли не хуже, чем голод, и совсем непохоже на него. Когда ты голоден, хочется есть. Она, я полагаю, была женщиной. Так и хочется удалиться. Полагаю, мне можно уйти сейчас же?

Он неторопливо повернулся и, задумавшись, пошел дальше. Он услышал, как дверь домика снова распахнулась, и, оглянувшись, увидел сквозь алый заслон вьюна матушку Гестик, державшую в руках кастрюлю с горячим отваром из-под капусты.

— Хорошо сделали, что ушли, мистер Укради Штаны,— донесся через пурпур вьюна голос миссис Гестик.— Только не вздумайте прийти опять и рыскать вокруг дома, а не то я вас научу приличным манерам, уж поверьте!

Ангел остановился в полной растерянности. У него и в мыслях не было когда-либо опять подойти к этому дому. Он не понимал точного назначения черного сосуда, но общее впечатление было крайне неприятным. И ничем нельзя было это объяснить.

— Я всерьез! — говорил крещендо голос миссис Гестик.— А, чтоб тебя!.. Я всерьез!

Ангел отвернулся и пошел дальше с недоумением в глазах.

— Она очень смешная! — сказал Ангел.—Очень! Куда смешней того человечка в черном. И она говорит, что она всерьез... А что «всерьез», я не знаю!..—Он умолк.— А другие разве у них не всерьез?..— сказал он наконец все с тем же недоумением.

XXV

Ангел издалека завидел кузницу, где брат Сэнди Брайта подковывал лошадь возчика из Апмортона. Возле кузницы стояли два неуклюжих подростка и глазели по-бычьи на работу кузнеца. Когда Ангел подошел ближе, эти двое, а затем и возчик медленно повернули головы (под углом в тридцать градусов) и стали следить

за его приближением, уставив на него спокойный и неподвижный взгляд. Их лица выражали безразличное любопытство.

Впервые в жизни Ангел почувствовал неловкость оттого, что на него глядят. Он подошел, стараясь сохранить на лице любезное выражение, но тщетно: оно было бессильно сломить этот гранитный взгляд. Руки он держал за спиной. Он приветливо улыбался, с любопытством глядя на непонятное (для Ангела) занятие кузнеца. Но батарея глаз норовила перехватить его взгляд. Стараясь встретить все три пары глаз сразу, Ангел утратил легкость поступи и споткнулся о камень. Один подросток насмешливо хихикнул и, охваченный смущением под вопрошающим взором Ангела, тут же, чтобы прикрыть внутреннее беспокойство, подтолкнул второго подростка локтем в бок. Никто не заговаривал, промолчал и Ангел.

Но едва Ангел прошел мимо, один из тех троих в вызывающем тоне промычал такой мотив:



Затем все трое расхохотались. Попробовал и другой что-то спеть, но почувствовал, что должен сперва отхаркаться. Ангел проследовал дальше своим путем.

— Это кто ж такой? — сказал второй подросток.

«Бинг, бинг, бинг»,— выстукивал молоток кузнеца.

— Не иначе как иностранец,— сказал возчик из Апмортона.— Сразу видно, что дурак, че-орт его возьми.

— А иностранцы всегда дураки,— мудро рассудил первый подросток.

— У него, похоже, горб на спине! — сказал возчик из Апмортона.— Че-оорт меня подери, если не так.

Снова установилось нерушимое молчание, и все трое пустым, ничего не выражающим взглядом провожали удалявшуюся фигуру Ангела.

— Очень похоже на горб,— сказал возчик после нескончаемо долгой паузы.

XXVI

Ангел шел дальше по деревне, и все ему казалось удивительным. «*Они начинаются, проходит короткое время, и они кончаются,*— говорил он сам с собой недоуменным голосом.— Но что же они делают в промежутке?» — Он услышал раз, как невидимый рот пел невнятные слова на тот мотив, что промычал человек возле кузницы.

— Это тот несчастный, которого Викарий подстрелил из своей двустволки,— сказала Сара Глу (Приходские дома, №1), рассматривая его поверх жалюзи.

— Похож на француза,— сказала Сьюзен Хопер, глядя в просветы этой удобной ширмы для любопытства.

— У него такие милые глаза,— сказала Сара Глу, на одно мгновение перехватив их взгляд.

Ангел продолжал свою прогулку. Мимо шел почтальон и в знак привета приложил руку к козырьку; дальше он увидел спящую на припеке собаку. Ангел миновал ее и увидел Мендхема, который холодно кивнул ему и поспешил пройти мимо. (Помощник Викария не хотел, чтобы его видели в деревне разговаривающим с Ангелом, пока не выяснится, что это за личность.) Потом из одного дома донесся визг раскапризничавшегося ребенка, что Ангела и вовсе озадачило. Затем Ангел вышел на мост за последним домом деревни и здесь, склонившись над перилами, загляделся на сверкание маленького водопада у мельницы.

— Они начинаются, проходит короткое время, и они кончаются,— говорила мельничная запруда. Вода убегала под мост, зеленая и темная, исполосованная пеной.

За мельницей поднимала ввысь свою прямоугольную колокольню церковь с погостом позади, волна могильных камней и деревянных надгробий расплескалась по склону холма. Картину обрамляли шесть или семь буков.

Ангел услышал за спиной шарканье ног, скрип колеса и, повернув голову, увидел человека в грязных бурых лохмотьях и фетровой, серой от пыли шляпе. Он стоял, слегка покачиваясь, и пристально смотрел Ангелу в спину. Позади него другой, почти такой же грязный человек катил по мосту на тачке точильный станок.

— Здрасс... — сказал первый, чуть улыбнувшись,— с добрым ...ут-т...— Он сдерживал вырывавшуюся икоту.

Ангел остановил на нем взгляд. Он еще никогда не видел такой совсем уж бессмысленной улыбки.

— Кто вы? — сказал Ангел.

Бессмысленная улыбка исчезла.

— А к-какое вам дело, кто я? Ддобб... утро...

— Идем-идем! — сказал, поравнявшись с ним, человек с точильным станком.

— Й-я гговорю «ддоб-б... утро»,— сказал оборванец с обидой в голосе.— Не можете ответить?

— Идем-идем, дурак! — сказал, двинувшись дальше, человек со станком.

— Я не понимаю,— сказал Ангел.

— Нне понима... Да просто — ик! Я сказал: доб-б-б у-ут... Нне жжела... ик! отвечать? Не жжела...? Дженмен... г-грит дженмену «с добрым у-ут...» Положено отвечать. Вы не джентльмен. Придется поучить.

Ангел был озадачен. Минуту пьяный стоял, покачиваясь, потом неуверенно снял с себя шляпу и швырнул ее Ангелу под ноги.

— Оч-чч хорошо! — сказал он таким тоном, точно принял важное решение.

— Идем-идем! — донесся голос человека со станком, откатившего свою тачку на добрых двадцать ярдов.

— Не х-х-хочешь драться, эх ты...— Ангел не разобрал сло́ва.

— Й-йя те покажу, как не отвечать дж-мену на «добр... утро».

Он принялся стаскивать с себя куртку.

— Думаешь, я пьян?— сказал он.— Я те покажу!

Человек со станком присел на край тачки и приготовился наблюдать.

— Идем-иде-ом! — сказал он.

Куртка завернулась, и пьяный топтался на месте, пытаясь выпутаться из нее и выкрикивая угрозы и ругань. Понемногу Ангел начал подозревать, пока еще довольно смутно, что эти подготовления носят враждебный характер.

— Рродная ммать не уззнает тебя, так я тебя разделаю! — сказал пьяный, закинув куртку чуть не на голову.

Наконец одежка оказалась на земле, и пьяный точильщик позволил внимательному глазу Ангела разглядеть сквозь частые прорехи в останках жилета прекрасное, волосатое и мускулистое, тело. Он с молодецким видом выпятил грудь.

— Хочешь, сорву с тебя кочерыжку, а? — предложил пьяный и сделал шаг вперед и шаг назад, подняв кулаки и оттопырив локти.

— Валяй, пошли,— донеслось с дороги.

Внимание Ангела сосредоточилось на паре огромных, волосатых черных кулаков, которые раскачивались, то надвигаясь, то отступая.

— Валяй, говоришь? Йя ему покажу! — сказал джентльмен в лохмотьях и затем с предельной свирепостью: — Голубчик ты мой! Я т-те покажу!

Он вдруг рванулся вперед, и Ангел, повинуясь новорожденному инстинкту, отступил на шаг и, чтобы избежать удара, даже заслонил рукой лицо. Кулак прошел на волосок от ангельского плеча, и точильщик грудой лохмотьев повалился наземь, упершись лбом в перила моста. Ангел с полминуты стоял в колебании над дергающейся в судороге грязной кучей богохульства, потом повернулся к ждавшему на дороге товарищу своего противника.

— Ддай мне только встать, — сказал человек на мосту.— Дай мне встать, и я те покажу, скотина! Я те покажу!

Странная неприязнь, судорога отвращения охватила Ангела. Он медленно побрел прочь от пьяного к человеку с точильным станком.

— Что все это значит?— сказал Ангел.— Я не понимаю.

— Дурак он паршивый!.. Говорит, у него серебряная свадьба,— досадливо ответил человек со станком и с возросшим нетерпением в голосе еще раз закричал в сторону моста: — Иде-ом!

— Серебряная свадьба! — повторил Ангел.— Что это такое, серебряная свадьба?

— А, чистый вздор,— сказал человек на тачке.— Он всегда найдет, на что сослаться. С души воротит. На той неделе был день его рождения, будь он неладен, а перед

тем он никак не мог протрезвиться после выпивки в честь моей новой тачки. (Да идем же, дурень!)

— Но я не понимаю,— сказал Ангел,— почему он так шатается? Почему он все старается поднять свою шляпу и никак не поднимет?

— Почему? — сказал точильщик.— Есть же еще на свете такие, черт их возьми, невинные дитяти! Почему? Да потому, что нализался! А то с чего бы? Идем же... чертов болван. Потому что пьян в дым. Вот почему!

По тону голоса второго точильщика Ангел рассудил, что разумней будет воздержаться от новых расспросов. Но он стоял у его тачки и продолжал наблюдать за таинственными маневрами на мосту.

— Иде-ом! Эх, видать, придется мне пойти самому и поднять ему эту шляпу... ну просто беда мне с ним. Никогда еще у меня не было такого паршивого напарника. Беда мне с ним, да и только.

Человек с тачкой призадумался.

— Добро бы он был джентльмен и не должен был бы зарабатывать себе кусок хлеба. И ведь такой дурак. Как хватит малость, так ему удержу нет. Задирает каждого встречного. (Наконец-то пошел!) Провались я на месте, если он не собрался драться со всей Армией Спасения, будь она неладна! Совсем разума нет у человека. (Эгей! Идем-иде-о-ом! Иде-ом!) Нет, придется мне все-таки сходить за его шляпой, будь она неладна! Сколько хлопот доставляет, а ему хоть бы что!

Второй точильщик вернулся на мост и, любовно чертыхаясь, помог первому надеть шляпу и куртку. Ангел все глядел на них. Потом, в полном недоумении перед столькими тайнами, двинулся назад в деревню.

XXVII

После этой встречи Ангел прошел мимо мельницы и, обогнув церковь, направился осмотреть надгробья.

— Это как будто место, куда они складывают обломки развалин,— сказал Ангел, читая надписи.— Любопытное слово — «Вдовица» — «Resurgam»...[1] Значит, они

---

[1] Восстану из мертвых (*лат.*).

не вовсе уничтожаются. И такая огромная понадобилась куча, чтобы удержать ее под землей... Какая сила духа!

— Хокинс! — тихо молвил Ангел...— Хокинс? Имя мне незнакомо... Он, значит, не умер — ясно же: «Приобщился Сонму Ангелов 17-го мая 1863 г.». Ему, верно, было здесь, внизу, так же неуютно, как мне. Но не пойму, зачем на памятник поставили сверху эту штуку вроде горшка. Любопытно! Тут кругом еще несколько таких же — каменные горшочки, а над ними обрывки застывшего каменного покрывала.

Из Народного училища высыпала ватага мальчишек, и сперва один, а за ним и несколько других остановились, разиня рот, при виде черной сгорбленной фигуры Ангела среди белых надгробных камней.

— А у него горб на спине! — заметил маленький критик.

— Волосы-то как у девчонки! — сказал второй.

Ангел обернулся на их голоса. Его поразил странный вид смешных маленьких голов, торчавших по замшелой стене. Он тихо улыбнулся глазевшим на него личикам и, отвернувшись, снова засмотрелся на чугунную решетку вокруг могилы Фитц-Джарвиса. «Странно, какое чувство недоверия,— сказал он.— Плиты, груды камней, эти решетки... Боятся они?.. Или мертвые иногда пытаются встать? Их как будто хотят придавить... строят укрепления...»

— Остриги волосья, остриги волосья,— запели хором трое мальчуганов.

— И чудные они, люди! — сказал Ангел.— Вчера тот мужчина хотел спилить мне крылья, сейчас эти маленькие создания хотят отрезать мне волосы! А тот человек на мосту предложил сорвать с меня «кочерыжку». Еще немного, и они ничего от меня не оставят.

— Где нашел ты эту шляпу? — пел другой мальчуган.— Где ты взял свой балахон?

— Они задают вопросы, но ответы им, видимо, не нужны,— сказал Ангел.— Это ясно по их тону.— Он задумчиво смотрел на мальчиков.— Мне непонятны методы человеческого общения. То, что происходит сейчас, наверно, изъявление дружбы, нечто вроде обряда. Но я не знаю ответов. Пожалуй, мне лучше пойти назад к маленькому толстому человечку в черном, с золотой цепоч-

кой через весь живот, и пусть он мне объяснит. Все так непросто.

Он повернулся к арке у входа на кладбище.

— Эгей! — пронзительным фальцетом сказал один из мальчиков и швырнул в него скорлупой букового ореха. Она, подпрыгивая, покатилась по кладбищенской дорожке. Ангел остановился в удивлении.

Тут все мальчики расхохотались. В подражание первому второй тоже сказал «Эгей!» и попал в Ангела. Удивленный вид горбуна был прямо восхитителен. Они все стали кричать «Эгей!» и швыряться скорлупой буковых орехов. Одна скорлупа попала Ангелу в кисть руки, другая сильно кольнула за ухом. Ангел неумело замахал, проговорил, запинаясь, несколько слов упрека и вышел на дорогу. Его замешательство и трусость удивили и возмутили мальчиков. Нечего поощрять слюнтяев! Обстрел становился все жесточе. Вы без труда представите себе яркие моменты боя: самые задиристые мальчуганы сомкнутым строем выбегают вперед и дают дружные залпы; мальчуганы более робкие следуют врассыпную позади, ограничиваясь одиночными выстрелами. Шавку Милтона Попрошайки это зрелище привело в экстаз, и она, вообразив самые дикие вещи, с визгом принялась бегать по кругу, подбираясь все ближе к ангельским лодыжкам.

— Ай-ай-ай! — сказал могучий голос.— Не ожидал! Не ожидал! Где мистер Джарвис? Кто учил вас таким манерам, маленькие негодники!

Малыши кинулись кто влево, кто вправо, иные — махом через ограду на школьный двор, иные — во всю прыть по улице.

— Эти мальчишки просто невыносимы! — гудел, подходя, мистер Крумп.— Очень сожалею, что они надоедали вам.

Ангел был, казалось, сильно расстроен.

— Не пойму,—сказал он.—Человеческие обычаи просто...

— Ну, разумеется. Для вас они непривычны. Как ваш отросток?

— Мой — как вы назвали? — спросил Ангел.

— Ваша раздвоенная конечность. Как она сейчас? Раз уж вы тут рядом, зайдемте ко мне. Зайдемте, и я посмотрю еще разок, что там у вас делается. (Ах вы,

шалопаи!) А тем временем эти маленькие невежи разойдутся по домам. В деревнях они все одного пошиба. Не способны понять ничего, что выходит за пределы нормы. Увидел приезжего непривычной внешности — швыряй в него камень! Их воображение не идет дальше своего прихода... (Смотрите, вкачу вам микстуры, если еще раз поймаю вас на том, что вы задеваете приезжих!) Впрочем, скажу я, ничего другого и ждать не приходится... В эту дверь, прошу!

Так Ангела, все еще полного смущения, затащили на перевязку.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛЕДИ ХАММЕРГЕЛЛОУ

XXVIII

В Сиддермортон-парке стоит Сиддермортон-Хаус — барский дом, где живет старая леди Хаммергеллоу; живет главным образом бургундским и деревенскими сплетнями — милая старая дама с морщинистой шеей и красно-бурым цветом лица. Она подвержена бурным приступам дурного настроения и признает для своих слуг и арендаторов только три средства от всех их бед: бутылку джина, одеяло из благотворительного фонда или новенькую крону. От Сиддермортона до Сиддермортон-Хауса мили полторы. Старая дама владеет всей деревней, за исключением южной окраины, принадлежащей сэру Джону Готчу, и правит ею самодержавно, что в наши дни разделения власти несет отраду, как родник среди пустыни. Она предписывает и запрещает браки, изгоняет из деревни неугодных ей людей путем простого повышения арендной платы, увольняет батраков, обязывает еретиков ходить в церковь и заставила Сьюзен Денгетт, когда та выбрала для своей дочки имя «Юфимия», окрестить младенца Мэри-Анной. Она протестантка широких воззрений и не одобряет, что у Викария лысинка похожа на тонзуру. Она член Приходского Совета, вследствие чего Совет во всем составе плетется к ней по холму и через вересковую пустошь и все свои речи (так как она глуховата) произносит не с трибуны, а в трубку слухового аппарата. Политикой она больше не

интересуется, но до начала текущего года была ярой противницей «этого Гладстона». Вместо лакеев она держит в доме только женскую прислугу — по милости американского биржевого маклера Хоклея и его четырех ливрейных великанов.

Она держит деревню во власти чуть не колдовской. Вы можете в трактире «Кот и Рог Изобилия» поклясться господом богом, и никого вы этим не заденете; но помяните всуе имя леди Хаммергеллоу, и все будут так оскорблены, что вас, чего доброго, выставят вон. Проезжая через Сиддермортон, она неизменно заглядывает к почтмейстерше Бесси Флумп — послушать, где что случилось, а затем к мисс Финч, портнихе — проверить Бесси Флумп. Иногда она навещает Викария, иногда миссис Мендхем, которую ни во что не ставит, а изредка и Крумпа. Ее блистательная пара сивых чуть не переехала Ангела, когда он шел в деревню.

— Так вот он, этот гений! — сказала леди Ха́ммергеллоу, обернулась и посмотрела на него в позолоченный лорнет, который всегда держала в своей морщинистой, трясущейся руке. — Сумасшедший? Что-то непохоже. Лицо у бедняжки красивое. Жалко, надо было с ним поговорить.

Она тем не менее заехала к Викарию, чтобы лично расспросить его про новость. Разноречивые отчеты мисс Флумп, мисс Финч, миссис Мендхем, Крумпа и миссис Джехорем совсем сбили ее с толку. Окончательно затравленный, Викарий старался, как мог, объяснить ей в трубку, что произошло на самом деле. Он не упомянул о крыльях и шафрановой ризе. Но все же он чувствовал всю безнадежность положения. Своего протеже он называл «мистером» Ангелом. А сам бросал жалобные реплики в сторону своего зимородка. Старая дама заметила его замешательство. Ее чудна̀я старческая голова дергалась взад и вперед, трубка вдруг тыкалась в его лицо, когда он вовсе и не собирался говорить, а потом сощуренные глазки жадно впивались в него, забыв про объяснения, сходившие в это время с его губ. Охи да ахи невпопад. Но кое-что она, несомненно, разобрала.

— Вы пригласили его погостить на неопределенный срок? — сказала леди Хаммергеллоу в то время, как вели-

кая мысль быстро принимала в ее уме отчетливую форму.

— Да, я совершил... может быть, по оплошности, такую... такую...

— И вы не знаете, откуда он?

— Не знаю совершенно.

— И я полагаю, не знаете, кто его отец? — таинственно добавила леди Хаммергеллоу.

— Не знаю,— сказал Викарий.

— Но-но! — сказала шаловливо леди Хаммергеллоу и, поднеся к глазам лорнет, вдруг ткнула Викария трубкой в бок.

— Моя дорогая леди Хаммергеллоу!

— Я так и предполагала. Не подумайте, что я буду вас винить, мистер Хильер.— Она засмеялась самодовольным циничным смешком.— Мир есть мир, мужчина есть мужчина. И бедный мальчик — калека, да? Это в своем роде кара. Я еще утром заметила... Мне это напомнило «Алую Букву» Готорна. Мать, как я понимаю, умерла. Это, пожалуй, к лучшему. Нет, в самом деле, я женщина широких взглядов — я вас уважаю за то, что он у вас есть. В самом деле уважаю.

— Что вы, леди Хаммергеллоу!

— Не отрицайте, вы только все испортите. Для женщины, знающей свет, здесь все совершенно ясно. Ах, эта миссис Мендхем! Она мне смешна со своими подозрениями. Какая дикая мысль... для жены священника! Но это случилось, надеюсь, до того, как вы приняли сан?

— Леди Хаммергеллоу, вы ошибаетесь. Поверьте мне.

— Мистер Хильер, ни слова! Я знаю. Говорите, что вам угодно, вы ни на йоту не измените моего мнения. И не пытайтесь. Я и не подозревала, что вы такой интересный мужчина!

— Но это подозрение невыносимо.

— Мы станем вместе помогать ему, мистер Хильер. Можете на меня положиться. Это необычайно романтично.— Она источала благоволение.

— Но, леди Хаммергеллоу, вы должны меня выслушать!

Она решительно отняла от уха трубку и, прижав ее к груди, затрясла головой.

— Я слышала, Викарий, у него большой музыкальный талант?

— Заверяю вас самым торжественным образом...

— Я так и думала. И будучи притом калекой...

— Вы введены в жесточайшее...

— Я подумала, что если он в самом деле так одарен, как говорит эта Джехорем...

— Это — самое несправедливое подозрение, какое только падало когда-либо на человека!

— Впрочем, я всегда была невысокого мнения о ее уме.

— Как можно в моем положении! И разве мое доброе имя так мало весит?

— Пожалуй, можно будет испробовать его в качестве исполнителя.

— Разве я... (А что толку?.. Провались оно все!)

— Итак, дорогой Викарий, предлагаю: предоставим ему возможность показать нам, на что он способен. Я все обдумала, пока ехала сюда. В ближайший вторник я устрою у себя небольшой прием — для людей с хорошим вкусом, и пусть он придет со скрипкой. Так? И если пройдет удачно, я посмотрю, не смогу ли я ввести его и в другие дома, и мы, что называется, станем его продвигать.

— Но леди... леди Хаммергеллоу!

— Ни слова больше! — отрезала леди Хаммергеллоу, все еще решительно прижимая трубку к груди и стиснув в руке лорнет.— Я, право, больше не могу — лошади застоялись. Кетлер так не любит, когда я их заставляю слишком долго стоять. Ему, бедному, очень скучно бывает ждать, если нет поблизости кабака.— Она направилась к дверям.

— Черт возьми! — сказал Викарий вполголоса. Он еще ни разу не произнес этих слов с того часа, как принял сан. Судите по этому, в какое расстройство может привести человека появление в его доме ангела.

Он стоял под верандой и следил, как отъезжала карета. Казалось, мир вокруг разваливается на куски. Неужели он напрасно тридцать с лишним лет вел добродетельную, целомудренную жизнь? Подумать только, на какие вещи считают его способным эти люди! Он стоял и смотрел на зеленую ниву напротив, на разбросанную

по склону холма деревню. Они казались достаточно реальными. И все-таки — впервые в жизни — у него явилось странное сомнение в их реальности. Он почесал подбородок, повернулся и медленно поднялся по лестнице в свою гардеробную и долгое время сидел, не сводя глаз с какой-то желтой ткани.

— «Знаю ли я, кто его отец»! — сказал он.— А он, бессмертный, он парил в своем небе, когда наши предки были еще сумчатыми... Хотелось бы, чтобы сейчас он был рядом.

Он встал и пощупал ризу.

— Интересно, откуда у них берутся такие вещи,— сказал Викарий. Потом подошел к окну и стал смотреть. — Мне думается, все на свете чудо, даже восход и закат солнца. Мне думается, нет ее, несокрушимой основы всякой веры. Но есть у человека некий установленный порядок принятия всего сущего. И вот он нарушен. Я как будто пробуждаюсь для невидимого. Какая-то из странных странная неуверенность. Никогда со дней моей юности я не чувствовал себя таким смятенным, внутренне неустроенным.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНГЕЛА В ДЕРЕВНЕ

XXIX

— Теперь все в порядке,— сказал Крумп, кончив перевязку.— Это, несомненно, проделки памяти, но сегодня ваши отростки кажутся мне совсем не такими большими, как вчера. Наверно, они меня слишком тогда поразили. Оставайтесь, позавтракаем вместе, раз уж вы здесь. Полдник, знаете, да? А потом ребятишки уберутся опять в училище до самого вечера.

— Я никогда в жизни не видел, чтобы рана так хорошо заживала,— сказал он, когда шел с Ангелом в столовую.— У вас кровь и плоть, наверно, чертовски чисты и совершенно свободны от бактерий. Какой бы дрянью ни была набита ваша голова,— добавил он sotto voce[1].

---

[1] Вполголоса (*итал.*).

За завтраком он пристально наблюдал за Ангелом, и разговаривал, стараясь побольше выведать как бы между прочим.

— Вас не утомило вчерашнее путешествие? — сказал он вдруг.

— Путешествие? — удивился Ангел.— Да, крылья как-то онемели.

(...Его не собьешь,— подумал Крумп.— Придется, видно, войти в его игру.)

— Так вы почти всю дорогу летели, а? И ни на чем не ехали?

— Не было никакой дороги,— объяснял Ангел, набирая горчицу.— Я летел по ходу симфонии с несколькими Гриффонами и Огненным херувимом, и вдруг настал сплошной мрак, и я оказался здесь, в вашем мире.

— Ага! — сказал Крумп.— Так вот почему у вас нет с собой никакого багажа.— Он провел салфеткой по губам, и в глазах его заиграла усмешка.

— Полагаю, наш мир вам хорошо знаком. Вы наблюдали за нами через адамантовые стены и всякое такое. А?

— Не очень хорошо. Мы изредка видим его во сне. Лунными ночами, когда нас усыпляют кошмары, вея черными крыльями.

— А, да... понятно,— сказал Крумп.— Очень поэтичное иносказание. Не выпьете ли бургундского? Вот оно, рядом с вами. ...В нашем мире существует, знаете, убеждение, что ангелы совсем не так редко посещают землю. Может быть, некоторые из ваших... друзей уже совершали такие путешествия? Предполагают, что они нисходят к достойным лицам в тюрьму, танцуют танец баядерок и тому подобное. Ну, как в «Фаусте», знаете?

— Я никогда не слышал ни о чем похожем,— сказал Ангел.

— Совсем на днях одна дама, чей ребенок стал на некоторое время моим пациентом (несварение желудка), уверяла меня, когда малыш строил гримасы, будто это указывает на то, что ему снятся ангелы. В романах миссис Генри Вуд этот симптом трактуется как безошибочное предвестие ранней смерти. Не могли ли бы вы пролить некоторый свет на эти сбивчивые патологические показания?

— Мне это все непонятно,— сказал Ангел. Он был озадачен и не представлял себе ясно, куда клонит доктор.

(— Обиделся,— сказал Крумп самому себе.— Видит, что я над ним потешаюсь.)—Меня интересует одна вещь: часто вновь прибывшие жалуются там у вас на врачей, которые их пользовали? Мне всегда представлялось, что прежде всего должно быть немало толков насчет водолечения. Не далее, как в июне текущего года, когда я смотрел на эту картину в Академии...

— Вновь прибывшие? — удивился Ангел.— Я не улавливаю вашу мысль.

Доктор широко открыл глаза.

— Разве они не попадают к вам?

— К нам? — сказал Ангел.— Кто?

— Те, что здесь умирают.

— После того, как превратятся в развалины?

— У нас, знаете, так верит большинство.

— Такие люди, как та женщина, что кричала в дверь, как тот шатавшийся чернолицый мужчина, как те гадкие маленькие человечки, что швырялись скорлупой? Конечно, нет! Я никогда не видел таких созданий, пока не упал в ваш мир...

— Но! Бросьте! — сказал Доктор.— Вы еще скажете, что ваша форменная одежда вовсе не белая и что вы не умеете играть на арфе.

— Белого в Ангельской Стране вообще не бывает,— сказал Ангел.— Это же тот странный пустой цвет, который получается у вас от смешения всех других.

— Простите, сэр!— сказал Доктор, вдруг изменив тон.— Вы положительно ничего не знаете о Стране, откуда вы явились. Белое — это ее сущность!

Ангел воззрился на него. Шутит он? Нет как будто..

— Я вам сейчас покажу,— сказал Крумп, встал и подошел к буфету, на котором лежал номер «Журналь де Пари». Он поднес его Ангелу и раскрыл на цветном приложении.

— Вот вам настоящие ангелы,— сказал он.— Одни лишь крылья еще не делают ангела. Все они в белом, как видите, в кисейных платьицах, возносятся в небо, не развернув своих крыльев. Вот это ангелы, согласно мнению знатоков. Волосы словно высветлены перекисью водорода. У одного в руках маленькая арфа. Другой

помогает этой бескрылой даме — так сказать, ангелуличинке — вознестись ввысь.

— Ах, нет! Правда же,— сказал Ангел.— Это совсем не ангелы.

— Ангелы! — *сказал Крумп, положил журнал обратно* на буфет и с видом глубокого удовлетворения сел на свой стул.— Могу вас уверить, сославшись на *самые высокие* авторитеты...

— А я могу вас уверить...

Крумп всосал уголки губ и покачал головой — совсем как тогда в разговоре с Викарием.

— Спорить бесполезно,— сказал он.— Мы не можем менять свои представления только потому, что какой-то безответственный пришелец...

— Если это ангелы,— сказал Ангел,— то я никогда не бывал в Ангельской Стране.

— Вот именно,— подхватил Крумп, чрезвычайно довольный собой.— Это то, к чему я и хотел подвести.

Минуту Ангел смотрел на него круглыми глазами, потом вторично поддался особенному, чисто человеческому смятению — разразился смехом.

— Ха-ха-ха!—присоединился к нему Крумп.—Я сразу понял, что вы совсем не такой сумасшедший, каким кажетесь. Ха-ха-ха!

До конца завтрака они оба, хоть и по разным причинам, были очень веселы, и Крумп теперь обращался с Ангелом уже не иначе, как с ловким шутником.

XXX

Выйдя от Крумпа, Ангел опять направился вверх по холму к дому Викария. Однако у перелаза — может быть, желая избежать встречи с миссис Гестик, — он свернул в сторону и пошел кружным путем мимо Жаворонкова поля и фермы Бредли.

Он набрел на Благородного Бродягу, мирно спавшего среди полевых цветов. Он остановился, привлеченный небесным спокойствием на лице этого индивидуума. Под ангельским взглядом Благородный Бродяга вздрогнул, проснулся и привстал с земли. У него был тусклый цвет лица; одет он был в ржаво-черное; шапокляк, дав-

но утративший свой гордый вид, был нахлобучен на один глаз.

— Добрый день,— сказал он учтиво.— Как поживаете?

— Отлично, благодарю вас,— сказал Ангел, уже освоивший эти фразы.

Благородный Бродяга смерил Ангела критическим взглядом.

— Обиваешь копыта, приятель? — сказал он.— Как я?

Ангелу он показался загадочным.

— Почему,— спросил он,— вы спите вот так, а не в воздухе, на кровати?

— Разрази меня гром!— ответил Благородный Бродяга.— Почему я не сплю на кровати? Да так получается. В Сендрингеме идет побелка, в Виндзорском замке[1] чинят канализацию, а больше мне ночевать негде. У вас не найдется в кармане на полпинты, а?

— У меня в кармане нет ничего, — сказал Ангел.

— Эта деревня не Сиддермортон? — спросил Бродяга. Он, хрустя суставами, встал на ноги и кивнул на кучу крыш под горой.

— Да,— сказал Ангел, — ее называют Сиддермортон.

— Я знаю ее, знаю,— проговорил Бродяга.— Это очень миленькая деревушка.— Он потянулся, зевнул и стал смотреть на деревню.— Дома,—сказал он раздумчиво.— Съестное (он повел рукой, указывая на поля и сады). Выглядит уютно, не правда ли?

— В этом есть своя особенная причудливая красота,— сказал Ангел.

— Есть, еще бы — особенная, причудливая, да... Господи! Я бы в дым разгромил это проклятое место... Я здесь родился.

— Вот как! — вздохнул Ангел.

— Да, я здесь родился. Вы когда-нибудь слышали о напичканных лягушках?

— О напичканных лягушках? — спросил Ангел.— Нет!

---

[1] Сендрингем и Виндзорский замок — королевские резиденции.

— Этим вивисекторы занимаются. Возьмут лягушку, вырежут ей мозг, а потом насуют заместо мозга трухи. Это и будет напичканная лягушка. Так вот, здесь в деревне полно напичканных людей.

Ангел принял все в прямом смысле.

— Неужели это так? — сказал он.

— Так и не иначе, поверьте моему слову. Тут как есть каждому вырезали мозги и набили голову гнилыми опилками. Видите вы вон то местечко за красным забором?

— Оно зовется «Народное училище»,— сказал Ангел.

— Да. Вот там их и пичкают,— сказал Бродяга, с увлечением развивая свою метафору.

— В самом деле? Как интересно!

— Делается с расчетом,— продолжал Бродяга.— Когда б у них были мозги, у них завелись бы мысли, а завелись бы у них мысли, они бы стали думать сами за себя. А сейчас вы можете пройти деревню из конца в конец и не встретите ни одного человека, который умел бы думать сам за себя. Это все люди с трухой вместо мозга. Я знаю эту деревню. Я в ней родился, и я бы, верно, по сей день жил тут и работал на тех, кто почище, если б не отбился от выпускания мозгов.

— Это болезненная операция? — спросил Ангел.

— Достаточно. Хотя голову и не трогают. И длится она долгое время. В школу их забирают маленькими, и им говорят: «Ступайте сюда, здесь вы наберетесь ума». Так они им говорят, а приходят малыши хорошими — чистое золото! И вот их начинают пичкать. Понемногу, по капельке выжимают из них добрые живые соки мозга. И забивают им черепушки датами, перечнями, всякой мурой. Выйдут они из школы — голова безмозглая, механизм заведен как надо — сейчас шляпу снимут перед всяким, кто на них посмотрит. Уж куда лучше: один вчера снял шляпу даже передо мной. Они бегают на побегушках, делают самую грязную работу да еще говорят спасибо, что им, понимаете, дают жить! Они прямо-таки гордятся тяжелой работой и работают даром. После того, как их напичкают. Видишь, там парень пашет?

— Да,— сказал Ангел,— его тоже напичкали?

— Непременно. А то бы он сейчас, по такой приятной погоде обивал бы свои копыта, как я и благие апостолы.

— Начинаю понимать,— сказал Ангел не совсем уверенно.

— Я знал, что вы способны понять,— приободрил его Бродячий Философ.— Я сразу увидел, что вы правильный человек. Но серьезно: разве ж это не смешно—столько столетий цивилизации, а взять хоть этого безмозглого осла там, на косогоре,— исходит седьмым потом, надрывается! А ведь он англичанин. Он принадлежит, так сказать, к высшей расе во всем творении! Один из повелителей Индии. Да это ж курам на смех! Флаг, который тысячу лет реет над полями битв и над всеми морями,— это его флаг. Еще не было в мире страны, столь великой и славной, как его страна. Не было испокон. И вот что из нас делают. Я вам расскажу одну здешнюю историйку, как вы, я вижу, здесь — чужой. Есть тут парень по фамилии Готч — сэр Джон Готч, как он тут зовется. Так вот, когда Готч еще обучался джентльменским наукам в Оксфорде, я был восьмилетним мальчонкой, а моя сестра была девушкой семнадцати лет — у них в услужении. Но бог ты мой! Кто же не слышал эту историю, самую что ни на есть обыкновенную, о нем или о других вроде него?

— Я не слышал,— сказал Ангел.

— Каждую хорошенькую и веселую девчонку они выгоняют на панель, и каждого парня, если в нем есть хоть на грош задора и отваги или если он не хочет пить вместо пива то пойло, что ему присылает супруга помощника его преподобия, и снимать шляпу перед кем ни приведись, и оставлять кроликов и птицу тем, кто почище,— всех их выживают из деревни, как отпетых негодяев. А еще говорят о патриотизме! Об улучшении расы! Да ведь остаются такие, что их и с черномазыми не поставишь рядом, косоглазым-то на них тошно смотреть...

— Но мне не все понятно,— сказал Ангел,— я не услежу за вашей мыслью.

Бродячий Философ попробовал объясниться проще и рассказал Ангелу незамысловатую историю о сэре Джоне

Готче и судомойке. Едва ли есть нужда ее пересказывать. Вы и так, наверно, догадались, что Ангела она оставила в том же недоумении. В ней полно было слов, которых он не понимал, потому что единственным средством передачи эмоций, каким располагал Философ, была богохульная ругань. Но хотя они говорили на несходных языках, он все же сумел в какой-то мере передать Ангелу свое убеждение (возможно, и необоснованное), что жизнь несправедлива и жестока и что сэр Джон Готч до крайности мерзок.

Он ушел, и последнее, что видел Ангел, была его пыльно-черная спина, удалявшаяся в сторону Айпинг-Хенгера. В поле у дороги взлетел фазан, и Философ-бродяга тут же поднял камень и метнул в птицу, которая жалобно заклохтала под злым и метким ударом. Затем он скрылся за углом.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИССИС ДЖЕХОРЕМ

XXXI

— Я проходила мимо церковного дома и слышала, как там кто-то играл на скрипке,— сказала миссис Джехорем, принимая из рук миссис Мендхем чашку чая.

— Викарий играет,— сказала миссис Мендхем.— Я говорила об этом с Джорджем, но впустую. Не думаю, чтобы для священника было допустимо такое занятие. Это принято только у иностранцев. Однако с ним...

— Знаю, дорогая,— перебила миссис Джехорем.— Но Викария я слышала однажды на школьном празднике. Едва ли это был Викарий. Играли очень недурно, местами даже, знаете, с большим искусством. И что-то совсем новое. Я сегодня утром рассказала это нашей милой леди Хаммергеллоу. Мне пришел на ум...

— Тот сумасшедший? Очень возможно. Эти полоумные... Ах, милочка, я, верно, никогда не забуду ту ужасную встречу! Вчерашнюю.

— Я тоже.

— Мои бедные девочки! Они были так смущены, что не в силах вымолвить об этом ни единого слова. Я рассказывала леди Хаммер...

— Еще бы. Они же воспитанные девицы. Это было ужасно, милочка моя. Для них.

— А теперь, моя дорогая, скажите мне откровенно: вы и вправду поверили, что эта тварь — мужчина?

— Вы не слышали его игру.

— А я все-таки подозреваю, я даже почти уверена, Джесси...— Миссис Мендхем наклонилась вперед, как бы желая перейти на шепот.

Миссис Джехорем потянулась за печеньем.

— Но то, что я слышала сегодня утром... Я уверена, ни одна женщина на свете так не сыграет!

— Конечно, раз вы это утверждаете, то и спору нет,— сказала миссис Мендхем.

Миссис Джехорем считалась в Сиддермортоне непререкаемым авторитетом во всех вопросах живописи, музыки и литературы. Ее покойный муж был малоизвестным поэтом.

Затем строгим тоном судьи миссис Мендхем добавила:

— И все же...

— Знаете,— сказала миссис Джехорем,— я почти что склонна поверить рассказу нашего дорогого Викария.

— Ах, Джесси, вы слишком добры,— сказала миссис Мендхем.

— Нет, на самом деле, я не думаю, чтобы Викарий мог вчера, еще с утра, спрятать кого-то в своем доме. Уж мы, поверьте, узнали бы... Я не представляю себе, как могла бы чужая кошка пробежать в четырех милях от Сиддертона, и чтобы мы об этом не услышали. Здесь народ так любит посудачить...

— Я Викарию никогда не доверяла,— сказала миссис Мендхем.— Я его знаю.

— Да. Но его рассказ вполне правдоподобен. Если бы этот мистер Ангел был неким очень талантливым и эксцентричным...

— Да, нужно быть уж очень эксцентричным, чтобы одеваться так, как он. Всему должны быть границы, дорогая.

— А шотландцы в юбках до колен? — сказала миссис Джехорем.

— Они хороши у себя в горах...

Миссис Джехорем остановила глаза на черном пятне, которое медленно ползло по желто-зеленому квадрату на склоне холма.

— Вот он идет,— сказала, поднявшись, миссис Джехорем,— прямо по полю. Уверена, что он. Я различаю горб. Если только это не человек с мешком. Ах, боже мой, Минни, тут же есть бинокль! Так удобно — можно подсматривать, что творится у Викария!.. Да, мужчина. Несомненно, мужчина. Но какое у него нежное лицо!

Она с истинным альтруизмом передала бинокль хозяйке дома. Минуту царила шелестящая тишина.

— Сейчас,— заметила миссис Мендхем,— он одет вполне благопристойно.

— Вполне,— сказала миссис Джехорем.

Молчание.

— Он как будто рассержен.

— И сюртук в пыли.

— Походка довольно твердая,— сказала миссис Мендхем,— а то можно бы подумать... В такую жару...

Опять молчание.

— Понимаете, милочка,— сказала миссис Джехорем, опуская лорнет,— я, собственно, вот что имела в виду: он, возможно, какая-нибудь знаменитость, скрывающаяся под причудливым нарядом.

— Если можно назвать нарядом то, что граничит с наготой.

— Спору нет, это было эксцентрично. Но мне приходилось видеть маленьких детей в таких же распашонках, какая была на нем. Люди искусства часто позволяют себе разные причуды в одежде и поведении. Гений может украсть лошадь там, где какой-нибудь счетовод не посмеет заглянуть через чужой забор. Очень может быть, что он знаменитость и подсмеивается над нашей сельской простотой. И право же, его костюм был не так уж неприличен — приличней, чем велосипедный костюм на этих Новых женщинах. Я на днях видела такой в каком-то иллюстрированном журнале — кажется, в «Новом Бюджете»,— знаете, милочка, ну просто трико! Нет, я склоняюсь к гипотезе о гении. Особенно после его игры. Я уверена, что он оригинал. И, вероятно, презабавный. Знаете, я буду просить Викария, чтобы он меня с ним познакомил.

— Моя дорогая! — вскричала миссис Мендхем.

— Непременно,— сказала миссис Джехорем.

— Боюсь, вы слишком опрометчивы,— предостерегла миссис Мендхем.— Гении и все такое — это хорошо в Лондоне. А не здесь, в церковном доме.

— Мы же собираемся просвещать народ. Я люблю оригинальность. Так или иначе, я хочу посмотреть на него вблизи.

— Будьте осторожны, чтобы вам не увидеть больше, чем следует,— сказала миссис Мендхем.— Я слышала, моды сильно изменились. Как я понимаю, в высшем свете решили, что гениев больше не следует поощрять. Эти недавние скандалы...

— Только в литературе, милочка, смею вас уверить. А в музыке...

— Говорите что угодно, милочка моя,— сказала миссис Мендхем, вдруг свернув на другое,— вы меня не убедите, что костюм этого субъекта не был до крайности откровенен и непристоен.

САМОЕ ОБЫЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

XXXII

Ангел задумчиво шел полем вдоль живой изгороди, направляясь к дому Викария. Лучи заходящего солнца сияли на его плечах, и тронули золотом дом, и горели огнем во всех окнах. У ворот, залитая солнечным светом, стояла маленькая Делия, служанка. Она стояла и глядела на него, приставив щитком ладонь к глазам. Ангелу вдруг пришло на ум, что хоть она здесь красива и не только красива — она живая и теплая.

Девушка открыла перед ним калитку, а сама посторонилась. Она его жалела, потому что ее старшая сестра была калекой. Он поклонился ей, как поклонился бы всякой другой женщине, и одну секунду глядел ей в лицо. Она ответила взглядом на взгляд, и у нее екнуло в груди. Ангел нерешительно подошел.

— У вас очень красивые глаза,— сказал он спокойно, с оттенком удивления.

— О, что вы, сэр! — сказала она и отпрянула.

Удивление на лице Ангела перешло в растерянность. Он пошел дальше по дорожке между клумбами Викария, а она все стояла, придерживая рукой калитку, и неотрывно смотрела ему вслед. Под увитой розами верандой он оглянулся и посмотрел на нее.

Еще секунду она тоже смотрела на него, потом как-то неловко повела плечом, повернулась к нему спиной, захлопнув при этом калитку, и стала как будто смотреть вниз на долину, туда, где высилась колокольня.

ОСНОВА ОСНОВ ВСЕГО СУЩЕГО

XXXIII

За обедом Ангел рассказал Викарию обо всем, что его наиболее поразило из приключившегося с ним в тот день.

— Что странно в людях,—заметил Ангел,—это ваша готовность, чуть ли не наслаждение, с каким вы причиняете боль. Те мальчики, когда они утром швырялись в меня...

— ...Казалось, делали это с радостью? — подсказал Викарий.— Знаю.

— А ведь они не любят боль,— сказал Ангел.

— Да,— подтвердил Викарий.— Не любят, если больно им самим.

— А еще,— сказал Ангел,— я видел красивые растения, у которых листья растут остриями — два сюда и два туда, а когда я погладил один листок, он у меня вызвал очень неприятное ощущение.

— Жгучая крапива! — догадался Викарий.

— Это был новый вид боли. А другое растение, с головкой, как маленькая корона, и богато украшенное листьями, кололось и жалило...

— Чертополох, наверно.

— И у вас в саду есть красивые растения с нежным запахом...

— Шиповник,— сказал Викарий.— Как же, помню.

— И тот алый цветок, что выскочил из коробки...

— Из коробки? — удивился Викарий.

— Этой ночью,— напомнил Ангел.— Он еще полез на занавески... Огонь!

— А!.. Спички и свеча! Да,— сказал Викарий.

— Потом животные. Собака сегодня вела себя очень нехорошо... И эти мальчики, и вообще, как люди разговаривают... Каждый будто рвется или, во всяком случае, хочет доставить боль. Каждый будто о том и хлопочет, как бы причинить другому боль.

— Или как бы самому избежать ее,—сказал Викарий, отодвинув от себя тарелку.— Да, конечно. Везде идет драка. Весь наш живой мир — сплошное поле битвы, весь мир! Нас подстегивает боль. Да. Это лежит на поверхности! Ангел это разглядел в один день.

— Но почему же все хотят — все хочет — делать больно? — спросил Ангел.

— В Ангельской Стране это не так? — спросил Викарий.

— Не так,— сказал Ангел.— Почему же здесь это так?

Викарий медленно вытер салфеткой рот.

— Да, здесь оно так,— сказал он.— Боль,— заговорил он еще медленней,— есть основа основ нашей жизни. Знаете,— продолжал он, немного помолчав,— я, пожалуй, просто не мог бы представить себе... мир без боли... И все же, когда вы утром играли на скрипке!.. А наш мир, он другой. Он полная противоположность вашему, Ангельскому миру. Многие люди, превосходные, благочестивые люди, видя всюду боль, настолько подпали под ее действие, что стали думать, будто после смерти большинству из нас будет еще хуже, чем здесь. Мне такой взгляд представляется излишней крайностью. Но это вопрос глубокий. Его обсуждать, пожалуй, не в наших возможностях.

И Викарий, совершенно непоследовательно, пустился читать экспромтом лекцию о «Необходимости» — о том, что вещи таковы, потому что они таковы, и что каждому приходится делать то и это.

— Даже наша пища...— сказал Викарий.

— Пища? — сказал Ангел.— А что?

— Ее не получишь, не причинив боли,— сказал Викарий.

У Ангела так побелело лицо, что Викарий сразу осекся. А он уже собрался было дать гостю краткое разъясне-

ние о том, чем был и через что прошел бараний окорок. Минуту оба молчали.

— Кстати,— вдруг вспомнил Ангел.— Вас тоже напичкали? Как простой народ?

АНГЕЛ ДЕБЮТИРУЕТ

XXXIV

Если леди Хаммергеллоу примет какое-либо решение, все так и пойдет, как она решила. И хотя Викарий судорожно противился, она провела задуманное в жизнь. Не прошло и недели, как в Сиддермортон-Хаус явились к ней на прием избранные ценители и Ангел со своею скрипкой. «Талант, открытый нашим Викарием!» — говорила она и таким образом с замечательной предусмотрительностью перекладывала на плечи Викария всю ответственность за возможный провал. «Милый Викарий уверяет...» — говорила она. И дальше следовал восторженный отзыв о том, как превосходно Ангел владеет инструментом. Но ей и самой полюбилась ее идея: она всегда втайне лелеяла мечту предстать покровительницей безвестного гения. До сих пор, когда доходило до проверки, обнаруживалось, что гений — вовсе и не гений.

— Ему это так подойдет,— сказала она.— У него и так уже длинные волосы, да еще при ярком своем румянце он будет на эстраде так хорош — ну просто красив. И одежда Викария сидит на нем так дурно, что он уже и сейчас очень походит на модного пианиста. А история его рождения, рассказываемая, конечно, не вслух, а шепотом, будет тоже к его выгоде... Понятно, не здесь, а когда он переедет в Лондон.

Викарий с приближением срока испытывал страшнейшие муки. Он убивал час за часом, стараясь разъяснить Ангелу создавшееся положение; час за часом — стараясь представить себе, что подумают люди; но всего тяжелее были те часы, когда он старался предугадать, как поведет себя Ангел. До сих пор Ангел если играл, то только для собственного удовольствия. Викарий то и дело пугал своего гостя, обрушиваясь на него с каким-

нибудь новым правилом этикета, всплывшим в его памяти. Например, так: «Очень важно, знаете, куда положить шляпу. Не кладите ее на стул ни в коем случае! Держите в руках, пока, знаете, не подадут чай, а тогда... дайте подумать... тогда положите ее, знаете, куда-нибудь». Путешествие до Сиддермортон-Хауса совершилось без злоключений, но при входе в гостиную Викария бросило в озноб от страшного предчувствия. Он забыл объяснить церемонию представления гостя. Было видно, что Ангел в своем простодушии находил ее забавной, но ничего ужасного не произошло.

— Субъект очень странного вида,— сказал мистер Ратбон-Слейтер, придававший большое значение одежде.— Не хватает лоска. Невоспитан. Ухмыльнулся, увидав, как я пожимаю руку. А уж я, разумеется, проделал это со всем изяществом.

Произошел лишь один незначительный инцидент. Леди Хаммергеллоу, когда здоровалась с Ангелом, смотрела на него в лорнет. Гостя поразили ее глаза, необычайно большие сквозь стекла. Его удивление и откровенная попытка заглянуть поверх оправы были слишком явны. К счастью, насчет слухового аппарата Викарий предупредил его заранее.

То обстоятельство, что Ангел не может сидеть ни на чем, кроме рояльного стула, видимо, возбудило среди дам интерес, однако никаких замечаний не вызвало. Возможно, они усмотрели в этом нарочитую причуду многообещающего молодого музыканта.

Чашки он передавал очень неловко и, когда пил чай, насорил вокруг себя крошками от печенья. (Не надо забывать, что в отношении еды он был полный дилетант.) Он сидел, закинув нога на ногу. Шляпу растерянно вертел в руках, напрасно стараясь поймать взгляд Викария. Мисс Папавер, старшая из сестер Папавер, немолодая девица, завела с ним разговор о морских курортах Европы и о сигаретах и осталась невысокого мнения о его уме.

Ангел пришел в недоумение, когда к нему придвинули пюпитр и кипу нотных тетрадей, и поначалу его несколько смущало, что леди Хаммергеллоу сидит, наклонив голову набок, и смотрит на него в золоченый лорнет своими непомерно большими глазами.

Миссис Джехорем подошла к нему перед тем, как он приступил к игре, и спросила, как называется та очаровательная вещица, которую он играл несколько дней тому назад. Ангел сказал, что она без названия, и миссис Джехорем высказала мнение, что в музыке никакие названия не нужны, и полюбопытствовала, чья это была вещь, и когда Ангел объяснил, что он ее играл по наитию, она сказала, что если так, то он настоящий гений, и воззрилась на него с откровенным (и, бесспорно, обольстительным) восхищением. Младший священник из Айпинг-Хенгера (убежденный кельт, игравший на рояле и говоривший о музыке и колорите с видом расового превосходства) ревниво наблюдал за новоявленным скрипачом.

Викарий, сразу взятый под арест и усаженный рядом с леди Хаммергеллоу, не сводил беспокойного взгляда с Ангела, пока леди во всех подробностях рассказывала ему о гонорарах скрипачей, причем большинство подробностей она выдумывала на ходу. Инцидент с лорнетом ее покоробил, но она решила, что это не выходит за пределы дозволительной оригинальности.

Итак, представьте себе Зеленую гостиную в Сиддермортон-Хаусе. Ангела, прячущего крылья под одеждой священника и со скрипкой в руках подле большого рояля. И небольшое респектабельное общество вполне прилично одетых приличных людей, расположившихся группами по комнате. Возбужденный гомон перед началом — слышатся обрывки разговоров.

— Он здесь инкогнито,— говорит весьма немолодая мисс Папавер, наклонившись к миссис Пербрайт.— Правда, как странно и как мило? Джесси Джехорем уверяет, что встречалась с ним в Вене, но не может вспомнить его имя. Викарий знает о нем все, но он такой скрытный...

— Он раскраснелся, наш добрый Викарий, и видно, что ему не по себе,— сказала миссис Пербрайт.— Я и раньше это замечала, когда он сидел рядом с леди Хаммергеллоу. Она просто не хочет считаться с его саном. Она и теперь...

— Галстук у него съехал набок,— заметила весьма немолодая мисс Папавер,— а волосы! Он, верно, за весь день ни разу не провел по ним щеткой.

— Как видно, иностранец. Претенциозен. Это недурно для гостиной,— сказал Джордж Хэррингей, сидевший в стороне с младшей мисс Пербрайт.— Но, на мой вкус, мужчина должен быть мужествен, женщина — женственна. А вы как считаете?

— О!.. Я тоже так считаю,— сказала мисс Пербрайт младшая.

— Гинеи и гинеи,— говорила леди Хаммергеллоу.— Я слышала, многие из них живут на широкую ногу. Вы просто не поверили бы...

— Я так люблю музыку, мистер Ангел, я ее обожаю. Она что-то будит во мне,—говорила миссис Джехорем.— Кто-то, не помню кто, высказал прелестную антитезу: «Жизнь без музыки—зверство; музыка же без жизни...» Ах, как это... вы не припомните? Музыка без жизни... Это ведь из Рескина, да?

— К сожалению, я не знаю,— сказал Ангел.— Я прочел совсем мало книг.

— Какая прелесть! — воскликнула миссис Джехорем.— Я жалею, что много читала. Я искренне разделяю ваши взгляды. Я бы тоже не читала книг, но мы, бедные женщины... Я думаю, нам не хватает оригинальности... И здесь так отчаянно затягивает эта рутина... Всякие ненужные дела...

— Он очень миловиден, спору нет. Но в мужчине самое главное — это его сила,— сказал Джордж Хэррингей.— Как вы считаете?

— О!.. Я тоже так считаю,— сказала мисс Пербрайт младшая.

— Это женственные мужчины виновны в появлении мужеподобных женщин. Если мужчина начинает щеголять длинными волосами, то что же остается делать женщине? И когда мужчина ходит с прелестными чахоточными румянами на щеках...

— О Джордж! Вы сегодня ужасно язвительны,— сказала мисс Пербрайт младшая.— Я уверена, что это не краска.

— Нет, правда, я совсем не его опекун, дорогая леди Хаммергеллоу. Конечно, вы очень добры, что принимаете в нем такое участие...

— Вы в самом деле собираетесь импровизировать? — спросила миссис Джехорем в умильном восторге.

— Шш! — произнес младший священник из Айпинг-Хенгера.

Ангел заиграл, глядя в пространство и думая о чудесах Ангельской Страны, но все же незаметно дал вкрасться в создаваемую им фантазию той печали, которая уже овладевала им. Когда он забывал о слушателях, музыка его была странной и неясной, когда же окружающее вдруг проникало в его сознание, музыка становилась причудливой и капризной. Но над Викарием музыка Ангела уже приобрела такую власть, что все тревоги сразу оставили его, как только Ангел взмахнул смычком. Миссис Джехорем сидела и старательно сохраняла сочувственно-восхищенный вид (хотя музыка была временами путаной) и старалась перехватить взгляд Ангела. У него было удивительно подвижное лицо, с самыми тонкими нюансами выражения! А уж в этом миссис Джехорем знала толк! Джордж Хэррингей явно скучал, пока мисс Пербрайт младшая, обожавшая его, не выдвинула свою робкую туфельку как раз настолько, чтобы коснуться ею его мужественного башмака, и тогда он повернулся как раз настолько, чтобы оценить женственную нежность ее кокетливого взгляда, и это его утешило. Весьма немолодая мисс Папавер и миссис Пербрайт просидели неподвижно, как на проповеди, добрых четыре минуты.

Наконец немолодая мисс Папавер сказала шепотом:

— Я всегда с таким наслаждением слушаю скрипку!

И миссис Пербрайт ответила:

— Мы здесь так редко слышим хорошую музыку!

И мисс Папавер сказала:

— Он играет очень приятно.

И миссис Пербрайт:

— У него такое легкое туше!

А мисс Папавер:

— Уилли по-прежнему берет уроки?

И зашептались о самых разных вещах.

Младший священник из Айпинг-Хенгера сидел (он это помнил) на виду у всего общества. Одну ладонь он приставил к уху, а глаза недвижно вперил в пьедестал севрской вазы—гордости дома Хаммергеллоу. Движения его губ служили как бы критическими указаниями для каждого из слушателей, кто был склонен руководство-

ваться ими. Таков был его великодушный обычай. Он сидел с видом сурового беспристрастия, сквозь которое временами прорывалось явное осуждение или — изредка — осторожное одобрение. Викарий откинулся на спинку кресла и неотрывно глядел Ангелу в лицо, а сам отдался волшебному сну. Леди Хаммергеллоу, подергивая головой и тихо, но непрестанно шелестя шелками, вела наблюдение и силилась понять, какое впечатление производит игра Ангела. Мистер Ратбон-Слейтер важно уставил взгляд в свою шляпу, и вид у него был самый несчастный, а миссис Ратбон-Слейтер старалась запечатлеть в своей памяти фасон рукавов миссис Джехорем. А воздух вокруг был насыщен восхитительной музыкой — для всех, кто имел уши, чтобы слышать.

— Пожалуй, слишком непосредственно? — шепнула леди Хаммергеллоу и толкнула Викария в бок.

Викария точно вдруг изгнали из царства Снов.

— А?! — вскричал Викарий и привскочил.

— Тшш! — зашипел младший священник из Айпинг-Хенгера.

И каждый посмотрел на Хильера, возмущенный его грубой нечувствительностью.

— Как не похоже на Викария! — сказала весьма немолодая мисс Папавер.— Позволить себе такую вещь!

Ангел продолжал играть.

Младший священник из Айпинг-Хенгера начал проделывать месмерические мановения указательным пальцем, и мистер Ратбон-Слейтер под эти мановения как-то странно обмяк. Он повернул шляпу донышком вверх и избрал для созерцания другой предмет. Викарий, забыв недавнее чувство неловкости, снова унесся в царство Снов. Леди Хаммергеллоу продолжала шелестеть все громче и вдобавок еще наловчилась скрипеть креслом. И вот наконец музыка оборвалась. Леди Хаммергеллоу прокричала: «Очаровательно!»—хотя не слышала ни звука, и начала аплодировать. Как по сигналу, зааплодировали и другие — все, кроме мистера Ратбон-Слейтера, который стал вместо того постукивать в поля своей шляпы. Младший священник из Айпинг-Хенгера аплодировал с видом беспристрастного судьи.

— Тогда я сказала *(хлоп, хлоп, хлоп)*, если вы не можете готовить на мой вкус *(хлоп, хлоп, хлоп)*, мне при-

дется дать вам расчет,— рассказывала миссис Пербрайт, хлопая изо всех сил. («Эта музыка для меня, как лучшее угощение!»)

— О, да! Я всегда просто упиваюсь музыкой,— сказала весьма немолодая мисс Папавер.— И что же, она после этого стала готовить вкусней?

— Нисколько,— сказала миссис Пербрайт.

Викарий опять очнулся и обвел глазами зал. Другие тоже видели эти образы, или они открылись только ему одному? Нет, конечно же, они все должны были видеть... но только удивительно владеют собой. Невероятно, чтобы такая музыка не подействовала на них.

— Он чуточку gauche[1],— наседала леди Хаммергеллоу, требуя от Викария внимания.— Не кланяется, не улыбается. Ему нужно усвоить побольше всяких причуд. Каждый исполнитель, выступающий с успехом, бывает в какой-то мере gauche.

— Вы действительно сами это сочинили? — спросила миссис Джехорем, сверкнув глазами на Ангела.— Сочиняли, пока играли? Но это же чудо! Настоящее чудо!

— Немного дилетантски,— сказал младший священник из Айпинг-Хенгера мистеру Ратбон-Слейтеру.— Большой талант, бесспорно, но, конечно, чувствуется недостаток систематических упражнений. Я заметил коекакие мелочи... Я не прочь побеседовать с ним.

— Брюки у него, точно две гармони,— сказал Ратбон-Слейтер.— Вот на что ему необходимо указать. Это просто неприлично.

— Вы умеете играть имитации, мистер Ангел? — спросила леди Хаммергеллоу.

— О, пожалуйста, сыграйте имитации! — подхватила миссис Джехорем.— Я обожаю имитации!

— Это была вещь фантастическая,— сказал младший священник из Айпинг-Хенгера Викарию из Сиддермортона и, говоря, помогал своими узкими, бесспорно, музыкальными руками,— и, по моему мнению, несколько слишком усложненная. Я где-то слышал ее раньше, не помню, где. Он не лишен дарования, это бесспорно, но местами, я бы сказал, расхлябан. Ощущается недостаток

---

[1] Неловок (*франц.*).

полной четкости. Потребуются целые годы работы и дисциплины.

— Я не любитель этих сложных музыкальных пьес,— говорил Джордж Хэррингей.— Боюсь, у меня простые вкусы. Мне кажется, там не было никакой мелодии. Я ничего так не люблю, как простую музыку. Мелодия, простота—вот в чем, по-моему, нуждается наш век. Мы стали слишком утонченны. Все какое-то сложное, манерное. Простая, домашняя философия, «Отчий дом, очаг родной» — вот что по мне. А вы как считаете?

— О, я считаю... совершенно так же,— сказала мисс Пербрайт младшая.

— А ты, Эми, как обычно, все болтаешь с Джорджем? — бросила через всю гостиную миссис Пербрайт.

— Как обычно, мама! — сказала мисс Пербрайт младшая, оглянулась с сияющей улыбкой на мисс Папавер и быстро опять повернулась, чтобы не упустить следующего высказывания Джорджа.

— А не могли ли бы вы с мистером Ангелом составить дуэт? — обратилась леди Хаммергеллоу к младшему священнику из Айпинг-Хенгера, который стал сверхъестественно мрачен.

— Я всегда рад доставить вам удовольствие,— сказал младший священник из Айпинг-Хенгера, сразу повеселев.

— Дуэт! — сказал Ангел.— Мне с ним вдвоем? Он, значит, умеет играть? Я так понимаю... Викарий объяснял мне... что...

— Мистер Уилмердингс — превосходный пианист,— перебил Викарий.

— Но как же с имитациями? — вмешалась миссис Джехорем. Она терпеть не могла Уилмердингса.

— С имитациями? — переспросил Ангел.

— Знаете, показать, как хрюкает свинья, как кукарекает петух,— сказал мистер Ратбон-Слейтер и добавил вполголоса: — Самое веселое, что можно извлечь из скрипки, по-моему.

— Я, право, не понимаю,— сказал Ангел.— Как кукарекает свинья!

— А, так вы не любите имитаций,— сказала миссис Джехорем.— Я тоже не люблю, нет, правда! Я принимаю вашу критику. Они, по-моему, принижают...

— Может быть, немного позже мистер Ангел согласится...— сказала леди Хаммергеллоу, когда миссис Пербрайт объяснила ей, в чем дело. Она не верила своим ушам, вернее, своему слуховому аппарату. Если она просила имитации, она привыкла получать имитации.

Мистер Уилмердингс сел за рояль и повернулся к лежавшей сбоку знакомой кипе нот.

— Что вы скажете о «Баркароле» Шпора [1]? — спросил он через плечо.— Полагаю, вы ее знаете?

Ангел ответил растерянным взглядом.

Он раскрыл перед Ангелом большую нотную тетрадь.

— Какая забавная книга!—сказал Ангел.— Что обозначают эти нелепые крапинки? (У Викария при этих его словах похолодела кровь.)

— Какие крапинки? — не понял младший священник.

— Вот! — Ангел ткнул обличительным пальцем.

— Вы шутите! — сказал младший священник.

Наступило внезапное короткое молчание, столь многозначительное в светском обществе.

Затем немолодая мисс Папавер повернулась к Викарию:

— Разве мистер Ангел не умеет играть с листа, незнаком с нотным письмом?

— Я никогда не слышал...— заговорил Викарий и, справившись с первой оторопью, начал медленно заливаться краской.

— Я, по правде говоря, никогда не видел, чтобы он...

Ангел чувствовал напряженность положения, хотя не мог понять, отчего оно сделалось напряженным. Он замечал недоверчивое, недружелюбное выражение на лицах, обращенных к нему.

— Не может быть,— услышал он снова голос миссис Пербрайт.— После такой прелестной музыки!

Немолодая мисс Папавер тут же подошла к леди Хаммергеллоу и начала объяснять ей в слуховую трубку, что мистер Ангел не желает играть с мистером Уилмердингсом и делает вид, что не знает нот.

— Не умеет играть по нотам? — сказала леди Хаммергеллоу с благородным ужасом в голосе.— Вздор!

---

[1] Людвиг Шпор (1784—1859) — модный в свое время немецкий композитор и скрипач.

— По нотам! — повторил растерянно Ангел.— Вот это ноты?

— Он заводит шутку слишком далеко и только потому, что не хочет играть с Уилмердингсом,— сказал мистер Ратбон-Слейтер Джорджу Хэррингею.

Все замолчали в ожидании. Ангел почувствовал, что должен устыдиться. И он устыдился.

— Что ж!—сказала леди Хаммергеллоу с подчеркнутым негодованием в голосе и, закинув голову, с шумным шелестом наклонилась вперед.— Если вы не можете играть с мистером Уилмердингсом, боюсь, я не могу просить вас, чтобы вы нам сыграли что-нибудь еще.— Это прозвучало у нее, как ультиматум.

От негодования лорнет в ее руке судорожно дергался. Ангел уже достаточно очеловечился, чтобы уяснить себе, что он уничтожен.

— В чем дело? — спросила маленькая Люси Растчак в дальнем уголке гостиной.

— Он не стал играть со старым Уилмердингсом,— сказал Томми Ратбон-Слейтер.— Вот потеха! Старушенция прямо-таки побагровела. Она ведь без ума от этого болвана Уилмердингса.

— Может быть, вы нас порадуете, мистер Уилмердингс, и сыграете нам этот прелестный «Полонез» Шопена? — сказала леди Хаммергеллоу.

Все, затаив дыхание, молчали. Негодование леди Хаммергеллоу вызвало ту тишину, какая наступает перед землетрясением или перед затмением солнца. Мистер Уилмердингс почувствовал, что окажет неоценимую услугу обществу, если начнет играть, и (отметим это к его чести — теперь, когда скоро будет подведен итог его деяниям) заиграл незамедлительно.

— Если человек хочет заниматься искусством,— сказал Джордж Хэррингей,— то он по меньшей мере должен добросовестно выучить его азбуку. А вы как...

— О, я думаю точно так же,— сказала мисс Пербрайт младшая.

Викарию чудилось, что рухнуло небо. Он сидел, съежившись в своем кресле, совсем уничтоженный. Леди Хаммергеллоу села рядом с ним и точно не видела его. Она тяжело дышала, но ее лицо было устрашающе спокойным. Сели и все остальные. Что же, Ангел непомер-

но невежествен или непомерно дерзок?.. Ангел смутно сознавал, что совершил какой-то тяжелый проступок, сознавал, что каким-то таинственным образом перестал быть средоточием общего внимания. В глазах Викария он читал укоризненное разочарование. Он медленно проскользнул к окну в глубине зала и сел на восьмиугольный мавританский табурет рядом с миссис Джехорем. И под действием обстановки он оценил любезную улыбку миссис Джехорем выше ее действительной цены. Он положил скрипку на диванчик в нише окна.

XXXV

Миссис Джехорем с Ангелом (в стороне). Мистер Уилмердингс играет.

— Мне так давно хотелось побеседовать с вами без помех,— сказала полушепотом миссис Джехорем.— Высказать вам, какой восхитительной показалась мне ваша игра.

— Я рад, что вам она понравилась,— сказал Ангел.

— Понравилась — не то слово,— сказала миссис Джехорем.— Она меня глубоко взволновала. Другие здесь не поняли... Я обрадовалась, когда вы не стали с ним играть.

Ангел посмотрел на автомат, называемый Уилмердингсом, и тоже порадовался. (По ангельским понятиям дуэт представляет собою нечто вроде разговора на двух скрипках.) Но он промолчал.

— Я обожаю музыку,— сказала миссис Джехорем.— Я ничего не смыслю в ее технике, но есть в ней что-то такое... томление, желание...

Ангел смотрел ей в лицо. Их глаза встретились.

— Вы понимаете,— сказала она.— Я вижу, что вы понимаете. («Нет, бесспорно, он очень милый мальчик, может быть, преждевременно созревший в смысле чувств, и с восхитительно томными глазами».)

Наступившую паузу заполнял Шопен (опус № 40), играемый с невероятной четкостью.

У миссис Джехорем было еще довольно привлекательное лицо — здесь, в тени, где на ее золотые волосы

ложились отсветы огней,— и в голове Ангела возникла любопытная гипотеза. Толстый слой пудры на этом лице только утверждал мелькнувшее ему видение чего-то бесконечно светлого и милого, что было поймано, потускнело, закостенело, обтянулось жесткой оболочкой.

— Вы...— сказал совсем тихо Ангел.— Вы... разлучены... с вашим миром?

— Как вы? — прошептала миссис Джехорем.

— Этот мир так... холоден,— сказал Ангел.— Так груб.— Он подразумевал мир в целом.

— Я чувствую то же,— сказала миссис Джехорем, отнеся его слова к Сиддермортону.

— Есть души, которые не могут жить без сочувствующей души,— сказала она, глубокомысленно помолчав.— И бывают минуты, когда чувствуешь свое одиночество в мире. Вступаешь в борьбу против этого всего. Сама смеешься, кокетничаешь, прячешь свою боль...

— И надеешься,— сказал Ангел, остановив на ней чудесный взгляд.— Да.

Миссис Джехорем (она была гурманом флирта) подумала, что Ангел выполняет, и даже с лихвой, то, что обещала его внешность. (О, несомненно, он ее боготворит!)

— Вы тоже ищете сочувствия? — спросила она.— Или, может быть, вы его нашли?

— Мне кажется,— молвил Ангел очень нежно и наклоняясь к ней,— мне кажется, что я его нашел.

Снова пауза, заполненная опусом № 40. Весьма немолодая мисс Папавер и миссис Пербрайт перешептываются. Леди Хаммергеллоу (подняв лорнет) недружелюбным взором смотрит через всю гостиную на Ангела. Миссис Джехорем и Ангел глубоко, со значением смотрят друг другу в глаза.

— Ее зовут,— сказал Ангел (миссис Джехорем наклонилась к нему),— Делией. Она...

— Делия! — резко сказала миссис Джехорем, меж тем как страшное недоразумение доходило до ее сознания.— Причудливое имя... Как?.. Не может быть... Неужели маленькая горничная в доме Викария?..

Полонез закончился бравурным пассажем. Ангела крайне удивила внезапная смена выражения на лице миссис Джехорем.

— Неслыханно!.. — сказала, опомнившись, миссис Джехорем.— Делать из меня поверенную в интриге со служанкой! Право, мистер Ангел, вы, кажется, хотите быть уж слишком оригинальным.

Но тут их разговор неожиданно прервали.

XXXVI

Эта подглавка (насколько я помню) самая короткая в книге.

Но беспримерность проступка делает необходимым выделить ее.

Викарий, надо вам сказать, старался привить своему подопечному все те особенности, какие признаются отличительными для джентльмена. «Никогда не позволяйте даме ничего нести,— объяснял Викарий.— Скажите: «Позвольте мне» — и освободите ее от ноши». «Стойте и не садитесь, пока все дамы не усядутся». «Всегда нужно встать и открыть перед дамой дверь...» — и так далее. (Каждому юноше, имеющему старшую сестру, известен этот кодекс.)

И Ангел, не сообразивший перед тем взять у леди Хаммергеллоу чашку, когда она допила чай, протанцевал через всю залу и с поразительным проворством (оставив миссис Джехорем одну в оконной нише), с самым изысканным «Позвольте мне!» перенял чайный поднос у миловидной горничной леди Хаммергеллоу и, услужливо неся его перед нею, исчез за дверью. С невнятным хриплым криком Викарий поднялся с кресла.

XXXVII

— Он пьян! — сказал мистер Ратбон-Слейтер, нарушив грозную тишину.— Вот и все.

Миссис Джехорем истерически смеялась.

Викарий застыл на месте, глядя в пространство.

— Ах! Я забыл объяснить ему про слуг! — угрызаясь, сказал Викарий самому себе.— Я думал, про слуг он и сам поймет.

— Действительно, мистер Хильер! — с судорогой в голосе, прилагая все усилия, чтобы не утратить власть

над собой, проговорила леди Хаммергеллоу.— Действительно, мистер Хильер!.. Ваш гений *слишком* ужасен. Я должна, действительно должна просить вас, чтобы вы увели его домой.

И вот, прерывая завязавшийся в коридоре диалог между напуганной служанкой и Ангелом (полным благих намерений, хоть и крайне *gauche*), *появляется* Викарий с пунцово-красным сморщенным личиком, с сумрачным отчаянием в глазах и с галстуком, сбившимся под левое ухо.

— Идемте,— сказал он, подавляя волнение.— Идемте отсюда прочь... Я... я опозорен навек!

Ангел секунду смотрел на Викария и подчинился кротко и покорно, чувствуя, как на него ополчаются неведомые, но явно грозные силы.

Так началась и закончилась карьера Ангела в свете.

На последовавшем неофициальном митинге возмущения леди Хаммергеллоу (неофициально) взяла на себя обязанность председателя.

— Я глубоко сожалею,— сказала она.— Викарий уверял меня, что это замечательный скрипач. Я и не представляла...

— Он был пьян,— сказал мистер Ратбон-Слейтер.— Это было видно по тому, как он возился со своим чаем.

— Какое фиаско! — сказала миссис Мергл.

— Викарий меня уверял,— сказала леди Хаммергеллоу.— «Человек, которого я приютил,— гениальный музыкант»,— говорил он. Его подлинные слова.

— Как у него сейчас горят уши, воображаю! — сказал юный Томми Ратбон-Слейтер.

— Я старалась,— сказала миссис Джехорем,— не дать ему расшуметься и нарочно подлаживалась к нему. Если бы вы знали, что он мне наговорил, какие вещи!

— Пьеса, которую он сыграл...— заявил мистер Уилмердингс.— ...Признаюсь, я не решился высказать ему это прямо в лицо, но, сказать по правде, это было нечто очень расплывчатое.

— Просто валял дурака на скрипке, э? — сказал Джордж Хэррингей.— Я сразу подумал, что этого мне не понять. Как, впрочем, и всю вашу утонченную музыку...

— Ах, Джордж! — сказала мисс Пербрайт младшая.

— Викарий тоже выпил лишнего, судя по галстуку,— сказал мистер Ратбон-Слейтер.— Все это довольно подозрительно. Заметили, как он все беспокоился за своего гения?

— Нужно быть очень осторожными,— сказала весьма немолодая мисс Папавер.

— Он мне рассказал, что влюблен в горничную Викария,— сказала миссис Джехорем.— Я чуть не расхохоталась ему в лицо.

— Викарий никак не должен был приводить его сюда,— решительно сказала миссис Ратбон-Слейтер.

НЕПРИЯТНОСТЬ С КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

XXXVIII

Таков был бесславный конец первого и последнего появления Ангела в обществе. Викарий с Ангелом шли домой: шли приунывшие черные понурые фигуры в ярком свете солнца. Ангел был глубоко огорчен тем, что огорчен Викарий. Викарий, взъерошенный и на грани отчаяния, то начинал разъяснять Ангелу правила этикета, то ударялся корить самого себя, то предавался мрачным ожиданиям.

— Они не понимают,— снова и снова повторял Викарий.— Они будут все так обижены. Не знаю, что и сказать им. Так все смутно, так запутано...

А у калитки, на том самом месте, где Ангел впервые увидел, что Делия красива, стоял, поджидая их, Хоррокс, деревенский констебль. Он держал, накрутив на руку, обрывки колючей проволоки.

— Добрый вечер, Хоррокс,— сказал Викарий констеблю, когда тот открыл перед ними калитку.

— Добрый вечер, сэр,— сказал Хоррокс. И добавил таинственным полушепотом: — Могу я поговорить с вами минутку, сэр?

— Конечно,— сказал Викарий. Ангел задумчиво побрел дальше один и, повстречав в прихожей Делию, остановил ее и учинил ей обстоятельный допрос о различиях между служанками и дамами.

— Вы меня, конечно, извините за вольность, сэр,— начал Хоррокс,— но тут может выйти неприятность для этого увечного джентльмена, вашего гостя.

— Да неужели? — вздохнул Викарий.— Что вы говорите!

— Сэр Джон Готч, сэр... Он страх как рассержен, сэр. Так выражается, сэр!.. Но я счел себя обязанным рассказать вам, сэр. Он определенно намерен возбудить дело по поводу вот этой самой колючей проволоки. Определенно намерен, сэр.

— Сэр Джон Готч! — сказал Викарий.— Проволока! Не понимаю.

— Он попросил меня выяснить, кто это сделал. Мне, конечно, пришлось выполнять свой долг, сэр. Неприятный, разумеется, долг.

— Колючая проволока! Долг! Я ничего не понимаю, Хоррокс.

— Боюсь, сэр, доказательства неопровержимы. Я тщательно собрал все показания, сэр. — И констебль стал рассказывать Викарию про новый возмутительный проступок гостя из Ангельской Страны.

Но нам незачем передавать это объяснение во всех подробностях или приводить последовавшее признание Ангела. (Лично я считаю, что нет ничего скучнее, чем диалог.) Оно показало Викарию характер Ангела в новом аспекте, добавило новую причудливую черту—ангельский гнев. Тенистый проселок; душистые живые изгороди в пятнах солнечного света; по ту и другую сторону—жимолость и вика; и маленькая девочка собирает цветы, забыв о колючей проволоке, что тянется вдоль всей Сиддерфордской дороги, ограждая достоинство сэра Джона Готча от соприкосновения с «невежами» и «презренной толпой». Потом вдруг оцарапанная ручка, жалобный плач — и Ангел, сострадательный, утешающий, ищущий дознаться до сути. Разъяснения сквозь всхлипы и затем нечто совсем неожиданное в Ангеле — взрыв страстного гнева. Ангел яростно набрасывается на колючую проволоку сэра Джона Готча. Колючая проволока безрассудно попрана — она иссечена, прогнута и сломана. Ангел, впрочем, действовал без личной злобы на кого-либо — он просто видел в проволоке безобразное и порочное злое растение, коварно замешавшееся в среду своих собратьев.

Из дополнительного допроса, учиненного Викарием Ангелу, вырисовалась такая картина: Ангел один среди произведенных им разрушений, дрожащий, изумленный не самим собою, а некой неведомой силой, вдруг прорвавшейся в нем и толкнувшей его разить и резать. Изумила его и багряная кровь, заструившаяся по пальцам.

— Тогда это еще гнусней,— сказал Ангел, узнав от Викария про искусственную природу «растения».— Если бы я увидел человека, который запрятал туда эту глупую злую штуку, чтобы ранить маленьких детей, я бы уж наверно постарался причинить боль ему самому. Никогда до сих пор я не испытывал такого чувства. Право, я уже весь запятнан и окрашен злобой вашего мира.

...И подумать только, до чего же вы, люди, безумны! Вы поддерживаете законы, разрешающие человеку совершать такие злые поступки. Да, я знаю: вы скажете, это необходимо. По каким-то отдаленным причинам. Но это меня только сильней возмущает. Почему нельзя оценивать поступок сообразно тому, чего он стоит сам по себе, как это делается в Ангельской Стране?..

Таково было происшествие, историю которого Викарий узнал постепенно, получив общие сведения от Хоррокса, а эмоциональную окраску — позднее — от Ангела. Случилось оно накануне музыкального вечера в Сидмортон-Хаусе.

— Вы доложили сэру Джону, кто это совершил? — спросил Викарий.— И сами вы уверены в том?

— Вполне уверен, сэр. Не может быть сомнения, что это сделано вашим джентльменом, сэр. Сэру Джону я еще не докладывал. Но я должен ему доложить сегодня вечером. Хоть я и не хотел бы причинять вам неприятность, сэр, как вы, надеюсь, сами понимаете. Таков уж мой долг, сэр. К тому же...

— Разумеется,— перебил Викарий.— Разумеется, это ваш долг. А как поступит сэр Джон?

— Он страшно возмущен против лица, натворившего это,— посягать вот так на чужую собственность, да еще вроде как бы наплевав на все порядки.

Минута молчания. Хоррокс переминался с ноги на ногу. Викарий — с галстуком, съехавшим уже чуть не на загривок (вещь для Викария совершенно необычная),— тупо уставился на носки своих башмаков.

— Я подумал, что мне следует рассказать вам, сэр,— повторил Хоррокс.

— Да,— выговорил Викарий.— Я вам очень благодарен, Хоррокс, очень! — Он почесал в затылке.— Вы, пожалуй, могли бы... Думаю, так будет лучше всего... Вы вполне уверены, что это сделал мистер Ангел?

— Уверен, как сам Шерлок Холмс.

— Тогда мне самое лучшее передать через вас сэру Джону письмецо.

XXXIX

В тот вечер разговор за обедом у Викария, после того как Ангел рассказал, как было дело, шел о мрачных предметах — о тюрьмах, о сумасшествии.

— Теперь уже поздно раскрывать о вас правду,— объяснял Викарий.— Да, впрочем, и невозможно. Я просто не знаю, что и посоветовать. Думаю, нам нужно будет вести себя так, как подскажут обстоятельства. Я в нерешительности... Я разрываюсь пополам. Есть два мира сразу. Если бы ваш ангельский мир был только сном, или если бы наш мир был только сном, или если бы я мог поверить, что какой-то из них или оба они —только сон, ну, тогда для меня все было бы легко. Но вот передо мною настоящий Ангел и настоящий вызов в суд, а как их примирить, я не знаю. Надо бы мне поговорить с Готчем... Но он не поймет. Никто не поймет...

— Боюсь, я доставляю вам страшные неудобства. Мое ужасающее незнание вашего мира...

— Нет, дело не в вас,— сказал Викарий.— Не в вас. Я чувствую, что вы внесли в мою жизнь нечто необычное и прекрасное. Дело не в вас. Дело во мне самом. Если бы я тверже верил в то или в другое. Если бы я мог безоговорочно принять этот мир и называть вас, как доктор Крумп, неким аномальным феноменом. Так нет же. Ангельское—и вместе земное; земное — и вместе ангельское, как посмотреть! Точно на качелях.

...Однако от Готча ничего хорошего ждать не приходится. Он очень неприятный человек. Всегда и во всем. И теперь я в его руках. Он, я знаю, подает дурной пример. Пьет. Играет. И кое-что похуже. Все же надо отдать кесарево кесарю. И он ратует против отделения церкви от государства...

Далее Викарий вернулся к скандалу на приеме у леди Хаммергеллоу.

— Вы, знаете, слишком стараетесь докопаться во всем до основ,— повторил он несколько раз.

Гость пошел в свою спальню, озадаченный и совсем подавленный. Мир смотрел с каждым днем мрачнее на него и на его ангельские пути. Ангел видел, как огорчен его бедой Викарий, но не представлял себе, как он мог бы ее избежать. Все казалось таким странным и неразумным. Вдобавок его дважды прогнали из деревни, зашвыряв камнями.

Он увидел свою скрипку — она лежала на кровати, как он положил ее перед обедом. Чтобы утешиться, он ее взял и начал играть. Но теперь он играл не пленительные видения Ангельской Страны. Железо мира проникло в его душу. Уже неделю он был знаком с болью и отверженностью, с подозрением и ненавистью, и странный, новый для него дух возмущения рос в его сердце. Он играл мелодию, все еще сладостную и нежную, как напевы Ангельской Страны, но отягченную новым звучанием — звучанием человеческого горя и борения; мелодию, то разраставшуюся в нечто подобное вызову, то сникавшую в жалобную грусть. Он играл тихо, играл в утешение самому себе, но Викарий слышал, и все его последние тревоги поглотила смутная печаль — печаль, очень далекая от скорби. И, кроме Викария, Ангела слушал кто-то еще, о ком не думали ни Ангел, ни Викарий.

ДЕЛИЯ

XL

Она была всего в четырех-пяти ярдах от Ангела — на чердачке, смотревшем на запад. В ее комнатке оконце с ромбическими стеклами было распахнуто. Она стояла на коленях на своем лакированном жестяном сундучке и, облокотясь на подоконник, подперла обеими руками подбородок. Молодой месяц повис над соснами, и свет его, холодный и белесый, мягко ложился на тихо дремавший мир. Свет его падал на ее белое лицо и раскрыл новую глубину в ее мечтательных глазах. Мягкие губы ее разомкнулись, открыв белые зубки.

Делия ушла в свои думы, смутные, волшебные, какие бывают у девушек. Это были скорее чувства, чем думы; облака прекрасных, прозрачных эмоций проносились по ясному небу ее сознания, принимая образы, которые менялись и исчезали. В ней была вся та чудесная взволнованная нежность, тихая и благородная жажда самопожертвования, которая живет неизъяснимо в девичьем сердце, живет как будто лишь затем, чтобы тотчас ее растоптали под ногами злого произвола будничной жизни; чтобы запахали обратно в землю, безжалостно и грубо, как фермер вновь запахивает в почву пробившийся на пашне клевер. Она загляделась на лунную тишь еще задолго до того, как Ангел начал играть, глядела в окно и ждала; и вдруг в спокойную, недвижимую красоту серебра и тени вплелась нежная музыка.

Девушка не шелохнулась, только губы ее сомкнулись и стали нежнее глаза. Перед тем она думала о странном сиянии, вдруг загоревшемся вокруг склонившегося горбуна, когда он заговорил с нею на закате; о том, как он смотрел на нее тогда, да и раньше не раз; как, случалось, оглядывался на нее, а однажды даже прикоснулся к ее руке. Сегодня перед обедом он заговорил с ней, задавая странные вопросы. А сейчас под его музыку его лицо, казалось, возникло перед ней, как живое, его взгляд, пытливый и ласковый, всматривался в ее лицо, в ее глаза, в нее и сквозь нее — в глубину ее души. Теперь он, казалось, обращался прямо к ней, говорил ей о своем одиночестве и беде. О, эта горесть и это томление! Потому что он в беде! Но как может помочь ему служанка — ему, джентльмену с мягкой речью, который так мил в обращении, который так прекрасно играет на скрипке. Музыка была так сладостна и проникновенна, так близка была думам ее сердца, что она вдруг стиснула ладони, и слезы полились по лицу.

Как вам сказал бы Крумп, подобное происходит с людьми только тогда, когда у них не в порядке нервная система. Но если так, то с научной точки зрения влюбленность есть состояние патологическое.

Я с прискорбием сознаю, что здесь моя повесть принимает предосудительный характер. Я даже подумал,

не извратить ли мне своевольно истину в угоду госпоже читательнице. Но не могу. Я не властен над фактами. То, что делаю, я делаю с открытыми глазами. Делия должна остаться тем, чем она была в действительности,— девушкой-служанкой. Я знаю, что наделив простую служанку — или по меньшей мере английскую служанку — тонкими человеческими чувствами, изобразив ее как-то иначе, нежели говорящей неграмотным языком, я тем самым исключаю себя из разряда респектабельных писателей. В наши дни общение со слугами, хотя бы только в мыслях,— опасное дело. В свое оправдание я могу лишь сказать (хоть это, знаю, будет напрасной попыткой), что Делия была среди служанок редким исключением. Возможно, если провести расследование, то окажется, что по своему происхождению она принадлежала к высшему слою среднего класса; что она создана была из более тонкой глины — из глины высшего слоя среднего класса. И я могу пообещать (возможно, это послужит мне более верным извинением), что в одной из будущих моих работ я восстановлю равновесие и терпеливая читательница получит то, что всеми признано: огромные руки и ноги, безграмотную речь, полное отсутствие фигуры (фигуры бывают только у девушек среднего класса — служанкам они не по средствам), челку (по требованию) и бойкую готовность за полкроны поступиться своим самолюбием. Такова признанная английская служанка, типическая английская женщина (если отнять у нее деньги и воспитание), каковой она предстает перед нами в произведениях современных прозаиков. Но Делия была несколько другой. Я могу только пожалеть об этом обстоятельстве — изменить его я не властен.

ДОКТОР КРУМП ДЕЙСТВУЕТ

XLI

На другое утро Ангел спозаранку спустился в деревню, перелез через изгородь и побрел берегом Сиддера сквозь высокий, по плечи, камыш. Он шел к Бендремской бухте, чтобы поближе поглядеть на море, которое в Сиддермортоне можно видеть только в ясный день с самых

высоких холмов Сиддермортон-парка. И вдруг он натолкнулся на Крумпа, который сидел на бревне и курил (Крумп неизменно выкуривал ровно две унции табака в неделю — и курил он неизменно на открытом воздухе).

— Приветствую вас! — сказал Крумп своим самым бодрым голосом.— Как наше крыло?

— Отлично,— сказал Ангел.— Боль прошла.

— Полагаю, вам известно, что вы совершаете правонарушение?

— Правонарушение? — переспросил Ангел.

— Полагаю, вам не известно, что это значит,— сказал Крумп.

— Не известно,— подтвердил Ангел.

— Могу вас поздравить. Я не знаю, надолго ли вас хватит, но вы замечательно выдерживаете вашу роль. Я сперва принял вас за сумасшедшего, но вы поразительно последовательны. Ваша поза полного незнания элементарных житейских фактов, сказать по правде,— очень забавная поза. Вы, конечно, допускаете промахи, но крайне редко. Мы с вами, несомненно, понимаем друг друга.

Он улыбнулся Ангелу.

— Перед вами спасовал бы и Шерлок Холмс. Хотелось бы мне знать, кто вы на самом деле.

Ангел улыбнулся в ответ, поднял брови и развел руками...

— Кто я, вам понять невозможно. Глаза ваши слепы, ваши уши глухи, ваша душа темна для всего, что во мне есть чудесного. Мне бесполезно говорить вам, что я упал в ваш мир.

Доктор взмахнул своею трубкой.

— Нет, уж без этих штук. Я не хочу допытываться — у вас, наверно, есть свои причины помалкивать. Только я хотел бы, чтобы вы подумали о душевном здоровье Хильера. Он действительно поверил в эту чушь.

Ангел пожал своими съежившимися крыльями.

— Вы не знаете, каким он был раньше. Он чудовищно изменился. Он был всегда аккуратный, уравновешенный. Но последние две недели он точно в тумане, у него отсутствующий взгляд. В прошлое воскресенье он проповедовал в церкви без запонок в манжетах, с перекосившимся галстуком, а текстом избрал: «Да не увидят гла-

зами и не услышат ушами». Он в самом деле поверил во всю эту чушь про Ангельскую Страну. Старик на грани умопомешательства.

— Вы способны смотреть на вещи только с вашей собственной точки зрения,— сказал Ангел.

— А иначе и нельзя. Во всяком случае, мне прискорбно видеть беднягу загипнотизированным, потому что вы, несомненно, загипнотизировали его! Я не знаю, ни откуда вы явились, ни кто вы такой, но я вас предупреждаю: больше я не намерен смотреть, как дурачат бедного Викария.

— Но его вовсе не дурачат. Он просто начинает видеть сны о мире, лежащем по ту сторону его познания...

— Не выйдет,— сказал Крумп.— Меня вам не одурачить. Вы одно из двух: либо сумасшедший в бегах (чему я не верю), либо шарлатан. Ничего другого предположить нельзя. Как ни мало я знаю о вашем мире, о нашем, думаю, мне кое-что известно. Так вот. Если вы не оставите Хильера в покое, я обращусь в полицию... и если вы не отступитесь от вашей выдумки, запрячу вас в тюрьму, а если будете настаивать, то в сумасшедший дом. Пусть это и не совсем добросовестно, но, клянусь вам, я завтра же объявлю вас душевнобольным, лишь бы удалить вас из деревни... Дело тут не только в Викарии, как вам известно. Надеюсь, ясно? Так что же вы скажете?

Напустив на себя вид величественного спокойствия, Крумп достал из кармана перочинный нож и начал ковырять лезвием в чашечке трубки. Пока он произносил свою речь, трубка у него погасла.

Минуту оба молчали. Ангел, бледный, смотрел вокруг. Доктор извлек из трубки перегоревший табак и выбросил вон, сложил и сунул в жилетный карман перочинный нож. Он не собирался говорить так категорически, но, как всегда, собственная речь его распалила.

— В тюрьму,— сказал Ангел,— в сумасшедший дом! Дайте подумать...— Потом он вспомнил объяснения Викария.— Нет, только не это,— сказал он. Он подошел к Крумпу с расширившимися глазами и простер к нему руки.

— Я так и знал, что значение этих слов вам, во всяком случае, известно. Присядьте,— сказал Крумп, кивком головы указав на ближний пенек.

Ангел, весь дрожа, сел на пенек и не сводил взгляда с доктора.

Крумп вынул кисет.

— Вы странный человек,— сказал Ангел.— Ваши убеждения, как... стальной капкан.

— Именно,— сказал Крумп. Он был польщен.

— Но говорю вам... уверяю вас, так оно и есть: я ничего не знаю или по меньшей мере я не помню, чтобы раньше я что-либо знал об этом мире — до того как очутился в ночной темноте на пустоши у Сиддерфорда.

— Где же тогда вы научились нашему языку?

— Не знаю. Только говорю вам... Но у меня нет ничего похожего на доказательство, которое могло бы убедить вас.

— И вы в самом деле,— сказал Крумп, вдруг круто к нему повернувшись и глядя ему в глаза,— вы в самом деле верите, что до того времени вы вечно пребывали в некоем сияющем небе?

— Верю,— сказал Ангел.

— Фью-у!— протянул Крумп и разжег трубку. Некоторое время он сидел и курил, уперев локоть в колено, а Ангел сидел и наблюдал за ним. Потом лицо его прояснилось.

— Вполне возможно,— сказал он скорее самому себе, чем Ангелу. И снова оба надолго замолкли.

— Видите ли,— сказал Крумп, прерывая молчание,— есть такая штука, как раздвоение личности... Человек иногда забывает, кто он, и думает, что он кто-то еще. Бросает дом, друзей, все на свете и начинает жить двойною жизнью. Подобный случай описан в «Природе» месяц тому назад. Человек был иногда англичанином и нормально владел правой рукой, а иногда валлийцем и притом левшой. Когда он бывал англичанином, он не понимал по-валлийски, когда же валлийцем — не понимал по-английски... Гм!

Он вдруг повернулся к Ангелу и сказал: «Дом!» Он вообразил, что, может быть, ему удастся оживить в Ангеле какие-то скрытые воспоминания о его забытом детстве. Он продолжал:

— Папа, папочка, папуля, отец, папаша, старик; мать, дорогая мама, матушка, мамуся... Не помогает? Над чем вы смеетесь?

— Ни над чем,— сказал Ангел.— Вы меня немного удивили, вот и все. Неделю назад этот набор слов меня, вероятно, смутил бы.

Минуту Крумп с молчаливым укором глядел на Ангела уголком глаза.

— У вас такое искреннее лицо. Вы почти принуждаете меня поверить вам. Вы, несомненно, не заурядный сумасшедший. Если исключить отрыв от прошлого, психика у вас достаточно, по-видимому, уравновешенная. Хотел бы я, чтобы на вас взглянули Нордау, или Ломброзо, или кто-нибудь из сальпетриеровцев [1]. Здесь у нас в смысле душевных заболеваний совсем мало практики, так мало, что не о чем и говорить. Имеется, правда, один идиот — так он самый жалкий идиот из идиотов! Все прочие психически вполне здоровы.

— Возможно, этим и объясняется их поведение,— сказал Ангел задумчиво.

— Но, принимая во внимание ваше положение здесь,—сказал Крумп, оставив его замечание без ответа,— я действительно считаю, что вы оказываете на людей дурное влияние. Подобные фантазии заразительны. Дело не только в Викарии. Тут есть еще один человек, по имени Шайн, так он тоже зачудил: целую неделю был в запое и вызывал на драку каждого, кто посмеет сказать, что вы не Ангел. А другой человек, там, в Сиддерфорде, заболел, я слышал, религиозной манией на той же почве. Такие вещи заразительны. Следует ввести карантин для вредных мыслей. Я слышал еще про один случай...

— Но что могу я сделать? — сказал Ангел.— Допустим, я (без всякого намерения) приношу вред...

— Вы можете покинуть деревню,— сказал Крумп.

— Но тогда я только перейду в какую-нибудь другую деревню.

— А это меня не касается,— сказал Крумп.— Уходите куда вам угодно. Только уходите. Оставьте этих трех человек — Викария, Шайна и маленькую служанку,— у которых теперь кружатся в голове целые сонмы ангелов...

---

[1] Сальпетриер — парижское убежище для престарелых женщин, а также для нервно- и психически больных.

— Как! — сказал Ангел.— Оказаться одному лицом к лицу с вашим миром! Оставить Делию! Не понимаю... Я не знаю даже, как достают работу, и пищу, и кров. Я начинаю бояться людей.

— Все фантазии, фантазии,— сказал Крумп, поглядывая на него.— Мания. Ну, довольно мне вас расстраивать,— добавил он вдруг.— Пользы от этого не будет. Ясно одно: так продолжаться не может.— Он вскочил.

— До свидания, мистер... Ангел,— сказал он.— Суть дела в том,— говорю вам как врач этого прихода,— что вы оказываете нездоровое влияние. Мы не можем оставить вас у себя. Вы должны покинуть деревню.

Он повернулся и широким шагом пошел прямо по траве к большой дороге. Ангел, безутешный, сидел один на пеньке.

— Нездоровое влияние,— медленно повторил он, глядя в пространство невидящим взглядом, и попробовал осознать, что это означало.

СЭР ДЖОН ГОТЧ ДЕЙСТВУЕТ

XLII

Сэр Джон Готч был маленький человечек со щетинистыми жидкими волосами и тонким носиком, торчащим на иссеченном морщинами лице; на ногах — тугие коричневые гетры, в руках — хлыст.

— Я пришел, как видите,— сказал он, когда миссис Хайниджер закрыла дверь.

— Благодарю вас,— сказал Викарий,— я очень вам обязан. Очень обязан!

— Рад оказать вам услугу,— сказал сэр Джон Готч (вызывающая поза).

— Это дело,— начал Викарий,— эта злополучная история с колючей проволокой, она, вы знаете, действительно... очень злополучная история.

Поза сэра Джона Готча стала куда более вызывающей.

— Согласен с вами,— сказал он.

— Поскольку этот мистер Ангел — мой гость...

— Это еще не основание для того, чтобы перерезать мою проволоку,— оборвал сэр Джон Готч.

— Никак не основание.

— Могу я спросить, кто он такой, ваш мистер Ангел? — спросил сэр Джон Готч со всей резкостью, какую дает заранее принятое решение.

Пальцы Викария подскочили к подбородку. Что пользы было говорить об ангелах такому человеку, как сэр Джон Готч!

— Сказать вам истинную правду,— сказал Викарий,— тут имеется небольшая тайна.

— Леди Хаммергеллоу намекнула мне на это.

Лицо Викария стало вдруг пунцовым.

— А вы знаете,— сказал сэр Джон Готч почти без передышки,— что он ходит по деревне и проповедует социализм?

— Милостивое небо! — сказал Викарий.— Не может быть.

— Может! Он хватает за пуговицу каждого встречного и поперечного и спрашивает у них, почему они должны работать, тогда как мы, мы с вами, понимаете, ничего не делаем. Он говорит, что мы должны воспитанием поднимать каждого человека до нашего с вами уровня... Конечно, за счет налогоплательщиков — старая песенка. Он внушал мысль, что мы — то есть, понимаете, мы с вами — нарочно держим этих людей в темноте, пичкаем их всякой ерундой.

— Неужели! — сказал Викарий.— Я и понятия не имел.

— Он перерезал проволоку в порядке демонстрации, говорю я вам, в порядке социалистической демонстрации. Если мы не примем против него крутых мер, завтра, говорю я вам, у нас будут свалены все изгороди по Флиндерской дороге, а потом пойдут гореть амбары. И по всему приходу перебьют все до последнего эти, черт их побери (извините, Викарий, знаю сам, что слишком привержен к этому словцу)... эти, благослови их небо, фазаньи яйца. Знаю я их, этих...

— Социалист! — сказал Викарий, совсем пришибленный.— Я и понятия не имел.

— Теперь вы понимаете, почему я склонен притянуть джентльмена к ответу, хоть он и ваш гость. Мне кажется, что он, пользуясь вашей отеческой...

— Нет, не отеческой! — сказал Викарий.— Право же...

— Извините, Викарий, я оговорился... вашей добротой, ходит и чинит повсюду зло, восстанавливая класс на класс и бедняка на того, кто дает ему кусок хлеба с маслом.

Пальцы Викария опять потянулись к подбородку.

— Так что одно из двух,— сказал сэр Джон Готч.— Или этот ваш гость покидает наш приход, или я подаю в суд. Мое решение окончательное.

У Викария перекосился рот.

— Значит, вот так,— сказал сэр Джон, вскочив на ноги.— Если бы не вы, я подал бы в суд немедленно; но поскольку тут замешаны вы, решайте сами: подавать мне в суд или нет?

— Видите ли...— начал Викарий в крайнем смущении.

— Да?

— Нужно кое-что подготовить.

— Он бездельник и подстрекатель... Знаю я эту породу. Все же я даю вам неделю сроку.

— Благодарю вас,— сказал Викарий.— Я понимаю ваше положение. Я вижу сам, что ситуация становится невозможной...

— Мне, разумеется, очень жаль, что я вам доставляю эту неприятность,— сказал сэр Джон.

— Неделю? — сказал Викарий.

— Неделю,— сказал, выходя, сэр Джон.

Проводив Готча, Викарий вернулся, и долгое время он сидел за письменным столом в своем кабинете, погруженный в раздумье.

— Одна неделя? — сказал он после бесконечно долгого молчания.— Ко мне явился Ангел, Ангел во славе своей, который оживил мою душу для красоты и восторга, который открыл мои глаза на Страну Чудес и нечто еще более значительное, чем Страна Чудес... а я пообещал избавиться от него через неделю! Из чего же мы, люди, созданы?.. Как я это ему скажу?

Он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, потом прошел в столовую и остановился у окна,

бессмысленно глядя на хлебное поле. Уже накрыт был стол ко второму завтраку. Он вдруг повернулся, все еще грезя наяву, и почти машинально налил себе рюмку хереса.

СКАЛА НАД МОРЕМ

XLIII

Ангел лежал на вершине скалы над Бендремской бухтой и смотрел в даль мерцающего моря. Прямо из-под его локтей шел обрыв на пятьсот семь футов вниз, чуть не к самой воде, а там, внизу, парили и кружили морские птицы.

Верхняя часть обрыва представляла собой зеленоватую меловую скалу, нижние две трети были горячего красного тона и сплошь исчерчены полосами гипса, а в пяти-шести местах из отвесной стены пробивались ключи и бурлили по ней длинными каскадами. Кипень прибоя белела на кремнистой отмели, а дальше — там, где стлалась тень от одинокого утеса,— вода переливала тысячью оттенков лилового и зеленого, испещренная пятнами и полосами пены. Воздух был напоен солнечным светом, и звоном маленьких водопадов, и медленным шумом моря внизу. Время от времени перед обрывом проносилась бабочка, и стаи морских птиц то садились на выступы, то сновали в воздухе взад и вперед.

Ангел лежал, и его покалеченные, съежившиеся крылья горбились на его спине. Он наблюдал за чайками, и галками, и грачами, как они парили и кружили в солнечном свете и то стремительно падали к воде, то взмывали в слепящую синеву неба. Ангел долго лежал так и наблюдал за ними, летающими туда и сюда на развернутых крыльях. Он наблюдал и, наблюдая, вспоминал с бесконечной тоской реки звездного света и сладость земли, откуда он явился. Проскользнула чайка над его головой, быстрая и легкая, красиво белея в синеве развернутыми крыльями. Ангелу вступила тень в глаза, свет солнца их покинул. Он подумал о собственных своих покалеченных крыльях, и уткнулся лицом в свой локоть, и заплакал.

Женщина, проходившая тропой по кремнистому полю, увидела только горбуна, одетого в старый сюртук Викария из Сиддермортона, который разлегся на самом краю обрыва и лбом уткнулся в руку. Она поглядела на него раз и еще раз.

— Глупый человек, ведь уснул, поди,— сказала она и, хотя тащила в корзине тяжелую кладь, все-таки направилась к нему, решив его разбудить. Но, подойдя поближе, она увидела, что плечи его тяжело вздымаются, и услышала его глухое рыдание.

Минуту она стояла тихо, и ее лицо покривилось усмешкой. Потом, бесшумно ступая, она повернулась и пошла назад к тропе.

— Трудное это дело, не придумаешь, что и сказать,— сказала она.— Горемычная душа!

Ангел сразу перестал рыдать и уставился с мокрым от слез лицом на берег под обрывом.

— Этот мир,— сказал он,— окутывает меня и готов проглотить. Крылья мои усохли и стали бесполезными. Скоро я буду не чем иным, как только увечным человеком; и буду я стареть, и склонюсь перед болью, и умру... Я несчастен. И я одинок.

Потом он уперся подбородком в ладони над самым краем обрыва и стал думать о Делии — о ее лице и о свете в ее глазах. Ангел почувствовал необычайное желание пойти к ней и рассказать о своих покалеченных крыльях. Обвить ее руками и плакать о своей потерянной земле. «Делия!»—сказал он самому себе тихо-тихо. Солнце вдруг затянуло тучей.

МИССИС ХАЙНИДЖЕР ДЕЙСТВУЕТ

XLIV

Миссис Хайниджер удивила Викария, постучавшись после чая в дверь его кабинета.

— Прошу прощения, сэр,— сказала миссис Хайниджер.— Могу я взять на себя такую смелость и поговорить с вами минутку?

— Конечно, миссис Хайниджер,— сказал Викарий, не подозревая, какой на него обрушится новый удар.

Он держал в руке письмо, очень странное и неприятное письмо от своего епископа, письмо, которое и раздражило его и повергло в отчаяние, ибо оно в самых резких выражениях осуждало гостей, каких Викарий считает возможным принимать в своем доме. Только епископ, ищущий популярности, живущий в век демократии, епископ, еще остающийся в какой-то мере педагогом, мог написать подобное письмо.

Миссис Хайнинджер кашляла в ладонь, как будто что-то затрудняло ей дыхание. У Викария возникло скверное предчувствие. Обыкновенно при их разговорах если кто смущался, так по большей части он. А к окончанию разговора неизменно он один.

— Да? — сказал он.

— Могу я взять на себя смелость, сэр, и спросить вас, когда мистер Ангел уедет? (Кхе-кхе.)

Викарий вздрогнул.

— Спросить, когда мистер Ангел уедет? — повторил он медленно, чтобы выгадать время.— (И эта туда же!)

— Извините, сэр. Но я привыкла, сэр, прислуживать благородным; а вы, наверно, даже и не представляете себе, как чувствуешь себя, прислуживая такому, как он.

— «Такому, как он»! Вам, миссис Хайниджер, если я вас правильно понял, не нравится мистер Ангел?

— Видите ли, сэр, перед тем как я поступила к вам, я, сэр, прожила семнадцать лет у лорда Дундоллера, да и вы, простите, вы тоже, сэр, настоящий джентльмен... хоть и духовное лицо. А потом...

— Что же это такое! — вздохнул Викарий.— Так вы не считаете мистера Ангела джентльменом?

— Уж извините, сэр, что я должна вам это сказать.

— Но почему же?.. (Ох, ну конечно же!)

— Прошу извинить меня на этом слове, сэр. Но если гость вдруг переходит в вегетарианцы и оставляет все, что ни готовишь, и если у него нет приличного своего багажа и он одалживает рубашки и носки у своего хозяина; и позволяет себе есть горошек с ножа (как я видела своими глазами), и так и ищет, как бы в темном уголке поговорить со служанками, и складывает после еды салфетку и ест телячий паштет пальцами, и среди

ночи играет на скрипке, не давая никому уснуть, и пялит с ухмылкой глаза, когда старшие поднимаются по лестнице, и вообще ведет себя непристойно в таких делах, что и сказать-то неудобно,— то уж тут, сэр, поневоле всякое приходит в голову. Мысли, сэр, свободны, и поневоле делаешь свои собственные выводы. А, кроме того, в деревне на его счет поговаривают всякое, одни — одно, другие — другое. Я, как посмотрю на джентльмена, то уже знаю, джентльмен он или он не джентльмен, и мы трое—я, Сьюзен и Джордж,—мы это все обговорили меж собой, как мы есть старшие слуги, так сказать, и опытные, а Делию мы оставили в стороне, как она еще совсем девчонка, и я хотела бы только надеяться, что ей через него не приключится никакой беды, и уж положитесь, сэр, на нас, но этот мистер Ангел совсем не тот, за кого вы его принимаете, сэр. И чем скорее он оставит этот дом, тем лучше.

Миссис Хайниджер резко оборвала свою речь и стояла, запыхавшись, мрачно глядя Викарию в лицо.

— Вы это всерьез, миссис Хайниджер? — сказал Викарий. И затем:— О, господи!.. Что я такое сделал?— сказал Викарий, вдруг вскочив и взывая к непреклонной судьбе.— Что я сделал?

— Это уж вам знать,— сказала миссис Хайниджер.— Впрочем, в деревне поговаривают всякое.

— Ну и ну!— сказал Викарий и стал расхаживать по комнате, поглядывая в окно. Потом обернулся.— Вот что, миссис Хайниджер! Мистер Ангел уедет из нашего дома в течение недели. Вас это устраивает?

— Вполне,— сказала миссис Хайниджер.— Я так понимаю, сэр...

Взгляд Викария, непривычно красноречивый, указал на дверь.

АНГЕЛ В БЕДЕ

XLV

— Дело в том,— сказал Викарий,— что этот мир не для ангелов.

Шторы не были задернуты, и сумрак за окнами под облачным небом казался несказанно серым и холодным.

Ангел сидел, удрученный, за столом и молчал. Ему уже объяснили, что он непременно должен уехать. Раз его присутствие оскорбляло людей и делало Викария несчастным, он покорно признал справедливость этого решения; но он не мог себе вообразить, что с ним произойдет, когда он окунется в жизнь. Наверно, что-нибудь до крайности неприятное.

— Есть, конечно, скрипка,— сказал Викарий.—Однако после нашего первого опыта...

...Я должен достать для вас одежду... полное снаряжение. Ах! Вы же ничего не знаете о железных дорогах! И о деньгах! И как снимают квартиру! И о ресторанах!.. Я должен поехать с вами, помочь вам устроиться хоть на первое время. Достать вам работу. Подумать только — ангел в Лондоне! Трудом зарабатывает себе на жизнь! В этой людской пустыне, серой и холодной! Что с вами станется... Ах, если бы мне знать, что есть у меня на свете друг, который мне поверит.

...Я не должен был отсылать вас...

— Не печальтесь так из-за меня, мой друг,— сказал Ангел.— Здесь у вас жизнь по крайней мере конечна. И есть в ней хорошие вещи. Есть нечто такое в этой вашей жизни... Вот вы заботитесь обо мне! Я думал сперва, что во всей вашей жизни нет ничего красивого...

— Я вас предал! — сказал Викарий в порыве внезапного раскаяния.— Почему я не пошел один против всех, почему не сказал: «Это лучшее в жизни»? Что они значат, повседневные дела?

Он вдруг замолчал, потом повторил:

— Да, что они значат?

— Я вошел в вашу жизнь только затем, чтобы внести в нее смуту,— сказал Ангел.

— Не говорите так,— сказал Викарий.— Вы вошли в мою жизнь, чтобы меня пробудить. Я спал — спал и видел сны. Мне снилось, что необходимо то и это. Снилось, что эта тесная тюрьма — весь мир. И этот сон еще тяготеет надо мной и смущает меня. Вот и все! Теперь, даже если вы уедете... А не снится мне, что вы должны уехать?

Когда Викарий в ту ночь лежал в постели, вопрос опять, еще настоятельней, возник перед ним в своем мистическом аспекте. Он лежал без сна, и самые страш-

ные видения вставали перед ним: его гость, такой беззащитный и мягкий, затерян в этом бесчувственном мире, где ему выпадают самые жестокие злоключения. Его гость, несомненно, ангел. Викарий пытался снова мысленно пережить все случившееся за последние восемь дней. Он вспомнил тот жаркий день; свой нечаянный — от неожиданности — выстрел; заплескавшие в воздухе радужные крылья; прекрасную фигуру в шафрановом одеянии, бившуюся на земле. Каким это тогда показалось ему чудесным! Потом его мысль обратилась к тому, что он слышал о мире ином; к видениям, вызванным волшебной скрипкой, к туманным колышущимся, дивным городам Ангельской Страны. Он старался вспомнить очертания зданий, форму плодов на деревьях, внешний облик крылатых созданий на ее дорогах. Из воспоминаний все это перерастало в действительность настоящего, делалось с каждым мгновением все более живым, а его беды все менее значительными. И вот, тихо, и незаметно, Викарий ускользнул от своих бед и неприятностей в Край Сновидений.

XLVI

Делия сидела перед раскрытым окном в надежде услышать скрипку Ангела. Но в эту ночь игры не было. Небо затянуло, но не так плотно, чтобы не видно было месяца. Высоко в небе проходили гряды рваных облаков, и месяц то проступал туманным пятном света, то скрывался вовсе, то опять выплывал, ясный и яркий, четко вырисовываясь в синей бездне ночи. И вдруг девушка услышала, как дверь в сад отворилась, и в мареве лунного света выступил чей-то силуэт.

Это был Ангел. Но на нем снова была шафрановая риза вместо бесформенного сюртука. В неверном свете риза выглядела бесцветной и только чуть мерцала, а крылья за его спиной казались свинцово-серыми. Он начал бегать — брал короткий разбег и подпрыгивал, хлопая крыльями; он метался взад и вперед в игре светотени под деревьями. Делия с изумлением смотрела на него. Он крикнул в отчаянии, прыгнул выше. Его съежившиеся крылья вспыхнули и опали. Более темный лоскут

в пелене облаков все покрыл темнотой. Ангел, казалось, подпрыгнул на пять или шесть футов от земли и тяжело упал. В полумраке она видела, как он бьется на земле, затем услышала его рыдания.

— Он убился! — сказала Делия. Она сжала губы и пристально смотрела вперед.— Я должна ему помочь.

Она немного подумала, потом встала, легко и быстро выбежала за дверь, тихонько соскользнула вниз по лестнице — и в сад, в лунный свет. Ангел все еще лежал на земле и рыдал, сокрушенный горем.

— Ох, что это с вами? — сказала Делия, наклонившись над ним, и робко коснулась его головы.

Ангел перестал рыдать, приподнялся и остановил на ней взгляд. Он видел ее лицо в свете месяца, нежное от сострадания.

— Что это с вами? — повторила она шепотом.— Вы убились?

Ангел поглядел вокруг и вновь остановил глаза на ее лице.

— Делия! — прошептал он.

— Вы убились? — спросила Делия.

— Мои крылья! — сказал Ангел.— Они бессильны.

Делия не поняла, но она чувствовала, что это, наверно, очень страшно.

— Здесь темно, здесь холодно,— шептал Ангел.— Мои крылья бессильны.

Ей было безотчетно больно видеть слезы на его лице. Она не знала, что делать.

— Пожалей меня, Делия,— сказал Ангел, вдруг протянув к ней руки.— Пожалей меня.

Ее точно толкнуло опуститься на колени и взять в ладони его лицо.

— Я не понимаю,— сказала она,— только мне очень жалко. Мне вас жалко от всего моего сердца.

Ангел не ответил ни слова. Он смотрел на ее маленькое личико в ярком свете месяца, и в его глазах было недоумение и восторг.

— Странный это мир! — сказал он.

Она вдруг опустила руки. Облако затянуло месяц.

— Чем я могу вам помочь? — шептала она.— Я бы все сделала, только бы помочь вам.

Он все еще смотрел на девушку, отклоняясь от нее на длину своей руки, и горе на его лице сменилось недоумением.— Странный это мир! — повторил он.

Они оба говорили шепотом, она — стоя на коленях, он — сидя во мраке в колеблющемся свете месяца на лужайке перед верандой.

— Делия,— сказала миссис Хайниджер, вдруг высунувшись в окно.— Делия, это ты?

Оба в оторопи смотрели на нее.

— Сейчас же домой, Делия! — сказала миссис Хайниджер.— Если б мистер Ангел был джентльмен (кем он сроду не был), он бы устыдился. А ты еще к тому же сиротка!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ

XLVII

На другое утро Ангел, позавтракав, пошел в сторону пустоши, а миссис Хайниджер, испросив на то разрешения, переговорила с Викарием. Что она ему сообщила, для нас теперь не имеет значения. Викарий был явно расстроен.

— Он должен уехать,— сказал он.— Он непременно должен уехать! — И, подавленный горем, тут же забыл, в чем, собственно, состояло обвинение. Утро он провел, то погружаясь в сумрачные думы, то судорожно хватаясь изучать прейскурант фирмы «Скифф и Уотерло» и каталог оптового магазина медицинских, учебных и церковных принадлежностей. На листке бумаги, лежавшем перед ним на письменном столе, медленно рос столбик коротких строчек. Он вырезал из каталога, из раздела «Заказ Готового Платья», указатель, как самому снять мерку, и пришпилил его к шторе. Вот что представлял собой составляемый им документ.

I. Черный суконный сюртук. Фасон? Три фунта 10 шил.

I. Брюки. Одна или две пары..... цена?

I. Шевиотовый костюм (написать, чтобы выслали фасоны). Мерку снять самим.— Цена —?

Некоторое время Викарий провел, изучая шеренгу приятных джентльменов в модных костюмах. Все они выглядели очень мило, но было трудно представить себе Ангела в таком преображении. Ибо, хотя минуло уже шесть дней, у Ангела все еще не было ни одного собственного костюма. Викарий все колебался между намерением поехать с Ангелом в Порт-Бердок, чтобы там с него сняли мерку и сшили ему костюм, и диким ужасом перед вкрадчивой манерой своего портного. Он знал, что этот его портной потребует исчерпывающего разъяснения. К тому же кто мог знать: а вдруг Ангел улетит? Так что миновало шесть дней, и Ангел медленно, но верно набирался мудрости земного мира и утрачивал свою яркость, все еще одетый в просторный, самый новый сюртук Викария.

1 Мягкая фетровая шляпа № (скажем) 57... 8 шил. 6 пен.
1 Цилиндр . . . . 14 шил. 6 пенс.
1 Шляпная картонка . . . .?

— Полагаю, ему все-таки нужно будет завести цилиндр,—сказал Викарий.—Там без этого нельзя, если хочешь иметь приличный вид. Фасон № 3, пожалуй, пойдет ему лучше всего. Но страшно подумать, как это он останется совсем один в огромном городе. Никто его там не поймет, и будут у него недоразумения со всеми. Однако, полагаю, другого выхода нет. Так на чем же я остановился?

1 зубная щетка. 1 щетка с гребнем. Бритва...?
$^1/_2$ дюж. рубашек. Размер? (смерить шею)... 6 шил. кажд.
Носки..? Комнатные туфли..?
2 ночн. пижамы... Цена? Скажем, 15 шил.
1 дюж. крахмальных воротничков....... 8 шил.
Подтяжки (от Оксона — с усовершенствованными пряжками для регулирования длины)..... 1 шил. $11^1/_2$ пенс.
(Но как он будет их надевать? — сказал Викарий.)
1 каучуковый штамп «Т. Ангел» (с чернилами для меток — полный комплект)...... 9 пенсов.
(Прачки, конечно, разворуют у него все вещи.)

1 перочинный ножик с одним лезвием и штопором... (скажем) 1 шил. 6 пенс.

N3.: не забыть запонки для манжет, запонку для воротника и т. д.

(Викарий любил «и т. д.»: это придает всему такой деловой и точный вид!)

1 кожаный чемодан (пожалуй, вот этот) и прочее и прочее — скачками от одного к другому.

Этим делом Викарий был занят все время до второго завтрака, как ни болело сердце.

Ко второму завтраку Ангел не вернулся. В этом не было ничего особенного — он и раньше пропустил однажды полуденную еду. Однако, если принять в соображение, как мало времени им осталось провести вместе, гостю, пожалуй, следовало вернуться домой. Впрочем, у него, конечно, были свои, очень уважительные, причины для отсутствия. Завтрак прошел для Викария скучно. Потом он лег, как всегда, поспать; еще часок поработал над списком необходимого снаряжения. Беспокоиться за Ангела он начал по-настоящему только к чаю. Он все не садился за стол, прождав добрых полчаса. «Странно!» — сказал Викарий и за чаем еще острее почувствовал свое одиночество.

Когда время близилось к обеду, а Ангела все не было, в воображении Викария стали возникать тревожные картины. К обеду он, конечно, придет, говорил Викарий, поглаживая подбородок, и сновал по дому, придумывая себе разные мелкие дела,— как было у него в обычае, когда что-нибудь нарушало привычный уклад. Закат был великолепен: солнце садилось в гряде клубящихся багряных облаков. Золото и пурпур отцвели в полумраке; вечерняя звезда собрала на свой убор весь свет сияющего неба на западе. Нарушая безмолвие вечера, охватившее мир за стенами дома, завел свою скрипучую песню коростель. Викарий хмурился все мрачней, два раза выходил он в сад, смотрел на темнеющий склон холма и плелся обратно домой. Миссис Хайнинджер накрыла на стол.

— Ваш обед готов,— объявила она во второй раз, с упреком в голосе.

— Да, да,— сказал Викарий и, пыхтя, полез наверх.

Он опять спустился, прошел в свой кабинет и зажег лампу для чтения — новомодную, керосинокалильную, с сетчатым колпачком,— а спичку бросил в корзину для бумаг, не удосужась даже посмотреть, погасла ли она. Потом просеменил в столовую и принялся, не разбирая, что ест, за остывший обед...

(Дорогой читатель, уже почти приспело время проститься с нашим маленьким Викарием.)

XLVIII

Сэр Джон Готч (все еще негодуя из-за колючей проволоки) ехал верхом зеленой просекой через свой заповедник у Сиддера, когда вдруг он увидел медленно пробирающегося сквозь чащу деревьев за молодою порослью как раз того человека, которого он никак не хотел бы видеть.

— Будь я проклят,— сказал очень выразительно сэр Джон Готч.— Уж это слишком!

Он приподнялся в стременах.

— Эгой! — закричал он.— Эй, ты, там!

Ангел с улыбкой обернулся.

— Убирайся вон из этого леса,— сказал сэр Джон Готч.

— Почему? — сказал Ангел.

— Будь я...— Сэр Джон Готч запнулся, подбирая какое-нибудь более сокрушительное слово. Но не придумал ничего сильнее, чем «проклят».— Вон из этого леса,— добавил он.

Улыбка Ангела угасла.

— Почему я должен убраться вон из этого леса? — сказал он и остановился.

Добрых полминуты оба молчали, потом сэр Джон Готч соскочил с седла и стал подле своего коня.

Вы не должны забывать — иначе дальнейшее могло бы скомпрометировать все ангельское воинство,—что Ангел уже вторую неделю дышал ядовитым воздухом нашей борьбы за существование. От этого пострадали не только его крылья, не только ясность его взора. Он ел, и спал,

и познакомился с болью — он прошел уже довольно далеко по пути к очеловечиванию. За время, что он был гостем на земле, он все чаще встречался с суровостью нашего мира и его несогласиями, утрачивая сопричастность к светлым высотам своего собственного мира...

— Так ты не желаешь уходить!—сказал Готч и повел своего коня сквозь кусты прямо на Ангела. Ангел стоял и, чувствуя, как напрягается в нем каждый мускул, каждый нерв, следил за приближавшимся к нему противником.

— Вон из этого леса! — сказал Готч, остановившись в трех ярдах от него. Лицо белое от бешенства, в одной руке — узда, в другой — хлыст.

Ангела пронзило током странного волнения.

— Кто ты,— сказал он тихим, дрожащим голосом,— и кто я? Что дает тебе право гнать меня из этого места? Чем провинился этот мир, чтобы люди, такие, как ты...

— Ты тот самый дурак, который перерезал мою колючую проволоку! — сказал с угрозой в голосе Готч.— Если тебе угодно это знать!

— Твою колючую проволоку!—сказал Ангел.— Колючая проволока была твоей? Ты тот самый человек, который натянул здесь колючую проволоку? Какое ты имеешь право?..

— Хватит с нас твоей социалистической чуши! —сказал Готч, задыхаясь.—Лес мой, и я вправе ограждать его, как могу. Знаю я вас — все вы мразь, такая же, как ты! Несете чушь и разжигаете недовольство. Если ты сейчас же не уберешься отсюда...

— Отлично!—сказал Ангел, и безотчетная сила вскипела в нем.

— Вон из этого проклятого леса! — сказал Готч, сам в себе разжигая злобу в страхе перед светом, озарившим лицо Ангела.

Он сделал шаг вперед, занес хлыст, и тогда случилось такое, чего толком не поняли потом ни он, ни Ангел. Ангел, казалось, подпрыгнул в воздух, пара серых крыльев развернулась над землевладельцем, он увидел склонившееся к нему лицо, полное дикой красоты и огненного гнева. Хлыст был вырван из его руки, конь за его спиной взвился на дыбы, опрокинул его, выдернул поводья и унесся вскачь.

Хлыст резнул Готча по лицу, когда он упал навзничь, и опять ожег ему лицо, когда он привстал. Он увидел Ангела, осиянного гневом, готового разить и разить. Готч упал ничком, чтобы уберечь глаза, и стал кататься по земле под нещадной яростью ударов, ливнем обрушившихся на него.

— Ты скот,— кричал Ангел, хлеща всюду, где только виделась ему уязвимая плоть,— ты, зверь, исполненный гордости и лжи! Ты, ломающий души людей! Ты, злой дурак с лошадьми и собаками! Будешь знать, как возносить голову над чем-либо живущим! Учись! Учись! Учись!

Готч завизжал, призывая на помощь. Дважды он попробовал подняться на ноги, привставал на колени и снова падал ничком под лютым гневом Ангела. Наконец в горле у него что-то заклокотало, и он перестал даже корчиться под карающим бичом.

Тут Ангел вдруг очнулся от своей ярости и осознал, что стоит, задыхаясь и дрожа, попирая ногой недвижное тело в зеленой тишине пронизанного солнцем леса.

Он поглядел вокруг, потом себе под ноги, где на сухих листьях, перепутавшихся с волосами, краснели пятна крови. Хлыст выпал из его руки, жаркий румянец сбежал с лица.

— Боль! — сказал он.— Почему он лежит так тихо?

Он снял ногу с плеча Готча, наклонился над распластанным телом, постоял, прислушиваясь, опустился на колени... потряс его.

— Проснись!—сказал Ангел. И еще глуше:—Проснись!

Несколько минут — или дольше? — он все прислушивался, стоя на коленях, потом вдруг вскочил и поглядел на обступившие его безмолвные деревья. На него опустилось чувство глубокого омерзения, окутало его всего Он дернул плечом и отвернулся.

— Что сталось со мной? — прошептал он в трепетном страхе.

Он отпрянул от недвижного тела.

— Мертв! — сказал он вдруг, повернулся и, охваченный ужасом, побежал без оглядки в лес.

XLIX

Через несколько минут после того, как шаги Ангела замерли вдали, Готч приподнялся, опершись на одну руку.

— Ей-богу! — сказал он.— Крумп прав. ...Лицо тоже рассечено.— Он провел рукой по лицу и нащупал два прорезавших его рубца, горячих и припухлых.

Я дважды подумаю, прежде чем еще раз подыму руку на сумасшедшего,— сказал сэр Джон Готч.

— ...Он, может быть, и слабоумный, но рука у него, черт возьми, сильнющая. Фью. Он начисто срезал мне верхний кончик уха этой чертовой плеткой.

...Эта чертова лошадь прискачет теперь домой по всем правилам мелодрамы. Крошка испугается. А я... Мне придется объяснять, как все произошло. Она замучает меня расспросами.

...Взять бы теперь да и расставить по заповеднику самострельных ружей и капканов. Черт бы их побрал, эти законы!

L

Ангел между тем, уверенный, что Готч убит, шел и шел, гонимый раскаянием и страхом, через заросли и перелески по берегу Сиддера. Вы и представить себе не можете, как он был подавлен этим сокрушительным доказательством, что он и сам все больше проникается человеческими свойствами. Вся темнота, и гнев, и боль жизни, казалось, охватывают его неумолимо, становятся частью его самого, приковывают ко всему тому, что неделю назад он находил в человеке нелепым и жалким.

— Поистине этот мир не для ангела! — сказал Ангел.— Это мир Войны, мир Боли, мир Смерти. Здесь на тебя находит гнев. Я, не знавший ни боли, ни гнева, стою здесь с кровью на руках. Я пал. Прийти в этот мир — значит пасть. Здесь ты должен испытывать голод и жажду, должен терзаться тысячью желаний. Здесь ты должен бороться за землю под ногами, и поддаваться злобе, и бить...

С горечью бессильных сожалений на лице он поднял руки к небу и опустил их в отчаянии. Тюремные стены этой тесной, кипящей страстями жизни, казалось, наползали на него, смыкаясь верно и неуклонно, чтобы вовсе его сокрушить. Он чувствовал то, что всем нам, жалким смертным, рано или поздно приходится почувствовать,— безжалостную силу Того, Что Должно Быть не только вне нас самих, но также (что особенно тяжко) и внутри нас; всю неизбежную мучительность наших высоких решений, тех неизбежных часов, когда наше лучшее «я» бывает забыто. Но для нас это не крутой спуск, а постепенное нисхождение, совершаемое незаметно, со ступеньки на ступеньку, на протяжении долгих лет; для него ж это явилось мерзким открытием, сделанным за одну короткую неделю. Он чувствовал, что в оболочке этой жизни он покалечен, что он заскоруз, ослеп и отупел; он чувствовал то, что мог бы почувствовать человек, когда бы принял страшный яд и ощутил бы, как разрушение распространяется внутри него.

Он не замечал ни голода, ни усталости, ни хода времени. Он шел и шел, сторонясь домов и дорог, уклоняясь от встреч с людьми, чтобы не видеть их и не слышать в своем безмолвном отчаянном споре с судьбой. Мысли его не летели, а стояли на месте, как перед глухой стеной, в невнятном своем протесте против такого унизительного вырождения. Случайность направила его шаги к церковному дому, и наконец, когда уже смеркалось, он очутился на пустоши и, усталый, ослабевший, несчастный, поплелся по ней к задам деревни Сиддермортон. Он слышал, как крысы шныряли и попискивали в вереске, а раз вылетела из темноты большая бесшумная птица, пронеслась мимо и опять исчезла. А небо перед ним было в тусклом красном зареве, которого он не замечал.

LI

Но когда он поднялся на гребень холма, яркий свет вспрянул прямо перед ним, и уже нельзя было его не заметить. Ангел пошел дальше вниз по косогору и скоро увидел более отчетливо, что означало это зарево. Оно

было отсветом дрожащих, мятущихся языков огня, золотых и красных, вырывавшихся из окон и из дыры в крыше церковного дома. Огромная гроздь черных голов — по сути, вся деревня (все, кроме пожарной команды, которая топталась внизу у домика Эйлмера, отыскивая ключ от сарая, где была заперта пожарная машина) — рисовалась силуэтом на завесе огня. Слышался грозный вой — гомон голосов и вдруг чей-то отчаянный крик. Слышалось: «Нельзя, нельзя! Назад!» И опять невнятный грозный вой.

Ангел кинулся бежать к горящему дому. Он спотыкался, он чуть не падал и все-таки бежал. Вокруг него, он видел, бежали черные фигуры. Пламя вздувалось, бурно клонясь туда и сюда, и он ощущал запах гари.

— Она вошла в дом,— сказал голос.— Все-таки вошла.

— Сумасшедшая,— сказал другой.

— Стой! Не напирай! — кричали кругом.

Он пробивался сквозь возбужденную, шарахающуюся толпу. Люди глядели на огонь, и красные отсветы плясали в их глазах.

— Стой,— сказал какой-то батрак, схватив его за плечо.

— Что это? — сказал Ангел.— Что происходит?

— Там в доме девушка, и она не может выбраться!

— Бросилась в дом за скрипкой,— сказал кто-то еще.

— Безнадежное дело! — услышал он еще чьи-то слова.— Я стоял рядом с ней. Я слышал сам. Она говорит: «Я могу спасти его скрипку». Я слышал ясно. Так и сказала: «Я могу спасти его скрипку...»

Секунду Ангел стоял, широко раскрыв глаза, потом, как при вспышке молнии, он увидел все сразу: увидел этот маленький угрюмый мир борьбы и жестокости преображенным в блеске славы, которая затмила сияние ангельской земли; он стал нестерпимо прекрасен, этот мир, внезапно залитый чудесным светом любви и самоотречения. Ангел испустил странный крик, и прежде чем кто-либо сумел его остановить, кинулся к горящему зданию. Раздались крики: «Горбун! Иностранец!»

Викарий (ему как раз перевязывали обожженную руку) повернул голову, и они с Крумпом увидали Ангела — черный силуэт в рамке двери на густо-красном фоне огня. Это длилось десятую долю секунды, но оба, и Викарий и врач, не могли бы запомнить свое мгновенное видение более отчетливо, даже если бы оно было картиной, которую они бы разглядывали часами. Затем Ангела скрыл какой-то предмет (что это было, не знал никто), который упал, пылая, в проеме дверей.

LII

Послышался крик: «Делия!» — и больше ничего. Но вдруг огонь взвился над домом ослепительным пламенем, которое вознеслось в бездонную высоту — ослепительное ровное сияние, прорезаемое тысячью сверкающих вспышек, подобных взмахам сабель. И сноп искр, пылая тысячью цветов, взвихрился и исчез. Одновременно, и на один лишь миг, — наверно, по странному совпадению — взрыв музыки, как будто гром органа, вплелся в завывание огня.

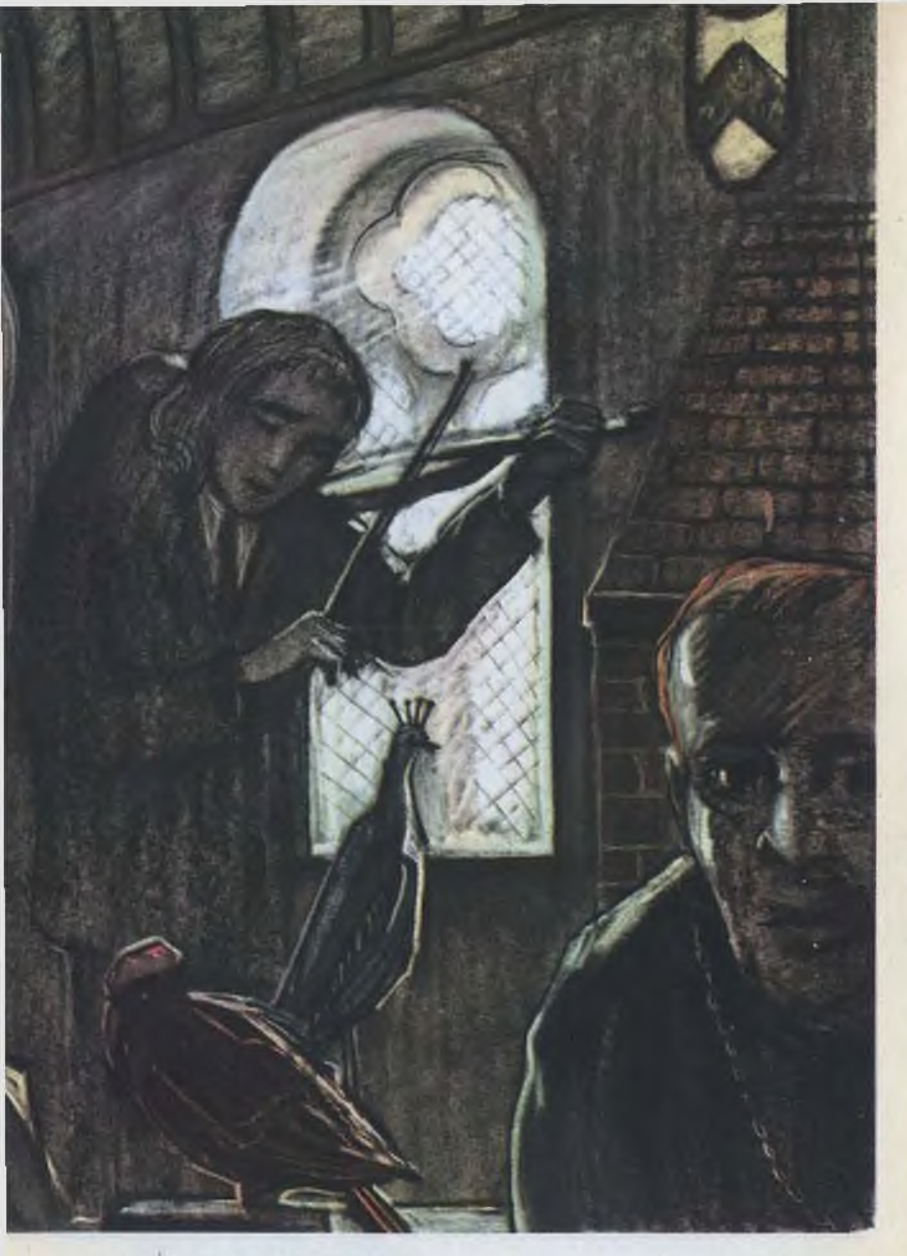
Вся деревня, сбившаяся в группы черных силуэтов, услышала этот звук, исключая дядюшку Сиддонса, который был глух. Он прозвучал чудесно и странно — и сразу смолк. Дерган Недоумок, придурковатый юноша из Сиддерфорда, сказал, что этот звук начался и тут же оборвался, как будто открыли и закрыли дверь...

А маленькая Хетти Пензенс забрала себе в голову, будто она видела две крылатые фигуры, которые взвились и исчезли в огне.

(После этого она и начала тосковать о разных вещах, которые видела во сне, и стала рассеянной и странной. Это сильно огорчало ее мать. Девочка стала хрупкой, точно вот-вот должна покинуть мир, и взгляд у нее сделался какой-то отчужденный, далекий. Она все говорила об ангелах, и о радужных красках, и о золотых крыльях и вечно напевала какие-то бессмысленные обрывки песни, которую никто не знал. Наконец Крумп взялся за нее и вылечил, прописав ей усиленное питание, сироп из гипофосфатов и рыбий жир.)



«ЧУДЕСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ»



«ЧУДЕСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ»

ЭПИЛОГ

На этом и кончается повесть о Чудесном Посещении. Эпилог мы услышим из уст миссис Мендхем. Два маленьких белых креста стоят рядом на Сиддермортонском кладбище в том месте, где плети куманики перекинулись через каменную ограду. На одном значится «Томас Ангел», на другом — «Делия Харди», и дата смерти на обоих одна и та же. На самом деле под крестами нет ничего, кроме горстки пепла от принадлежавшего Викарию чучела страуса (как вы припоминаете, Викарий увлекался орнитологией). Я обратил внимание на эти два креста, когда миссис Мендхем показывала мне новый памятник работы Де ла Беша (после смерти Хильера приходским священником стал Мендхем).

— Гранит привезен откуда-то из Шотландии,— объясняла миссис Мендхем,— и стоил очень дорого, я забыла, сколько именно, но ужасно дорого! Вся деревня только об этом и говорит.

— Мама,— сказала Сесили Мендхем,— ты наступила на могилу.

— Ай-ай-ай,— сказала миссис Мендхем,— как нехорошо! Да еще на могилу калеки. Нет, в самом деле, вы даже представить себе не можете, во что обошелся этот памятник.

— ...Между прочим, они оба,— сказала миссис Мендхем,— погибли при пожаре, когда сгорел старый церковный дом. Это очень любопытная история. Он был престранный человек, горбатый скрипач, который приехал неизвестно откуда и ужасно злоупотреблял добротой покойного Викария. Он играл на слух с большим апломбом, а потом мы узнали, что он совсем не знает нот, не разбирает ни единой ноты — ни единой. Его вывели на чистую воду в присутствии большого общества. В добавление ко всему он, кажется,— так тут у нас поговаривают,— завел шашни с одной служанкой, хитрой маленькой дрянью... Но об этом пусть вам лучше расскажет Мендхем. Этот человек был полоумный и вдобавок калека с каким-то совсем особенным уродством. Странно, какие иногда фантазии забирают себе в голову девчонки.

Она колюче посмотрела на Сесили, и Сесили вспыхнула до корней волос.

— Она осталась в доме, и он бросился в огонь спасать ее. Правда, как романтично? Он на свой лад неплохо играл на скрипке, хоть и был самоучка.

...Бедный Викарий, тогда же сгорела и вся его коллекция чучел! А она была его единственная отрада. По правде сказать, он так никогда и не оправился от этого удара. Он после пожара некоторое время жил у нас: ведь во всей деревне нет другого сколько-нибудь приличного дома. Но казалось, он все время чувствовал себя несчастным. Он был страшно потрясен. Я никогда не видела, чтобы человек так изменился. Я старалась его приободрить, только безуспешно, совершенно безуспешно! У него был какой-то нелепый бред — всё ангелы и тому подобное. Временами с ним тяжело бывало говорить. Он уверял, что слышит музыку, и много часов кряду бессмысленно смотрел в пространство... Стал очень неряшлив. Умер он, не протянув и года после пожара.

1895

Люди как боги

КНИГА ПЕРВАЯ

ВТОРЖЕНИЕ ЗЕМЛЯН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИСТЕР БАРНСТЕЙПЛ РЕШАЕТ ОТДОХНУТЬ

1

Мистер Барнстейпл почувствовал, что самым настоятельным образом нуждается в отдыхе, но поехать ему было не с кем и некуда. А он был переутомлен. И он устал от своей семьи.

По натуре он был человеком очень привязчивым; он нежно любил жену и детей и поэтому знал их наизусть, так что в подобные периоды душевной подавленности они его невыносимо раздражали. Трое его сыновей, дружно взрослевшие, казалось, с каждым днем становились все более широкоплечими и долговязыми; они усаживались именно в то кресло, которое он только что облюбовал для себя; они доводили его до исступления с помощью им же купленной пианолы; они сотрясали дом оглушительным хохотом, а спросить, над чем они смеются, было неудобно; они перебивали ему дорогу в безобидном отеческом флирте, до тех пор составлявшем одно из главных его утешений в этой юдоли скорби; они обыгрывали его в теннис; они в шутку затевали драки на лестничных площадках и с невообразимым грохотом по

двое и по трое катились вниз. Их шляпы валялись повсюду. Они опаздывали к завтраку. Каждый вечер они укладывались спать под громовые раскаты: «Ха-ха-ха! Бац!» — а их матери это как будто было приятно. Они обходились недешево, но вовсе не желали считаться с тем, что цены растут в отличие от жалованья мистера Барнстейпла. А когда за завтраком или обедом он позволял себе без обиняков высказаться о мистере Ллойд Джордже или пытался придать хоть некоторую серьезность пустой застольной болтовне, они слушали его с демонстративной рассеянностью... во всяком случае, так ему казалось.

Ему страшно хотелось уехать от своей семьи куда-нибудь подальше, туда, где он мог бы думать о жене и сыновьях с любовью и тихой гордостью или не думать совсем...

А кроме того, ему хотелось на некоторое время уехать подальше от мистера Пиви. Городские улицы стали для него источником мучений — он больше не мог выносить даже вида газет или газетных афишек. Его томило гнетущее предчувствие гигантского финансового и экономического краха, по сравнению с которым недавняя мировая война покажется сущим пустяком. И все это объяснялось тем, что он был помощником редактора и фактотумом в «Либерале», известном рупоре наиболее унылых аспектов передовой мысли, и неизбывный пессимизм его шефа, мистера Пиви, заражал его все больше и больше. Прежде ему удавалось как-то сопротивляться мистеру Пиви, подшучивая над его мрачностью в частных беседах с другими сотрудниками, но теперь в редакции не было других сотрудников: мистер Пиви уволил их в особенно остром припадке финансового пессимизма. Практически теперь для «Либерала» писали регулярно только мистер Барнстейпл и мистер Пиви, так что мистер Барнстейпл оказался в полной власти мистера Пиви. Глубоко засунув руки в карманы брюк и сгорбившись в своем редакторском кресле, мистер Пиви весьма мрачно оценивал положение вещей, иногда не умолкая по два часа подряд. Мистер Барнстейпл от природы был склонен надеяться на лучшее и верил в прогресс, однако мистер Пиви безапелляционно утверждал, что вера в прогресс вот уже шесть лет как полностью

устарела и что либерализму остается надеяться разве только на скорый приход какого-нибудь Судного Дня. Затем, завершив передовицу, которую сотрудники редакции — когда в ней еще были сотрудники — имели обыкновение называть его «еженедельным несварением», мистер Пиви удалялся, предоставляя мистеру Барнстейплу заботиться об остальной части номера для следующей недели.

Даже в обычные времена терпеть общество мистера Пиви было бы нелегко, но времена отнюдь не были обычными; они слагались из крайне неприятных событий, которые давали достаточно оснований для мрачных предчувствий. Уже месяц в угольной промышленности длился широчайший локаут, казалось, предвещавший экономическую гибель Англии; каждое утро приносило вести о новых возмутительных инцидентах в Ирландии — инцидентах, которые невозможно было ни простить, ни забыть; длительная засуха угрожала погубить урожай во всем мире; Лига Наций, от которой мистер Барнстейпл в великие дни президента Вильсона ожидал огромных свершений, оказалась жалкой самодовольной пустышкой; повсюду царили вражда и безумие; семь восьмых мира, казалось, стремительно приближались к состоянию хронического хаоса и социального разложения. Даже и без мистера Пиви было бы трудно сохранять оптимизм перед лицом таких фактов.

И действительно, организм мистера Барнстейпла переставал вырабатывать надежду, а для людей его типа надежда — необходимый фермент, без которого они оказываются неспособными переваривать жизнь. Свою надежду он всегда возлагал на либерализм и на его благородные усилия, но теперь он постепенно начинал склоняться к мысли, что либерализм способен только сидеть, сгорбившись и засунув руки в карманы, и брюзгливо ворчать по поводу деятельности людей менее возвышенного образа мыслей, но зато более энергичных, чьи свары неизбежно погубят мир.

И теперь мистер Барнстейпл днем и ночью терзался мыслями о положении в мире. И ночью даже больше, чем днем, поскольку у него началась бессонница. А кроме того, его неотступно преследовало отчаянное желание выпустить собственный номер «Либерала», цели-

ком его собственный,— изменить макет после ухода мистера Пиви, выбросить все желчные излияния, все пустопорожние нападки на такую-то или такую-то ошибку, злорадное смакование жестокостей и несчастий, раздувание простых, естественных человеческих грешков мистера Ллойд Джорджа в преступления, выбросить все призывы к лорду Грею, лорду Роберту Сесилю, лорду Лэнсдауну, королеве Анне или императору Фридрику Барбароссе (адресат менялся из недели в неделю) воскреснуть, дабы выразить и воплотить юные надежды возрожденного мира,— выбросить все это и взамен посвятить номер... Утопии! Сказать пораженным читателям «Либерала»: «Вот то, что необходимо сделать! Вот то, что мы собираемся сделать!» Как ошарашен будет мистер Пиви, когда в воскресенье за завтраком он откроет свою газету! От такого удара у него, пожалуй, повысится выделение желудочного сока, и ему, быть может, удастся переварить хотя бы этот завтрак!

Но все это были только пустые мечты... Дома его ждали три юных Барнстейпла, и он был обязан всемерно облегчить им начало самостоятельной жизни. А кроме того, хотя в мечтах это представлялось замечательным, мистер Барнстейпл в глубине души испытывал крайне неприятную уверенность, что для осуществления подобного замысла у него не хватит ни ума, ни таланта. Он обязательно все испортит...

Ведь из огня можно угодить и в полымя. «Либерал» был унылой, пессимистической, брюзгливой газетой, но его по крайней мере нельзя было назвать ни подлой, ни вредной газетой.

Но как бы то ни было, во избежание подобного катастрофического взрыва мистеру Барнстейплу настоятельно требовалось некоторое время отдохнуть от мистера Пиви. Он и так уже раза два начинал ему противоречить. Ссора могла вспыхнуть в любую минуту. И совершенно очевидно, что в качестве первого шага к отдыху от мистера Пиви надо было посетить врача. И вот мистер Барнстейпл отправился к врачу.

— У меня шалят нервы,— сказал мистер Барнстейпл.— Мне кажется, я становлюсь ужасным неврастеником.

— Вы больны неврастенией,— сказал врач.

— Я чувствую отвращение к моей работе.

— Вам необходимо отдохнуть.

— Вы полагаете, что мне следует переменить обстановку?

— Настолько радикально, насколько это возможно.

— Не посоветуете ли вы, куда мне лучше всего поехать?

— А куда вам хотелось бы поехать?

— Да никуда конкретно. Я думал, вы посоветуете...

— Облюбуйте какое-нибудь место... и поезжайте туда. Ни в коем случае не насилуйте сейчас ваших желаний.

Мистер Барнстейпл заплатил доктору положенную гинею и, вооружившись этими наставлениями, приготовился ждать подходящего случая, чтобы сообщить мистеру Пиви о своей болезни и о том, что ему требуется отпуск.

2

В течение некоторого времени этот будущий отдых оставался всего лишь новым добавлением к бремени тревог, терзавших мистера Барнстейпла. Решиться уехать значило столкнуться с тремя на первый взгляд непреодолимыми трудностями: каким образом уехать? Куда? И — поскольку мистер Барнстейпл принадлежал к числу людей, которым весьма быстро надоедает собственное общество,— с кем? Уныние, последнее время не сходившее с лица мистера Барнстейпла, теперь порой внезапно сменялось хитроватой настороженностью тайного интригана. Впрочем, никто не обращал особого внимания на выражение лица мистера Барнстейпла.

Одно ему было совершенно ясно: домашние ни в коем случае не должны догадаться о его планах. Если миссис Барнстейпл проведает о них, то дальнейшее известно: она преданно и деловито возьмет на себя все заботы. «Тебе надо отдохнуть как следует!» — скажет она. Затем она выберет какой-нибудь отдаленный и дорогой курорт в Корнуэлле, Шотландии или Бретани, накупит массу дорожных вещей, будет то и дело что-нибудь добавлять, так что в последнюю минуту багаж обрастет

множеством неудобных пакетов, и непременно захватит с собой сыновей. Она, возможно, кроме того, уговорит нескольких знакомых поехать туда же, «чтобы было веселей». А эти знакомые, если они поедут, наверняка прихватят с собой худшие стороны своего характера и будут надоедать ему с поразительной неутомимостью. Говорить будет не о чем. Все будут вымученно смеяться. Играть в бесконечные игры... Нет!!!

Но может ли муж уехать отдыхать так, чтобы об этом не проведала его жена? Надо ведь уложить чемодан, незаметно вынести его из дому...

Однако в положении мистера Барнстейпла имелось одно обстоятельство, которое, с точки зрения мистера Барнстейпла, обещало надежду на благополучный исход: у него был маленький автомобиль, и пользовался им только он один. Естественно, что в его тайных планах этому автомобилю отводилась существенная роль. Он, казалось, давал наиболее простую возможность уехать; он превращал ответ на вопрос «куда?» из точного названия конкретного места в то, что математики, если не ошибаюсь, называют траекторией; и в этой зверушке было что-то настолько уютно-добродушное, что она, хотя и в малой степени, но все же отвечала на вопрос «с кем?». Это был двухместный автомобильчик. В семье его называли «лоханкой», «горчицей Колмена» и «желтой опасностью». По этим прозвищам нетрудно догадаться, что это была низкая открытая машина пронзительно-желтого цвета. Мистер Барнстейпл ездил на ней из Сайденхема в редакцию, потому что она расходовала всего один галлон бензина на тридцать три мили, и это обходилось намного дешевле сезонного билета. Днем автомобильчик стоял под окнами редакции во дворе, а в Сайденхеме жил в сарае, единственный ключ от которого мистер Барнстейпл всегда носил с собой. Благодаря этому сыновьям мистера Барнстейпла пока еще не удалось ни завладеть автомобилем, ни разобрать его на составные части. Иногда миссис Барнстейпл, отправляясь за покупками, заставляла мужа возить ее по Сайденхему, но в глубине души она недолюбливала автомобильчик, потому что он отдавал ее на произвол ветра, который покрывал ее пылью и трепал прическу. Все, что автомобильчик делал возможным, и все, что он делал невоз-

можным, превращало его в наилучшее средство для столь необходимого отдыха. А кроме того, мистер Барнстейпл любил ездить на своем автомобиле. Правил он очень скверно, но зато крайне осторожно, и хотя автомобильчик порой останавливался и отказывался ехать дальше, он (во всяком случае, до сих пор) еще ни разу не позволил себе того, чего мистер Барнстейпл привык ожидать от большинства вещей, с которыми сталкивался в жизни, а именно не ехал прямо на восток, когда мистер Барнстейпл поворачивал рулевое колесо прямо на запад. И в его обществе мистер Барнстейпл чувствовал себя хозяином положения, а это было приятное чувство.

И все же окончательное решение мистер Барнстейпл принял почти внезапно. Ему неожиданно представился удобный случай. По четвергам он бывал в типографии и в этот четверг вернулся вечером домой совсем обессиленный. Палящая жара упорно не спадала и не становилась более сносной из-за того, что засуха сулила голод и горе половине населения земли. А лондонский сезон, элегантный и ухмыляющийся, был в полном разгаре: глупостью он, пожалуй, умудрился превзойти даже лето 1913 года — великого года танго, который в свете последующих событий мистер Барнстейпл до сих пор считал глупейшим годом во всей истории человечества. «Стар» сообщала обычный набор скверных новостей, скромно ютившихся по соседству со спортивной и светской хроникой, занимавшими наиболее видное место. Продолжались бои между русскими и поляками, а также в Ирландии, Малой Азии, на индийской границе и в Восточной Сибири. Произошло еще три зверских убийства. Горняки по-прежнему бастовали, и вот-вот должна была вспыхнуть большая стачка машиностроительных рабочих. На скамьях пригородного поезда не нашлось ни одного свободного местечка, и он тронулся с опозданием на двадцать минут.

Дома мистер Барнстейпл нашел записку от жены: ее родственники прислали телеграмму из Уимблдона о том, что неожиданно возникла возможность посмотреть игру мадемуазель Ленглен и всех других теннисных чемпионов,— она уехала с мальчиками, и они вернутся очень поздно. Мальчикам необходимо посмотреть настоящий

теннис, тогда они и сами станут играть лучше, писала она. Кроме того, сегодня у горничной и кухарки свободный вечер. Он не очень рассердится, если ему разок придется посидеть дома одному? Кухарка перед уходом оставит ему в столовой холодный ужин.

Мистер Барнстейпл прочел эту записку с чувством покорности судьбе. Ужиная, он просмотрел брошюру, которую ему прислал знакомый китаец, чтобы показать, как японцы сознательно уничтожают все, что еще сохранилось от китайской цивилизации и культуры.

И только когда мистер Барнстейпл после ужина устроился с трубкой в садике позади дома, он вдруг сообразил, какие возможности открывает перед ним его неожиданное одиночество.

Он начал действовать немедленно. Он позвонил мистеру Пиви, сообщил ему о заключении врача, объяснил, что именно сейчас его отъезд может пройти для «Либерала» почти безболезненно, и добился желанного отпуска. Потом он поспешил к себе в спальню, торопливо уложил необходимые вещи в старый саквояж, исчезновение которого вряд ли могло быть скоро замечено, и спрятал его в багажник автомобиля. Вернувшись в дом, он довольно долго трудился над письмом жене, которое затем засунул в нагрудный карман пиджака.

Когда с этим было покончено, он запер сарай и расположился в саду в шезлонге с трубкой и хорошей, обстоятельной книгой, посвященной банкротству Европы, чтобы жена и сыновья, вернувшись домой, не заподозрили ничего необычного.

Вечером он словно между прочим сообщил жене, что у него последнее время пошаливают нервы и что на следующий день он поедет в Лондон посоветоваться с врачом.

Миссис Барнстейпл хотела было сама выбрать для него доктора, но он вышел из затруднения, заявив, что в этом вопросе ему следует считаться с желаниями Пиви и что Пиви настоятельно рекомендовал ему своего доктора (того самого, с которым он на самом деле уже советовался). А когда миссис Барнстейпл сказала, что, по ее мнению, им всем нужно как следует отдохнуть, он буркнул в ответ что-то невнятное.

Таким образом, мистеру Барнстейплу удалось уехать из дому, захватив все необходимое для нескольких недель отдыха и не вызвав сопротивления, которое ему вряд ли удалось бы преодолеть. На следующее утро, выехав на шоссе, он повернул в сторону Лондона. Движение по шоссе было оживленным, но не настолько, чтобы затруднить мистера Барнстейпла, и «желтая опасность» вела себя так хорошо и мило, что ее стоило бы переименовать в «золотую надежду». В Камберуэлле он свернул на Камберуэлл-нью-роуд и остановился у почты в конце Воксхолл-бридж-роуд. Пугаясь и радуясь собственной смелости, он пошел на почту и отправил жене следующую телеграмму:

«Доктор Пейген настоятельно рекомендует немедленный отдых одиночество отправляюсь Озерный край предполагая это захватил саквояж вещи подробности письмом».

Затем, выйдя на улицу, он порылся в кармане, вытащил письмо, которое так старательно сочинял накануне, и бросил его в ящик. Оно специально было написано каракулями, долженствовавшими навести на мысль об острой форме неврастении. Доктор Пейген, говорилось в нем, прописал немедленный отдых и посоветовал «побродить по северу». Ему полезно будет несколько дней или даже неделю не писать и не получать писем. Он не станет писать, если только не произойдет какого-нибудь несчастья. Нет вестей — значит, хорошие вести. И вообще все будет отлично. Как только он решит, где остановиться, он протелеграфирует адрес, но писать ему следует только в случае крайней необходимости.

После этого мистер Барнстейпл снова уселся за руль с блаженным чувством свободы, какого не испытывал с тех пор, как в первый раз уехал из школы на каникулы. Он собирался выбраться на Большое Северное шоссе, но попал в затор у Гайд-парк Корнер и, следуя указанию полицейского, повернул в сторону Найтсбриджа, а когда оказался на перекрестке, где от Оксфордского шоссе ответвляется шоссе на Бат, то, не желая ожидать, пока тяжелый фургон освободит ему путь, свернул на дорогу в Бат. Это ведь не имело ни малейшего значения. Любое шоссе вело вдаль, а отправиться на север можно будет и позже.

3

День был ослепительно солнечный, как почти все дни великой засухи 1921 года. Однако он нисколько не был душным. В воздухе даже чувствовалась свежесть, очень подходившая к бодрому настроению мистера Барнстейпла, и его не покидала уверенность, что ему предстоят всякие приятные приключения. Надежда вновь вернулась к нему. Он знал, что этот путь уведет его далеко от мира привычных вещей, но ему и в голову не приходило, какая пропасть отделит его от мира привычных вещей в конце этого пути. Он с удовольствием думал, что скоро остановится у какой-нибудь придорожной гостиницы и перекусит, а если ему станет скучно, то, отправившись дальше, он подвезет кого-нибудь, чтобы было с кем поговорить. А найти попутчика будет нетрудно: он готов ехать в любом направлении, лишь бы не назад к Сайденхему и редакции «Либерала».

Едва он выехал из Слау, как его обогнал огромный серый автомобиль. Мистер Барнстейпл вздрогнул и шарахнулся в сторону. Серый автомобиль, даже не просигналив, скользнул мимо, и хотя, согласно лишь чуть-чуть привиравшему спидометру, мистер Барнстейпл ехал со скоростью добрых двадцати семи миль в час, эта машина обогнала его за одну секунду. В ней, заметил он, сидело трое мужчин и одна дама. Все они сидели выпрямившись и повернув головы, словно интересуясь чем-то, оставшимся позади. Они промелькнули мимо очень быстро, и он успел разглядеть только, что дама ослепительно красива яркой и бесспорной красотой, а ее спутник, сидящий слева, похож на состарившегося эльфа.

Не успел мистер Барнстейпл опомниться от этого происшествия, как другой автомобиль, наделенный голосом доисторического ящера, предупредил, что собирается его обогнать. Мистер Барнстейпл любил, чтобы его обгоняли именно так, после надлежащих переговоров. Он уменьшил скорость, освободил середину шоссе и сделал приглашающий жест. Большой, стремительный лимузин внял его разрешению воспользоваться тридцатью с лишком футами освободившейся ширины дороги. В лимузине было много багажа, но из всех пассажиров

мистер Барнстейпл успел заметить только молодого человека с моноклем в глазу, сидевшего рядом с шофером. Вслед за серым автомобилем лимузин исчез за ближайшим поворотом.

Однако даже механизированная лоханка возмутится, если ее столь высокомерно обгоняют в такое солнечное утро на свободной дороге. Акселератор мистера Барнстейпла пошел вниз, и он миновал этот поворот на добрых десять миль быстрее, чем позволяла его обычная осторожность. Шоссе впереди было пустынно.

Даже слишком пустынно. Оно отлично просматривалось на треть мили вперед. Слева его окаймляла низкая, аккуратно подстриженная живая изгородь, за ней виднелись купы деревьев, ровные поля, за ними — небольшие домики, одинокие тополя, а вдали — Виндзорский замок. Справа расстилался ровный луг, стояла маленькая гостиница, а дальше тянулась цепь невысоких лесистых холмов. Самым ярким пятном на этом мирном ландшафте была реклама какого-то отеля на речном берегу в Мейденхеде. Над полотном дороги колебалось жаркое марево и крутились крохотные пылевые смерчи. И нигде не было видно серого автомобиля, и нигде не было видно лимузина.

Мистеру Барнстейплу потребовалось почти целых две секунды, чтобы осознать всю поразительность этого факта. Ни справа, ни слева от шоссе не ответвлялось ни одной дороги, на которую могли бы свернуть эти автомобили. Если они уже успели скрыться за дальним поворотом, это означало, что они мчались со скоростью двести, а то и триста миль в час!

У мистера Барнстейпла было похвальное обыкновение снижать скорость в тех случаях, когда он терялся. Он снизил скорость и сейчас. Он ехал не быстрее пятнадцати миль в час, изумленно озираясь по сторонам в поисках разгадки этого таинственного исчезновения. Как ни странно, у него не было ощущения, что ему угрожает какая-то опасность.

Но тут автомобиль словно наткнулся на что-то, и его занесло. Он повернул так стремительно, что на секунду мистер Барнстейпл совсем потерял голову. Он не мог вспомнить, что надо делать в таких случаях. Правда, ему смутно мерещилось, что полагается повернуть

руль в сторону заноса, но в горячке волнения он никак не мог сообразить, в какую именно сторону занесло автомобиль.

Потом он вспоминал, что в это мгновение услышал какой-то звук. Именно такой, каким разрешается накапливавшееся давление, резкий, словно звон оборвавшейся струны, который слышишь, когда теряешь сознание под наркозом или когда приходишь в себя.

Ему казалось, что автомобиль завернуло к живой изгороди справа, однако дорога по-прежнему простиралась прямо перед ним. Он нажал было на акселератор, но тут же затормозил и остановился. Он остановился, пораженный удивлением.

Это было совсем не то шоссе, по которому он ехал всего тридцать секунд назад. Изгородь изменилась, деревья стали другими, Виндзорский замок исчез, и в качестве некоторой компенсации впереди вновь возник большой лимузин. Он стоял у обочины ярдах в двухстах дальше по дороге.

ГЛАВА ВТОРАЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДОРОГА

1

В течение некоторого времени внимание мистера Барнстейпла в очень неравной пропорции раздваивалось между лимузином, пассажиры которого тем временем вышли на дорогу, и окружавшим его ландшафтом. Этот последний был настолько удивителен и прекрасен, что группа людей впереди занимала мистера Барнстейпла лишь постольку, поскольку он предполагал, что они должны были разделять его изумление и восторг и, значит, могли как-то помочь ему рассеять его все растущее недоумение.

Сама дорога уже не была обычным английским шоссе из спрессованной гальки и грязи, покрытой варом, на который налип всякий мусор, пыль и экскременты животных. Оно, казалось, было сделано из стекла, то прозрачного, как вода тихого озера, то молочно-белого или жемчужного, пронизанного радужными прожилками или сверкающими облачками золотистых снежинок. Шириной она была ярдов в двенадцать-пятнадцать. По

обеим ее сторонам зеленела трава, прекрасней которой мистеру Барнстейплу не приходилось видеть, хотя он был любителем и знатоком газонов, а за ней пестрело настоящее море цветов. У того места, где сидел в своем автомобиле ошеломленный мистер Барнстейпл, и еще ярдов на тридцать в обе стороны за полосой травы густо росли какие-то незнакомые цветы, голубые, как незабудки. Дальше они все больше вытеснялись высокими, ослепительно-белыми кистями и в конце концов исчезали вовсе. По ту сторону дороги эти белые кисти были перемешаны с буйной массой каких-то также незнакомых мистеру Барнстейплу растений, увешанных семенными коробочками; они перемежались венчиками синих, палевых и лиловых оттенков, переходивших в конце концов в огненно-красную полосу. За этой великолепной цветочной пеной простирались ровные луга, где паслись бледно-золотистые коровы. Три из них, стоявшие поблизости и, возможно, несколько пораженные внезапным появлением мистера Барнстейпла, жевали свою жвачку и поглядывали на него с задумчивым добродушием. У них были длинные рога и отвислые складки на шее, как у южноевропейского и индийского скота. Затем мистер Барнстейпл перевел взгляд от этих безмятежных созданий на бесконечный ряд деревьев, чья форма напоминала языки пламени, на бело-золотую колоннаду и на замыкавшие горизонт вершины гор. В ослепительно-синем небе плыли курчавые облака. Воздух показался мистеру Барнстейплу удивительно прозрачным и благоуханным.

Если не считать коров и группы людей у лимузина, вокруг не было видно ни одной живой души. Пассажиры лимузина стояли, недоуменно озираясь по сторонам. До мистера Барнстейпла донеслись раздраженные голоса.

Громкий треск, раздавшийся где-то сзади, заставил мистера Барнстейпла обернуться. Возле дороги, примерно в том же направлении, откуда мог попасть на нее его автомобиль, виднелись развалины каменного здания, очевидно, разрушенного совсем недавно. Возле него торчали две только что сломанные яблони, скрученные и расщепленные, словно взрывом, а из развалин поднимался столб дыма и доносился рев разгорающегося огня. Поглядев на изуродованные ябло-

ни, мистер Барнстейпл вдруг заметил, что цветы у дороги рядом с ним тоже полегли в одном направлении, как будто от резкого порыва ветра. Но ведь он не слышал никакого взрыва, не чувствовал никакого ветра!

Несколько минут он недоуменно смотрел на развалины, а потом, словно ожидая объяснения, оглянулся на лимузин. Трое из пассажиров шли теперь по дороге, направляясь к нему,— впереди высокий, худощавый седой господин в фетровой шляпе и длинном дорожном пыльнике. Лицо у него было маленькое, вздернутое кверху, а носик такой крохотный, что позолоченное пенсне еле-еле на нем удерживалось. Мистер Барнстейпл завел свой автомобиль и медленно поехал к ним навстречу.

Когда, по его расчетам, они сблизились настолько, что могли без труда расслышать друг друга, он остановил «желтую опасность» и перегнулся через борт, собираясь задать вопрос. Но в ту же секунду высокий седой господин обратился к нему с этим же самым вопросом.

— Не могли бы вы сказать мне, сэр, где мы находимся? — спросил он.

2

— Пять минут назад,—ответил мистер Барнстейпл,— я сказал бы, что мы находимся на Мейденхедском шоссе. Вблизи Слау.

— Вот именно! — убежденным и назидательным тоном подтвердил высокий господин.— Вот именно! И я утверждаю, что нет ни малейших оснований предполагать, что сейчас мы находимся не на Мейденхедском шоссе.

В его тоне прозвучал вызов искусного спорщика.

— Но все это непохоже на Мейденхедское шоссе, — заметил мистер Барнстейпл.

— Согласен! Но должны ли мы исходить из видимости или из непрерывности собственного опыта? Мейденхедское шоссе привело нас сюда, оно непосредственно связано с этим местом, и поэтому я утверждаю, что это — Мейденхедское шоссе.

— А как же горы? — спросил мистер Барнстейпл.

— Там полагается быть Виндзорскому замку,— живо сказал высокий господин, словно делая гамбитный ход.

— Пять минут назад он там и был,— сказал мистер Барнстейпл.

— Отсюда неопровержимо следует, что эти горы — маскировка,— с торжеством заявил высокий господин,— а все происшедшее — какой-то, как выражаются в наши дни, «розыгрыш».

— В таком случае это разыграно удивительно ловко,— заметил мистер Барнстейпл.

Наступило молчание, и мистер Барнстейпл воспользовался им, чтобы рассмотреть спутников своего собеседника. Его самого он узнал сразу, так как не раз видел его на различных собраниях и торжественных банкетах. Это был мистер Сесиль Берли, знаменитый лидер консервативной партии. Он прославился не только своей политической деятельностью, но и был известен как человек безупречной репутации, философ и эрудит. Чуть позади него стоял невысокий, коренастый человек средних лет, незнакомый мистеру Барнстейплу. Выражение высокомерной брезгливости, присущее его лицу, еще усиливалось благодаря моноклю. Их третий спутник показался мистеру Барнстейплу знакомым, но ему не удалось вспомнить, кто это такой. Чисто выбритая круглая пухлая физиономия, упитанное тело, а главное, костюм делали его похожим на священника Высокой церкви или даже на преуспевающего католического патера.

Теперь пронзительным фальцетом заговорил молодой человек с моноклем:

— Я проезжал по этому шоссе в Тэплоу-Корт всего месяц назад, и тут ничего подобного не было.

— Признаю, что мне не все ясно,— с наслаждением произнес мистер Берли.— Признаю, что мне многое неясно. Но все же осмелюсь полагать, что в своей основной предпосылке я прав.

— Вы ведь не думаете, что это Мейденхедское шоссе! — безапелляционно заявил мистеру Барнстейплу господин с моноклем.

— Все это выглядит слишком совершенным для того, чтобы быть подстроенным,— мягко, но упрямо сказал мистер Барнстейпл.

— Что вы, дорогой сэр! — запротестовал мистер Берли.— Это шоссе на всю страну знаменито своими садово-

дами, и они иногда устраивают самые поразительные выставки. Для рекламы, знаете ли.

— В таком случае почему мы не едем сейчас в Тэплоу-Корт? — спросил господин с моноклем.

— Потому что, — ответил мистер Берли с легким раздражением человека, вынужденного повторять всем известный факт, с которым упрямо не желают считаться,— потому что Руперт утверждает, будто мы попали в какой-то другой мир. И отказывается ехать дальше. Вот почему. Он всегда страдал избытком воображения. Он считает, что несуществующее может существовать. А сейчас он внушил себе, что произошло нечто в духе научно-фантастических романов и мы очутились вне нашего мира. В каком-то ином измерении. Порой мне кажется, что для нас всех было бы лучше, если бы Руперт начал писать фантастические романы вместо того, чтобы пытаться воплощать их сюжеты в жизнь. Если вы, как его секретарь, полагаете, что вам удастся убедить его поторопиться в Тэплоу-Корт, чтобы не опоздать к завтраку с виндзорским обществом...

И мистер Берли взмахнул рукой, заканчивая мысль, для которой у него не нашлось достаточно весомых слов.

Мистер Барнстейпл уже заметил медлительного рыжеватого человека в сером цилиндре с черной лентой, прославленном карикатуристами. Он внимательно исследовал цветочную чащу около лимузина. Значит, это действительно не кто иной, как сам Руперт Кэтскилл, военный министр. И впервые в жизни мистер Барнстейпл почувствовал, что полностью согласен с этим чрезмерно склонным к авантюрам государственным мужем. Они действительно попали в иной мир. Мистер Барнстейпл вылез из автомобиля и сказал, обращаясь к мистеру Берли:

— Я полагаю, сэр, что мы получим гораздо более ясное представление о том, где мы находимся, если рассмотрим поближе вон то горящее здание. Мне кажется, дальше, на склоне, кто-то лежит. Если бы нам удалось поймать кого-нибудь из этих шутников...

Он умолк, так как на самом деле вовсе не верил в то, что они стали жертвой шутки. За последние пять минут мистер Берли чрезвычайно упал в его глазах.

Все четверо повернулись к дымящимся развалинам.

— Поразительно, что нигде не видно ни одной живой души,— заметил господин с моноклем, оглядывая даль.

— Ну, я не усматриваю ничего нежелательного в том, чтобы выяснить, что там горит, — сказал мистер Берли и первым направился к разрушенному дому среди сломанных деревьев — на его интеллигентном лице было написано ожидание.

Но не успел он сделать и пяти шагов, как их внимание было снова привлечено к лимузину: сидевшая в нем дама вдруг испустила громкий вопль ужаса.

3

— Нет, это уже переходит все границы! — воскликнул мистер Берли с искренним негодованием.—Несомненно, полицейские установления запрещают что-либо подобное.

— Он сбежал из какого-нибудь бродячего зверинца, — заметил господин с моноклем. — Что нам следует предпринять?

— С виду он совсем ручной,— сказал мистер Барнстейпл, не проявляя, однако, ни малейшего желания проверить свою теорию на практике.

— И все-таки он может опасно напугать людей, — заявил мистер Берли и с тем же невозмутимым спокойствием крикнул: — Не бойтесь, Стелла! Он, разумеется, ручной и не причинит вам ни малейшего вреда. Только не дразните его этим зонтиком. Он может броситься на вас. Стел-л-ла!

«Он» был крупным, необычайно пестрым леопардом, который бесшумно вынырнул из цветочного моря и, словно огромный кот, уселся на стеклянной дороге возле лимузина. Он растерянно мигал и ритмично помотывал головой, с недоумением и интересом наблюдая, как молодая дама, следуя лучшим традициям, принятым в подобных случаях, со всей возможной быстротой открывала и закрывала перед его мордой свой солнечный зонтик. Шофер укрылся за автомобилем. Мистер Руперт Кэтскилл стоял по колено в цветах и с удивлением взирал на зверя, очевидно, заметив его — как и мистер Берли со спутниками,— только когда услышал вопль.

Первым опомнился мистер Кэтскилл и показал, из какого материала он скроен. Его действия были одновременно и осторожными и смелыми.

— Перестаньте хлопать зонтиком, леди Стелла,—сказал он.— Разрешите мне... я отвлеку его внимание на себя.

Он обошел лимузин и очутился прямо перед леопардом. Тут он на мгновение остановился, словно выставляя себя напоказ,— решительный человечек в сером сюртуке и в цилиндре с черной лентой. Осторожно, стараясь не раздразнить зверя, он протянул к нему руку.

— Ки-иса! — сказал он.

Леопард, очень довольный исчезновением зонтика леди Стеллы, поглядел на него с живым любопытством. Мистер Кэтскилл сделал шаг вперед. Леопард вытянул морду и понюхал воздух.

— Только бы он позволил мне погладить себя,— говорил мистер Кэтскилл, приблизившись к леопарду на расстояние вытянутой руки.

Зверь недоверчиво обнюхал его пальцы. Затем с внезапностью, заставившей мистера Кэтскилла отскочить назад, он чихнул. Потом чихнул второй раз — еще сильнее, с упреком посмотрел на мистера Кэтскилла, легко перескочил полосу цветов и длинными прыжками понесся в сторону бело-золотой колоннады. Мистер Барнстейпл заметил, что пасущиеся коровы смотрят ему вслед без малейшего страха.

Мистер Кэтскилл, выпятив грудь, стоял посреди дороги.

— Ни одно животное,— объявил он,— не может выдержать пристального взгляда человеческих глаз. Ни одно. Пусть-ка материалисты попробуют это объяснить!.. Не присоединимся ли мы к мистеру Сесилю, леди Стелла? Он как будто обнаружил там нечто интересное. Владелец желтого автомобильчика, возможно, знает, что это за место. Ну, так как же?

Он помог леди Стелле выйти из автомобиля, и они направились к группе мистера Барнстейпла, уже приблизившейся к горящему зданию. Шофер, не решаясь, повидимому, оставаться наедине с лимузином в этом мире невероятных происшествий, следовал за ними настолько близко, насколько позволяла почтительность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИР КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ

1

Пожар, казалось, затихал. Над маленьким зданием теперь поднималось меньше дыма, чем в ту минуту, когда мистер Барнстейпл заметил его. Подойдя поближе, они обнаружили среди развалин множество скрученных кусков какого-то блестящего металла и осколки стекла. Больше всего это походило на остатки взорвавшейся научной аппаратуры. Затем они почти одновременно увидели в траве позади здания неподвижное тело. Это был труп молодого мужчины — совершенно обнаженного, если не считать нескольких браслетов, ожерелья и набедренной повязки. Из его рта и ноздрей сочилась кровь. Мистер Барнстейпл почти благоговейно опустился на колени рядом с погибшим и прижал руку к его груди — сердце не билось. Впервые в жизни видел он такое прекрасное тело и лицо.

— Умер,— сказал он шепотом.

— Посмотрите! — раздался пронзительный голос человека с моноклем.— Еще один!

Обломок стены помешал мистеру Барнстейплу увидеть, на что он указывает. Только поднявшись на ноги и перебравшись через груду мусора, он наконец увидел второй труп. Это была тоненькая девушка, тоже почти нагая. По-видимому, ее с огромной силой ударило о стену, и смерть наступила мгновенно. Лицо ее нисколько не пострадало, хотя затылок был размозжен; изумительно очерченные губы и зеленовато-серые глаза были чуть приоткрыты, словно она все еще размышляла над какой-то трудной, но интересной проблемой. Она казалась не мертвой, а просто отрешенной от окружающего. Одна рука все еще держала какой-то медный инструмент с ручкой из стекла, пальцы другой были бессильно разжаты.

Несколько секунд все молчали, как будто опасаясь прервать ее мысли.

Затем мистер Барнстейпл услышал позади себя голос человека, похожего на священника.

— Какая совершенная оболочка! — негромко сказал тот.

— Признаю, что я ошибся,— медленно произнес мистер Берли. — Я ошибся. Перед нами не земные люди. Это очевидно. Отсюда следует, что мы не на Земле. Не представляю, что случилось и где мы находимся. Перед лицом достаточно веских фактов я всегда без колебаний отказывался от своего прежнего мнения. Мир, в котором мы сейчас находимся, — не наш мир. Это нечто... — Он помолчал и закончил: — Это нечто поистине чудесное.

— А виндзорскому обществу,— заметил мистер Кэтскилл как будто без малейшего сожаления, — придется завтракать без нас.

— Но в таком случае, — спросил человек, похожий на священника,— в каком мире мы находимся и как мы в него попали?

— На этот вопрос, — невозмутимо сказал мистер Берли,— мое скудное воображение не в состоянии подсказать никакого ответа. Мы находимся в каком-то мире, необыкновенно похожем на наш мир и необыкновенно на него непохожем. Между ним и нашим миром, несомненно, существует какая-то связь, иначе мы здесь не находились бы. Но что это за связь, признаюсь, сказать не могу: для меня это неразрешимая тайна. Возможно, мы попали в другое, неизвестное нам пространственное измерение. Но при одной мысли об этих измерениях моя бедная голова идет кругом. Я... я в недоумении... в полном недоумении.

— Эйнштейн,— коротко и внушительно обронил господин с моноклем.

— Вот именно!—отозвался мистер Берли.—Эйнштейн мог бы объяснить нам это. И милейший Холдейн мог бы взяться за объяснение и совсем сбил бы нас с толку своим туманным гегельянством. Но я не Холдейн и не Эйнштейн. Мы оказались в каком-то мире, который с практической точки зрения — в том числе и с точки зрения наших планов на воскресенье — можно назвать «Нигде». Или, если вы предпочитаете греческое слово, мы в утопии. И поскольку я не вижу, каким образом мы можем из нее выбраться, то нам, как разумным существам, следует как-то приспособиться к создавшемуся положе-

нию. И выжидать удобной возможности. Мир этот, вне всякого сомнения, прелестен. И прелесть его даже превосходит его загадочность. Кроме того, тут живут люди — существа, наделенные разумом. Судя по тому, что нас сейчас окружает, я заключаю, что это мир, где широко ставятся химические опыты — ставятся, чего бы это ни стоило, — среди поистине идиллической природы. Химия... и нагота! Будем ли мы считать эту пару, повидимому, только что взорвавшую себя, греческими богами или голыми дикарями,— по моему мнению, это зависит от наших личных вкусов. Что до меня, то мне больше импонирует греческий бог... и богиня.

— Этому мешает только одно: как-то трудно представить себе двух мертвых бессмертных! — победоносно взвизгнул господин с моноклем.

Мистер Берли собирался уже ответить — и, судя по негодующему выражению его лица, это была бы краткая, но энергичная нотация,— но вместо этого он испустил удивленное восклицание и обернулся. В тот же момент все общество заметило, что около развалин стоят два нагих Аполлона и смотрят на землян с не меньшим изумлением, чем те на них.

Один из новоприбывших заговорил, и мистер Барнстейпл был необычайно поражен, обнаружив, что в его мозгу, будто эхо, возникают вполне понятные и знакомые слова.

— Красные боги! — воскликнул утопиец.— Что вы такое? И откуда вы взялись?

(Родной язык мистера Барнстейпла! Если бы он заговорил по-древнегречески, это было бы менее поразительно. Но как поверить, что они говорят на одном из живых земных языков!)

2

Мистер Сесиль Берли был ошеломлен гораздо меньше остальных.

— Теперь,—заметил он,—у нас есть основания полагать, что мы сможем узнать нечто определенное, поскольку перед нами разумные, наделенные даром речи существа.

Он кашлянул, взялся длинными, нервными пальцами за лацканы своего длиннополого пыльника и заговорил от лица всех своих спутников.

— Мы не в состоянии, господа, объяснить наше появление здесь,— сказал он.— Оно кажется нам столь же загадочным, как и вам. Мы внезапно заметили, что из своего мира перенеслись в ваш,— вот и все.

— Вы появились из другого мира?

— Вот именно. Из совершенно иного мира. Где у каждого из нас есть свое естественное и надлежащее место. Мы ехали по нашему миру в... э... неких экипажах, как вдруг очутились здесь. Непрошеные гости, готов признать, но уверяю вас, не по собственному желанию и не по своей вине.

— Вы не знаете, почему не удался опыт Ардена и Гринлейк и почему они погибли?

— Если Арден и Гринлейк — имена этих красивых молодых людей, то мы ничего не знаем о них, кроме того, что нашли их здесь в том положении, в каком вы их видите, когда направились сюда вон с той дороги, чтобы узнать, а вернее сказать, осведомиться...

Он кашлянул и оборвал свою речь на этой неопределенной ноте.

Утопиец (если, удобства ради, нам будет позволено называть его так), первым заговоривший с ними, теперь посмотрел на своего спутника, словно безмолвно о чем-то его спрашивая. Затем он снова повернулся к землянам. Он заговорил, и опять мистеру Барнстейплу показалось, что этот мелодичный голос звучит у него не в ушах, а в мозгу.

— Вам и вашим друзьям лучше не бродить среди этих развалин. Вам лучше вернуться на дорогу. Пойдемте со мной. Мой брат потушит огонь и сделает для нашего брата и сестры все, что необходимо. А потом это место исследуют те, кто разбирается в опытах, которые здесь проводились.

— У нас нет иного выхода, кроме как прибегнуть к вашему гостеприимству,— сказал мистер Берли.— Мы всецело в вашем распоряжении. Позвольте мне только повторить, что эта встреча произошла помимо нашей воли.

— Хотя, разумеется, мы сделали бы все для того, чтобы она осуществилась, подозревай мы о такой возможности,— добавил мистер Кэтскилл, ни к кому в частности не обращаясь, но поглядев на мистера Барнстейпла, словно ожидая от него подтверждения.— Ваш мир кажется нам чрезвычайно привлекательным.

— При первом знакомстве, — подтвердил господин с моноклем,— он кажется чрезвычайно привлекательным.

Когда они вслед за утопийцем и мистером Берли по густому ковру цветов направились к шоссе, леди Стелла оказалась рядом с мистером Барнстейплом. Она заговорила, и на фоне окружавшего их чуда ее слова ошеломили его своей безмятежной и непобедимой обычностью:

— Мне кажется, мы уже встречались... на званом завтраке или... мистер... мистер..?

Быть может, все окружающее ему только чудится? Он несколько секунд растерянно смотрел на нее, прежде чем сообразил подсказать:

— Барнстейпл.

— Мистер Барнстейпл?

Он настроился на ее лад.

— Я не имел этого удовольствия, леди Стелла. Хотя, разумеется, я знаю вас — знаю очень хорошо благодаря вашим фотографиям в иллюстрированных еженедельниках.

— Вы слышали, что сейчас говорил мистер Сесиль? О том, что мы в Утопии?

— Он сказал, что мы *можем назвать* этот мир Утопией?

— Как это похоже на мистера Сесиля! Но все-таки это Утопия? Настоящая Утопия? — И, не дожидаясь ответа мистера Барнстейпла, леди Стелла продолжала:—Я всегда мечтала побывать в Утопии! Как великолепны эти два утопийца! Я убеждена, что они принадлежат к местной аристократии, несмотря на их... несколько домашний костюм. Или даже благодаря ему.

Мистеру Барнстейплу пришла в голову счастливая мысль.

— Я также узнал мистера Берли и мистера Руперта Кэтскилла, леди Стелла, но я был бы крайне вам обязан, если бы вы сказали мне, кто этот молодой

человек с моноклем и его собеседник, похожий на священника. Они идут следом за нами.

Очаровательно-доверительным шепотом леди Стелла сообщила просимые сведения.

— Монокль, — прожурчала она, — это (я скажу по буквам) Ф-р-е-д-д-и М-а-ш. Вкус. Изысканный вкус. Он удивительно умеет отыскивать молодых поэтов и всякие другие новости литературы. Кроме того, он секретарь Руперта. Все говорят, что, будь у нас литературная Академия, он непременно стал бы ее членом. Он ужасно критичен и саркастичен. Мы ехали в Тэплоу-Корт, чтобы провести интеллектуальный вечер, словно в добрые старые времена. Разумеется, после того, как виндзорское общество нас покинуло бы... Должны были приехать мистер Госс, и Макс Бирбом... и другие. Но теперь постоянно что-то случается. Постоянно. Неожиданности чуть-чуть даже в избытке... Его спутник в костюме духовного покроя,— она оглянулась, не слышит ли ее владелец костюма,— это отец Эмертон, ужасно красноречивый обличитель грехов общества и прочего в том же роде. Как ни странно, вне церковных стен он всегда застенчив и тих и пользуется ножами и вилками не слишком умело. Парадоксально, не правда ли?

— Ну конечно же! — воскликнул мистер Барнстейпл.— Теперь я припоминаю. Его лицо показалось мне знакомым, но я никак не мог сообразить, где я его видел. Очень вам благодарен, леди Стелла.

3

Мистер Барнстейпл почерпнул какую-то спокойную уверенность в общении с этими знаменитыми и почитаемыми людьми, и особенно в разговоре с леди Стеллой. Она его просто ободрила: так много милого, прежнего мира принесла она с собой и такая в ней чувствовалась решимость при первом удобном случае подчинить его нормам и этот новый мир. Волны восторга и упоения красотой, грозившие поглотить мистера Барнстейпла, разбивались о созданный ею невидимый барьер. Знакомство с ней и с ее спутниками для человека его положения само по себе было достаточно значительным приключением,

и это помогло ему в какой-то мере преодолеть пропасть, отделявшую его прежнее однообразное существование от этой чрезмерно бодрящей атмосферы Утопии. Эта встреча овеществляла, она (если позволительно воспользоваться этим словом в подобной связи) *низводила* окружающее их сияющее великолепие до степени полнейшей вероятности, поскольку и леди Стелла и мистер Берли также видели Утопию и высказали по ее поводу свое мнение, и к тому же она созерцалась сквозь скептический монокль мистера Фредди Маша. И тем самым все это попадало в разряд явлений, о которых сообщают газеты. Если бы мистер Барнстейпл оказался в Утопии один, испытываемый им благоговейный трепет мог бы даже серьезно нарушить его умственное равновесие. А теперь учтивый загорелый бог, который в настоящую минуту беседовал с мистером Берли, стал благодаря посредничеству этого великого человека интеллектуально доступным.

И все же у мистера Барнстейпла чуть не вырвался восторженный возглас, когда его мысли вновь обратились от его высокопоставленных спутников к прекрасному миру, в который все они попали. Каковы на самом деле были люди этого мира, где буйные сорняки, казалось, уже не заглушали цветов и где леопарды, утратившие злобное кошачье коварство, дружелюбно посматривали на всех проходящих мимо?

И как удивительно, что первые увиденные ими два обитателя этого мира покоренной природы были мертвы — насколько можно было судить, пали жертвами какого-то рискованного опыта! Но еще более удивительным было то, что вторые двое, назвавшиеся братьями погибших юноши и девушки, не проявили при виде этой трагедии никаких признаков горя или отчаяния! Мистер Барнстейпл вдруг осознал, что они вообще не выразили никакой печали — не были потрясены, не заплакали. Их поведение говорило скорее о недоумении и любопытстве, а не об ужасе и горе.

Утопиец, оставшийся возле развалин, отнес тело девушки туда, где лежал ее мертвый товарищ, и, когда мистер Барнстейпл обернулся, он внимательно рассматривал обломки неведомого аппарата.

Но теперь к месту происшествия уже спешили другие утопийцы. В этом мире существовали аэропланы — два

небольших летательных аппарата, быстрые и бесшумные, словно ласточки, как раз опустились на ближнем лугу. По шоссе к ним приближался человек на маленькой машине, похожей на двухместный автомобиль всего с двумя колесами, расположенными друг за другом, как у велосипеда; эта машина была несравненно легче и изящней земных автомобилей и таинственным образом продолжала сохранять полное равновесие на своих двух колесах, даже когда остановилась. Взрывы смеха, раздавшиеся на шоссе, привлекли внимание мистера Барнстейпла к небольшой группе утопийцев, которые, по-видимому, находили невообразимо потешным мотор лимузина. Большинство из них было так же прекрасно сложено и столь же скудно одето, как и двое погибших экспериментаторов, хотя головы двоих-троих покрывали большие соломенные шляпы, а женщина, по-видимому, постарше, лет тридцати, носила белое одеяние с яркоалой каймой. В это мгновение она заговорила с мистером Берли.

Хотя их разделяло еще шагов двадцать пять, ее слова отразились в мозгу мистера Барнстейпла с величайшей четкостью.

— Мы пока еще не знаем, какая связь существует между вашим появлением в нашем мире и недавним взрывом, не знаем даже, связаны ли они вообще. Мы собираемся исследовать оба эти вопроса. Мы полагаем, что разумнее всего будет проводить вас вместе со всем вашим имуществом в находящееся неподалеку отсюда место, удобное для совещания. Мы уже вызвали машины, которые доставят вас туда. Там вас можно будет накормить. Скажите, когда вы привыкли есть?

— Нам действительно не мешало бы перекусить в ближайшем будущем,— сказал мистер Берли, которому это предложение пришлось очень по душе.— По правде говоря, если бы мы не перенеслись так внезапно из нашего мира в ваш, то в настоящий момент мы бы уже завтракали — завтракали бы в самом избранном обществе.

«Чудо — и завтрак!» — подумал мистер Барнстейпл. Человек создан так, что должен есть, какие бы чудеса его ни окружали. И сам мистер Барнстейпл вдруг почувствовал, что сильно проголодался и что воздух, ко-

торым он дышит, необыкновенно способствует пробуждению аппетита.

Утопийке, казалось, пришла в голову новая мысль.

— Вы едите несколько раз в день? Что вы едите?

— Ах, неужели они вегетарианцы? Не может быть! — возмущенно воскликнул мистер Маш, роняя из глаза монокль.

Они все очень проголодались, что нетрудно было заметить по их лицам.

— Мы привыкли есть по нескольку раз в день, — сказал мистер Берли. — Пожалуй, мне следует сообщить вам краткий перечень потребляемых нами пищевых продуктов. Возможно, в этом отношении между нами существуют некоторые различия. Как правило, мы начинаем с чашки чая и тоненького ломтика хлеба с маслом, который нам подают в постель. Затем завтрак...

И он дал мастерское резюме гастрономического содержания своих суток, точно и заманчиво описывая характерные черты первого английского завтрака, яйца к которому следует варить четыре с половиной минуты, не больше и не меньше, второго завтрака, к которому подается легкое вино любых марок, чая — еды, имеющей более светскую, нежели питательную функцию, обеда — с приличествующими подробностями, и наконец ужина — еды необязательной. Это была краткая и энергичная речь, которая, несомненно, пришлась бы по вкусу палате общин: нисколько не тяжеловесная, даже с блестками остроумия и все же достаточно серьезная. Утопийка смотрела на мистера Берли с возрастающим интересом.

— И вы все едите вот таким образом? — спросила она.

Мистер Берли обвел взглядом своих спутников.

— Я не могу поручиться за мистера... мистера..?

— Барнстейпла... Да, и я ем примерно так же.

Утопийка почему-то улыбнулась ему. У нее были очень красивые карие глаза, но, хотя ему нравилась ее улыбка, на этот раз он предпочел бы, чтобы она не улыбалась.

— А как вы спите? — спросила она.

— От шести до десяти часов, в зависимости от обстоятельств, — сообщил мистер Берли.

— А как вы любите?

Этот вопрос поверг наших землян в недоумение и до некоторой степени шокировал их. Что, собственно говоря, она имеет в виду? Несколько секунд все растерянно молчали. В мозгу мистера Барнстейпла пронесся вихрь странных предположений.

Но тут на выручку пришли тонкий ум мистера Берли и его умение быстро и изящно уклоняться от ответа, обязательное для всякого крупного политика современности.

— Не постоянно, уверяю вас,— сказал он.— Отнюдь не постоянно.

Женщина в одеянии с алой каймой несколько мгновений обдумывала его слова, затем чуть-чуть улыбнулась.

— Нам следует поскорее отправиться туда, где мы сможем подробно поговорить обо всем этом,— сказала она.— Вы, несомненно, явились из какого-то странного другого мира. Наши ученые должны встретиться с вами и обменяться сведениями.

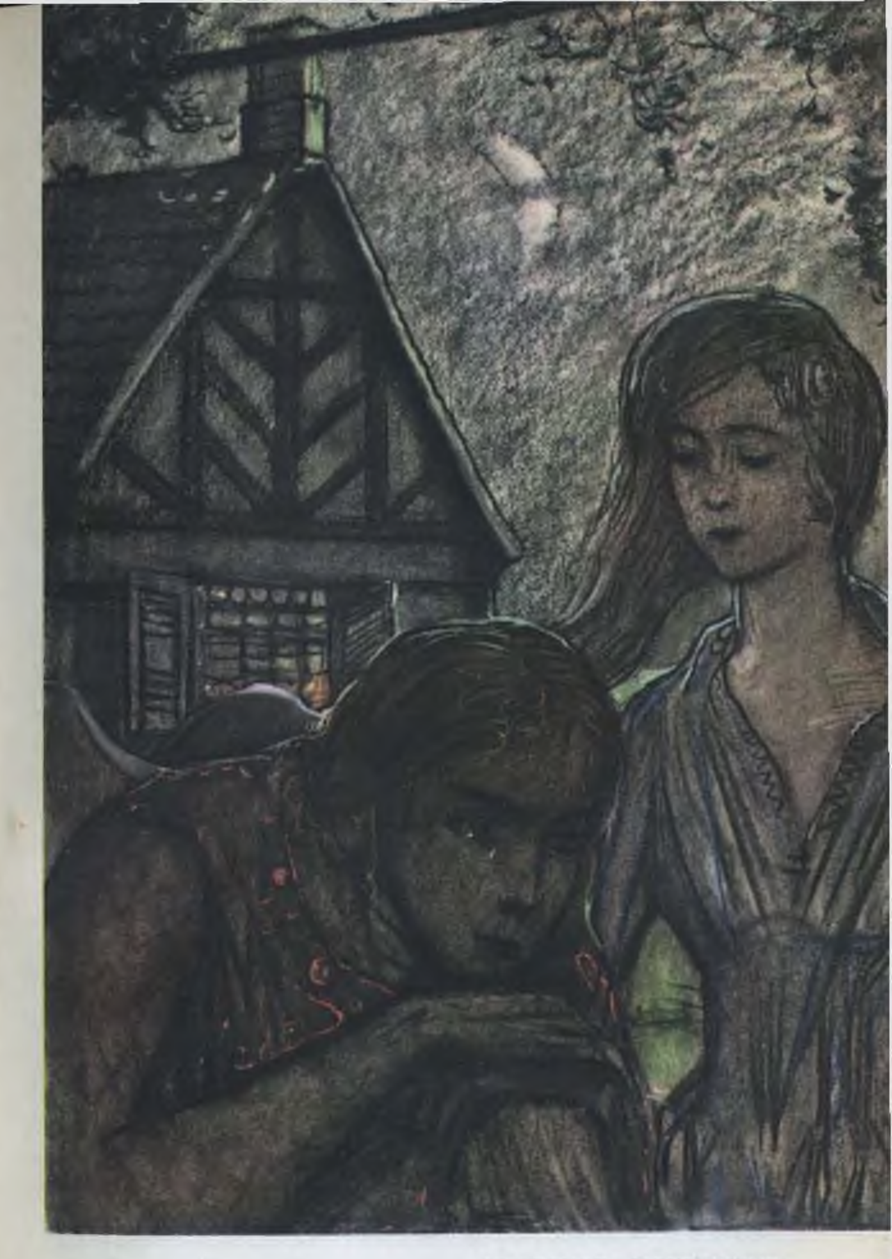
4

Еще в половине одиннадцатого мистер Барнстейпл проезжал на своем автомобиле по шоссе через Слау, а теперь, в половине второго, он летел над страной чудес, почти забыв про свой привычный мир.

— Изумительно! — твердил он.— Изумительно! Я знал, что мое путешествие будет интересным. Но это, это...

Он был удивительно счастлив — тем ясным, безоблачным счастьем, которое бывает только во сне. Впервые в жизни познал он восторг открывателя новых земель — он и не надеялся, что ему когда-либо доведется испытать это чувство. Всего три недели назад он написал для «Либерала» статью, в которой оплакивал «конец века открытий»,— статью настолько беспросветно и беспричинно унылую, что она чрезвычайно понравилась мистеру Пиви. Теперь он вспомнил эту статью, и ему стало немножко стыдно.

Компания землян была распределена по четырем маленьким аэропланам: когда мистер Барнстейпл и его спутник отец Эмертон взмыли в воздух, он поглядел вниз



«ЧУДЕСНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ»



«ЛЮДИ КАК БОГИ»

и увидел, что оба автомобиля вместе с багажом были без всякого труда погружены в два легких грузовика. Каждый грузовик выбросил пару сверкающих лап и подхватил свой автомобиль, словно нянька младенца.

По современным земным представлениям о безопасности авиатор вел их аэроплан слишком близко к земле. Иногда они пролетали между деревьями, а не над ними — благодаря этому мистер Барнстейпл, хотя сначала и несколько испуганный, мог подробно рассмотреть окружающую местность. Сперва они летели над цветущими лугами, где паслись бледно-золотистые коровы, — время от времени зелень травы перемежалась яркими пятнами неизвестной мистеру Барнстейплу растительности. Там и сям змеились узкие дорожки, предназначенные то ли для пешеходов, то ли для велосипедистов. Порой внизу мелькало шоссе, окаймленное цветочными газонами и фруктовыми деревьями.

Домов было очень мало, и он не увидел ни одного города или деревни. Отдельные же дома были самых разных размеров — от небольших отдельных зданий, которые он счел изящными летними виллами или небольшими храмами, до сложного лабиринта всяческих кровель и башенок, словно у старинных замков,— это могла быть большая сельскохозяйственная или молочная усадьба. Кое-где в полях работали люди, иногда кто-нибудь шел или ехал по дороге, но, в общем, создавалось впечатление, что этот край очень мало населен.

Он уже понял, что их аэроплан собирается пересечь горный хребет, так внезапно заслонивший далекий Виндзорский замок.

По мере приближения к горам зелень лугов сменялась широкими золотыми полосами хлебных злаков, а затем и других самых разнообразных культур. На солнечных склонах он заметил нечто похожее на виноградники; домов и работающих людей стало заметно больше. Маленькая эскадрилья летела вдоль широкой долины по направлению к перевалу, так что мистер Барнстейпл успел хорошо рассмотреть горный пейзаж. Внизу мелькали рощи каштанов, затем появились сосны. Бурные потоки были перегорожены гигантскими турбинами, рядами тянулись низкие здания со множеством окон —

очевидно, заводы или мастерские. К перевалу поднималась искусно проложенная дорога, виадуки которой отличались удивительной смелостью, легкостью и красотой. Мистер Барнстейпл решил, что в горах людей значительно больше, чем на равнинах, хотя и гораздо меньше, чем в схожих районах у нас на Земле.

Около десяти минут аэроплан летел над пустыней занесенного снегом ледника, по краю которого высились скалистые пики, а затем снизился в высокогорной долине, где, очевидно, находилось Место Совещаний. Эта долина представляла собой своеобразную складку в склоне, пересеченную каменными уступами, так искусно сложенными, что они казались частью геологической структуры самой горы. Долина выходила на широкое искусственное озеро, отделенное от ее нижнего конца могучей плотиной. На плотине через правильные интервалы высились каменные столбы, смутно походившие на сидящие фигуры. За озером мистер Барнстейпл успел заметить широкую равнину, напомнившую ему долину реки По, но тут аэроплан пошел на посадку и верхний край плотины заслонил даль.

На уступах, главным образом на нижних, располагались группы легких, изящных зданий; дорожки, лестницы, бассейны с прозрачной водой делали всю местность похожей на сад.

Аэропланы мягко приземлились на широкой лужайке. Совсем рядом над водой озера виднелось изящное шале; его терраса служила пристанью, у которой стояла целая флотилия пестро раскрашенных лодок.

То, что деревень почти не видно, первым заметил Эмертон. И теперь он же сказал, что тут нигде нет церкви и что во время полета они не видели ни единой колокольни. Однако мистер Барнстейпл предположил, что некоторые из небольших зданий могли быть храмами или святилищами.

— Религия здесь, возможно, имеет другие формы,— сказал он.

— А как мало тут младенцев и маленьких детей! — заметил отец Эмертон. — И я не видел ни одной матери с ребенком.

— По ту сторону горы мы пролетали над местом, похожим на площадку для игр при большой школе.

Там было много детей и несколько взрослых, одетых в белое.

— Я заметил их. Но я говорил о младенцах. Сравните то, что мы видим тут, с тем, что можно увидеть в Италии. Такие красивые и привлекательные молодые женщины,— прибавил преподобный отец.— Чрезвычайно привлекательные — и ни признака материнства!

Их авиатор, загорелый блондин с синими глазами, помог им спуститься на землю, и они остановились, поджидая остальных. Мистер Барнстейпл с удивлением отметил про себя, что он необыкновенно быстро свыкся с красками и гармоничностью этого нового мира: теперь странными ему казались уже фигуры и одежда его соотечественников. Мистер Рупер Кэтскилл в своем прославленном сером цилиндре, мистер Маш с нелепым моноклем, характерная тощая стройность мистера Берли и квадратный, облеченный в кожаную куртку торс шофера казались ему гораздо более необычными, чем изящные утопийцы вокруг.

Интерес, с которым авиатор посматривал на них, и его усмешка еще усилили это ощущение. И вдруг его охватила мучительная неуверенность.

— Ведь это реальная реальность? — спросил он отца Эмертона.

— Реальная реальность? Но чем же еще это может быть?

— Нам ведь это не снится?

— Мог ли совпасть ваш сон с моим?

— Да, конечно. Но ведь кое-что в этом невозможно. Просто невозможно.

— Что, например?

— Ну, скажем, то, что эти люди говорят с нами на нашем языке, как будто он их родной.

— Я как-то не подумал об этом. Действительно, странно. Друг с другом они на нем не говорят.

Мистер Барнстейпл уставился на отца Эмертона остановившимися от изумления глазами — его вдруг поразил еще более невероятный факт.

— Они вообще друг с другом не разговаривают,— пробормотал он.— А мы этого до сих пор не замечали!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НА РОМАН ПАДАЕТ ТЕНЬ ЭЙНШТЕЙНА, НО ТУТ ЖЕ ИСЧЕЗАЕТ

1

Если не считать того непонятного факта, что все утопийцы, по-видимому, свободно владели его родным языком, мистер Барнстейпл не мог найти ни одной логической неувязки в своем непрерывно обогащающемся представлении об этом новом мире — несомненно, ни один сон не мог развиваться с такой последовательностью. Все было настолько оправданно, настолько упорядоченно, что мир этот уже переставал производить на него впечатление чего-то необычного; ему начинало казаться, что они просто приехали в чужую, но высокоцивилизованную страну.

Кареглазая женщина в одеянии с алой каймой отвела землян в предназначенные для них необыкновенно удобные жилища вблизи от Места Совещаний. Шестеро юношей и девушек заботливо посвятили их во все тонкости домашнего утопийского обихода. Отдельные домики, в которых их поселили, все имели уютные спальни: кровати с тончайшими простынями и очень легкими пушистыми одеялами стояли в открытых лоджиях — чересчур открытых, заметила леди Стелла, но ведь, как она выразилась, «тут чувствуешь себя так спокойно». Прибыл багаж, и чемоданы разнесли по комнатам, словно в каком-нибудь гостеприимном земном поместье.

Однако прежде, чем леди Стелла смогла открыть свой несессер и освежить цвет лица, ей пришлось выставить из своей спальни двух услужливых юношей.

Через несколько минут в убежище леди Стеллы раздались взрывы смеха и шум шутливой, но отчаянной борьбы, что вызвало некоторое замешательство. Оставшаяся там девушка проявила чисто женское любопытство к ее одежде и туалетным принадлежностям и в конце концов обратила внимание на необыкновенно очаровательную и прозрачную ночную рубашку. По какой-то непонятной причине эта тщательно спрятанная изящная вещица показалась юной утопийке чрезвычайно забавной, и леди Стелле лишь с трудом удалось

воспрепятствовать ее намерению облачиться в нее и выбежать наружу, дабы представить ее на всеобщее обозрение.

— Ну, так сами ее наденьте! — потребовала девушка.

— Как вы не понимаете! — воскликнула леди Стелла.— Она же... она же почти священна! Ее никому нельзя видеть, никому!

— Но почему? — с глубочайшим недоумением спросила утопийка.

Леди Стелла не нашлась, что ответить.

Поданная затем легкая закуска была, по земным представлениям, во всех отношениях превосходной. Тревога мистера Фредди Маша оказалась напрасной: их угостили холодными цыплятами, ветчиной и отличным мясным паштетом. Кроме того, хлеб, правда, из муки довольно грубого помола, но очень вкусный, свежее масло, изумительный салат, сыр, напоминающий грюйерский, и легкое белое вино, которое заставило мистера Берли воскликнуть, что «Мозель не производил ничего лучше!».

— Значит, наша пища похожа на вашу? — спросила женщина в одеянии с алой каймой.

— Чудешно! — отозвался мистер Маш с набитым ртом.

— За последние три тысячи лет пища почти не менялась. Люди научились готовить наиболее лакомые блюда еще задолго до Последнего Века Хаоса.

«Это слишком реально, чтобы быть реальностью!— повторял про себя мистер Барнстейпл.— Слишком реально».

Он взглянул на своих спутников: они оживленно и с интересом посматривали по сторонам и ели с большим удовольствием.

Если бы только не одна эта нелепость—если бы только он не понимал утопийцев с такой легкостью, что ясность знакомых слов отдавалась в его мозгу ударами молота, — мистер Барнстейпл не усомнился бы в реальности происходящего.

За каменным, не покрытым скатертью столом никто не прислуживал: два авиатора и кареглазая женщина ели вместе с гостями, а те сами передавали друг другу требуемые блюда. Шофер мистера Берли хотел было

скромно сесть в сторонке, но знаменитый государственный муж снисходительно подозвал его:

— Садитесь тут, Пенк. Рядом с мистером Машем.

На большую веранду с колоннами, где была подана еда, сходилось все больше утопийцев, дружески, но внимательно рассматривавших землян. Они стояли или сидели, как кто хотел,— не было ни официальных представлений, ни других церемоний.

— Все это чрезвычайно приятно,—сказал мистер Берли.—Чрезвычайно. Должен признать, что эти персики куда лучше четсуортских. Дорогой Руперт, в коричневом кувшинчике перед вами, по-моему, сливки?.. Я так и думал. Если вам, правда, достаточно, Руперт... Благодарю вас.

2

Некоторые из утопийцев сказали землянам свои имена. Все их голоса казались мистеру Барнстейплу одинаковыми, а слова обладали четкостью печатного текста. Кареглазую женщину звали Ликнис. Бородатый утопиец, которому мистер Барнстейпл дал лет сорок, был не то Эрфредом, не то Адамом, не то Эдомом — его имя, несмотря на всю чеканность произношения, оказалось очень трудно разобрать. Словно крупный шрифт вдруг расплылся. Эрфред сообщил, что он этнолог и историк и что он хотел бы как можно больше узнать о мире землян. Мистер Барнстейпл подумал, что непринужденностью манер он напоминает какого-нибудь земного банкира или влиятельного владельца многих газет: в нем не было и следа робости, которая в нашем будничном мире обычно свойственна большинству ученых. И другой из их хозяев, Серпентин, к большому удивлению мистера Барнстейпла—ибо он держался почти властно,— также оказался ученым. Мистер Барнстейпл не разобрал, чем он занимается. Он сказал что-то вроде «атомной механики», но это почему-то прозвучало почти как «молекулярная химия». И тут же мистер Барнстейпл услышал, что мистер Берли спрашивает у мистера Маша:

— Он ведь сказал «физико-химия»?

— По-моему, он просто назвал себя материалистом,— отозвался мистер Маш.

— А по-моему, он объяснил, что занимается взвешиванием,— заметила леди Стелла.

— Их манера говорить обладает заметными странностями,— сказал мистер Берли.— То они произносят слова до неприятности громко, а то словно проглатывают звуки.

После еды все общество отправилось к другому небольшому зданию, по-видимому, предназначенному для занятий и бесед. Его завершало нечто вроде апсиды, окаймленной белыми плитами, которые, очевидно, служили досками для лекторов — на мраморном выступе под ними лежали черные и цветные карандаши и тряпки. Человек, читающий лекцию, мог по мере надобности переходить от одной плиты к другой. Ликнис, Эрфред, Серпентин и земляне расположились на полукруглой скамье, чуть ниже лекторской площадки. Напротив них находились сиденья, на которых могло разместиться до ста человек. Все места были заняты, и позади у кустов, напоминающих рододендроны, живописными группами расположилось еще несколько десятков утопийцев. В просветах между кустами виднелись зеленые лужайки, спускающиеся к сверкающей воде озера.

Утопийцы собирались обсудить это внезапное вторжение в свой мир. Что могло быть разумнее такого обсуждения? Что могло быть более фантастичным и невероятным?

— Странно, что не видно ласточек,— неожиданно прошептал на ухо мистеру Барнстейплу мистер Маш. — Не понимаю, почему тут нет ласточек.

Мистер Барнстейпл взглянул на пустынное небо.

— Вероятно, тут нет мух и комаров... — предположил он.

Странно, как он сам прежде не заметил отсутствия ласточек.

— Шшш! — сказала леди Стелла.— Он начинает.

3

И это невероятное совещание началось. Первым выступил тот, кого звали Серпентином: он встал и, казалось, обратился к присутствующим с речью. Его губы шевелились, он жестикулировал, выражение его лица ме-

нялось. И все же мистер Барнстейпл почему-то смутно подозревал, что Серпентин на самом деле не произносит ни слова. Во всем этом было что-то необъяснимое. Иногда сказанное отдавалось в его мозгу звонким эхом, иногда оно было нечетким и неуловимым, как очертания предмета под волнующейся водой, а иногда, хотя Серпентин по-прежнему жестикулировал красивыми руками и смотрел на своих слушателей, вдруг наступало полное безмолвие, словно мистер Барнстейпл на мгновение делался глухим... И все же это была связная речь. Она была логична и захватила мистера Барнстейпла.

Серпентин говорил так, словно прилагал большие усилия, чтобы возможно проще изложить трудную проблему. Он словно сообщал аксиомы, делая после каждой паузу.

— Давно известно, — начал он, — что возможное число пространственных измерений, как и число всего, что поддается счету, совершенно безгранично.

Это положение мистер Барнстейпл, во всяком случае, понял, хотя мистеру Машу оно оказалось не по зубам.

— О господи! — вздохнул он. — Измерения! — И, уронив монокль, погрузился в унылую рассеянность.

— Практически говоря,— продолжал Серпентин,— каждая данная вселенная, каждая данная система явлений, в которой мы находимся и часть которой мы составляем, может рассматриваться как существующая в трехмерном пространстве и подвергающаяся изменениям, каковые изменения являются в действительности протяженностью в четвертом измерении — *времени*. Такая система явлений по необходимости является гравитационной системой.

— Э? — внезапно перебил его мистер Берли.— Извините, но я не вижу, из чего это следует.

Значит, он, во всяком случае, тоже пока еще понимает Серпентина.

— Всякая вселенная, существующая во времени, по необходимости должна находиться в состоянии гравитации,— повторил Серпентин, словно это само собой разумелось.

— Хоть убейте, я этого не вижу,— после некоторого размышления заявил мистер Берли.

Серпентин секунду задумчиво смотрел на него.

— Однако это так,— сказал он и продолжал свою речь.

— Наше сознание,— говорил он,— развивалось на основе этого практического восприятия явлений, принимало его за истинное; и в результате только путем напряженного и последовательного анализа мы сумели постигнуть, что та вселенная, в которой мы живем, не только имеет протяженность, но и, так сказать, несколько искривлена и вложена в другие пространственные измерения, о чем прежде и не подозревали. Она выходит за пределы своих трех главных пространственных измерений в эти другие измерения точно так же, как лист тонкой бумаги, практически имеющий лишь два измерения, обретает третье измерение не только за счет своей толщины, но и за счет вмятин и изгибов.

— Неужели я глохну? — театральным шепотом спросила леди Стелла.— Я не в состоянии разобрать ни единого слова.

— И я тоже,— заметил отец Эмертон.

Мистер Берли сделал успокаивающий жест в сторону этих несчастливцев, не отводя взгляда от лица Серпентина. Мистер Барнстейпл нахмурил брови и сжал руками колени в отчаянном усилии сосредоточиться.

Он должен услышать! Да, он слышит!

Далее Серпентин объяснил, что, как в трехмерном пространстве бок о бок может лежать любое число практически двухмерных миров, подобно листам бумаги, точно так же многомерное пространство, которое плохо приспособленный к таким представлениям человеческий разум еще только начинает с большим трудом постигать, может включать в себя любое число практически трехмерных миров, лежащих, так сказать, бок о бок и приблизительно параллельно развивающихся во времени. Теоретические работы Лоунстона и Цефала уже давно создали основу для твердой уверенности в реальном существовании бесчисленного множества таких пространственно-временных миров, параллельных друг другу и подобных друг другу, хотя и не вполне, как подобны страницы одной и той же книги. Все они должны обладать протяженностью во времени, все они должны представлять собой гравитирующие системы...

(Мистер Берли покачал головой в знак того, что он по-прежнему не видит, из чего это следует.)

...причем наиболее близко соседствующие должны обладать наиболее близким сходством. А насколько близким, они теперь получили возможность узнать совершенно точно. Ибо смелые попытки двух величайших гениев, Ардена и Гринлейк, использовать (неразборчиво) атомный удар, чтобы повернуть участок утопийской материальной вселенной в другое измерение, в измерение F, в которое, как давно уже было известно, он внедряется примерно на длину человеческой руки,— повернуть, как поворачиваются на петлях створки ворот,— эти попытки увенчались полным успехом. Створки захлопнулись, принеся с собой волну душного воздуха, пылевую бурю и — к величайшему удивлению утопийцев! — три экипажа с гостями из неведомого мира.

— Три? — с сомнением прошептал мистер Барнстейпл.— Он сказал, три?

(Серпентин не обратил на него внимания.)

— Наш брат и сестра были убиты непредвиденным высвобождением энергии, но их эксперимент раз и навсегда открыл путь из нынешних ограниченных пространственных пределов Утопии в бесчисленные вселенные, о существовании которых мы прежде и не подозревали. Совсем рядом с нами, как много веков тому назад угадал Лоунстон, ближе к нам, как он выразился, чем кровь наших сердец...

(— «Ближе к нам, чем дыхание, дороже рук и ног»,— несколько вольно процитировал отец Эмертон, внезапно очнувшись.— Но о чем он говорит? Я почти ничего не могу расслышать.)

...мы открыли новую планету, примерно такого же размера, как наша, если судить по сложению ее обитателей, вращающуюся, как мы можем с уверенностью предположить, вокруг такого же Солнца, как то, которое озаряет наши небеса,— планету, породившую жизнь и медленно покоряющуюся разуму, который, по-видимому, эволюционировал в условиях, практически параллельных условиям нашей собственной эволюции. Эта наша сестра-вселенная, насколько мы можем судить по внешним данным, несколько отстала во времени от нашей. Одежда наших гостей и их внешность напоминают одежду и

внешность наших предков в Последний Век Хаоса... У нас еще нет оснований утверждать, что их история развивалась строго параллельно нашей. В мире не найдется двух абсолютно подобных материальных частиц, двух абсолютно подобных волн. Во всех измерениях бытия, во всех божьих вселенных не было и не может быть точного повторения. Это, как мы неопровержимо установили,— единственная невозможная вещь. Тем не менее этот мир, который вы именуете Землей, явно близок нашей вселенной и очень ее напоминает... Мы очень хотим многое узнать от вас, землян, хотим проверить нашу собственную, еще далеко не познанную историю через вашу, хотим ознакомить вас с нашими знаниями, установить, какое общение и помощь возможны и желательны между обитателями вашей планеты и нашей. Мы тут постигли лишь самые начатки знания, мы пока сумели узнать лишь всю необъятность того, что нам еще только предстоит открыть и научиться делать. Есть миллионы сходных проблем, в разрешении которых два наших мира, наверное, могут оказать друг другу взаимную помощь, поделившись своими знаниями... Возможно, на вашей планете существуют линии наследственности, которые не стали развиваться или же захирели на нашей. Возможно, в одном мире есть элементы или минералы, в которых нуждается другой... Структура ваших атомов (?)... наши миры могут скреститься (?)... для взаимного жизненного толчка...

Речь его стала беззвучной именно тогда, когда мистер Барнстейпл был особенно глубоко взволнован и с нетерпением ждал его дальнейших слов. Однако глухой не усомнился бы, что Серпентин продолжает говорить. Глаза мистера Барнстейпла встретились с глазами мистера Руперта Кэтскилла — в них было то же тревожное недоумение. Отец Эмертон сидел, закрыв лицо руками. Леди Стелла и мистер Маш о чем-то шепотом переговаривались — они уже давно перестали притворяться, что слушают.

— Такова, — сказал Серпентин, вдруг снова становясь слышным, — наша первая примерная оценка вашего появления в нашем мире и возможностей нашего взаимного общения. Я изложил вам наши предположения, как мог проще и яснее. Теперь я хотел бы предло-

жить, чтобы кто-нибудь из вас сказал нам просто и ясно, что вы считаете истиной о вашем мире и об его отношении к нашему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

УПРАВЛЕНИЕ УТОПИИ И ЕЕ ИСТОРИЯ

1

Наступило молчание. Земляне переглядывались и один за другим поворачивались к мистеру Сесилю Берли. Государственный муж сделал вид, будто он не понимает, чего от него ждут.

— Руперт,— сказал он.— Может быть, вы?

— Я выскажу свое мнение потом,— ответил мистер Кэтскилл.

— Отец Эмертон, вы привыкли рассуждать об иных мирах.

— Однако не в вашем присутствии, мистер Сесиль. Нет, не в вашем.

— Но что́ я им скажу?

— То, что вы обо всем этом думаете, — посоветовал мистер Барнстейпл.

— Вот именно,— подхватил мистер Кэтскилл.— Скажите им, что вы обо всем этом думаете.

Других подходящих кандидатов, очевидно, не было, и мистер Берли, медленно поднявшись, задумчиво направился к середине полукружья. Взявшись за лацканы своего сюртука, он несколько мгновений стоял, опустив голову и словно собираясь с мыслями.

— Мистер Серпентин,—начал он наконец, повернув к слушателям дышащее искренностью лицо и устремив взгляд сквозь пенсне на небо над дальним берегом озера.— Мистер Серпентин, уважаемые дамы и господа...

Он собирался произнести речь! Словно он находился на званом чаепитии, устроенном «Лигой подснежника», или в Женеве. Это было нелепо, но что еще оставалось делать?

— Должен признаться, сэр, что, хотя это отнюдь не первое мое появление на ораторской трибуне, сейчас я

несколько растерян. Ваше замечательное выступление, сэр, простое, деловитое, ясное, сжатое и временами истинно красноречивое, подало мне пример, которому я от души хотел бы последовать — но это, к сожалению, не в моих скромных силах. Вы просите меня со всей возможной ясностью изложить вам факты, известные нам об этом родственном вам мире, откуда мы столь неожиданно попали к вам. Насколько я вообще способен понимать или обсуждать столь сложные материи, я полагаю, что не могу не только расширить ваше замечательное изложение математического аспекта проблемы, но хотя бы что-либо к нему добавить. То, что вы говорили, воплощает самые последние, самые смелые идеи земной науки и намного их превосходит. По некоторым частностям, например, по взаимоотношению времени и гравитации, признаюсь, я не могу согласиться с вами, но не потому, что у меня есть какие-либо позитивные возражения, а просто потому, что мне трудно понять ваши предпосылки. Относительно общего взгляда на сущность вопроса между нами, видимо, нет никаких противоречий. Мы принимаем ваше основное положение безоговорочно; а именно, мы признаем, что обитаем в параллельной вселенной, на планете, являющейся подлинной сестрой вашей планеты и удивительно похожей на вашу, даже принимая во внимание все те возможные отличия, которые мы тут наблюдали. Мы находим разумным и склонны принять ваше предположение, что наша система, по всей вероятности, несколько менее приблизилась к зрелости, несколько менее смягчена рукой времени, нежели ваша, и отстает от нее на столетия, если не на тысячелетия. Ввиду всего этого наше отношение к вам, сэр, неизбежно должно быть окрашено некоторым смирением. Как младшим, нам более к лицу учиться, нежели поучать. Это нам надлежит спрашивать: «Что вы сделали? Чего достигли?» — вместо того, чтобы с простодушной гордостью продемонстрировать вам все, чего мы еще не знаем, все, чего мы еще не сделали...

«Нет! — сказал себе мистер Барнстейпл.— Это сон... Будь это что-нибудь другое...»

Он протер глаза, а потом вновь открыл их, но он по-прежнему сидел рядом с мистером Машем, окружен-

ный нагими олимпийцами. А мистер Берли, этот утонченнейший из скептиков, который никогда ничему не верил, который никогда ничему не удивлялся, стоял на носках, слегка наклонившись вперед, и говорил, говорил с уверенностью человека, произнесшего на своем веку десять тысяч речей. Он так же не сомневался в себе и в реакции своих слушателей, словно выступал в лондонской ратуше. И они действительно понимали его! А это была уже полная нелепость!

Оставалось только одно: смириться с этой беспредельной бессмыслицей, сидеть и слушать. Иногда мысли мистера Барнстейпла уводили его далеко от речи мистера Берли. Потом, очнувшись, он делал отчаянные попытки следить за его словами. С обычной медлительной парламентской манерой, то протирая пенсне, то берясь за лацканы сюртука, мистер Берли давал утопийцам общее представление о мире людей: стараясь говорить просто, ясно и логично, он рассказывал им о государствах и империях, о войнах и о Мировой войне, об организованной экономике и о хаосе, о революциях и о большевизме, о начинающемся в России страшном голоде, о коррупции государственных деятелей и чиновников, среди которых так редко можно найти честных людей, и о бесполезности газет—обо всех мрачных и смутных сторонах человеческой жизни. Серпентин употребил выражение «Последний Век Хаоса», и мистер Берли ухватился за него и всячески его обыгрывал...

Это была великолепная ораторская импровизация. Длилась она примерно час, и утопийцы слушали ее с напряженным вниманием и интересом, иногда кивали в знак согласия и понимания.

«Очень похоже, — отдавалось в мозгу мистера Барнстейпла.— Так же было и у нас — в Век Хаоса».

Наконец мистер Берли с рассчитанной неторопливостью искушенного парламентария завершил свою речь несколькими любезными фразами.

Он поклонился. Он кончил. Мистер Маш заставил всех вздрогнуть, энергично захлопав в ладоши, но никто к нему не присоединился.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что не может больше выносить смятения своих мыслей. Он вскочил.

2

Он стоял, растерянно и умоляюще жестикулируя, как это обычно бывает с неопытными ораторами.

— Уважаемые дамы и господа! — сказал он.— Утопийцы, мистер Берли! Прошу у вас минуту внимания. Одна мелочь. Ею нужно заняться немедленно.

На несколько секунд он утратил дар речи.

Внимательный взгляд Эрфреда ободрил его.

— Я кое-чего не понимаю. Это невероятно... Я хочу сказать, непостижимо. Маленькое несоответствие, но оно превращает все в бессмысленную фантасмагорию.

Интерес в глазах Эрфреда ободрял и поддерживал его. Мистер Барнстейпл отказался от попытки обращаться ко всему обществу и заговорил непосредственно с Эрфредом:

— Вы в Утопии живете на сотню тысяч лет впереди нас. Так каким же образом вам известен наш язык со всеми его современными особенностями? Каким образом вы говорите на нем с такой же легкостью, как и мы сами? Я спрашиваю вас, как это так? Это немыслимо. Это нелогично. Это превращает вас в сновидение. Но ведь вы все-таки не сон? От этого я чувствую себя... сумасшедшим.

Эрфред ласково улыбнулся ему.

— Мы не говорим на вашем языке,— сказал он.

Мистер Барнстейпл почувствовал, что земля разверзается под его ногами.

— Но ведь я слышу это своими ушами,— запротестовал он.

— И все-таки это не так,— сказал Эрфред. Улыбнувшись еще шире, он добавил: — Мы в обычных обстоятельствах вообще не говорим.

Мистер Барнстейпл, чувствуя, что голова у него идет кругом, сохранил позу почтительного внимания.

— Много веков назад,— продолжал Эрфред,— мы, разумеется, пользовались для общения различными языками. Мы издавали звуки и слышали их. Люди сначала думали, а потом подбирали необходимые слова и произносили их в соответствующем порядке. Слушающий слышал, воспринимал и вновь переводил звуки в мысли. Затем — каким образом, мы до сих пор полностью не

понимаем,— люди начали воспринимать идею прежде, чем она облекалась в слова и выражалась звуками. Они начали слышать мозгом, как только говоривший организовывал свои мысли,— прежде, чем он подбирал для них словесные символы даже в уме. Они знали, что он хочет сказать, прежде чем он успевал это сказать. Этот прямой обмен мыслями вскоре широко распространился; оказалось, что ценой небольшого усилия почти всякий человек способен до некоторой степени проникать в мозг другого, и началось систематическое развитие этого нового способа общения. И в нашем мире он стал теперь наиболее обычным. *Мы непосредственно мыслим* друг другу. Мы решаем сообщить мысль, и она тут же сообщается — при условии, что расстояние не слишком велико. Мы в нашем мире пользуемся теперь звуками только в поэзии, для удовольствия, в минуты эмоционального возбуждения или чтобы крикнуть на далекое расстояние, или же в общении с животными, но не для передачи идей родственным умам. Когда я думаю вам, эта мысль, *в той же мере, в какой она находит соответствующие понятия и подходящие слова в вашем мозгу*, отражается там. Моя мысль облекается в слова в вашем мозгу, а вам кажется, что вы эти слова слышите,— и естественно, что мыслите вы на своем языке с помощью наиболее привычной вам фразеологии. Весьма возможно, что эту мою речь, обращенную к вам, ваши товарищи слышат с некоторыми различиями за счет их индивидуальных речевых привычек и словаря.

На протяжении этого объяснения мистер Барнстейпл не раз энергично кивал в знак понимания, и порой казалось, что он вот-вот перебьет Эрфреда. Теперь он воскликнул:

— Так вот почему иногда — как, например, во время замечательной речи мистера Серпентина,— когда вы воспаряете к идеям, которые недоступны для нашего мозга, мы просто ничего не слышим!

— А разве такие паузы были? — спросил Эрфред.

— Боюсь, что неоднократно... и у всех нас,— ответил мистер Берли.

— Словно вдруг наступает полоса глухоты,— пояснила леди Стелла.— Большая полоса.

Отец Эмертон кивнул в знак согласия.

— И поэтому-то мы не могли разобрать, зовут ли вас Эрфред или Адам, а имя Арден казалось мне похожим на Лес.

— Надеюсь, ваше мучительное недоумение теперь исчезло? — сказал Эрфред.

— О, совершенно! — ответил мистер Барнстейпл.— Совершенно! И, принимая во внимание все обстоятельства, мы можем только радоваться, что у вас существует такой способ общения. Иначе нам пришлось бы потратить несколько томительных недель на изучение основных принципов вашей грамматики, логики, семантики и всего прочего,— по большей части вещей очень скучных,— прежде чем нам удалось бы достигнуть нашей нынешней степени взаимопонимания.

— Очень удачно схвачено,— сказал мистер Берли, поворачиваясь к мистеру Барнстейплу самым дружеским образом.— Очень, очень удачно. Я сам никогда бы этого не заметил, если бы вы не обратили на это мое внимание. Как странно! Я совсем не заметил этой... этой разницы. Впрочем, признаюсь, я был совершенно поглощен своими мыслями. Мне казалось, что они говорят на нашем языке. И я счел это само собой разумеющимся.

3

Теперь это удивительное происшествие обрело для мистера Барнстейпла такую логическую законченность, что удивляться оставалось лишь полнейшей его реальности. Он сидел в открытой апсиде прелестного здания, любовался волшебными цветниками и сверкающим озером, видел вокруг странное смешение английских загородных костюмов и более чем олимпийской наготы, которую уже переставал замечать, и слушал завязавшуюся теперь оживленную беседу, иногда сам вставляя какое-нибудь замечание или отвечая на вопрос. В течение этой беседы раскрылись разительные различия в этических и социальных воззрениях двух миров. Но, уверовав в абсолютную реальность окружающего, мистер Барнстейпл ловил себя на мысли, что скоро он отправится домой описывать случившееся в статье для «Либерала» и рассказывать жене—с некоторыми разумными опущениями — про обычаи и костюмы этого до сих пор неведомого мира. Он даже не чувствовал, что находится

где-то далеко. Сайденхем был как будто совсем рядом, за углом.

Вскоре две хорошенькие девушки приготовили чай на передвижном столике среди рододендронов и подали его присутствующим. Чай! Своим тонким ароматом он напоминал наши китайские сорта, и подавали его в чашечках без ручек на китайский манер, но это был самый настоящий чай, и очень освежающий.

Прежде всего земляне осведомились о том, как управляется Утопия. Это было вполне естественно: ведь среди них находились два таких политических светила, как мистер Берли и мистер Кэтскилл.

— Какая у вас форма правления? — осведомился мистер Берли.— Самодержавие, конституционная монархия или же чистая демократия? Разделены ли у вас исполнительная и законодательная власть? И управляет ли вашей планетой одно центральное правительство, или их существует несколько?

Утопийцам после некоторых затруднений удалось объяснить мистеру Берли и остальным землянам, что в Утопии вообще не существует центрального правительства.

— Но все-таки,—сказал мистер Берли,—у вас же должно быть какое-то лицо или учреждение — совет, бюро или еще что-нибудь в том же роде — для принятия окончательного решения, когда дело касается коллективных действий, направленных на благо всего общества. Какой-то верховный пост или суверенный орган, мне кажется, необходим...

Нет, заявили утопийцы, в их мире подобного сосредоточения власти не существует. В прошлом это имело место, но постепенно власть вернулась к обществу во всей его совокупности. Решения в каждом конкретном случае принимаются теми, кто лучше остальных осведомлен в данном вопросе.

— Но предположим, это решение должно быть обязательно для всех? Правило, касающееся общественного здравоохранения, например? Кто будет осуществлять его принудительное выполнение?

— Но ведь никого не придется принуждать. Зачем?

— А предположим, кто-нибудь откажется выполнять это правило?

— Будет выяснено, почему он или она его не выполняет. Ведь могут быть особые причины.

— А если их нет?

— Тогда мы проверим, насколько этот человек душевно и нравственно здоров.

— Психиатры в роли полицейских,— заметил мистер Берли.

— Я предпочту полицейских,— сказал мистер Руперт Кэтскилл.

— Вы, Руперт? О, несомненно,— заявил мистер Берли, словно желая сказать: «Что, съел?»

— Следовательно,— с сосредоточенным видом продолжал он, обращаясь к утопийцам,— жизнью вашего общества управляют специальные учреждения или организации (право, затрудняешься, как их назвать) без какой-либо централизованной координации их деятельности?

— Вся деятельность в нашем мире координируется идеей обеспечения общей свободы,— ответил Эрфред.— Определенное число ученых занимается общей психологией всего нашего человечества и взаимодействием различных коллективных функций.

— Так разве эта группа ученых не является правящим классом? — спросил мистер Берли.

— Нет — в том смысле, что у них нет власти произвольно навязывать свои решения,— ответил Эрфред.— Они занимаются проблемой коллективных взаимоотношений, только и всего. Но это не дает им никаких особых прав и ставит их выше всех остальных не более, чем стоит философ выше узкого специалиста.

— Вот это поистине республика! — воскликнул мистер Берли.— Но как она функционирует и как она сложилась, просто не могу себе представить. Ваше государство, вероятно, в высокой степени социализировано?

— А вы до сих пор живете в мире, в котором почти все, кроме воздуха, больших дорог, открытого моря и пустынь, принадлежит частным владельцам?

— Да,— ответил мистер Кэтскилл.— Принадлежит и составляет объект конкуренции.

— Мы тоже прошли через эту стадию. Но в конце концов мы обнаружили, что частная собственность на все, кроме предметов сугубо личного обихода, является не-

допустимой помехой на пути развития человечества. И мы покончили с ней. Художник или ученый имеет в своем распоряжении весь необходимый ему материал, у каждого из нас есть свои инструменты и приборы, свое жилище и личный досуг, но собственности, которой можно было бы торговать или спекулировать, не существует. Такая вот воинствующая собственность, собственность, дающая возможность для всяческих маневров, уничтожена полностью. Однако как мы от нее избавились — это долгая история. На это потребовалось много лет. Преувеличенная роль частной собственности была естественной и необходимой на определенном этапе развития человеческой натуры. В конце концов это привело к чудовищным и катастрофическим результатам, однако только благодаря им люди постигли, какую опасность представляет собой частная собственность и чем это объясняется.

Мистер Берли принял позу, которая была для него явно привычной. Он откинулся в своем кресле, вытянув и скрестив длинные ноги и прижав большой и указательный пальцы одной руки к большому и указательному пальцам другой.

— Должен признаться,— сказал он,— что меня очень интересует эта своеобразная форма анархии, которая, судя по всему, здесь господствует. Если я хоть в какой-то мере правильно вас понял, каждый человек у вас занимается своим делом, как слуга государства. Насколько я понимаю — пожалуйста, поправьте меня, если я заблуждаюсь,— у вас значительное число людей занято производством, распределением и приготовлением пищи; они, если не ошибаюсь, определяют потребности всего населения и удовлетворяют их, но в том, как они это делают,— они сами для себя закон. Они ведут научные изыскания, ставят опыты. Никто их не принуждает, не обязывает, не ограничивает, никто не препятствует им. («Люди высказывают им свое мнение о результатах их деятельности»,— с легкой улыбкой сказал Эрфред.) Другие, в свою очередь, добывают, обрабатывают и изучают металлы для всего человечества, и опять-таки в этой области они сами для себя закон. Третьи, в свою очередь, занимаются проблемой жилья для всей вашей планеты, создают планы этих восхитительных зданий,

организуют их строительство, указывают, кто будет ими пользоваться и для каких целей они предназначены. Четвертые занимаются чистой наукой. Пятые экспериментируют с чувственными восприятиями и силой воображения — это художники. Шестые учат.

— Их работа очень важна,— вставила Ликнис.

— И все они занимаются своим делом в гармонии друг с другом, соблюдая надлежащие пропорции. Причем обходятся без центральной административной или законодательной власти. Признаюсь, все это кажется мне восхитительным — и невозможным. В мире, из которого мы попали к вам, никто никогда не предлагал ничего подобного.

— Нечто подобное уже давно было предложено «гильдейскими социалистами»,— сказал мистер Барнстейпл.

— Неужели? — заметил мистер Берли.— Я почти ничего не знаю о «гильдейских социалистах». Что это было за учение? Расскажите мне.

Мистер Барнстейпл уклонился от такой сложной задачи.

— Наша молодежь прекрасно знакома с этой идеей,— сказал он только.— Ласки называет такое государство плюральным в отличие от монистичного государства, в котором власть концентрирована. Это течение существует даже у китайцев. Пекинский профессор господин Чан написал брошюру о том, что он называет «профессионализмом». Я прочитал ее недели две-три назад. Он прислал ее в редакцию «Либерала». В ней он указывает, насколько нежелательно и не нужно Китаю проходить стадию демократии западного образца. По его мнению, в Китае должно непосредственно возникнуть сотрудничество независимых функциональных классов — мандаринов, промышленников, крестьян и так далее, то есть примерно то же, что мы находим тут. Хотя это, разумеется, требует революции в области образования и воспитания. Нет, зачатки того, что вы назвали здешней анархией, несомненно, носятся в воздухе и у нас.

— Неужели? — сказал мистер Берли с еще более сосредоточенным и внимательным выражением.— Вот как! А я не имел ни малейшего понятия.

4

Беседа и дальше велась так же беспорядочно, однако обмен мыслями шел быстро и успешно. За самое короткое время, как показалось мистеру Барнстейплу, у него сложилось достаточно полное представление об истории Утопии от Последнего Века Хаоса по настоящий день.

Чем больше он узнавал об этом Последнем Веке Хаоса, тем больше сходства находил в нем с современной жизнью на Земле. В те дни утопийцы носили множество одежд и жили в городах совсем по-земному. Счастливое стечение обстоятельств, в котором сознательной деятельности принадлежала крайне малая роль, обеспечило им несколько столетий широких возможностей и быстрого развития. После долгого периода непрерывной нужды, эпидемий и губительных войн судьба улыбнулась населению их планеты: наступили благодетельные климатические и политические изменения. Впервые перед утопийцами открылась возможность изучить всю свою планету, и в результате этих исследований топор, лопата и плуг проникли в самые глухие ее дебри. Это принесло с собой резкое увеличение материальных богатств и досуга и открыло новые пути его использования. Десятки тысяч людей были вырваны из прежнего жалкого существования и при желании могли думать и действовать со свободой, о которой прежде нельзя было и мечтать. И некоторые воспользовались этой возможностью. Число их было невелико, но и его оказалось достаточно. Началось бурное развитие наук, повлекшее за собой множество важнейших изобретений, и все это чрезвычайно расширило власть человека над природой.

В Утопии и прежде бывали периоды подъема наук, но ни один из них не происходил при столь благоприятных обстоятельствах и не длился достаточно времени, чтобы принести такие обильные плоды. И вот за два века утопийцы, которые до тех пор ползали по своей планете, как неуклюжие муравьи, или паразитически ездили на более сильных и быстрых животных, научились стремительно летать и разговаривать с любым уголком своей планеты. Кроме того, они стали господами неслыханной доселе механической мощи, и не только механической: вслед за физикой и химией внесли свою лепту физиология и психология, и утопийцы оказались

на пороге нового дня, обещавшего им колоссальные возможности контроля над человеческим телом и жизнью общества. Однако эти перемены, когда они наконец наступили, произошли так быстро и беспорядочно, что лишь незначительное меньшинство утопийцев отдавало себе отчет, какие перспективы открывает это колоссальное накопление знаний, выражавшееся пока только в чисто практическом применении. Остальные же принимали новые изобретения, как нечто само собой разумеющееся, и даже и не думали о необходимости приспосабливать свое мышление и привычки к новым требованиям, заложенным в этих нововведениях.

Первой реакцией основной массы населения Утопии на обретенные могущество, досуг и свободу было усиленное размножение. Человечество размножалось так же усердно и бездумно, как животные или растения в подобных же благоприятных обстоятельствах. Оно размножалось до тех пор, пока все новые ресурсы не были полностью истощены. В бессмысленном и хаотическом воспроизведении обычной убогой жизни оно транжирило великие дары науки с такой же быстротой, с какой их получало. В Последнем Веке Хаоса наступил момент, когда население Утопии превысило два миллиарда человек...

— А каково оно сейчас? — спросил мистер Берли.

Примерно двести пятьдесят миллионов, ответили утопийцы. Таково было максимальное число, которому площадь Утопии предоставляла до сих пор возможность для полной и гармоничной жизни. Но теперь, с увеличением материальных ресурсов, увеличивается и население.

У отца Эмертона вырвался стон ужаса. Его зловещее предчувствие оправдалось. Это было посягательство на основу основ его нравственных убеждений.

— И вы осмеливаетесь регулировать прирост населения?! Вы его контролируете?! Ваши женщины соглашаются рожать или не рожать в зависимости от статистики?!

— Разумеется,— ответил Эрфред. — А чем это плохо?

— Так я и знал! — воскликнул отец Эмертон. Он склонил голову и закрыл лицо руками, бормоча: — Это

носилось в воздухе. Человечий племенной завод! Отказываются творить души живые! Что может быть гнуснее и греховнее! О господи!

Мистер Берли наблюдал сквозь свое пенсне за переживаниями преподобного отца с легкой брезгливостью. Он терпеть не мог банальностей. Однако отец Эмертон представлял очень влиятельные консервативные слои общества. Мистер Берли вновь повернулся к утопийцу.

— Это очень интересно,— сказал он.—Даже в настоящее время население, которое кормит наша Земля, в пять раз, если не больше, превышает эту цифру.

— Однако зимой этого года, как вы нам только что говорили, около двадцати миллионов человек должны умереть от голода в месте, которое называется «Россия». И ведь лишь незначительная часть остальных ведет жизнь, которую даже по вашим меркам можно назвать полной и ничем не стесненной?

— Тем не менее соотношение этих цифр поразительно,— сказал мистер Берли.

— Это ужасно,— бормотал отец Эмертон.

Однако утопийцы продолжали утверждать, что перенаселенность планеты в Последнем Веке Хаоса была главным злом, порождавшим все остальные несчастья тогдашнего человечества. Мир захлебывался во все растущем потоке новорожденных, и интеллигентное меньшинство было бессильно воспитать хотя бы часть молодого поколения так, чтобы оно могло во всеоружии встретить требования новых и по-прежнему быстро меняющихся условий жизни. К тому же положение этого интеллигентного меньшинства не давало ему никакой возможности заметно влиять на судьбы человечества. Огромные массы населения, неизвестно зачем появившиеся на свет, покорные рабы устаревших, утративших смысл традиций, податливые на грубейшую ложь и лесть, представляли собой естественную добычу и опору любого ловкого демагога, проповедующего доктрину успеха, достаточно низкопробную, чтобы прийтись им по вкусу. Экономическая система, неуклюже и судорожно приспосабливавшаяся к новым условиям производства и распределения, становилась средством, с помощью которого алчная кучка хищников все более жестоко и бесстыдно эксплуатировала гигантские скопления простого

люда. А этот слишком уж простой «простой люд» от колыбели до могилы знал только нищету и порабощение; его улещивало и обманывало, его покупало, продавало и подчиняло себе наглое меньшинство, которое было смелее и, несомненно, предприимчивее его, но в интеллектуальном отношении нисколько его не превосходило. Современный утопиец, сказал Эрфред, не в силах передать всю меру чудовищной глупости, расточительности и душевного ничтожества, которые были свойственны этим богатым и могущественным властителям Последнего Века Хаоса.

(— Мы не станем вас затруднять,— сказал мистер Берли.— К несчастью, нам это известно... слишком хорошо известно!)

И вот на это чудовищно раздувшееся разлагающееся население в конце концов обрушились всяческие беды — так слетаются осы на груды гниющих фруктов. Это была его естественная, неизбежная судьба. Война, охватившая почти всю планету, нанесла непоправимый удар ее хрупкой финансовой системе и экономике. Гражданские войны и неуклюжие попытки социальных революций еще больше способствовали всеобщему развалу. Несколько последовавших друг за другом неурожайных лет сделали обычную всемирную угрозу голода еще более грозной. А недальновидные эксплуататоры, по глупости своей не понимавшие происходящего, продолжали обманывать и надувать массы и втихомолку расправлялись с честными людьми, пытавшимися сплотиться против них,— так осы продолжают есть, даже если их туловище отсечено. Стремление творить исчезло из жизни Утопии, триумфально вытесненное стремлением получать. Производство постепенно сошло на нет. Накопленные богатства истощились. Жесточайшая долговая система, рои кредиторов, неспособных поступиться своей выгодой во имя общего блага, сделали какую-либо новую инициативу невозможной.

Длительная диастола, которая наступила в жизни Утопии с эпохой великих открытий, перешла в фазу быстрой систолы. Чем меньше оставалось в мире изобилия и радостей, тем более жадно их захватывали напористые финансисты и спекулянты. Организованная наука давно уже была поставлена на службу коммерции и «при-

кладывалась» теперь в основном лишь для поисков выгодных патентов и перехвата необходимого сырья. Оставленный в пренебрежении светильник чистой науки тускнел, мигал и грозил совсем погаснуть, оставив Утопию перед началом новой вереницы Темных веков, подобных тем, которые предшествовали эпохе открытий...

— Право, это очень похоже на мрачные прогнозы нашего собственного будущего,— заметил мистер Берли.— Удивительно похоже! Какое удовольствие доставило бы все это настоятелю Ингу!

— Еретику его толка, конечно, это очень понравилось бы,— невнятно пробормотал отец Эмертон.

Их реплики раздосадовали мистера Барнстейпла, которому не терпелось услышать, что было дальше.

— А потом,— спросил он Эрфреда,— что было потом?

5

А потом, насколько мог понять мистер Барнстейпл, произошел сознательно подготовленный переворот в мировоззрении утопийцев. Все большее число людей начинало понимать, что с тех пор, как наука и высокая организация дали в руки человеку могучие и легко высвобождаемые силы, старая концепция социальной жизни государства, как узаконенной внутри определенных рамок борьбы людей, стремящихся взять верх друг над другом, стала слишком опасной, а возросшая мощь современного оружия сделала слишком опасной суверенность отдельных стран. Должны были появиться новые идеи и новые формы общества, иначе его история завершилась бы полной и непоправимой катастрофой.

До тех пор основой всякого общественного строя было обуздание с помощью законов, моральных запретов и договоров той первобытной воинственности, которую человек унаследовал от своего обезьяноподобного предка; этот древний дух самоутверждения теперь нужно было подчинить новым ограничениям, которые отвечали бы новому опасному могуществу, обретенному человечеством. Идея соперничества за право обладания как основной принцип общения людей между собой теперь, словно плохо отрегулированный котел, грозила

разнести вдребезги ту машину, которую прежде снабжала энергией для движения вперед. Ее должна была заменить идея творческого служения. Социальная жизнь могла сохраниться только в том случае, если человеческий разум и воля воспримут эту идею. Мало-помалу выяснялось, что положения, которые в предшествующие века считались неосуществимыми идеалами, порожденными воображением вдохновенных мечтателей, представляют собой даже не просто трезвую психологическую истину, но истину, требующую немедленного практического применения. Объясняя это, Эрфред выражал свою мысль таким образом, что в мозгу мистера Барнстейпла всплыли отголоски каких-то очень знакомых фраз: Эрфред словно утверждал, что тот, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а тот, кто потеряет жизнь свою, тот приобретет весь мир.

В мозгу отца Эмертона возникли, очевидно, те же ассоциации, так как он неожиданно перебил Эрфреда восклицанием:

— Но ведь вы цитируете Священное писание!

Эрфред подтвердил, что ему действительно пришла на ум цитата, отрывок из поучений человека, наделенного большим поэтическим даром и жившего очень давно, в эпоху звучащих слов.

Затем Эрфред собирался продолжать свой рассказ, но отец Эмертон в сильном волнении засыпал его градом вопросов:

— Но кто был этот учитель? Где он жил? Каковы обстоятельства его рождения? Как он умер?

В мозгу мистера Барнстейпла проплыла картина: бледный, исполненный скорби человек, избитый, весь в крови, окруженный стражей, в самой гуще возбужденной толпы смуглых людей, колышущейся в узкой улочке между высокими стенами. Позади несли какое-то большое, зловещего вида приспособление, которое дергалось и покачивалось в такт движению толпы...

— Неужели он умер на кресте и в этом мире тоже? — вскричал отец Эмертон.— Он умер на кресте?

Этот утопийский пророк, узнали они, умер очень мучительной смертью, но не на кресте. Его сначала подвергли пыткам, но ни утопийцы, ни эти земляне не обладали необходимыми знаниями, чтобы получить ясное

представление о том, в чем они заключались, а затем его как будто привязали к колесу, которое медленно вращалось, пока он не умер. Это была гнусная казнь, изобретенная жестокими завоевателями, и пророка казнили так потому, что его доктрина всеобщего служения напугала богатых и власть имущих, которые никому не служили. Перед глазами мистера Барнстейпла на миг возникло изломанное тело на пыточном колесе под палящим солнцем. Но какая великолепная победа над смертью! Из мира, способного на такие чудовищные деяния, родились окружающие его сейчас великий покой и всепроникающая красота!

Однако отец Эмертон еще не кончил свои расспросы:

— Но разве вы не поняли, кто это был? Ваш мир не догадался об этом?

Очень многие считали, что этот человек был богом. Но он обыкновенно называл себя просто сыном божьим или сыном человеческим.

Отец Эмертон продолжал настойчиво идти к своей цели:

— А теперь вы ему поклоняетесь?

— Мы следуем его учению, потому что оно было великим и в нем заключалась истина,— ответил Эрфред.

— Но не поклоняетесь ему?

— Нет.

— И никто не поклоняется? Ведь вы же сказали, что прежде были люди, которые ему поклонялись?

Да, были, те, кто отступил перед суровым величием его учения и в то же время мучительно сознавал, что в нем скрыта глубокая правда. И вот такие люди пытались одурачить свою встревоженную совесть, поклоняясь ему, как божку, наделенному волшебной силой, вместо того, чтобы признать его путеводным маяком своей души. Они придали его казни то же магическое значение, которое придавали некогда ритуальным убийствам царей. Вместо того, чтобы просто и честно следовать его идеям, претворяя их в свое мировоззрение и волю, они предпочитали мистически вкушать его, претворяя в свое тело. Они превратили колесо, на котором он погиб, в чудотворный символ и видели его в экваторе, в солнце, в эклиптике — короче говоря, в любом круге. В случае неудачи, болезни, скверной погоды

верующие считали очень полезным описать в воздухе указательным пальцем круг.

А так как память об учителе, благодаря его кротости и милосердию, была очень дорога невежественным массам, этим воспользовались хитрые властолюбцы, которые объявили себя защитниками и опорой колеса, во имя его богатели и становились все могущественнее, заставляли народы воевать за него и, прикрываясь им, оправдывали свою зависть, ненависть, тиранию и удовлетворение самых темных своих страстей. И, наконец, люди стали даже говорить, что, вернись древний пророк в Утопию вновь, его собственное торжествующее колесо вновь изломало бы его тело...

Эти подробности не заинтересовали отца Эмертона. У него была своя точка зрения.

— Но все же,— нетерпеливо сказал он,— хоть частичка этих верующих должна же была сохраниться? Пусть их презирают, но они все-таки есть?

Нет, и частички не сохранилось. Весь мир следует идеям этого Величайшего Учителя, но никто ему не поклоняется. На стенах некоторых старинных, тщательно охраняемых зданий уцелели вырезанные знаки колеса, иногда усложненные самыми фантастическими декоративными украшениями. Кроме того, в музейных коллекциях можно увидеть множество картин, статуй, амулетов и других предметов его культа.

— Не понимаю! — сказал отец Эмертон.— Как это ужасно! Я не знаю, что и подумать. Я не в силах этого понять.

6

Белокурый худощавый человек с тонкими изящными чертами лица, которого, как позднее узнал мистер Барнстейпл, звали Лев, вскоре освободил Эрфреда от тяжкой обязанности давать землянам объяснения и отвечать на их вопросы.

Он был одним из утопийских координаторов образования. Он рассказал, что наступившие в Утопии перемены не явились результатом внезапной революции. Новая система законов и обычаев, новый метод экономического сотрудничества, опирающийся на идею общего

служения коллективному благу, вовсе не возникли в одно мгновение законченными и совершенными. На протяжении длительного периода перед Последним Веком Хаоса и во время него все возрастающее количество исследователей и творцов закладывало основы государства нового типа, работая без какого-либо заранее составленного плана или готового метода, но бессознательно сотрудничая друг с другом, потому что их объединяло присущее им всем желание служить человечеству, а также ясность и благородство ума. Только к самому завершению Последнего Века Хаоса в Утопии психологическая наука начала наконец развиваться в темпах, сравнимых с темпами развития географических и физических наук в предыдущие столетия. Это объяснялось тем, что социальный и экономический хаос, ставивший рогатки на пути экспериментальной науки и уродовавший организованную работу университетов, в то же время делал необходимым исследование процесса взаимообщения людей — и оно велось с напряжением отчаяния.

Насколько понял мистер Барнстейпл, речь шла не об одном из тех бурных переворотов, которые наш мир привык называть революциями, но о постепенном рассеивании мрака, о наступлении зари новых идей, под влиянием которых прежний порядок вещей медленно, но верно менялся, и в конце концов люди начали поступать по-новому, так, как этого требовал от них простой здравый смысл.

Новый порядок зарождался в научных дискуссиях, в книгах и психологических лабораториях, его питательной средой стали школы и университеты. Старый порядок скудно оплачивал школьных учителей, и те, кто властвовал в нем, были слишком заняты борьбой за богатство и могущество, чтобы думать о вопросах образования и воспитания; их они оставили на усмотрение тех, кто был готов, не заботясь о материальном вознаграждении, посвятить свой ум и труд пробуждению нового сознания у подрастающего поколения. И они этого добились. В мире, где все еще правили демагоги-политиканы, в мире, где власть принадлежала хищным предпринимателям и ловким финансистам, в этом мире все больше утверждалось учение о том, что крупная частная собственность является социальным злом и что

государство не может нормально функционировать, а *образование* — приносить желаемые плоды, пока существует класс безответственных богачей. Ибо по самой своей природе этот класс должен был губить, портить и подрывать любое государственное начинание; их паразитическая роскошь искажала и компрометировала все истинные духовные ценности. Их надо было уничтожить для блага всего человечества.

— А разве они не боролись? — с вызовом спросил мистер Кэтскилл.

Да, они боролись — бестолково, но яростно. В течение почти пятисот лет в Утопии шла сознательная борьба за то, чтобы не допустить возникновения всемирного научного государства, опирающегося на воспитание и образование, или хотя бы задержать его возникновение. Это была борьба алчных, разнузданных, предубежденных и своекорыстных людей против воплощения в жизнь новой идеи коллективного служения. Стоило где-нибудь появиться этой идее, как с ней начиналась борьба: с ней боролись увольнениями, угрозами, бойкотами, кровавыми расправами, с ней боролись ложью и клеветническими обвинениями, с ней боролись судом и тюрьмой, веревкой линчевателей, дегтем и перьями, огнем, дубиной и ружьем, бомбами и пушками.

Но служение этой новой идее не прекращалось ни на миг; с непреодолимой силой она овладевала умами и душами людей, в которых нуждалась. Прежде чем в Утопии утвердилось научное государство, во имя его утверждения погибло более миллиона мучеников — а тех, кто просто терпел ради него беды и страдания, сосчитать вообще невозможно. Все новые и новые позиции отвоевывались в системе образования, в социальных законах, в экономике. Точной даты перемены не существует. Просто Утопия в конце концов увидела, что заря сменилась солнечным днем и новый порядок вещей окончательно вытеснил старый...

— Да так и должно случиться,— сказал мистер Барнстейпл, словно вокруг него не было преображенной Утопии.— Так и должно случиться.

Лев тем временем начал отвечать на чей-то вопрос. Каждого ребенка в Утопии обучают в полную меру его способностей, а затем поручают ему работу, соответ-

ствующую его склонностям и возможностям. Он рождается в самых благоприятных условиях. Он рождается от здоровых родителей — после того, как его мать решит иметь ребенка и достаточно подготовится к этому. Он растет в абсолютно здоровой обстановке; его природная потребность играть и любознательность удовлетворяются, согласно самым тонким методам воспитания; его руки, глаза и тело получают все необходимое для тренировки и нормального развития; он учится рисовать, писать и выражать свои мысли, пользуясь для этого множеством самых разнообразных символов. Доброжелательность и вежливость воспитываются сами собой — ведь все вокруг добры и вежливы. Особенное внимание уделяется развитию детского воображения. Ребенок знакомится с удивительной историей своего мира и человеческого рода: он узнает, как боролся и борется человек, чтобы преодолеть свою изначальную животную узость и эгоизм и добиться полной власти над своей внутренней сущностью, которую он еще только-только начинает прозревать сквозь густое покрывало неведения. Все его желания облагораживаются. Поэзия, пример и любовь тех, кто его окружает, учат его в любви забывать о себе ради другого; его чувственная страсть, таким образом, становится оружием против его эгоизма, его любопытство превращается в одержимость наукой, его воинственность обращается против нарушения разумного порядка, его гордость и самолюбие воплощаются в стремление внести почетную долю в общие достижения. Он выбирает работу, которая ему нравится, и сам решает, чем ему заниматься.

Если индивид ленив, это не страшно, так как утопийского изобилия хватит на всех, но такой человек не найдет себе пары, у него не будет детей, потому что ни один юноша, ни одна девушка в Утопии не полюбят того, кто лишен энергии и не хочет ни в чем отличиться. Утопийская любовь опирается на гордость за друга или подругу. И в Утопии нет ни паразитического «светского общества» богачей, ни игр и зрелищ, рассчитанных на развлечение бездельников. Для бездельников в ней вообще ничего нет. Это очень приятный мир для тех, кто время от времени отдыхает от работы, но не для тех, кто вообще ничего не желает делать.

Уже несколько столетий назад утопийская наука научилась управлять наследственностью, и чуть ли не каждый ныне живущий утопиец принадлежит к типу, который в далеком прошлом именовался деятельным и творческим. В Утопии почти нет малоспособных людей, а слабоумные отсутствуют вовсе; лентяи, люди, склонные к апатии или наделенные слабым воображением, постепенно вымерли; меланхолический тип уже давно забыт; злобные и завистливые характеры уже в значительной степени исчезли. В подавляющем большинстве утопийцы энергичны, инициативны, изобретательны, восприимчивы и доброжелательны.

— И у вас нет даже парламента? — спросил мистер Берли, который никак не мог с этим примириться.

Нет, в Утопии нет ни парламента, ни политики, ни частного богатства, ни коммерческой конкуренции, ни полиции, ни тюрем, ни сумасшедших, ни слабоумных, ни уродов. А всего этого нет потому, что в Утопии есть школы и учителя, которые в полной мере осуществляют главную задачу любой школы и любого учителя. Политика, коммерция и конкуренция — это формы приспособления к жизни общества, еще очень далекого от совершенства. Утопия отказалась от них уже тысячелетие назад. Взрослые утопийцы не нуждаются ни в контроле, ни в правительстве, потому что их поведение в достаточной мере контролируется и управляется правилами, усвоенными в детстве и ранней юности.

И Лев закончил так:

— *Наше воспитание и образование — вот наше правительство.*

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ЗЕМЛЯН

1

В течение этого достопамятного дня и вечера мистеру Барнстейплу по временам начинало казаться, что он всего лишь разговаривает с кем-то о формах правления и об истории, но разговор этот непонятным обра-

зом обрел зрительное воплощение; ему чудилось даже, что все это происходит только в его мозгу, но тут же он вновь осознавал абсолютную реальность случившегося, и поразительность ситуации отвлекала его внимание от обсуждения несомненно интересных проблем. В такие минуты его взгляд скользил по лицам сидевших вокруг утопийцев, на мгновение переходил на какую-нибудь особенно красивую архитектурную деталь, а затем вновь обращался к этим божественно прекрасным людям.

Затем, словно не веря глазам, он поворачивался к своим собратьям — землянам.

У всех без исключения утопийцев лица были открытыми, одухотворенными и красивыми, как лица ангелов на итальянских картинах. Одна из женщин чем-то походила на Дельфийскую Сивиллу Микеланджело. Они сидели в непринужденных позах, мужчины и женщины вперемешку, и внимательно следили за беседой, однако порой мистер Барнстейпл встречал устремленный на него внимательный, хотя и дружеский взгляд, или обнаруживал, что какой-нибудь утопиец с любопытством рассматривает платье леди Стеллы или монокль мистера Маша.

Сначала мистеру Барнстейплу показалось, что все утопийцы очень молоды, но теперь он заметил, что многие лица помечены печатью деятельной зрелости. Ни на одном нельзя было отыскать признаков старости, обычных для нашего мира, но у губ, под глазами и на лбу Эрфреда и Льва пролегли складки, которые оставляют размышления и жизненный опыт.

При взгляде на этих людей мистер Барнстейпл испытывал двойственное ощущение: словно он видел что-то невероятное и в то же время очень знакомое. Ему казалось, будто он всегда знал о существовании подобных людей, и именно это сознание определяло его отношение к тысячам различных аспектов земной жизни, но в то же время он был настолько ошеломлен, оказавшись в одном с ними мире, что все еще опасался, не грезит ли он. Они одновременно представлялись ему и чем-то естественным и безмерно чудесным по сравнению с ним самим и его спутниками, которые, в свою очередь, каза-

лись одновременно и чем-то нелепым и само собой разумеющимся.

И вместе с горячим желанием стать близким и своим для этих прекрасных и милых людей, причислить себя к ним, обрести общность с ними через служение единой цели и взаимные услуги, в его душе жил благоговейный страх перед ними, который заставлял его избегать какого-либо контакта с ними и вздрагивать от их прикосновения. Он так жаждал, чтобы они признали в нем собрата и товарища, что ощущение собственной ненужности и недостойности совсем его подавляло. Ему хотелось пасть перед ними ниц. Ясность и прелесть того, что его окружало, порождали в нем невыносимо мучительное предчувствие, что в конце концов этот новый мир отвергнет его.

Утопийцы произвели на мистера Барнстейпла такое глубокое впечатление, он с такой полнотой отдался радостному созерцанию их изящества и красоты, что некоторое время не замечал, насколько мало разделяют его восторг некоторые из землян. Утопийцы были так далеки от земной нелепости, безобразия и жестокости, что он готов был безоговорочно одобрить любые их институты и весь их образ жизни.

Но тут поведение отца Эмертона открыло ему глаза на тот факт, что эти замечательные люди могут вызывать злобное неодобрение и даже прямую враждебность. Сначала округлившиеся глаза отца Эмертона и все его круглое лицо над круглым воротником выражали только простодушное изумление; он покорно следовал за тем, кто проявлял какую-нибудь инициативу, и не сказал ни слова до тех пор, пока нагая красота мертвой Гринлейк не вырвала у него восклицания излишне мирского восторга. Однако за время полета к озеру, завтрака и приготовлений к беседе его наивное и смиренное удивление успело смениться упрямым протестом и враждебностью. Словно этот новый мир из зрелища превратился в некую догму, которую он должен был принять или отвергнуть. Возможно, привычка порицать общественные нравы была в нем слишком сильна, и он чувствовал себя хорошо только тогда, когда начинал обличать. А возможно, его искренне возмущала и пугала почти абсолютная нагота прелестных тел вокруг. Но как бы то ни

было, вскоре он принялся хмыкать и покашливать, ворчать себе под нос и всяческими другими способами выражать нетерпение.

В первый раз он дал волю своему негодованию, когда речь зашла о численности населения. Затем на короткий срок его рассудок взял верх над эмоциональной бурей — пока им рассказывали о колесованном пророке,— но теперь он вновь подпал под власть все растущего возмущения. Мистер Барнстейпл услышал, что он бормочет:

— Я должен говорить. Я не могу долее молчать.

И он начал задавать вопросы.

— Мне хотелось бы получить ясное представление о некоторых вещах,— сказал он.— Я хочу знать, каково состояние нравственности в этой так называемой Утопии. Прошу прощения!

Он вскочил. Несколько секунд он стоял, размахивая руками, не в состоянии говорить. Затем он прошел в конец ряда кресел и встал так, чтобы можно было положить руки на спинку крайнего из них. Он провел ладонью по волосам и глубоко вздохнул. Его глаза засверкали, лицо покраснело и залоснилось. В голове мистера Барнстейпла мелькнуло ужасное подозрение: наверное, именно в этой позе отец Эмертон начинал свои еженедельные проповеди, эти свои бесстрашные обличения всех и вся в вест-эндской церкви святого Варнавы. Это подозрение тут же перешло в еще более ужасную уверенность.

— Друзья, братья из этого нового мира! Я должен говорить с вами и не могу этого откладывать. Я хочу задать вам несколько проникновенных вопросов. Я хочу прямо говорить с вами о неких простых и ясных, но самых важных вещах. Я хочу откровенно, как мужчина с мужчинами, обсудить с вами без экивоков существеннейшие, хотя и очень деликатные вопросы. Позвольте мне без лишних слов перейти к делу. Я хочу спросить у вас: уважаете ли вы, почитаете ли вы еще в этом так называемом государстве Утопии самое священное, что только есть в жизни общества? Чтите ли вы еще узы брака?

Он умолк, и во время этой паузы мистер Барнстейпл уловил ответ кого-то из утопийцев:

— В Утопии нет никаких уз.

Однако отец Эмертон задавал вопросы вовсе не для того, чтобы получать на них ответы, это был всего лишь риторический прием опытного проповедника.

— Я хочу знать,— гремел он,— почитается ли здесь священный союз, открытый нашим прародителям в Эдеме? *Является ли главным правилом* вашей *жизни* благословенная свыше близость одного мужчины и одной женщины в счастье и в беде, близость, не допускающая никакой иной близости? Я хочу знать...

— Но он вовсе не хочет знать! — перебил кто-то из утопийцев.

— ...была ли эта лелеемая и охраняемая обоюдная чистота...

Мистер Берли поднял руку с длинными белыми пальцами.

— Отец Эмертон,— сказал он настойчиво.— Будьте так добры...

Рука мистера Берли была весьма могущественной рукой, по-прежнему способной указать наиболее предпочтительный путь. Когда отец Эмертон отдавался во власть одной из своих душевных бурь, мало что в мире могло заставить его остановиться, но рука мистера Берли принадлежала к немногим исключениям.

— ...отвергнута и отринута здесь вслед за другим еще более бесценным даром? В чем дело, мистер Берли?

— Мне представляется желательным, отец Эмертон, чтобы в настоящий момент вы более не касались этих вопросов. Погодите, пока мы не узнаем больше. Совершенно ясно, что здешние институты заметно отличаются от наших. Даже институт брака может быть здесь иным.

Лицо проповедника потемнело.

— Мистер Берли,— сказал он,— это мой долг. Если мои подозрения справедливы, я хочу сорвать с этого мира обманчивый покров здоровья и добродетели...

— Что уж тут срывать! — довольно громко пробормотал шофер мистера Берли.

Голос мистера Берли стал почти резким.

— В таком случае задавайте вопросы,— сказал он.— Задавайте вопросы. Будьте добры, обходитесь без риторики. Они не интересуются нашей риторикой.

— Я спросил то, что хотел спросить,— оскорбленно пробурчал отец Эмертон и, смерив Эрфреда вызывающим взглядом, остался стоять в прежней позе.

Он получил ясный и исчерпывающий ответ. В Утопии мужчин и женщин не обязывают разбиваться на пары, связанные нерасторжимым союзом. Для большинства утопийцев это было бы неудобно. Очень часто мужчины и женщины, которых тесно сближала общая работа, становились любовниками и почти все время проводили вместе, как, например, Арден и Гринлейк. Но на то была их добрая воля.

Такая свобода существовала не всегда. В былые дни перенаселения и противоречий мужчины и женщины Утопии, вступавшие в любовные отношения, связывались на всю жизнь под угрозой тяжких наказаний — особенно в среде сельскохозяйственных рабочих и других подчиненных сословий. Такие пары жили вместе в крохотном жилище, которое женщина убирала и содержала в порядке для мужчины, она была его служанкой и рожала ему как можно больше детей, а он добывал пищу для всех них. Иметь детей они хотели потому, что ребенок вскоре начинал приносить пользу, помогая обрабатывать землю или работая по найму. Но неблагоприятные условия, обрекавшие женщину на такого рода спаривание, давно исчезли.

Люди по-прежнему живут парами со своими избранниками, но поступают они так в силу внутренней потребности, а не подчиняясь внешнему принуждению.

Отец Эмертон слушал все это с плохо скрываемым нетерпением. Наконец он не выдержал и закричал:

— Так, значит, я был прав, и вы уничтожили семью?! — Его указующий на Эрфреда перст превращал эти слова почти в личное обвинение.

Нет, Утопия не уничтожила семьи. Она освятила семью и раздвинула ее рамки, пока та не обняла все человечество. В давние времена колесованный пророк, который, как кажется, внушает отцу Эмертону большое уважение, проповедовал именно такое расширение древней узости домашнего очага. Как-то во время одной из его проповедей ему сказали, что снаружи его дожидаются мать и братья, но он не пошел к ним, а указал

на слушавшую его толпу и ответил: «Вот моя мать и мои братья!»

Отец Эмертон ударил кулаком по спинке кресла с такой силой, что все вздрогнули.

— Увертка! Жалкая увертка! — крикнул он.— И Сатана может ссылаться на Писание!

Мистеру Барнстейплу было ясно, что отец Эмертон не владеет собой. Он сам пугался своего поведения, но остановиться не мог. В своем волнении он утратил ясность мысли и потерял власть над голосом — он кричал, он вопил, как безумный. Он «дал себе волю» и надеялся, что привычки, приобретенные на кафедре церкви святого Варнавы, помогут ему и тут.

— Теперь я понимаю, как вы живете. Слишком хорошо понимаю! С самого начала я догадывался об этом. Но я ждал — ждал, чтобы удостовериться, прежде чем выступить со своим свидетельством. Ваш образ жизни сам говорит за себя — бесстыдство ваших одеяний, распущенность ваших нравов! Юноши и девушки улыбаются, берутся за руки, чуть ли не ласкаются, когда потупленные глаза — потупленные глаза! — были бы наименьшей данью стыдливости. А эти гнусные рассуждения о любовниках, любящих без уз и без благословения, без установлений и ограничений! Что они означают? И куда они ведут? Не воображайте, что, будучи священнослужителем, человеком чистым и девственным вопреки великим искушениям, я не способен понять всего этого! Или мне не открыты сокровенные тайны людских сердец? Или наказанные грешники — разбитые сосуды — не влекутся ко мне с исповедью, достойной гнева и жалости? Так неужели я не скажу вам прямо, кто вы такие и куда идете? Эта ваша так называемая свобода не что иное, как распутство. Ваша так называемая Утопия предстала передо мной адом дикого разгула всех плотских страстей! Дикого разгула!

Мистер Берли протестующе поднял руку, но эта преграда уже не могла остановить красноречия отца Эмертона.

Он бил кулаком по спинке кресла.

— Я буду свидетельствовать! — кричал он.— Я буду свидетельствовать! Я не побоюсь сказать всю правду. Я

не побоюсь назвать вещи своими именами, говорю я вам! Вы все живете в свальном грехе! Вот слово для этого! Как скоты! Как непотребные скоты!

Мистер Берли вскочил на ноги. Подняв ладони, он жестом приказывал лондонскому Иеремии скорее сесть.

— Нет, нет! — воскликнул государственный муж.— Замолчите, мистер Эмертон! Право, вам следует замолчать. Ваши слова оскорбительны. Вы не понимаете. Сядьте же, будьте добры. Я требую, чтобы вы сели.

— Сядьте и успокойтесь,— сказал звонкий голос.— Или вас уведут.

Что-то заставило отца Эмертона оглянуться на неподвижную фигуру, возникшую чуть позади него. Он встретился взглядом со стройным юношей, который внимательно его рассматривал, словно художник нового натурщика. В выражении его лица не было ничего угрожающего, он стоял неподвижно, и все же отец Эмертон весь как-то удивительно съежился. Поток его обличительного красноречия внезапно иссяк.

Послышался невозмутимо-любезный голос мистера Берли, спешившего уладить конфликт:

— Мистер Серпентин, сэр! Я взываю к вашей терпимости и приношу извинения. Он не вполне отвечает за свои поступки. Мы, все остальные, очень сожалеем об этом отступлении, этом досадном инциденте. Прошу вас, не уводите его, что бы это ни означало. Ручаюсь, что такая выходка больше не повторится... Да сядьте же, мистер Эмертон, будьте так добры, и немедленно, или я умою руки.

Отец Эмертон колебался.

— Мое время настанет,— сказал он, несколько секунд смотрел в глаза юноши, а затем вернулся на свое место.

Эрфред сказал спокойно и внятно:

— Вы, земляне, оказались нелегкими гостями. И это еще не все... Совершенно очевидно, что у этого человека очень грязный ум. Его сексуальное воображение, несомненно, болезненно возбуждено и извращено. Он рассержен и стремится оскорблять и причинять боль. И производимый им шум невыносим для слуха. Завтра его придется осмотреть и заняться им.

— Что? — пробормотал отец Эмертон, и его круглое лицо вдруг приобрело землистый оттенок.— Как это «заняться»?

— Пожалуйста, замолчите,— сказал мистер Берли.— Пожалуйста, больше ничего не говорите. Вы и так уже наговорили много лишнего.

Инцидент, казалось, был исчерпан, но в душе мистера Барнстейпла он оставил странный осадок страха. Эти утопийцы были очень любезны, их манеры были удивительно мягки, но на мгновение над землянами словно нависла властная рука. Вокруг них сияла залитая солнечным светом красота, но тем не менее они были чужестранцами — и беззащитными чужестранцами — в неведомом мире. Лица утопийцев казались добрыми, их взгляды — любопытными и в какой-то мере дружелюбными, однако гораздо более наблюдающими, чем дружелюбными. Словно смотревшие находились на другой стороне непреодолимой пропасти различия.

Но тут совсем расстроившийся мистер Барнстейпл встретил взгляд карих глаз Ликнис, и они показались ему добрее глаз остальных утопийцев. Во всяком случае, она, решил он, поняла, какой страх его мучает, и хочет его успокоить, заверить в своей дружбе. И мистер Барнстейпл, посмотрев на нее, почувствовал то же, что, наверное, чувствует заблудившаяся собачонка, когда, приблизившись к людям, которые могут оказаться и врагами, она вдруг встречает ласковый взгляд и слышит приветливое слово.

2

Другой душой, активно восстававшей против Утопии, была душа мистера Фредди Маша. Его ничуть не возмущали религия, нравственность или социальная организация Утопии. Он уже давно твердо усвоил, что истинный джентльмен-эстет не интересуется подобными вещами. Он исходил из гипотезы, что его восприятие слишком утонченно для них. Однако, как он вскоре заявил, научные методы утопийцев уничтожили нечто весьма древнее и прекрасное, именуемое «Равновесием Природы». В чем заключалось это его «Равновесие Природы» и как оно осуществлялось на Земле, ни утопийцы, ни мистер Барн-

стейпл так и не смогли понять. Когда его попытались расспросить подробнее, мистер Маш порозовел, стал нервничать, и его монокль обиженно заблестел.

— Я сужу по ласточкам,— твердил он.— Если вы и это не считаете доказательством, то, право, не знаю, что еще я могу сказать.

Он вновь и вновь повторял только одно, что в Утопии не видно ласточек. Ласточек же в Утопии не было видно потому, что в ней не было комаров и мошкары. В Утопии произошло сознательное уничтожение значительной части мира насекомых, а это тяжело отразилось на всех существах, чья жизнь прямо или косвенно зависела от насекомых. Едва новый порядок прочно утвердился в Утопии и научное государство начало свою деятельность, утопийское общество обратилось к осуществлению давней мечты о систематическом уничтожении вредных и неприятных животных и растений. Проводилось тщательное исследование того, насколько вредны и подлежат ли уничтожению, например, домашние мухи, осы и шершни, различные виды мышей и крыс, кролики и жгучая крапива. Десять тысяч видов, начиная с болезнетворных микробов и кончая носорогами и гиенами, были подвергнуты суду. Каждому виду был дан защитник. О каждом спрашивалось: какую он приносит пользу? Какой вред? Как можно его уничтожить? Что еще может исчезнуть вслед за ним, если он исчезнет? Стоит ли его уничтожение связанных с этим хлопот? Или его можно обезвредить и сохранить? И даже когда тому или иному виду выносился окончательный смертный приговор, Утопия приступала к его уничтожению с большой осмотрительностью. В каком-нибудь надежно изолированном месте сохранялся достаточный резерв особей осужденного вида — в некоторых случаях он сохранялся еще и по сей день.

Большинство инфекционных лихорадок было уничтожено полностью — с одними удалось покончить без особого труда, но для того, чтобы избавить человечество от других, пришлось объявить им настоящую войну и подчинить все население планеты строжайшей дисциплине. Кроме того, были полностью истреблены многие виды, паразитировавшие на человеке и животных. Мир был совершенно очищен от вредных насекомых, сорня-

ков, всяческих гадов и животных, опасных для человека. Исчезли москиты, домашняя муха, навозная муха и еще множество всяких мух; они исчезли в результате широчайшей кампании, потребовавшей огромных усилий и длившейся несколько веков. Было несравненно легче избавиться от таких крупных врагов, как гиены и волки, чем от этих мелких вредителей. Война против мух потребовала полнейшей перестройки значительной части утопийских домов и проведения тщательной дезинсекции на всей планете.

Наиболее сложная проблема, которую пришлось разрешать утопийцам в этой связи, заключалась в возможных гибельных последствиях такой чистки для других растений и животных. Например, некоторые насекомые в стадии личинки были вредны и неприятны, были губительны в стадии гусеницы или окукливания, но затем либо радовали глаз своей красотой, либо были необходимы для опыления каких-нибудь полезных или красивых цветов. Другие, сами по себе вредоносные, оказывались единственной пищей нужных и приятных созданий. Неверно, что ласточки совсем перевелись в Утопии, но они стали очень редкими птицами, как и значительное число насекомоядных пичужек, вроде мухоловки, этой воздушной гимнастки. Однако они не вымерли: истребление насекомых не было доведено до такой крайней степени; было сохранено достаточно видов, чтобы сделать некоторые области планеты по-прежнему пригодными для обитания этих прелестных птичек.

Многие вредные сорняки в то же время были удобным источником сложных химических веществ, получать которые синтетическим путем было либо дорого, либо сложно, поэтому такие растения были в ограниченных количествах сохранены. Вообще растения и цветы гораздо легче поддаются гибридизации и другим внешним воздействиям, нежели животные, и поэтому в Утопии они сильно изменились. Земляне увидят сотни новых форм листвы и прелестных душистых цветов, о которых они не имеют ни малейшего представления. Путем отбора и особого ухода, как узнал мистер Барнстейпл, были выведены растения, вырабатывавшие новые и крайне ценные соки, смолы, эфиры, масла и другие полезные вещества.

Большие звери приручались и укрощались. Крупные хищники, вычесанные и вымытые, приученные к чисто молочной диете, забывшие былую злобность и превратившиеся, короче говоря, в ласковых кошек, стали в Утопии товарищами детских игр и украшением пейзажа. Почти вымершие слоны теперь вновь стали размножаться, и Утопия спасла своих жирафов. Бурый медведь всегда был склонен к сластям и вегетарианской пище, а, кроме того, его интеллект очень развился. Собаки перестали лаять и превратились в относительную редкость. Охотничьи породы и комнатные собачки перевелись вовсе.

Лошадей мистер Барнстейпл не видел в Утопии ни разу, но, будучи современным городским жителем, он попросту не заметил, что их нет, и не расспрашивал о них, пока находился там. Он так и не узнал, вымерли они или еще существуют.

Когда в первый день своего пребывания в этом мире он услышал о том, как человечество здесь меняло и переделывало, очищало и облагораживало царство природы, эта деятельность показалась ему вполне естественной и необходимой фазой человеческой истории.

«Что ни говори,— подумал он,— а миф о том, что первый человек был сотворен садовником, очень неглуп!»

И вот теперь человек очищал и облагораживал свою собственную породу...

Утопийцы рассказывали про зарождение евгеники, про новые и более точные способы отбора родителей, про все большую безошибочность науки о наследственности; и, сравнивая ясную, совершенную красоту лица и тела любого утопийца с негармоничными чертами и непропорциональным сложением своих собратьев-землян, мистер Барнстейпл понял, что, обогнав их всего на каких-нибудь три тысячи лет, утопийцы уже переставали быть людьми в привычном для него смысле и превращались в нечто более высокое и благородное. Их отличие от землян становилось уже видовым отличием.

3

Это был уже иной вид.

По мере того как продолжались вопросы, ответы и обмен мнениями, мистер Барнстейпл со все большей оче-

видностью убеждался, что телесные различия между ними были просто ничтожными по сравнению с различием в их духовном облике. Уже с рождения наделенные бо̀льшими умственными способностями, эти дети света росли в условиях, освобожденных от тех чудовищных противоречий, утаиваний, путаницы и невежества, которые калечат умы юных землян. Всем им была свойственна ясность мысли, откровенность и прямота. В них не развивалось то оборонительное недоверие к наставнику, то сопротивление воспитанию, которое является естественной реакцией на форму обучения, в значительной мере сводящуюся к насильственному навязыванию и подавлению. Они были изумительно доверчивы в своем общении с другими. Ирония, умалчивание, неискренность, хвастливость и искусственность земных разговоров были им незнакомы. Эта их духовная обнаженность показалась мистеру Барнстейплу столь же упоительной и бодрящей, как горный воздух, которым он дышал. Его поражали терпение и снисходительность, которые они проявляли в отношении столь неразвитых существ.

«Неразвитые» — именно это слово употребил он мысленно. И самым неразвитым он чувствовал себя. Он робел перед утопийцами, готов был заискивать и пресмыкаться перед ними, словно неотесанный земной мужлан, очутившийся в светской гостиной, и эта его приниженность вызывала в его душе горькое чувство стыда. Во всех других землянах, за исключением леди Стеллы и мистера Берли, чувствовалась злобная ощеренность людей, сознающих свою неполноценность и пытающихся подавить в себе это сознание.

Как и отец Эмертон, шофер мистера Берли был, повидимому, возмущен и оскорблен наготой утопийцев; его негодование находило выражение в жестах, гримасах и саркастических замечаниях, вроде «Ну и ну!» или «Ишь ты!», с которыми он обращался к мистеру Барнстейплу,— владелец такого старого и маленького автомобиля внушал ему, очевидно, порядочное презрение, но в то же время казался почти своим. Он то и дело щурился, подымал брови и гримасничал, стараясь привлечь внимание мистера Барнстейпла к тем жестам или позам утопийцев, которые представлялись ему примечательными. При других обстоятельствах его способ указывать с

помощью губ и носа мог бы позабавить мистера Барнстейпла.

Леди Стелла, которая сначала показалась мистеру Барнстейплу истинной леди, в самом лучшем и современном смысле этого слова, теперь, насколько он мог судить, испытывала большую растерянность и маскировала ее подчеркнуто светской манерой держаться. Однако мистер Берли в значительной мере сохранил свой аристократизм. На Земле он всю жизнь был великим человеком и, очевидно, не видел причин, которые помешали бы ему остаться великим человеком и в Утопии. На Земле он почти ничего не делал, ограничиваясь высокоинтеллектуальным восприятием, и с самыми счастливыми результатами. Его острый, скептический ум, свободный от каких-либо убеждений, верований или революционных желаний помог ему чрезвычайно легко приспособиться к позе почетного гостя, который с доброжелательным, но ни к чему не обязывающим интересом знакомится с институтами чужого государства. Любезное «скажите мне» было его лейтмотивом на протяжении всей беседы.

Уже вечерело, и ясное утопийское небо горело закатным золотом, а курчавые башни облаков над озером меняли цвета, становясь из розовых темно-лиловыми, когда внимание мистера Барнстейпла внезапно привлек мистер Руперт Кэтскилл. Он нетерпеливо ерзал на своем сиденье.

— Я хочу кое-что сказать,— бормотал он.— Я хочу кое-что сказать.

Затем он вскочил и направился к центру полукружия, где ранее произносил свою речь мистер Берли.

— Мистер Серпентин! — сказал он.— Мистер Берли, я был бы рад высказать кое-какие соображения, если вы мне разрешите.

4

Мистер Кэтскилл снял с головы серый цилиндр, вернулся к своему месту и положил его на сиденье, а затем вновь направился к центру апсиды. Он откинул полы своего сюртука, упер руки в бедра, выставил вперед голову, несколько секунд обводил своих слушателей испытующим

и вызывающим взглядом, что-то бормоча себе под нос, а затем начал говорить.

Его вступление не было особенно внушительным. Он страдал некоторым недостатком речи, чем-то вроде пришепетывания, и, стремясь его преодолеть, говорил гортанно. Первые несколько фраз вырвались у него как бы толчками. Затем мистер Барнстейпл понял, что мистер Кэтскилл излагает очень четкую точку зрения — по-своему обоснованную и стройную картину Утопии. Мистер Барнстейпл не был согласен с его критикой, она его глубоко возмутила. Но он не мог отрицать, что она логически вытекала из определенного образа мышления.

Мистер Кэтскилл начал с того, что полностью признал красоту и упорядоченность Утопии. Он похвалил «румянец здоровья», который он видит «на каждой щеке», похвалил изобилие, безмятежность и удобства утопийской жизни. Они здесь «укротили силы природы и полностью подчинили их себе во имя единственной цели — материального благополучия своего человечества».

— А как же Арден и Гринлейк? — пробормотал мистер Барнстейпл, но мистер Кэтскилл либо не расслышал его слов, либо не обратил на них внимания и продолжал:

— В первый момент, мистер спикер,— мистер Серпентин, хотел я сказать,— в первый момент все это производит на земной ум поистине ошеломляющее впечатление. Нужно ли удивляться,— тут он взглянул на мистера Берли и мистера Барнстейпла,— что восхищение совсем вскружило голову некоторым из нас? Нужно ли удивляться, что на какой-то срок почти колдовская красота вашей планеты настолько зачаровала нас, что мы забыли о многом, заложенном в самой нашей природе,— забыли сокрытую в ней могущественную и таинственную жажду стремления, потребности и были готовы сказать: «Вот, наконец, страна блаженного покоя! Останемся же здесь, приспособимся к этому продуманному и упорядоченному великолепию, проведем здесь всю свою жизнь до самой смерти!» И я, мистер... э... мистер Серпентин, на время поддался этим чарам. Но только на время. Уже сейчас, сэр, меня начинают одолевать всяческие сомнения...

Его блестящий прямолинейный ум вцепился в тот факт, что каждый этап очищения Утопии от вредителей,

паразитов и болезней сопровождался возможностью каких-то ограничений и утрат. Впрочем, точнее будет сказать, что этот факт вцепился в его ум. Он не хотел считаться с тем, что каждый шаг этого процесса надежного оздоровления мира и превращения его в безопасное поле человеческой деятельности рассчитывался с крайней осторожностью и предусмотрительностью. Он упрямо исходил из того, что каждое достижение сопровождалось потерями, сильно преувеличил эти потери, а затем умело подвел свою речь к неизбежной метафоре о младенце, которого выплескивают из ванны вместе с водой,— неизбежной, разумеется, для английского парламентского деятеля. Утопийцы, заявил он, ведут жизнь удивительно спокойную, легкую и — «если мне будет разрешено так выразиться — перенасыщенную удовольствиями». («Они же трудятся»,— пробормотал мистер Барнстейпл.) Но вместе с тысячами опасностей и неудобств разве не исчезло из их жизни и нечто иное, великое и драгоценное? Жизнь на Земле, признал он, полна опасностей, боли и тревог, полна даже страданий, горестей и бед, но кроме того — а вернее, благодаря этому,— она включает в себя упоительные мгновения полного напряжения сил, надежд, радостных неожиданностей, опасений и свершений, каких не может дать упорядоченная жизнь Утопии. «Вы покончили с противоречиями и нуждой. Но не покончили ли вы тем самым с живыми и трепещущими проявлениями жизни?»

Он разразился панегириком земной жизни. Он превозносил ее созидающую энергию, словно в окружающем его дивном великолепии не были заключены признаки самого высокого созидания. Он говорил о «громе наших перенаселенных городов», о «силе наших скученных миллионеров», о «приливной волне нашей коммерции, промышленности и войн», которые «накатываются и бушуют, сотрясая ульи и тихие гавани нашей расы».

Он умел облечь свои мысли в удачные фразы с той искрой фантазии, которая сходит за красноречие. Мистер Барнстейпл уже не замечал легкого пришепетывания, не замечал гортанности его голоса. Мистер Кэтскилл смело указал на земные опасности и беды, о которых умолчал мистер Берли. То, что говорил мистер Берли, было правдой. То, что он сказал, далеко не исчерпы-

вало всей правды. Да, мы знаем голод и смертоносные эпидемии. Мы становимся жертвами тысяч болезней, о которых Утопия давно забыла. Мы страдаем от тысяч бедствий которые в Утопии известны только из древних легенд. Крысы грызут, мухи летом не дают покоя, сводят с ума. Порой жизнь бывает зловонной. Я признаю это, сэр, я это признаю. Вам неведомы наши бездны бедствий и печали, тревог, телесных и душевных страданий, горечи, ужаса и отчаяния. О да! Но доступны ли вам наши высоты? Ответьте мне на это! Что можете вы знать в нерушимой своей безопасности о напряжении всех сил, об отчаянном, подстегиваемом ужасом напряжении, которое порождает многие из наших свершений? Что можете вы знать о передышках, светлых промежутках, избавлении? Подумайте, какие глубины нашего счастья вовсе вам не доступны! Что вы знаете здесь о сладостных днях выздоровления после тяжелой болезни? О радости, которую дарит возможность уехать и отдохнуть от окружающего тебя убожества? О торжестве после благополучного завершения какого-нибудь рискованного предприятия, когда на карту была поставлена твоя жизнь или все состояние? О выигрыше безнадежного пари? Об освобождении из тюрьмы? И ведь известно, сэр, что в нашем мире есть люди, находящие упоение в самом страдании. Да, именно потому, сэр, что наша жизнь несравненно ужаснее вашей, в ней есть и должны быть такие светлые мгновения, каких вы не можете знать. Там, где у нас титаническая борьба, у вас — всего лишь упорядоченная рутина. И мы воспитаны этой борьбой, закалены в ней. Наша сталь несравненно тверже и острее вашей. Вот об этом-то я и хотел сказать. Предложите нам отказаться от нашего земного хаоса, от наших горестей и бед, от нашей высокой смертности и наших мучительных болезней, и на первое такое предложение каждый человек нашего мира ответит: «Да! От всего сердца — да!» Но на первое такое предложение, сэр.

На мгновение мистер Кэтскилл умолк, указуя перстом на своих слушателей.

— Но затем мы задумаемся. Мы спросим, как, по вашим словам, спрашивали ваши естествоиспытатели про ваших мух и подобную им докучливую мелочь,—мы спро-

сим: «Что должно исчезнуть вместе со всем этим? Какова цена?» И когда мы узнаем, что за это придется заплатить отказом от той напряженности жизни, той бурной энергии, той рожденной в горниле опыта и бед закаленности, того крысиного, волчьего упорства, которым одаряет нас наша вечная борьба, когда мы узнаем это, наша решимость поколеблется. Да, она поколеблется. И в конце концов, сэр, я верю, я надеюсь и верю, молюсь и верю, что мы ответим: «Нет!» Мы ответим: «Нет!»

К этому времени мистер Кэтскилл впал в настоящий экстаз. Он все чаще выбрасывал вперед сжатый кулак. Его голос становился то звонким, то тихим, то начинал греметь. Он раскачивался, поглядывал на своих собратьев-землян, ожидая их одобрения, посылал мимолетные улыбки мистеру Берли.

Он сам уже совершенно уверовал, будто наш жалкий, раздираемый сварами, бесхребетный, подчиненный случайностям мир на самом деле представляет собой стройную систему яростной и могучей борьбы, рядом с которой меркнет вечерняя благость завершенной и иссякшей Утопии.

— Никогда еще, сэр, я так ясно и отчетливо не понимал высокие, грозные, исполненные благородного риска судьбы нашей земной расы. Я смотрю на вашу страну безмятежного золотого покоя, на эту страну, доведенную до божественного совершенства, из которой изгнано самое понятие противоречий и столкновений...

Мистер Барнстейпл заметил легкую улыбку на губах женщины, похожей на Дельфийскую Сивиллу.

— ...и я признаю и хвалю ее порядок и красоту — так запыленный паломник, неутомимо стремящийся к высокой и таинственной цели, может замедлить шаг, чтобы полюбоваться порядком и красотой ухоженного сада какого-нибудь богатого сибарита. И, как этот паломник, сэр, я беру на себя смелость усомниться в мудрости вашего образа жизни. Ибо я считаю, сэр, доказанным, что жизнь и вся ее энергия и красота порождены борьбой, конкуренцией, противоречиями и столкновениями; нас формирует и закаляет нужда, как когда-то она формировала и закаляла и вас, сэр. И все же вы здесь убаюкиваете себя уверенностью, что навсегда уничтожили самую

возможность противоречий и столкновений. Ваша экономическая система, насколько я могу судить, является какой-то разновидностью социализма; вы уничтожили конкуренцию во всех отраслях мирного труда. Ваша политическая система представляет собой всемирное единство, и из вашего мира полностью исчезла подстегивающая и облагораживающая угроза войны, исчез ее устрашающий и очищающий пожар. Все продумано, все обеспечено. Воцарилось полное благополучие. Полное благополучие, сэр, если не считать одного... Мне неприятно тревожить вас, сэр, но я должен назвать вслух то, о чем вы забыли,— *дегенерация!* Что здесь может воспрепятствовать дегенерации? Чем вы препятствуете дегенерации? Как теперь наказуется лень? Как вознаграждается исключительная энергия и деятельность? Что может поддерживать в людях трудолюбие и что может поддерживать в них бдительность, когда наглядность личных опасностей, личных потерь исчезла и остается только отвлеченная мысль о возможном вреде для всего общества? В течение некоторого времени вы сможете продержаться на своеобразной инерции. Сможете поддерживать видимость успеха. Я признаю, на первый взгляд может показаться, что вы действительно добились прочного успеха. Осеннее золото! Великолепие заката! *А рядом с вами во вселенных, параллельных вашей, параллельные расы все еще трудятся, все еще страдают, все еще конкурируют и через гибель слабых накапливают силу и энергию!*

Мистер Кэтскилл торжествующе взмахнул рукой перед лицами утопийцев.

— Мне не хотелось бы, сэр, чтобы у вас создалось впечатление, будто эта критика вашего мира продиктована враждебностью к нему. О нет, она порождена самыми дружескими чувствами и желанием помочь. Я череп на вашем пиру, но дружески настроенный и смущенный череп. Я задаю тревожные и неприятные вопросы потому, что это мой долг. Действительно ли вами выбран правильный путь? У вас есть красота, и свет, и досуг. Согласен. Но раз существует это множество вселенных, о которых вы, мистер Серпентин, рассказали нам так понятно и исчерпывающе, и раз одна из них может внезапно открыться в другую, как наша откры-

лась в вашу, то, спрошу я вас со всей серьезностью, действительно ли ничто не угрожает вашей красоте, вашему свету и вашему досугу? Вот мы разговариваем здесь, а от бесчисленных миров нас отделяет лишь тонкая преграда — мы даже не знаем, насколько тонкая. И при этой мысли, сэр, мне, стоящему здесь, среди безграничного золотого покоя вашей планеты, мне кажется, что я уже слышу топот голодных мириад, столь же яростных и столь же упорных, как крысы и волки, слышу рычание рас, закаленных в боли и жестокости,— слышу угрозу беспощадного героизма и безжалостной агрессии...

Он внезапно оборвал свою речь. Он чуть-чуть улыбнулся, мистеру Барнстейплу показалось, что он уже торжествует победу над Утопией. Он стоял, уперев руки в бока, и, словно согнув руками свой торс, вдруг угловато поклонился.

— Сэр,—сказал он с еле заметным пришепетыванием, устремив глаза на мистера Берли.— Я сказал все, что имел сказать.

Он повернулся и несколько мгновений смотрел на мистера Барнстейпла, сморщив лицо так, что казалось, будто он вот-вот подмигнет. Затем дернул головой, словно забивая затылком гвоздь, и вернулся на свое место.

5

Эрфред продолжал сидеть, опираясь локтем на колено и положив подбородок на ладонь. Он не столько отвечал мистеру Кэтскиллу, сколько рассуждал сам с собой.

— Энергия грызущей крысы, жадная настойчивость волка, механическое упорство ос, мух и болезнетворных микробов исчезли из нашего мира. Это верно. Мы уничтожили многие силы, пожиравшие жизнь. И при этом не потеряли ничего, о чем стоило бы жалеть. Боль, грязь, унижение как для нас самих, так и для любого другого существа уже исчезли без следа или же скоро исчезнут. Но неверно, что из нашего мира исчезло соревнование. Почему он утверждает это? Все наши мужчины и женщины работают в полную силу — ради общего блага и личной славы. Никому не дано ос-

вободить себя от труда и обязанностей, как освобождались от них люди в век хаоса, когда бесчестные и жадные жили и размножались в роскоши, пользуясь нерасчетливостью более благородных натур. Почему он утверждает, что мы дегенерируем? Ему ведь уже все объяснили. Для ленивых и малоспособных у нас нет питательной почвы. И почему он грозит нам воображаемыми вторжениями из других, более жестоких, более варварских миров? Ведь это мы по желанию можем открыть дверь в другую вселенную или опять ее захлопнуть. Ибо мы обладаем знанием. Мы можем пойти к ним — и когда мы будем знать достаточно, то так и поступим,— но они не могут прийти к нам. Только знание устраняет перегородки, разделяющие жизнь... Чем болен разум этого человека? Его собратья-земляне стоят еще только у самых начатков знания. С практической точки зрения они еще находятся на том этапе страха и религиозных запретов, который пережила и Утопия, прежде чем наступил век уверенности в себе и понимания. Именно этот этап и преодолевал наш мир в Последнем Веке Хаоса. Сознание этих землян изуродовано страхами и запретами, и, хотя они уже смутно чувствуют, что могут управлять своей вселенной, такая мысль слишком ужасна, чтобы они решились в нее поверить. Они чураются ее. Они попрежнему хотят верить, как верили их отцы, что кто-то управляет их вселенной, и управляет лучше, чем способны это делать они сами. Ведь в таком случае они получают свободу любыми средствами добиваться своих мелких, своекорыстных целей. Предоставьте мир на усмотрение бога, вопят они, или на усмотрение конкуренции.

— Мы предпочитаем для этого словечко «эволюция»,— заметил мистер Барнстейпл, глубоко заинтересованный его речью.

— Это одно и то же: бог ли, эволюция ли,— какое это имеет значение, если в любом случае вы подразумеваете силу, более могущественную, чем вы сами, оправдывая тем самым свое нежелание исполнять лежащий на вас долг. Утопия говорит: «Не предоставляйте мир самому себе. Подчиняйте его». Но эти земляне все еще не умеют видеть действительность такой, какова она есть. Вон тот человек в белом полотняном ошейнике боится даже смотреть на мужчин и женщин в их естествен-

ном виде. Его охватывает гнусное возбуждение при взгляде на самое обыкновенное человеческое тело. Вон тот человек с оптической линзой в левом глазу изо всех сил внушает себе, что за внешним миром таится мудрая Мать Природа, сохраняющая его в равновесии. Что может быть нелепее его Равновесия Природы? Неужели, имея глаза и оптическую линзу, он совсем слеп? А тот, кто говорил последним, и говорил с таким жаром, считает, что эта же самая Старуха Природа становится неисчерпаемым источником воли и энергии, стоит нам только подчиниться ее капризам и жестокостям, стоит нам начать подражать самым диким ее выходкам и угнетать, убивать, обворовывать и насиловать друг друга... Кроме того, он проповедует древний фатализм, считая его научной истиной... Эти земляне боятся увидеть, какова на самом деле наша Мать Природа. В глубине их душ еще живет желание отдаться на ее милость. Они не понимают, что она слепа и лишена воли, если отнять у нее наши глаза и нашу целеустремленность. Она не исполнена грозного величия, она отвратительна. Она не признает наших понятий о совершенстве — да и вообще никаких наших понятий. Она сотворила нас случайно. Все ее дети — незаконнорожденные, которых она не хотела и не ждала. Она лелеет их или бросает без ухода, ласкает, морит голодом или мучает без всякого смысла или причины. Она ничего не замечает. Ей все равно. Она может вознести нас на вершины разума и силы или унизить до жалкой слабости кролика или белой слизистой мерзости десятков тысяч изобретенных ею паразитов. В ней, безусловно, есть что-то хорошее, поскольку всем, что есть хорошего в нас, мы обязаны ей, но она исполнена и безграничного зла. Неужели вы, земляне, не видите ее грязи, жестокости и бессмысленной гнусности многих ее творений?

— Ого! Это, пожалуй, похуже, чем «Природа с окровавленными когтями и клыками»! — пробормотал мистер Фредди Маш.

— Все это очевидно,— размышлял Эрфред.— Если бы только они не боялись взглянуть в лицо правде! Когда мы впервые взялись за эту старую ведьму, нашу Матерь, на нашей планете многие живые организмы, даже более половины всех живых видов, тоже были безобраз-

ны или вредоносны, бессмысленны, несчастны, замучены всяческими сложными болезнями и до жалости не приспособлены к постоянно меняющимся условиям Природы. После долгих столетий борьбы мы сумели подавить ее наиболее отвратительные фантазии, умыли ее, причесали и научили уважать и почитать последнее дитя ее распутства — Человека. С Человеком в мир вошел Логос — Слово и Воля, чтобы наблюдать вселенную, страшиться ее, познавать и утрачивать страх, чтобы постичь ее, осмыслить и покорить. И вот теперь мы, люди Утопии, уже перестали быть забитыми, голодными детьми Природы — мы теперь ее свободные и взрослые сыновья. Мы взяли на себя управление имением нашей родительницы. Каждый день мы добиваемся все новой власти над нашей маленькой планетой. Каждый день наши мысли со все большей уверенностью устремляются к нашему наследию — к звездам. И к безднам за звездами и под ними.

— Вы уже достигли звезд? — воскликнул мистер Барнстейпл.

— Пока еще нет. Мы не побывали даже на соседних планетах. Но уже близко время, когда эти колоссальные расстояния станут доступными для нас...— Он помолчал.— Многим из нас придется отправиться в глубины пространства... Чтобы никогда не вернуться... Отдать жизнь... И в эти непознанные пространства бесчисленные мужественные люди...

Эрфред повернулся к мистеру Кэтскиллу и обратился прямо к нему:

— Ваши откровенно изложенные мысли показались нам наиболее интересными из всего, что мы услышали сегодня. Они помогут нам яснее понять прошлое нашего собственного мира. Они помогут нам разрешить важнейшую проблему, о которой мы сейчас вам расскажем. В нашей древней литературе двух-трехтысячелетней давности содержатся мысли и идеи, подобные вашим,— та же самая проповедь своекорыстного насилия как некоей добродетели. Однако даже тогда умные люди понимали всю ее ошибочность, как могли бы понять и вы, если бы не цеплялись упрямо за неверные взгляды. Но ваша манера держаться и говорить ясно показывает, что, произвольно признав что-либо истиной, вы будете настаивать на ней вопреки очевидности. Вы должны признать, что

ваша внешность не слишком красива, и, возможно, ваши удовольствия и самая манера жить также не очень красивы. Но вы наделены бурной энергией, и естественно, что вы любите волнения, связанные с риском, чтс лучшим даром жизни вы считаете ощущение борьбы и победы над противником. Кроме того, экономический хаос мира, подобного вашему, означает необходимость бесконечного и тяжкого труда — причем труда настолько неприятного, что всякий не совсем бесхарактерный человек старается, насколько возможно, избавиться от него и требует для себя исключения, ссылаясь на благородство происхождения, заслуги или богатство. Люди вашего мира, несомненно, легко внушают себе, что они имеют полное право на подобную привилегию,—это внушили себе и вы. Вы живете в классовом мире. Вашему плохо тренированному уму не пришлось самому отыскивать оправдания вашему привилегированному положению: класс, в котором вы родились, давно приготовил их для вас. И поэтому вы без малейших угрызений совести забираете себе все самое лучшее и пускаетесь во всевозможные рискованные авантюры, в основном за счет чужих жизней, причем ваше сознание, сформированное окружающей его средой, упорно отказывается допустить даже мысль о возможности обеспеченного и упорядоченного и в то же время деятельного и счастливого человеческого общества. Вы всю свою жизнь боролись против такой идеи, словно видели в ней своего личного врага. Она и была вашим личным врагом: она безоговорочно осуждает ваш образ жизни, она лишает ваши авантюры какого-либо оправдания. И теперь, своими глазами увидев прекрасную жизнь, сотворенную сознательно и последовательно, вы по-прежнему сопротивляетесь; вы сопротивляетесь, чтобы не впасть в отчаяние; вы пытаетесь доказать, что наш мир неромантичен, лишен деятельной энергии, упадочен, слаб. Ну... что касается вопроса о физической силе, пожмите руку юноши, который сидит рядом с вами.

Мистер Кэтскилл взглянул на протянутую ему руку и покачал головой с видом человека, которого не проведешь.

— Нет, лучше я послушаю вас,— сказал он.

— И все же, когда я говорю вам, что и наша воля и наши тела гораздо сильнее ваших, ваше сознание упря-

мо сопротивляется этому. Вы не хотите этому верить. Если на мгновение ваше сознание и признает это, оно тут же прячется за систему взглядов, предназначенную для защиты вашего самоуважения. Только один из вас приемлет наш мир, но и это объясняется тем, что его отталкивает ваш мир, а не тем, что его влечет наш. Я прихожу к заключению, что это неизбежно. Ваше сознание — это сознание Века Хаоса, воспитанное на противоречиях, на неуверенности в завтрашнем дне и на тайном своекорыстии. Так Природа и ваше государство научили вас жить, и так вы будете жить до самой смерти. Такие уроки могут быть забыты только через сто поколений, после трех тысячелетий правильного воспитания. И нас смущает вопрос: что с вами делать? Если вы будете уважать наши законы и обычаи, мы постараемся сделать для вас все, что в наших силах. Но мы понимаем, что это будет нелегко. Вы даже не представляете себе, насколько трудно будет вам преодолеть ваши привычки и предубеждения. Вы, здесь присутствующие, до сих пор вели себя очень разумно и корректно — если не в мыслях, то по крайней мере в поступках. Но сегодня нам пришлось узнать землян и с другой стороны — знакомство это было гораздо более трагичным. Ваше предсказание о вторжении к нам более жестоких и варварских миров уже сегодня нашло гротескное воплощение в реальности. Это правда: в людях Земли есть что-то хищное, крысиное и опасное. Вы не единственные земляне, проникшие в Утопию через дверь, которая на мгновение распахнулась сегодня. И другие тоже...

— Ну конечно же! — воскликнул мистер Барнстейпл.— И как это я раньше не догадался? Третий экипаж!

— В Утопию попала еще одна из этих ваших странных самодвижущихся машин.

— Серый автомобиль! — сказал мистер Барнстейпл мистеру Берли.— Он был впереди вас ярдов на сто, не больше.

— Старался обойти нас от самого Хайнслоу,— заметил шофер мистера Берли.— Машина — зверь!

Мистер Берли повернулся к мистеру Фредди Машу.

— Кажется, вы тогда узнали кого-то из пассажиров этого автомобиля?

— Я уверен, что видел лорда Барралонга, сэр, и, по-моему, мисс Гриту Грей.

— Там были еще двое,— добавил мистер Барнстейпл.

— Они осложнят положение, — заметил мистер Берли.

— Они его уже осложнили,— сказал Эрфред.— Они убили человека.

— Утопийца?

— Эти другие земляне — их пятеро,— чьи имена вы, по-видимому, знаете, попали в Утопию перед вашими двумя экипажами. Вместо того, чтобы остановиться, как сделали вы, оказавшись на незнакомой странной дороге, они, насколько можно судить, значительно увеличили скорость своего передвижения. Они обогнали нескольких прохожих, нелепо размахивая руками и издавая отвратительные звуки с помощью инструмента, специально для этого предназначенного. Затем на дорогу перед ними вышел серебристый гепард — они повернули прямо на него, переехали его и сломали ему позвоночник. И даже не задержались, чтобы поглядеть, что с ним сталось. Юноша, по имени Золото, выбежал на дорогу попросить их остановиться, но их машина сконструирована удивительно нелепо: она крайне сложна и нерациональна. Оказалось, что она не способна остановиться сразу. Она не обладает единым, полностью контролируемым двигателем. Она работает на каком-то сложном внутреннем противоречии, и экипаж движется вперед с помощью громоздкой зубчатой передачи на оси задних колес, на которых, как и на передних, расположены неуклюжие останавливающие устройства, основанные на принципе трения. По-видимому, можно, развив на этой машине предельную скорость, тут же заклинить колеса, чтобы помешать им вращаться. Когда юноша встал перед ними на дороге, они не были в состоянии остановиться. Возможно, они пытались это сделать. Так они, во всяком случае, утверждают. Их машина сделала опасный рывок в сторону и ударила его боком.

— И убила его?

— На месте. Его труп был страшно изуродован... Но даже это их не остановило. Они уменьшили скорость и начали торопливо совещаться, однако, заметив, что к до-

роге сбегаются люди, они вновь рванулись вперед и скрылись. По-видимому, ими овладела паника, страх перед лишением свободы и наказанием. Мотивы их поступков разгадать очень трудно. Как бы то ни было, они поехали дальше. Несколько часов они ехали все вперед и вперед, не останавливаясь. Один аэроплан был немедленно послан следовать за ними, а другой — расчищать им дорогу. Это было очень трудно, так как ни наши люди, ни наши животные не привыкли к подобным экипажам... и к подобному поведению. К середине дня они оказались в горах, и, по-видимому, наши дороги там были слишком скользкими и трудными для их машины. Она испускала странные звуки, словно лязгала зубами, и за ней тянулся синий парок с отвратительным запахом. На одном из поворотов, где ей следовало резко замедлить ход, она заскользила, пошла боком, сорвалась с обрыва и с высоты примерно в два человеческих роста упала в горный поток.

— И они были убиты? — спросил мистер Берли с некоторым облегчением, как показалось мистеру Барнстейплу.

— Все остались в живых.

— А-а! — протянул мистер Берли.— Ну и что же было потом?

— Один из них сломал руку, а другой разбил лицо. Двое остальных мужчин и женщина остались целы, если не считать нервного шока. Когда наши люди подошли к ним, четверо мужчин подняли руки над головой. По-видимому, они опасались, что их убьют тут же на месте, и таким образом просили пощады.

— И как вы с ними поступили?

— Мы намерены доставить их сюда. Нам кажется, будет лучше, если вы, земляне, будете находиться в одном месте. В данный момент мы не представляем, что с вами делать. Мы многое хотим узнать от вас и хотели бы относиться к вам по-дружески, если это окажется возможным. Выдвигалось предложение вернуть вас в ваш мир. В конечном счете это, пожалуй, наилучший выход. Но в настоящее время мы знаем еще слишком мало, чтобы осуществить это без всякого риска. Арден и Гринлейк, предпринимая попытку повернуть часть нашей материи в измерение F, предполагали, что она пройдет че-

рез пустое пространство. То, что вы оказались там и были увлечены в нашу вселенную,— это самое невероятное происшествие, какое только случалось в Утопии за многие тысячелетия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРИБЫТИЕ КОМПАНИИ ЛОРДА БАРРАЛОНГА

1

На этом беседа закончилась, но лорд Барралонг и его спутники были доставлены в Сады Совещаний, только когда уже давно стемнело. Все это время наши земляне могли ходить, куда им угодно, и делать, что им заблагорассудится, без всяких помех. Мистер Берли в обществе леди Стеллы и психолога, которого звали Лев, направился к озеру, задавая вопросы и отвечая на вопросы утопийца. Шофер мистера Берли с унылым видом бродил неподалеку по дорожкам, не выпуская из виду своего хозяина. Мистер Руперт Кэтскилл удалился с мистером Машем, держа его под руку, словно желая дать ему коекакие инструкции.

Мистеру Барнстейплу хотелось погулять в одиночестве, чтобы припомнить и хорошенько обдумать все удивительные откровения этого дня, а также чтобы свыкнуться с этим удивительно прекрасным миром — таким прекрасным и таким таинственным теперь, в сумерках, когда его деревья и цветы превращались в смутные и бесформенные переливы более прозрачного и более густого мрака, а четкие и стройные очертания его зданий растворялись в надвигающейся тьме.

Его слишком земные спутники стояли между ним и этим миром — если бы не они, казалось ему, он был бы принят здесь как свой. А пока он в этом мире только непрошеный и неуместный пришелец. И все же он уже любил его, тянулся к нему и страстно желал стать его частью. Ему все время чудилось, что если только он сумеет ускользнуть от своих спутников, если только он каким-то образом сумеет освободиться от своего земного одеяния и от всего того, что было в нем от Земли и связывало его с Землей, то через самый этот акт ос-

вобождения он станет для Утопии родным, и тогда его перестанет томить эта щемящая тоска, это гнетущее ощущение неприкаянности. Он внезапно преобразится в подлинного утопийца, и Земля, а не Утопия станет невероятным сном, который постепенно изгладится из его памяти и будет забыт навсегда.

Однако потребность отца Эмертона в слушателе на некоторое время сделала невозможным подобное отрешение от земных мыслей и предметов. Священник ни на шаг не отходил от мистера Барнстейпла, оглушая его непрерывным потоком вопросов и рассуждений, придававших утопийскому саду странное сходство с выставкой в Эрлкорте, которую они вместе осматривают и которая им обоим не нравится. Для него все это было, очевидно, настолько условным и нереальным, что, как казалось мистеру Барнстейплу, он нисколько не удивился бы, если бы через какую-нибудь щель до них вдруг донесся шум Эрлкортской железнодорожной станции и за кустом блеснул готический шпиль церкви Святого Варнавы.

Вначале мысли отца Эмертона были в основном поглощены тем фактом, что на следующий день им обещали «заняться» из-за его выходки во время беседы.

— Как это они могут мной заняться? — вопросил он в четвертый раз.

— Прошу прощения? — отозвался мистер Барнстейпл.

На каждый вопрос отца Эмертона мистер Барнстейпл упорно отзывался этой фразой, желая показать священнику, что он мешает ему думать. Но каждый раз, когда мистер Барнстейпл говорил свое «прошу прощения», отец Эмертон только рассеянно советовал: «Вам следовало бы обратиться к специалисту, чтобы проверить слух»,— и продолжал свою тираду.

— Как мной могут заняться? — осведомился он у мистера Барнстейпла и окружающей мглы.— Как это мной могут заняться?

— Ну, вероятно, с помощью чего-нибудь вроде психоанализа,— сказал мистер Барнстейпл.

— Чтобы играть в эту игру, нужны двое! — возразил отец Эмертон, но в его тоне мистеру Барнстейплу послышалось облегчение.— О чем бы они меня ни спраши-

вали, что бы они мне ни внушали, я не отступлю, я буду свидетельствовать...

— Не сомневаюсь, что им будет нелегко подавить ваше красноречие,— с горечью заметил мистер Барнстейпл.

Некоторое время они в молчании прогуливались среди высоких душистых кустов, усыпанных белыми цветами. Мистер Барнстейпл то убыстрял шаги, то замедлял их в надежде незаметно удалиться от отца Эмертона, но тот машинально следовал его примеру.

— Свальный грех,— вскоре вновь заговорил он.— Какое другое слово могли бы вы употребить?

— *Прошу прощения?* — почти огрызнулся мистер Барнстейпл.

— Какое другое слово мог бы я употребить вместо «свальный»? Чего еще можно ожидать от людей, разгуливающих в столь поразительно скудных костюмах, кроме нравов обезьянника? Они не отрицают, что у них практически не существует института брака.

— Это же другой мир,— с раздражением ответил мистер Барнстейпл.— Совсем другой мир.

— Законы нравственности обязательны для любого возможного мира.

— Даже для мира, где люди размножались бы почкованием и где не существовало бы полов?

— Требования нравственности были бы там проще, но суть их осталась бы прежней...

Вскоре мистер Барнстейпл вновь привычно попросил прощения.

— Я сказал, что это погибший мир.

— Он не похож на погибший,— возразил мистер Барнстейпл.

— Он отверг и забыл принесенное ему Спасение.

Мистер Барнстейпл сунул руки в карманы и начал тихонько насвистывать баркаролу из «Сказок Гофмана». Неужели отец Эмертон так и не оставит его в покое? Неужели нет способа избавиться от отца Эмертона? На выставках в Эрлкорте имелись проволочные корзины для бумажек, окурков и другого ненужного мусора. Вот если бы можно было запихнуть отца Эмертона в такое полезное приспособление!

— Им было даровано Спасение, а они его отвергли и почти забыли. Вот потому-то мы и были ниспосланы к

ним. Мы были посланы к ним, чтобы напомнить им о Единственной Истинно Важной Вещи, о Единственной Забытой Вещи. Вновь надлежит нам воздвигнуть целительный символ, как Моисей воздвиг его в пустыне. И долг, возложенный на нас, нелегок. Мы были посланы в этот ад чувственного материализма...

— О господи! — простонал мистер Барнстейпл и вновь принялся насвистывать баркаролу...— Прошу прощения! — вскоре воскликнул он вновь.

— Где Полярная звезда? Что случилось с Большой Медведицей?

Мистер Барнстейпл взглянул на небо.

Он как-то не задумывался о здешних звездах и, поднимая голову, был готов увидеть в этой новой вселенной самые непривычные созвездия. Однако как сама планета, как жизнь на ней, так и они оказались сходными с земными, и мистер Барнстейпл увидел над собой давно знакомые звездные узоры. Но точно так же, как утопийский мир все же не был абсолютно параллелен земному, так и эти созвездия были словно немного искажены. Орион, решил мистер Барнстейпл, расползся вширь, и с одного его края виднелась огромная незнакомая туманность, а Большая Медведица действительно расплющилась и вместо Полярной звезды указывала на темный провал в небесах.

— Их Полярная звезда исчезла! Большая Медведица перекосилась! В этом заложен глубочайший символический смысл,— сказал отец Эмертон.

Да, в этом, несомненно, можно было усмотреть глубочайшую символику: мистер Барнстейпл понял, что отец Эмертон вот-вот разразится новым ураганом красноречия. Он почувствовал, что пойдет на все, лишь бы избавиться от этой чумы.

2

На Земле мистер Барнстейпл всегда был безропотной жертвой всевозможных докучных собеседников, так как деликатность заставляла его всячески считаться с умственной ограниченностью, лежавшей в основе их бесцеремонной навязчивости. Но вольный воздух Утопии уже ударил ему в голову и освободил стремления, которые его

укоренившаяся привычка в первую очередь считаться с другими до сих пор держала в железной узде. Он был по горло сыт отцом Эмертоном; отца Эмертона нужно было отпугнуть, и он приступил к этой операции с прямолинейностью, которая удивила его самого.

— Отец Эмертон,— сказал он,— я должен сделать вам одно признание.

— О! — воскликнул отец Эмертон.— Пожалуйста... я к вашим услугам.

— Вы прогуливались со мной и кричали у меня над ухом столько времени, что я испытываю сильнейшее желание убить вас.

— Если мои слова попали в цель...

— Они не попали в цель. Они сливались в утомительный, бессмысленный, оглушительный шум. Я невыразимо от него устал. Он мешает мне сосредоточить внимание на окружающих нас чудесах. Мне не надо объяснять, какой символический смысл вы вкладываете в то, что здесь нет Полярной звезды. Вам незачем продолжать: этот символ напрашивается сам собой, но это натянутый и абсолютно неверный символ. Однако вы принадлежите к числу тех упрямых душ, которые вопреки очевидности верят в то, что вечные горы действительно вечны, а неизменные звезды останутся неизменными во веки веков. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько мне чужда и противна вся эта ваша ерунда. Право, в вас воплотилось все неверное, безобразное и невозможное, что только существует в католической религии. Я согласен с утопийцами: в вашем восприятии пола есть что-то болезненное — вероятно, какое-то неприятное впечатление вашего детства оставило уродливый след в вашем сознании — и все ваши непрерывные утверждения и намеки на якобы царящий здесь разврат возмутительны и гнусны. И точно такое же отвращение, злость и досаду вызываете вы у меня, когда начинаете рассуждать о религии как таковой. В ваших устах она превращается в мерзость, как превращается в мерзость плотская любовь. Вы грязный ханжа. То, что вы зовете христианством,— не более, как темное и уродливое суеверие, всего лишь предлог для мракобесия и гонений. Это надругательство над Христом. И если вы христианин, то я со всей страстью заявляю, что я не христианин. Но христианство имеет и другие истолкования, кро-

ме того, которое навязываете ему вы, и в определенном смысле эта Утопия — лучшее воплощение его заветов. И абсолютно недоступное вашему пониманию. Мы попали в этот великолепный мир, который по сравнению с нашим — то же, что хрустальная ваза по сравнению с ржавой жестянкой, и у вас хватает наглого бесстыдства утверждать, будто мы посланы сюда в качестве миссионеров, чтобы учить их бог знает чему!

— Да, бог *знает*, чему, — ответил несколько растерявшийся отец Эмертон, с честью выходя из положения.

— А... э...— и, поперхнувшись, мистер Барнстейпл на несколько секунд онемел.

— Прислушайтесь к моим словам, друг мой! — возопил отец Эмертон, вцепляясь в его рукав.

— Ни за что на свете! — воскликнул мистер Барнстейпл, отшатываясь.— Поглядите! Вон там, на берегу озера, видны темные фигуры. Это мистер Берли, мистер Маш и леди Стелла. Они привезли вас сюда. Они для вас свои, и вы для них свой. Если бы ваше общество было для них нежелательно, вы не ехали бы в их автомобиле. Идите к ним. Я требую, чтобы вы оставили меня в покое. Я отвергаю вас и не желаю иметь с вами ничего общего. Вот ваша дорога. А эта — в сторону беседки — моя. Не смейте идти за мной, или я прибегну к физическому воздействию, и утопийцам придется нас разнимать... Простите мою откровенность, мистер Эмертон. Но уйдите от меня! Уйдите!

Мистер Барнстейпл повернулся и, заметив, что отец Эмертон поглядывает на разветвление дорожек весьма нерешительно, опрометью кинулся бежать.

Он пробежал по аллее, окаймленной высокой живой изгородью, свернул вправо, а потом влево, миновал изогнутый мостик над водопадом, обдавшим брызгами его лицо, нарушил уединение двух пар влюбленных, нежно шептавшихся во мраке, помчался зигзагами по цветочному газону и наконец устало опустился на ступени лестницы, поднимавшейся к террасе, откуда открывался вид на озеро и горы, а вдоль балюстрады тянулся ряд каменных статуй, изображавших, насколько можно было судить в смутном свете, сидящих животных и людей, которые настороженно чего-то ждут.

— О милосердные звезды! — воскликнул мистер Барнстейпл.— Наконец-то я один!

Он долго сидел на ступенях, устремив взгляд на озеро и упиваясь сознанием, что хотя бы на краткий промежуток времени он и Утопия оказались лицом к лицу и между ними не стоит ничто земное.

3

Он не мог назвать этот мир миром своих грез, ибо никогда не осмеливался даже грезить о мире, который с такой точностью соответствовал бы самым заветным его желаниям и мечтам. Но тем не менее образ именно этого мира — или, во всяком случае, его точного подобия — стоял за мыслями и мечтами тысяч разумных, охваченных тревогой людей в мире хаоса и противоречий, из которого он попал сюда. Нет, Утопия не была местом застывшего покоя, безмятежного пресыщения, золотого декаданса, как пытался изобразить ее мистер Кэтскилл; мистер Барнстейпл видел, что этот мир был миром воинствующей энергии, побеждающей и стремящейся к победам, подчиняющей себе упрямые силы природы и самую материю, покоряющей безжизненные пустыни межзвездных пространств, торжествующей над всеми враждебными тайнами бытия.

В далеком прошлом Утопии, заслоняемые внешне блестящей, но пустопорожней возней политиканов вроде Берли или Кэтскилла и бешеной конкуренцией торгашей и эксплуататоров, во всех отношениях столь же гнусных и пошлых в своих устремлениях, как и их земные собратья, в этой Утопии без устали трудились незаметные и терпеливые мыслители и наставники, закладывая основы этой теперешней напряженной и благотворной деятельности. И как мало этих пионеров было вознаграждено хотя бы минутным провидением неизреченной прелести справедливого мира, который без них не возник бы!

Но даже и в дни Хаоса, во мраке ненависти, смятения и бед должно было существовать достаточно свидетельств прекрасных и благородных возможностей, которые таила в себе жизнь. Над самыми отвратительными трущобами сиял солнечный закат, взывая к людскому воображению, и снежные вершины, просторы долин, гор-

ные утесы и ущелья, вечно меняющееся грозное величие морей хоть на миг открывали людям великолепие вполне достижимого бытия. Каждый цветочный лепесток, каждый пронизанный солнцем лист, жизнерадостность юности, мгновения счастья, претворенные человеческим духом в произведения искусства,— все это должно было стать пищей для надежды, призывом к подвигу. И вот, наконец, этот мир!

Мистер Барнстейпл молитвенно простер руки к мириадам ласковых звезд над его головой.

— Мне было дано увидеть! — прошептал он.— Мне было дано увидеть...

То тут, то там в садах, спускающихся к озеру, в легких зданиях загорались огоньки, вспыхивали пятнышки золотистого света. Над головой, тихо жужжа, кружил аэроплан — еще одна звездочка.

Мимо него по ступеням сбежала тоненькая девушка, но, заметив его, остановилась.

— Вы ведь один из землян? — уловил он вопрос; неяркий луч, вырвавшийся из ее браслета, скользнул по его лицу.

— Я попал сюда сегодня,— ответил мистер Барнстейпл, щурясь и стараясь рассмотреть ее в темноте.

— Вы тот, который был один в жестяной машине с резиновыми воздушными мешками на колесах, очень ржавой снизу и выкрашенной в желтый цвет. Я ее видела.

— Это вовсе не такой уж плохой автомобильчик,— сказал мистер Барнстейпл.

— Сначала мы подумали, что жрец тоже ехал с вами.

— Он мне не друг.

— Давным-давно в Утопии тоже были такие жрецы. Они приносили людям много бед.

— Он был с остальными,— объяснил мистер Барнстейпл.— Они ехали отдыхать, и я сказал бы, что, пригласив его... они сделали ошибку.

Она уселась на ступеньку выше него.

— Как это странно, что вы вдруг попали из вашего мира сюда, к нам. А вам наш мир кажется удивительным? Наверное, очень многое из того, что для меня при-

вычно и обыкновенно, потому что я знаю это с рождения, вам должно представляться удивительным.

— Вам ведь еще не так много лет?

— Одиннадцать. Я сейчас изучаю историю Века Хаоса, а в вашем мире, говорят, еще продолжается Век Хаоса. Вы словно явились к нам из прошлого, из истории. Я была в Месте Совещаний, и я наблюдала за вашим лицом. Вам очень нравится наш сегодняшний мир, во всяком случае, гораздо больше, чем другим вашим соплеменникам.

— Я хотел бы прожить здесь всю свою остальную жизнь.

— Но возможно ли это?

— Почему же нет? Оставить меня тут будет легче, чем отослать обратно. Я не был бы особенно большой обузой. Я ведь прожил бы здесь только двадцать, ну, самое большее, тридцать лет и постарался бы научиться всему, чему мог, и делал бы все, что мне говорили бы.

— Но разве в вашем собственном мире вас не ждет никакая работа?

Мистер Барнстейпл ничего не ответил. Он словно не расслышал. Через одну-две минуты девочка снова заговорила:

— Говорят, что пока мы, утопийцы, юны, пока наше сознание и характер еще полностью не сформировались и не созрели, мы очень похожи на людей Века Хаоса. Мы в этот период бываем более эгоистичны — так нам объясняли; жизнь, окружающая нас, еще полна для нас стольких тайн, что нам бывает присуща тяга к приключениям, к романтике. Наверное, я пока еще эгоистична... и меня тянет к приключениям. И мне по-прежнему кажется, что в этом прошлом, несмотря на множество ужасов и жестокостей, все же было немало такого, от чего дух захватывало, самого замечательного... В нашем прошлом, которое так похоже на ваше настоящее... Что должен был чувствовать полководец, вступая в покоренный город? Или король на своей коронации? Или богач, изумлявший людей своей властью, своими благодеяниями? Или мученик, когда он шел на казнь во имя благороднейшего дела, которое его слепым современникам представлялось злом?

— В романах или исторических книгах такие вещи выглядят гораздо более заманчивыми, чем в жизни,— подумав, ответил мистер Барнстейпл.— Вы слушали мистера Руперта Кэтскилла, последнего из выступавших землян?

— Мысли его были романтичными, но вид у него совсем не романтичный.

— О, он прожил чрезвычайно романтичную жизнь. Он не раз доблестно сражался на войне. Его взяли в плен, а он бежал вопреки всем трудностям. Его буйное воображение принесло смерть тысячам людей. Скоро нам предстоит увидеть еще одну романтическую фигуру — лорда Барралонга, которого должны привезти сюда. Он сказочно богат — и он старается поражать людей своим богатством... совсем, как в ваших мечтах.

— Но это ему не удается?

— Трезвая действительность не похожа на романтические мечты,— ответил мистер Барнстейпл.— Он принадлежит к кучке богачей, бессмысленно прожигающих жизнь и разлагающих своим примером других. Они скучная обуза для самих себя и вредная помеха для всего остального мира. Они живут напоказ, и выдумки их всегда пошлы и вульгарны. Этот человек, Барралонг, в молодости был помощником фотографа и актером-любителем, но тут в нашем мире появилось изобретение, которое назвали кинематографом. Отчасти по воле случая, отчасти потому, что он бессовестно присваивал себе чужие изобретения, ему удалось стать одним из воротил в этом новом деле. Потом он занялся спекуляциями и прибрал к рукам торговлю замороженным мясом, которое мы в нашем мире должны привозить из далеких стран. Он заставил одних людей платить за пищу дороже, а других — у которых было мало денег — лишил ее вовсе и таким путем разбогател. Ведь в нашем мире богатства людям приносит не служение обществу, а цепкость и жадность. Разбогатев таким нечестным путем, он оказал кое-какие своевременные услуги некоторым нашим государственным деятелям, и они дали ему благородный титул лорда. Вам понятно то, что я говорю? Насколько ваш Век Хаоса был похож на нашу эпоху? Вы ведь не знали, что он был настолько безобразен. Простите, что я разрушаю ваши иллюзии относительно Века Хаоса и его ро-

мантического духа. Но ведь я только что покинул его пыль, шум и сумятицу, его ограниченность, жестокость и горе, его уныние, в котором гибнут надежды... Быть может, если мой мир влечет вас, вам когда-нибудь доведется, покинув все это, отправиться на поиски приключений среди его хаоса... это, бесспорно, будет замечательным приключением!.. Кто знает, как сложатся отношения между нашими мирами?.. Но он вам, боюсь, не понравится. Вы даже представить себе не можете всю его грязь... Грязь и болезни — они, как шлейф, тянутся за всякой романтикой...

Наступила тишина. Мистер Барнстейпл погрузился в размышления, а девочка смотрела на него и удивлялась.

Наконец он снова повернулся к ней.

— Сказать вам, о чем я думал, когда вы заговорили со мной?

— Скажите.

— Ваш мир — это воплощение того, о чем со времен древности грезили миллионы. Он удивителен. Он чудо, огромное, как небо. Но мне горько, что здесь со мной нет двух моих лучших друзей и они не могут увидеть того, что вижу я. Странно, что я все время думаю о них! Один уже ушел за пределы всех вселенных, но другой еще живет на нашей Земле. Вы учитесь, дорогая моя; у вас, мне кажется, учатся все. Но у нас такие люди, студенты, составляют особый мирок. Нам троим было хорошо вместе, потому что мы были студентами и еще не попали в тиски бессмысленного, изнуряющего труда, и нас нисколько не тревожило, что мы были отчаянно бедны и часто все трое голодали. Мы разговаривали, мы спорили между собой и в нашем студенческом дискуссионном клубе, обсуждая пороки нашего мира и средства покончить с ними. Существовала ли в вашем Веке Хаоса такая увлеченная, полная надежд нищенская студенческая жизнь?

— Продолжайте,— сказала девочка, не отводя взгляда от его профиля, казавшегося в темноте смутным пятном.— В старинных романах я читала именно о таком мире голодных студентов-мечтателей.

— Мы все трое были согласны в том, что больше всего наш мир нуждается в просвещении. Мы были согласны, что это — самое благородное дело, какое мы только можем избрать. И мы все трое, каждый по-своему, стара-

лись служить ему, и от меня было меньше всего пользы. Пути моих друзей и мой несколько разошлись. Они издавали замечательный ежемесячный журнал, который помогал объединению мира науки, а кроме того, этот мой друг редактировал для весьма осмотрительной и прижимистой издательской фирмы школьные учебники, возглавлял учительскую газету и обследовал школы для нашего университета. Он не думал ни о жалованье, ни о доходах и так и остался бедняком, хотя фирма неплохо наживалась на его работе; вся его жизнь была служением делу просвещения, за всю свою жизнь он не выбрал времени, чтобы отдохнуть хотя бы месяц. Пока он был жив, я не слишком высоко ценил его деятельность, но после его смерти мне не раз доводилось слышать от учителей, чьи школы он обследовал, и от авторов, чьи книги он редактировал, о том, как талантливо он работал, каким он всегда был терпеливым и доброжелательным. Вот на жизнях таких людей, как он, и возникла эта Утопия, где сейчас свободно расцветает ваша юная жизнь, моя дорогая; на таких жизнях и наш земной мир еще построит свою Утопию. Но жизнь моего друга оборвалась внезапно и настолько трагично, что мне и сейчас нестерпимо больно думать об этом. Последнее время он работал слишком напряженно, а обстоятельства не позволяли ему взять отпуск. Его нервная система с жестокой внезапностью сдала, он утратил ясность духа, им овладела острая меланхолия, и он... умер. Да, это правда: старуха Природа не знает ни справедливости, ни жалости. Это произошло несколько недель назад. Другой мой старый друг, я и его жена, которая всегда была его неутомимой помощницей, вместе провожали его в последний путь. И вот сейчас я вспоминаю все это с необычайной живостью. Я не знаю, как вы здесь поступаете со своими мертвецами, но на Земле их чаще всего погребают в земле.

— Нас сжигают,— сказала девочка.

— Наиболее свободомыслящие в нашем мире тоже предпочитают сожжение. К ним принадлежал и наш друг. После того, как закончился погребальный ритуал нашей древней религии, в которую мы больше не веруем, и его гроб, совсем скрытый под венками, медленно двинулся и исчез за воротами печи крематория, унося с собой такую огромную часть моей юности, я увидел, что

второй мой друг рыдает, и сам еле удержался от слез при мысли, что такая мужественная, отданная служению идее, исполненная трудов жизнь закончилась как будто столь бесславно и ненужно. Священник читал длинные поучения богословского писателя по имени Павел, полные путаных доказательств по аналогии и неубедительных утверждений. А я жалел, что мы вынуждены слушать мысли этого хитроумного писателя древности, вместо того чтобы услышать речь о глубоком благородстве нашего друга, о его замечательной и неутомимой работе, о его презрении ко всякой корысти. Всю свою жизнь он героически трудился во имя мира, подобного вашему, и все же не думаю, что он когда-либо подозревал о той более светлой, более благородной человеческой жизни, которую его жизнь, исполненная труда, и жизни других людей, таких же как он, сделали возможной в грядущем. Он жил верой. Он слишком напряженно жил верой. В его жизни было слишком мало солнечного света. Если бы я мог позвать его сюда — его и второго нашего друга, который так горько его оплакивал,— если бы я мог позвать их обоих сюда, мог бы обменяться с ними местом, чтобы и они увидели, как вижу я, истинное величие их жизни, отраженное в замечательных свершениях, ставших возможными благодаря людям, жившим, как жили они,— вот тогда, тогда радость, которую дарит мне Утопия, была бы поистине безграничной... А сейчас у меня такое чувство, словно я присвоил сбережения моего старого друга и трачу их на себя...

Мистер Барнстейпл внезапно вспомнил о возрасте своей собеседницы.

— Простите, милое дитя, что я позволил себе увлечься. Но ваш голос был таким добрым...

Вместо ответа девочка наклонилась, и его протянутой руки коснулись нежные губы.

Но она тут же вскочила, воскликнув:

— Взгляните на этот огонек среди звезд!

Мистер Барнстейпл тоже поднялся и встал рядом с ней.

— Это аэроплан, который везет лорда Барралонга и его спутников: лорда Барралонга, который сегодня убил человека! Скажите, он высокий и сильный, необузданный и замечательный?

Мистер Барнстейпл, охваченный внезапным сомнением, посмотрел на милое запрокинутое личико рядом с собой.

— Я никогда его не видел. Но, насколько мне известно, он довольно моложавый, плешивый низенький человек с больной печенью и почками. Благодаря этому последнему обстоятельству он не растратил свою юношескую энергию на забавы и развлечения, а всю ее посвятил приобретению собственности. И в конце концов смог купить высокий титул, который так поражает ваше воображение. Пойдемте со мной, и вы его сами увидите.

Девочка посмотрела ему в глаза. Ей было одиннадцать, но она была одного роста с ним.

— Неужели в прошлом не было никакой романтики?

— Только в юных сердцах. И она умерла.

— А теперь ее нет совсем?

— Романтика неисчерпаема — и она еще вся впереди. Она ждет вас.

4

После такого чудесного дня прибытие лорда Барралонга и его спутников было для мистера Барнстейпла неприятной разрядкой. Он устал, и вторжение в Утопию этих людей почему-то его раздражало.

Обе группы землян встретились в ярко освещенном зале, вблизи лужайки, на которую сел аэроплан, доставивший Барралонга. Новоприбывшие вошли тесной кучкой, растерянно мигая, измученные, испуганные. Несомненно, встреча с другими землянами их очень обрадовала: ведь они еще никак не могли понять, что, собственно, произошло. Они не присутствовали на спокойной и исчерпывающе ясной беседе в Месте Совещаний. Их прыжок в этот чужой мир по-прежнему оставался для них неразрешимой загадкой.

Лорд Барралонг оказался тем самым состарившимся эльфом, которого успел заметить мистер Барнстейпл, когда большой серый автомобиль обогнал его на Мейденхедском шоссе. Его приплюснутый череп напомнил мистеру Барнстейплу плоскую стеклянную пробку от флакона из-под лекарств. Раскрасневшееся лицо лорда Барралонга выглядело утомленным, костюм его был сильно помят, словно после драки, а одна рука висела на лубке; он

хитро и настороженно поглядывал по сторонам карими глазками, словно беспризорный мальчишка, которого держит за шиворот полицейский. По пятам за ним, как тень, следовал щуплый, похожий на жокея шофер, которого он называл Ридли. Лицо Ридли также хранило выражение железной решимости вопреки трудным обстоятельствам, в которых он очутился, не выдавать своих подлинных чувств. Его левая щека и ухо, пострадавшие при падении автомобиля, были все в полосках липкого пластыря. Мисс Грита Грей, дама из серого автомобиля, оказалась вызывающе красивой блондинкой в очень дорогом белом костюме спортивного покроя. Странные события, участницей которых она оказалась, как будто не произвели на нее ни малейшего впечатления. Она словно не замечала их необычайности. Держалась она с привычным высокомерием женщины, для которой недостойные посягательства на ее особу составляют почти профессиональный риск, где бы она ни находилась.

С ними вошли еще двое: американец с серым лицом и в сером костюме, тоже хитро и настороженно посматривавший по сторонам,— кинокороль Ханкер, как сообщил мистеру Барнстейплу мистер Маш,— и взъерошенный француз, щегольски одетый брюнет, довольно скверно говоривший по-английски,—несомненно, случайный гость в обычном окружении лорда Барралонга. Мистер Барнстейпл пришел к выводу (который в дальнейшем ничем не был опровергнут), что этот господин каким-то образом связан с кинематографией, благодаря чему оказался в радиусе гостеприимства лорда Барралонга и, будучи иностранцем, неосмотрительно согласился участвовать в поездке, не отвечавшей его вкусам и привычкам.

Пока лорд Барралонг и мистер Ханкер здоровались с мистером Берли и мистером Кэтскиллом, француз осведомился у мистера Барнстейпла, говорит ли тот по-французски.

— Я не понимаю,— сказал он.— Мы должны были ехать в Вильтшир... Уилтшир, и вдруг одна ужасная вещь следует за другой. Куда мы прибыли? И какие это здесь люди, столь превосходно говорящие по-французски? Это шутка лорда Барралонга, или сон, или что это?

Мистер Барнстейпл попытался растолковать ему, что произошло.

— Другое измерение...— протянул француз.— Другой мир. Это весьма мило. Но меня ждет дело в Лондоне. Не надо было меня возвращать таким способом во Францию, в подобие Франции, в другую Францию в другом мире. Это шутка не самого лучшего вкуса.

Мистер Барнстейпл пустился в дальнейшие объяснения, но недоумение на лице француза сказало ему, что он оперирует не слишком понятными словами. Он растерянно оглянулся на леди Стеллу и увидел, что она готова прийти к нему на помощь.

— Эта дама,— сказал он,— все вам объяснит. Леди Стелла, позвольте представить вам мосье...

— Эмиля Дюпона,— поклонился француз.— Я, как у вас говорят, журналист и публицист. Меня интересует кинематограф как средство просвещения и пропаганды. Вот почему я здесь с милордом Барралонгом.

Отличный французский язык составлял главный светский талант леди Стеллы. И теперь она с большой охотой пустила его в ход. Она принялась рассеивать недоумение мосье Дюпона и прервала это занятие только для того, чтобы сказать мисс Грите Грей, как ей приятно в этом чужом мире встретить другую женщину.

Освободившись от мосье Дюпона, мистер Барнстейпл отошел в сторону и оглядел землян в центре зала и стоящих вокруг внимательно слушающих, но каких-то обособленных утопийцев. Мистер Берли чуть-чуть свысока, но любезно беседовал с лордом Барралонгом, а мистер Ханкер как раз доканчивал фразу о том, как он рад познакомиться с «виднейшим государственным деятелем Англии». Мистер Кэтскилл стоял, дружески положив руку на плечо лорда Барралонга (они были давно знакомы), а отец Эмертон обменивался любезностями с мистером Машем. Ридли и Пенк минуту холодно посматривали друг на друга, а затем удалились в угол, чтобы шепотом обсудить техническую сторону происшествий этого дня. Никто не обращал внимания на мистера Барнстейпла.

Это было как встреча на вокзале. Как официальный прием. Это было совершенно невероятно и в то же время до ужаса обыденно. Как он устал! Он был невыносимо измучен непрерывным изумлением.

— Пойду спать! — Он неожиданно зевнул.— Пойду в свою кроватку!

Он прошел мимо дружески смотревших на него утопийцев и вновь оказался в тиши звездной ночи. Он кивнул неведомой туманности на краю Ориона, как замученный заботами отец может кивнуть шаловливому отпрыску. Этим он займется завтра. И, засыпая на ходу, он побрел через сад к отведенному ему домику.

Не успел он раздеться, как погрузился в глубокий сон, словно набегавшийся за день ребенок.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РАННЕЕ УТРО В УТОПИИ

1

Мистер Барнстейпл никак не мог очнуться от сладкой дремоты.

У него было смутное ощущение, что вот-вот оборвется чудесный сон. Он не открывал глаз, надеясь его продлить. Это был сон о замечательном мире красивых людей, избавившихся от тысяч земных бедствий. Но сновидения смешались, и мистер Барнстейпл забыл о них. Давно уже ему не снилось никаких снов. Он лежал не двигаясь, не открывая глаз, стараясь оттянуть минуту возвращения в обычную дневную колею.

Им уже вновь овладели заботы и тревоги последних двух недель. Удастся ли ему все-таки уехать отдохнуть в одиночестве? Тут он вспомнил, что уже спрятал саквояж с вещами в багажник Желтой Опасности. Но ведь это же было не вчера, а позавчера? И он уже отправился в путь — он вдруг вспомнил минуту отъезда и радостную дрожь, пробежавшую по его спине, когда он выехал за ворота, а миссис Барнстейпл так ничего и не заподозрила. Он открыл глаза и уставился в белый потолок, пытаясь сообразить, что было дальше. Он вспомнил, как свернул на Камберуэлл-нью-роуд, каким солнечным и пьянящим было утро... Потом Воксхолл-бридж и чудовищный затор у Гайд-парк Корнер. Он всегда говорил, что по западной части Лондона передвигаться на автомобиле куда труднее, чем по восточной. А что потом? Он

поехал в Оксбридж? Нет. Он вспомнил поворот на Слау, но дальше в его памяти был провал.

Какой прекрасный потолок! Ни трещинки, ни пятнышка!

Но все-таки как он провел остальную часть дня? Он, несомненно, куда-то приехал. Ведь сейчас он лежит в удобной постели — в превосходной постели. И слушает песенку малиновки. Он всегда утверждал, что хорошая малиновка поет лучше любого соловья, но эта была настоящим Карузо. Вот ей ответила другая! В июле-то! Пангборн и Кейвершем — чудесные соловьиные места. В июне. Но ведь сейчас июль... и вдруг малиновки... Но тут, заслоняя эти сонные призрачные мысли, в его мозгу всплыла фигура мистера Роберта Кэтскилла — руки уперты в бока, голова и подбородок выставлены вперед: он говорит... и говорит удивительные вещи. Он обращается к сидящему перед ним нагому человеку с серьезным внимательным лицом. А рядом с ним еще такие же фигуры. У одной — лицо Дельфийской Сивиллы. И тут мистер Барнстейпл припомнил, что каким-то образом оказался в обществе людей, отправлявшихся на воскресенье в Тэплоу-Корт. Может быть, эта речь была произнесена в Тэплоу-Корт? Но в Тэплоу-Корт люди ходят одетыми. Хотя, быть может, аристократия в тесном кругу...

Утопия?.. Но возможно ли это?

Мистер Барнстейпл привскочил на постели вне себя от изумления.

— Невозможно! — отрезал он.

Он лежал в небольшой полуоткрытой лоджии. Между витыми стеклянными колонками он увидел цепь снежных гор, а совсем рядом — чащу высоких растений с кистями темно-красных цветов. Птичка по-прежнему распевала свою песенку — облагороженная малиновка в облагороженном мире. Теперь он вспомнил все. Теперь все стало ясно. Внезапный рывок автомобиля, звук лопнувшей скрипичной струны и... Утопия! И все, что было дальше, от мертвой красавицы Гринлейк до появления лорда Барралонга под чужими незнакомыми звездами. Это был не сон. Он взглянул на свою руку, лежавшую на удивительно легком одеяле. Он пощупал свой колючий подбородок. Этот мир был настолько реален, что в

нем приходилось думать о бритье... и испытывать настоятельную потребность в обильном завтраке. Весьма настоятельную (ведь он вчера не ужинал). И, словно в ответ на эти мысли, на лестнице, ведущей в его спальню, появилась улыбающаяся девушка с подносом в руках. Нет, в пользу мистера Берли можно было бы сказать очень многое! Ведь это его быстрой государственной мысли мистер Барнстейпл обязан желанной чашкой утреннего чая.

— Доброе утро,— сказал мистер Барнстейпл.

— А почему бы и нет? — отозвалась юная утопийка, отдала ему поднос и, улыбнувшись материнской улыбкой, ушла.

— А почему бы утру и не быть хорошим — вот что, вероятно, она имела в виду,— пробормотал мистер Барнстейпл и на несколько секунд погрузился в размышления, упираясь подбородком в колени. Затем он воздал должное чаю и хлебу с маслом.

2

Маленькая туалетная, где его одежда валялась так, как он бросил ее накануне, была одновременно и очень просто обставлена и очень интересна для мистера Барнстейпла. Шлепая босыми ногами и что-то напевая себе под нос, он бродил по ней и внимательно все осматривал.

Ванна была гораздо менее глубокой, чем обычные земные ванны; по-видимому, у утопийцев не было привычки нежиться в горячей воде. И форма всех других предметов была необычна — они были проще и изящнее земных. На Земле, размышлял мистер Барнстейпл, искусство во многом сводилось к удачному выходу из трудного положения. Художник выбирал из очень ограниченного количества неподатливых материалов и подчинялся определенным потребностям, так что его труд сводился к остроумному примирению неподатливости и потребности, конкретных особенностей материала и эстетических представлений, укоренившихся в человеческом сознании. Какую изобретательность приходилось, например, проявлять земному столяру, умело использующему текстуру и свойства того или иного сорта дерева! Но

здесь у художника был неограниченный выбор материалов, и элемент остроумного приспособления к необходимости исчез из его творчества. Он учитывал только потребности человеческого сознания и тела. В этой небольшой комнате не было ничего эффектного, но каждый предмет оказывался очень удобным и прямо говорил о своем назначении. Если вы начинали плескаться в ванне, продуманный желобок на ее краю спасал пол от воды.

В корзиночке над ванной лежала отличная и очень большая губка. Значит, утопийцы либо, как в старину, ныряют за губками, либо выращивают их искусственно, а может быть (тут всего можно ждать!), выдрессировали их добровольно всплывать на поверхность.

Расставляя свои туалетные принадлежности, мистер Барнстейпл смахнул со стеклянной полочки стаканчик, но он не разбился. Мистер Барнстейпл не мог удержаться от эксперимента и снова его уронил. Стаканчик опять не разбился.

Сперва он никак не мог отыскать кранов, хотя в комнате, помимо ванны, был и большой умывальник. Затем он увидел в стене несколько кнопок с черными значками, которые могли быть утопийскими буквами. Он начал экспериментировать. В ванну потекла сначала горячая, а потом ледяная вода; еще одна кнопка включала теплую и, по-видимому, мыльную воду, а две другие — какую-то жидкость, пахнущую сосной, и жидкость, чуть-чуть отдающую хлором. Утопийские буквы на этих кнопках дали ему новую пищу для размышлений — это были первые надписи, которые он здесь увидел. Судя по всему, каждая буква обозначала целое слово, но изображали ли они звуки или были упрощенными пиктограммами, он решить не мог. Тут он задумался совсем о другом: единственным металлом в комнате было золото. Оно тут виднелось повсюду. Стены были инкрустированы золотом. Светло-желтые полоски блестели и переливались. Золото в Утопии, по-видимому, было очень дешево. Возможно, они умели его делать. Он заставил себя очнуться и занялся своим туалетом. В комнате не было зеркала, но когда он дернул то, что принял за ручку стенного шкафа, перед ним открылось трехстворчатое трюмо. Впоследствии он узнал, что в Утопии все зеркала закрывались. Утопийцы, как ему удалось выяснить, считали не-

приличным такое напоминание человеку о его образе. У них было принято утром внимательно осматривать себя, убеждаясь, что все в порядке, а потом забывать о своей особе до конца дня.

Мистер Барнстейпл неодобрительно оглядел свою пижаму и небритый подбородок. Почему респектабельным пожилым людям положено носить такие омерзительные розовые пижамы в полосочку? Когда он достал из саквояжа щеточку для ногтей, зубную щетку, бритвенную кисточку и резиновую рукавицу для мытья, они показались ему грубыми, как площадные шутки. Особенно непристойный вид имела зубная щетка. Ну почему он не купил новую в аптеке у вокзала Виктория?

А какая неприятная, странная штука — его одежда.

На мгновение он поддался нелепому желанию последовать утопийской моде, но взгляд в зеркало отрезвил его. Тут он вспомнил, что захватил с собой теннисные брюки и шелковую рубашку. Так он, пожалуй, и оденется — не надо ни запонок, ни галстука; а ходить можно будет босиком.

Он посмотрел на свои ступни. С земной точки зрения они были даже очень недурны. Но на Земле их красота пропадала втуне.

3

Вскоре из домика навстречу утопийской заре вышел необыкновенно чистый и сияющий мистер Барнстейпл — одетый в белое, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки и босой. Он улыбнулся, вскинул руки над головой и глубоко вдохнул душистый воздух. И вдруг на лице его появилась мрачная решимость.

Из другого спального домика, всего ярдах в двухстах от него, вышел отец Эмертон. Шестое чувство подсказало мистеру Барнстейплу, что преподобный отец намерен либо простить вчерашнюю ссору, либо быть за нее прощенным. Выберет ли он роль оскорбителя или жертвы, зависело от случайности, но, как бы то ни было, он испортит унылой жвачкой личных эмоций и взаимоотношений алмазную ясность и блеск этого утра. Чуть справа и впереди мистер Барнстейпл увидел широкую лестницу, ведущую к озеру. Три быстрых шага — и он уже мчался по ней вниз, прыгая через две ступеньки. Мо-

жет быть, виной тому был испуг, но, во всяком случае, ему казалось, что за его спиной раздается голос кинувшегося в погоню отца Эмертона:

— Мистер Ба-а-рнстейпл!

Мистер Барнстейпл, петляя, как заяц, выскочил на мостик, перекинутый через глубокий овраг,— мостик, сложенный из огромных камней, с крышей, которую со стороны озера поддерживали легкие хрустальные колонки. Солнечные лучи дробились в их призматических гранях и рассыпались красными, синими и золотыми бликами. Затем в зеленом уголке, расцвеченном голубыми горечавками, он чуть было не сбил с ног мистера Руперта Кэтскилла. На мистере Кэтскилле был тот же костюм, что и накануне, только без серого цилиндра. Он прогуливался, заложив руки за спину.

— Ого! — сказал он.— Куда это вы так торопитесь? Мы ведь как будто встали первыми...

— Я увидел отца Эмертона...

— Все понятно. Предпочли избежать заутрени, обедни или как он их там называет? И скрылись. Мудро, мудро. Он помолится за нас всех. Включая и меня.

Не дожидаясь ответа мистера Барнстейпла, он продолжал:

— Вам хорошо спалось? Как вам показался ответ старичка на мою речь? А? Избитые увертки! Когда не знаешь, что сказать, ругай адвоката истца. Мы с ним не согласны потому, что у нас дурные сердца.

— О каком старичке вы говорите?

— О почтенном джентльмене, который выступал после меня.

— Об Эрфреде? Но ведь ему нет и сорока!

— Ему семьдесят три года. Он нам потом сказал. Они тут живут долго — прозябают, вернее сказать. Наша жизнь, с их точки зрения,— бурная лихорадка. Но, как сказал Теннисон: «Лучше двадцать лет в Европе, чем в Китае двести лет!» А? Он уклонился от ответа на мои доводы. Это Страна Золотого Покоя, Страна Заката; нам не скажут спасибо за то, что мы потревожили ее дремоту.

— Я не сказал бы, что они тут дремлют.

— Значит, и вас укусила муха социализма. Да-да, я вижу, так оно и есть. Поверьте мне, более полную

картину декаданса и вырождения трудно себе представить. Налицо все признаки. И мы нарушим их сон, можете не сомневаться! Ведь, как вы еще убедитесь, Природа — наша союзница, и поможет она нам самым неожиданным образом.

— Но я не вижу никаких признаков вырождения,— сказал мистер Барнстейпл.

— Нет слепоты хуже слепоты тех, кто не хочет видеть! Да они повсюду! Это их избыточное, раздутое псевдоздоровье. Словно откормленный скот. А их поведение в отношении Барралонга? Они не понимают, что с ним надо делать. Они даже не арестовали его. Они уже тысячу лет никого не арестовывали. Он очертя голову мчится по их стране, убивая, давя, пугая, нарушая общественное спокойствие, а они впадают в отупение, поверьте мне, сэр, в полнейшее отупение. Словно взбесившаяся собака бесчинствовала в овечьем стаде. Если бы его автомобиль не перевернулся, он и сейчас, наверное, носился бы по стране, трубя, гремя и убивая людей. Они утратили инстинкт защиты общества.

— Сомневаюсь.

— Весьма похвальное состояние ума. Если им не злоупотреблять. Но когда вы кончите сомневаться, вы убедитесь в моей правоте. А? Позвольте! Вон там, на террасе... По-моему, это милорд Барралонг и его приятель-француз? Да, это они. Дышат свежим воздухом. С вашего разрешения, я пойду поболтать с ними. Как вы сказали, где сейчас может быть отец Эмертон? Я не хочу мешать его молитвам. Ах, вон там! Ну, так если я возьму правее...

И он удалился, дружески подмигнув через плечо.

4

Продолжая прогулку, мистер Барнстейпл увидел двух садовников-утопийцев.

Они срезали сухие веточки и осыпавшиеся цветы с колючего кустарника, который тянулся по каменному склону, весь в багряно-алой пене огромных роз. На садовниках были большие кожаные рукавицы и фартуки из дубленой кожи. Они орудовали крючками и ножницами. Рядом стояли две легкие серебристые тачки.

Мистеру Барнстейплу никогда не приходилось видеть таких роз. Воздух вокруг был напоен их благоуханием. И чтобы махровые розы росли так высоко в горах? В Швейцарии он на довольно большой высоте видел обыкновенные красные розы, но не таких пышных гигантов. Рядом с этими цветами листья на кустах казались совсем крохотными. Длинные, усаженные шипами красноватые стебли змеились среди огромных камней, служивших им опорой, а большие лепестки, словно красная метель, словно алые бабочки, словно капли крови, падали на рыхлую землю между бурых камней.

— Вы первые утопийцы, которых я вижу за работой,— сказал он.

— Это не работа,— с улыбкой отозвался садовник, стоявший ближе к нему, белокурый, веснушчатый, голубоглазый юноша.— Но раз мы отстаиваем эти розы, нам приходится о них заботиться.

— Это ваши розы?

— Очень многие считают, что с махровыми горными розами слишком много возни, а их ползучие стебли и шипы вообще неприятны. Другие находят, что на такой высоте следует выращивать простые розы, а эта прелесть пусть вымирает! А вы за наши розы?

— За эти розы? Всей душой! — отозвался мистер Барнстейпл.

— Вот и хорошо! В таком случае пододвиньте-ка, пожалуйста, мою тачку поближе сюда, чтобы удобнее было складывать мусор. Мы отвечаем за хорошее поведение всей этой чащи, а она тянется вниз почти до самого озера.

— И вы должны сами о ней заботиться?

— А кто это сделает за нас?

— Но не могли бы вы нанять кого-нибудь... заплатить, чтобы кто-нибудь другой взялся ухаживать за кустами?

— О окаменевший реликт седой старины! — ответил юноша.— О ископаемый невежда из варварской вселенной! Или тебе непонятно, что в Утопии нет класса тружеников? Он вымер полторы тысячи лет назад. Наемное рабство, паразитизм — со всем этим давно покончено. Мы читаем о таких вещах в книгах. Тот, кто любит розу, должен служить розе... своими руками.

— Но ведь вы работаете.

— Не ради денег. Не потому, что кто-то другой что-то там любит или чего-то желает, но по лени не хочет служить этому сам или добыть для себя желаемое. Мы работаем — частица разума и частица воли всей Утопии.

— Могу ли я спросить, в чем заключается ваша работа?

— Я исследую недра нашей планеты и изучаю химию высоких давлений. А мой друг...

Он, очевидно, окликнул своего друга, и над цветочной пеной внезапно возникло смуглое лицо с карими глазами.

— Я занимаюсь пищей.

— Вы повар?

— В некотором роде. В данное время я занимаюсь едой для вас, землян. Ваши блюда чрезвычайно интересны и забавны, но, я бы сказал, довольно вредны. Я планирую ваше кормление... Вы как будто встревожились? Но вашим завтраком я занимался вчера.— Он взглянул на крохотные часы под раструбом кожаной рукавицы.— Он будет готов через полчаса. Как вам понравился утренний чай?

— Он был превосходен,—ответил мистер Барнстейпл.

— Отлично,— сказал смуглый юноша.— Я старался, как мог. Надеюсь, что завтрак вам тоже понравится. Мне вчера вечером пришлось слетать за двести километров, чтобы раздобыть свинью, и самому заколоть ее, разделать тушу и научиться ее коптить. В Утопии уже давно не едят копченой грудинки. Надеюсь, моя поджарка придется вам по вкусу.

— Вам, очевидно, пришлось заниматься копчением в большой спешке,— заметил мистер Барнстейпл.— Мы обошлись бы и без грудинки.

— Но ваш оратор — тот, кто говорил от имени всех вас,— очень настаивал на ней.

Белокурый юноша выбрался из кустов и покатил свою тачку по дорожке. Мистер Барнстейпл пожелал смуглолицему доброго утра.

— А почему бы и нет? — удивленно спросил смуглый юноша.

5

Тут мистер Барнстейпл заметил, что к нему приближаются Ридли и Пенк. Пластырь по-прежнему украшал щеку и ухо мистера Ридли, и весь его вид говорил о настороженности и тревоге. Пенк шел в нескольких шагах позади него, прижимая руку к щеке. Оба были одеты в свои профессиональные костюмы — кепи с белым верхом, кожаные куртки, черные гетры; никаких уступок утопийским вольностям.

Ридли заговорил еще издалека:

— Вы случайно не знаете, мистер, куда эти самые декаденты загнали наш автомобиль?

— Но ведь он разбился?

— «Роллс-ройс»?! Как бы не так! Ветровое стекло, может, и разбилось, крылья там помялись, подножки. Мы ведь опрокинулись набок. Надо бы на него поглядеть. И я ведь не перекрыл бензопровод. А карбюратор малость течет. Моя вина. Не прочистил отстойник. А если бензин весь вытечет, в этом чертовом эдеме другого, небось, не достанешь! Что-то тут с заправочными станциями не густо. А если машина не будет на ходу, когда лорд Барралонг ее спросит, жди грома.

Мистер Барнстейпл не имел ни малейшего представления о том, где могут находиться автомобили.

— А ведь вы вроде как на своей машине были? — спросил Ридли с упреком.

— Да. Но я о ней ни разу не вспомнил.

— Владелец-водитель, одно слово,— ядовито сказал Ридли.

— Но как бы то ни было, я ничем не могу вам помочь. А вы спрашивали про автомобили у кого-нибудь из утопийцев?

— Еще чего! Нам не нравятся их рожи.

— Но они вам сказали бы.

— И стали бы поглядывать, как там и что. Не так-то часто им выпадает случай заглянуть в «роллс-ройс». Не успеешь оглянуться, как они их угонят. Мне это место не нравится. И эти люди тоже. Они все тут тронутые. И про всякий стыд забыли. Его сиятельство говорит, что они дегенераты, все до единого, и, на мой взгляд, так оно и есть. Я сам не пуританин, а все-таки на людях на-

гишом расхаживать — это уж чересчур. Куда они только могли запрятать машины?

Мистер Барнстейпл поглядел на Пенка.

— Вы ушибли лицо? — спросил он.

— Так, немножко,— ответил Пенк.— Пойдем, что ли?

Ридли поглядел на Пенка и перевел взгляд на мистера Барнстейпла.

— Его маленько контузило,— заметил он, и выражение его лица стало не таким кислым.

— Пошли, а то мы так машин и не отыщем,— перебил его Пенк.

Губы Ридли расползлись в веселую улыбку.

— Он напоролся мордой на кое-что.

— Да ну, заткнись! — пробормотал Пенк.

Но шутка была слишком хороша, чтобы Ридли мог не поделиться ею.

— Одна из здешних девок съездила его по роже.

— Как же это? — спросил мистер Барнстейпл.— Неужели вы позволили себе...

— Ничего я не позволял!— огрызнулся Пенк.— Но раз уж мистеру Ридли захотелось языком потрепать, так уж лучше я сам расскажу, как все было. Отсюда и видно, что, попав к психованным дикарям, вот как мы теперь, так и жди чего угодно.

Ридли ухмыльнулся и подмигнул мистеру Барнстейплу.

— Ох, и въехала же она ему! Он сразу кувыркнулся. Он ей руку на плечо, а она — раз! И он уже валяется. В жизни такого не видел.

— Очень неприятное происшествие,— сказал мистер Барнстейпл.

— Да случилось-то все за одну секунду.

— Очень жаль, что это вообще случилось.

— А вы, мистер, не воображайте того, чего не было, а разберитесь, прежде чем говорить,— отрезал Пенк.— Я лишних разговоров не хочу... мистер Берли мне этого так не спустит. Жалко, конечно, что мистер Ридли не мог придержать язык. И чего она взъелась, я не знаю. Влезла ко мне в комнату, когда я одевался, а на самой-то и вообще ничего, и по виду — девчонка свойская, ну, и приди мне в голову сказать ей кое-что — так, пошутить. За своими мыслями-то не уследишь, так ведь? Муж-

чина — это все-таки мужчина. И если от мужчины требовать, чтобы он и в мыслях себе ничего не позволил с девками, которые расхаживают в чем мать родила, так уж... Дальше некуда, одно слово! Это значит идти поперек человеческой природы. Я ведь вслух не сказал... того, о чем подумал. Мистер Ридли — свидетель. Я ей ни словечка не сказал. Рта не раскрыл, а она драться. С ног сшибла, как кеглю. А сама вроде даже не рассердилась. Дала мне по скуле ни с того ни с сего. Я больше от удивления свалился.

— Но Ридли говорит, что вы прикоснулись к ней.

— Ну, может, положил ей руку на плечо, по-братски, так сказать, когда она повернулась уходить,— я ведь не отказываюсь, что хотел с ней заговорить. И вот вам! А если мне еще терпеть придется за то, что меня же избили без всякого повода с моей стороны!..

И Пенк завершил свою фразу выразительным жестом глубочайшего отчаяния и негодования.

Подумав, мистер Барнстейпл сказал:

— Я не собираюсь навлекать на вас неприятности. Но тем не менее мне кажется, что мы должны быть очень осторожны с утопийцами. Их обычаи не похожи на наши.

— И слава богу! — вставил Ридли.— Чем скорее я уберусь из этой дыры назад в старушку Англию, тем приятней мне будет.— Повернувшись, чтобы уйти, он бросил через плечо: — Послушали бы вы его сиятельство! Он говорит, что это не мир, а сборище чистых дегенератов... паршивых дегенератов, а уж если правду сказать, то, с вашего разрешения, Х! Х! Х! Х! дегенератов. Э? Лучше про них не скажешь.

— Рука этой девушки как будто не была слишком уж дегенеративной,— заметил мистер Барнстейпл, с честью выдержав залп.

— Да? — злобно пробурчал Ридли.— Как бы не так! Самый что ни на есть первый признак дегенерации — это когда баба сшибает человека с ног. Это уж значит идти наперекор закону природы. В мире, где живут приличные люди, такого и быть не может. Это уж так.

— Это уж так,— подтвердил Пенк.

— В нашем мире такую девчонку научили бы, как следует себя вести. И скоро! Ясно?

Но в эту минуту рассеянно блуждавший взгляд мистера Барнстейпла упал на отца Эмертона, который торопливо шагал к ним по лужайке, жестами убеждая подождать его. Мистер Барнстейпл понял, что нельзя терять ни секунды.

— А! Вот идет тот, кто сумеет помочь вам отыскать автомобили, если только захочет. Отец Эмертон — это человек, который всегда готов прийти на помощь. И его взгляд на женщин совпадает с вашим. Вы с ним, несомненно, отлично поладите. Если вы остановите его и изложите все дело ясно и обстоятельно.

И мистер Барнстейпл быстрым шагом направился к озеру.

Где-то поблизости должно было находиться маленькое шале и пристань с пестрыми лодками.

Если ему удастся уплыть на одной из них на середину озера, он сильно затруднит отцу Эмертону его задачу. Даже если эта святая душа последует его примеру. Гоняясь по озеру за другой лодкой, трудно произносить душещипательные речи с надлежащим чувством.

6

Мистер Барнстейпл уже отвязывал облюбованную им белоснежную байдарку, на носу которой был нарисован большой синий глаз, когда на пристани появилась леди Стелла. Она вышла из беседки, стоявшей у самой воды, и торопливость ее походки заставила мистера Барнстейпла заподозрить, что она там пряталась. Оглянувшись, леди Стелла поспешно сказала:

— Вы собираетесь покататься по озеру, мистер Барнстейпл? Можно мне с вами?

Он заметил, что ее костюм представляет собой компромисс между земной и утопийской модами. На ней был не то чрезвычайно простой домашний туалет, не то весьма замысловатый купальный халат кремового цвета. Ее тонкие красивые руки были совсем обнажены, если не считать золотого браслета с янтарями, а босые ножки — очень хорошенькие ножки — обуты в сандалии. Она была без шляпы, а просто уложенные черные волосы покрывала черная с золотом сетка, очень шедшая к ее тонкому умному лицу. Мистер Барнстейпл отнюдь не был

знатоком в дамских нарядах, но и он с одобрением заметил, что она сумела уловить утопийский стиль.

Он помог ей спуститься в лодку.

— Давайте скорее отплывем... и подальше,— сказала она, вновь оглядываясь через плечо.

Некоторое время мистер Барнстейпл прилежно греб прямо вперед, так что он видел перед собой только сверкающую на солнце воду, небо, невысокие холмы, уходящие вдоль берегов озера к большой равнине, могучие быки далекой плотины и леди Стеллу. Она, словно завороженная красотою видов Места Совещаний позади него, не отводила взгляда от садов, изящных домиков и террас, но мистер Барнстейпл скоро заметил, что она не столько любуется всей картиной, сколько напряженно отыскивает какой-то определенный предмет или определенное лицо. Леди Стелла, чтобы нарушить невежливое молчание, обронила несколько фраз о прелести утра и о том, что птицы поют в июле.

— Но ведь здесь сейчас не обязательно июль,— сказал мистер Барнстейпл.

— Как глупо с моей стороны не подумать об этом! Ну конечно же!

— Здесь, по-моему, сейчас чудесный май.

— Кажется, еще очень рано,— заметила она.— Я забыла завести свои часы.

— В наших двух мирах, как ни странно, время суток, кажется, совпадает,— сообщил мистер Барнстейпл.— На моих часах семь.

— Нет,— сказала леди Стелла, по-прежнему устремив взгляд на удалявшиеся сады и отвечая на свои мысли.— Это утопийка. Вы встречали кого-нибудь еще... из наших... сегодня утром?

Мистер Барнстейпл повернул байдарку так, чтобы тоже видеть сады.

Отсюда они могли рассмотреть, с каким совершенством массивные террасы, стены, сдерживающие лавины, и водостоки вписываются в окружающий горный пейзаж, перемежаясь и сливаясь с отрогами и утесами вздымающегося позади могучего пика. Выше на склонах кустарник сменялся лепившимися по обрыву соснами, бурные потоки и водопады, питаемые вечными снегами, перехватывались плотинами и направлялись к изумрудным

лужайкам и садам Места Совещаний. Террасы, которые удерживали почву и составляли основу всего парка, тянулись вправо и влево, теряясь в голубой дали, а в глубине смыкались с горными обрывами; они были сделаны из многоцветного камня — от темно-красного до белого с лиловыми прожилками — и прерывались гигантскими арками, перекинутыми через потоки и ущелья, огромными круглыми отверстиями водостоков, из которых били мощные струи, и каскадами лестниц. На этих террасах и на травянистых склонах, которые они поддерживали, поодиночке и группами были разбросаны строения — лиловые, синие, белые, такие же легкие и изящные, как окружавшие их горные цветы. Несколько секунд мистер Барнстейпл созерцал эту картину в немом восхищении и только потом ответил на вопрос леди Стеллы.

— Я говорил с мистером Рупертом Кэтскиллом и двумя шоферами,— сказал он,— а кроме того, издали видел отца Эмертона, лорда Барралонга и мосье Дюпона. Мистера Маша и мистера Берли я не видел совсем.

— О, мистер Сесиль встанет еще не скоро. Он будет спать до десяти или одиннадцати часов. Он всегда проводит в постели все утро, если ему днем предстоит большое умственное напряжение.

Леди Стелла помолчала, а потом нерешительно спросила:

— А мисс Гриту Грей вы не видели?

— Нет,— ответил мистер Барнстейпл.— Я не искал общества наших соотечественников. Я просто гулял... и уклонялся от встречи...

— С блюстителем нравов и цензором костюмов?

— Да... Собственно говоря, потому-то я и решил покататься по озеру.

После минутного размышления леди Стелла, очевидно, решила быть с ним откровенной.

— Я тоже кое от кого спасалась.

— Не от нашего ли проповедника?

— От мисс Грей.

И, сказав это, леди Стелла, казалось, уклонилась от темы:

— Нам будет трудно в этом мире. У его обитателей очень тонкий вкус. Нам так легко оскорбить их!

— Они умны и поймут.

— А действительно ли достаточно понять, чтобы простить? Эта пословица никогда не внушала мне доверия.

Мистеру Барнстейплу не хотелось, чтобы их разговор перешел на широкие обобщения, поэтому он ничего не ответил и только усерднее заработал веслом.

— Видите ли, мисс Грей в одном ревю исполняла роль Фрины.

— Что-то припоминаю. Кажется, в прессе поднялась буря возмущения.

— Возможно, это воспитало у нее определенную привычку.

Весло опустилось в воду и второй раз и третий.

— Во всяком случае, сегодня утром она пришла ко мне и сказала, что собирается выйти в полном утопийском костюме.

— То есть?

— Немножко румян и пудры. Он нисколько ей не идет, мистер Бастейпл. Это очень легкомысленно. Это неприлично. А она разгуливает по садам... Неизвестно, кто может попасться ей навстречу. К счастью, мистер Сесиль еще не встал. Если она встретит отца Эмертона!.. Но об этом лучше не думать. Видите ли, мистер Бастейпл, утопийцы такие загорелые... и вообще... они гармонируют с обстановкой. Их вид не вызывает у меня неловкости. Но мисс Грей... Когда земная цивилизованная женщина раздета, она *выглядит* раздетой. Облупленной. Какой-то выбеленной. Эта милая женщина, которая, кажется, взяла на себя заботу о нас, Ликнис, рекомендуя мне, во что одеться, ни разу даже не намекнула... Но, разумеется, я не настолько близко знакома с мисс Грей, чтобы давать ей советы, а кроме того, никогда нельзя знать заранее, как женщина такого сорта воспримет...

Мистер Барнстейпл внимательно осмотрел берег. Но чересчур открытой взглядам мисс Гриты Грей нигде не было видно.

— Ликнис примет меры,— убежденно сказал он после секундного раздумья.

— Будем надеяться. Быть может, если мы покатаемся подольше...

— О ней позаботятся,— сказал мистер Барнстейпл.— Но, по-моему, мисс Грей и вообще компания лорда Барра-

лонга может навлечь на нас много неприятностей. Очень жаль, что они проскочили сюда вместе с нами.

— Мистер Сесиль придерживается того же мнения,— сказала леди Стелла.

— Естественно, мы будем вынуждены почти все время проводить вместе, и судить будут о нас в целом.

— Естественно,— согласилась леди Стелла.

Некоторое время они молчали, но нетрудно было заметить, что она высказала далеко не все. Мистер Барнстейпл неторопливо греб.

— Мистер Бастейпл...— вскоре начала она.

Весло в руках мистера Барнстейпла замерло.

— Мистер Бастейпл... вам страшно?

Мистер Барнстейпл проанализировал свои ощущения.

— Я был слишком восхищен, чтобы бояться.

Леди Стелла решила довериться ему.

— А я боюсь,— сказала она.— Сначала мне не было страшно. Все, казалось, шло так легко и просто. Но среди ночи я проснулась... вне себя от страха.

— Нет,— задумчиво произнес мистер Барнстейпл.— Нет. Я этого еще не испытал — пока... Но, может быть, мне и станет страшно.

Леди Стелла наклонилась к нему и заговорила доверительным тоном, внимательно наблюдая, какое впечатление производят на него ее слова.

— Эти утопийцы... Сначала мне казалось, что они всего только простодушные здоровые люди, артистичные и наивные натуры. Но они совсем не такие, мистер Бастейпл. В них есть что-то жестокое и сложное, что-то недоступное и непонятное нам. И мы им не нравимся. Они глядят на нас холодными глазами. Ликнис добра, но остальные нет. И мне кажется, мы вызываем у них раздражение.

Мистер Барнстейпл взвесил услышанное.

— Возможно, вы правы,— сказал он.— Я был настолько полон восторга — здесь столько сказочно чудесного,— что не задумывался над тем, какое впечатление производим на них мы. Но... да, пожалуй, они заняты чем-то своим и не слишком интересуются нами. За исключением тех, кто, очевидно, приставлен наблюдать за нами и изучать нас. Ну, а безрассудное поведение лорда Барралонга и его спутников, которые мчались вперед, не

разбирая дороги, несомненно, должно было вызвать у них раздражение.

— Он задавил человека.

— Я знаю.

И, задумавшись, они умолкли на несколько минут.

— И еще другое,— заговорила леди Стелла.— Они мыслят не так, как мы. По-моему, они уже презирают нас. Я заметила одну вещь... Вчера вечером вас не было с нами у озера, когда мистер Сесиль начал расспрашивать об их философии. Он рассказывал им про Гегеля, Бергсона, лорда Холдейна, про свой собственный замечательный скептицизм. Он дал себе волю, что для него большая редкость. И это было очень интересно — мне. Но я следила за Эрфредом и Львом и в самый разгар его объяснений увидела (я убеждена, что не ошиблась), что они переговариваются — без слов, как это у них принято,— о чем-то совсем другом. Они только *делали вид*, что слушают. А когда Фредди Маш попытался заинтересовать их неогрузинской поэзией и влиянием войны на литературу и сказал, что был бы счастлив, если бы в Утопии нашлось что-нибудь хоть наполовину равное «Илиаде», хотя он должен признаться, что не рассчитывает на это,— они и притворяться перестали. Они ему вовсе ничего не ответили... Наша культура их нисколько не интересует.

— В этих аспектах. Они же на три тысячи лет впереди нас. Но мы можем представлять для них интерес как ученики.

— А так ли уж интересно было бы водить по Лондону какого-нибудь готтентота и объяснять ему тонкости цивилизации? После того, разумеется, как его невежество перестанет казаться забавным! Впрочем, может быть... Но я убеждена, что мы им ни к чему и что мы им не нравимся, и я не знаю, как они с нами поступят, если мы начнем причинять им слишком много хлопот. И поэтому мне страшно.

Она продолжала как будто о другом — и все о том же:

— Ночью я вдруг вспомнила обезьянок моей сестры, миссис Келлинг. Это для нее пункт помешательства. Обезьяны свободно бегают по саду и по дому и вечно попадают в беду. Бедняжки никак не могут разобраться, что им можно делать, а чего нельзя; у них у всех не-

доумевающий и испуганный вид, и их то и дело шлепают, выбрасывают за дверь и всячески наказывают. Они портят мебель, а гостям их присутствие неприятно. Ведь никогда не знаешь заранее, что может взбрести в голову обезьяне. И у всех они вызывают досаду и раздражение — у всех, кроме моей сестры. А она без конца выговаривает им: «Немедленно спустись, Джако! Немедленно положи, Сэди!»

Мистер Барнстейпл засмеялся.

— Ну, это нам не грозит, леди Стелла. Мы все-таки не обезьяны.

Она тоже рассмеялась.

— Возможно, вы правы. И тем не менее... ночью... я подумала, что так может быть и с нами. Мы же стоим на низшей ступени развития. Этого отрицать нельзя.

Она сдвинула брови. На ее красивом лице отразилось сильное умственное напряжение.

— А вы отдаете себе отчет, насколько мы отрезаны от нашего мира?.. Возможно, вам это покажется глупым, мистер Бастейпл, но вчера вечером, перед тем как ложиться, я уже села писать письмо сестре, чтобы рассказать ей про случившееся, пока все подробности были еще свежи в моей памяти. И вдруг я поняла, что с тем же успехом я могла бы писать... Юлию Цезарю.

Мистеру Барнстейплу это в голову не приходило.

— Это гнетет меня, не переставая, мистер Бастейпл. Ни писем, ни телеграмм, ни газет, ни железнодорожных расписаний... Ничего из того, к чему мы привыкли... Никого из тех, для кого мы живем. Полностью отрезаны... И неизвестно, насколько. Совсем-совсем отрезаны... Долго ли они собираются держать нас здесь?..

Мистер Барнстейпл задумался.

— А вы уверены, что они когда-нибудь сумеют отослать нас обратно? — спросила она.

— Это как будто не вполне ясно. Но они удивительно талантливые люди.

— Попасть сюда было так легко! Словно мы просто завернули за угол... Но, разумеется, мы... как бы это сказать... вне времени и пространства... Даже больше, чем умершие... Северный полюс или дебри Центральной Африки на целую вселенную ближе к нашему дому, чем мы... Это трудно представить себе. Сейчас, при солнечном

свете, все кажется таким безмятежным и знакомым... Но вчера ночью были минуты, когда мне хотелось кричать от ужаса...

Она вдруг умолкла и посмотрела на берег. А потом с большим интересом понюхала воздух.

— Да,— сказал мистер Барнстейпл.

— Это жареная грудинка к завтраку! — воскликнула леди Стелла, и ее голос почти перешел в восторженный писк.

— Точно по рецепту, сообщенному им мистером Берли,— отозвался мистер Барнстейпл, машинально поворачивая байдарку к берегу.

— Жареная грудинка! Это меня почти успокаивает... Может быть, все-таки было глупо так пугаться. Вон они зовут нас! — Она помахала в ответ.— Грита в белом одеянии... как вы и предсказали... а с ней разговаривает мистер Маш в чем-то вроде тоги... Где он сумел раздобыть эту тогу?

До них снова донесся зов.

— Сейча-а-ас! — крикнула в ответ леди Стелла. — Мне очень жаль,— добавила она,— если я была слишком пессимистична. Но ночью я чувствовала себя просто ужасно!

КНИГА ВТОРАЯ

КАРАНТИН НА УТЕСЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЭПИДЕМИЯ

Второй день пребывания группы землян в Утопии был омрачен тенью вспыхнувшей там страшной эпидемии. Утопийцы уже более двадцати столетий не знали никаких эпидемий и вообще инфекционных заболеваний. Из жизни людей и животных исчезли не только злокачественные лихорадки, различные кожные болезни, но были побеждены даже самые легкие недуги, вроде простуды, кашля, инфлюэнцы. Строгий карантин, контроль над бациллоносителями и другие меры помогли справиться с болезнетворными микробами, и они были обречены на вымирание.

Но это привело и к соответствующим изменениям в организме утопийцев. Деятельность желез и других органов, помогающих организму сопротивляться инфекциям, ослабела; энергия, которая расходовалась на это, нашла другое, более полезное применение. Физиология утопийцев, освобожденная от чисто защитных функций, упростилась, стала более устойчивой и жизнедеятельной.

Это великое очищение от заразных болезней было для Утопии настолько далекой древностью, что только специалисты по истории патологии еще имели какое-то понятие о страданиях, которые причиняли эпидемии их расе; но даже эти специалисты, видимо, очень смутно

представляли себе, насколько утопийцы утратили сопротивляемость заразным болезням. Из землян первым об этом подумал мистер Руперт Кэтскилл. Мистер Барнстейпл вспомнил, как они встретились утром в Садах Совещаний, и Кэтскилл намекнул, что сама Природа — союзница землян и каким-то таинственным образом поможет им.

Если наделить кого-либо вредными свойствами означает быть союзником, тогда Природа действительно была союзницей землян. Уже к вечеру второго дня их пребывания в Утопии почти у всех, кто с ними соприкасался, кроме Ликнис, Серпентина и трех-четырех утопийцев, еще сохранивших в какой-то мере наследственный иммунитет, начался жар с кашлем, воспалилось горло, появилась ломота в костях, головная боль и такой упадок сил и душевная подавленность, каких Утопия не знала уже два тысячелетия. Первым обитателем Утопии, погибшим от этой болезни, оказался леопард, который понюхал руку мистера Руперта Кэтскилла. Леопарда нашли бездыханным на другое утро после его знакомства с землянами. К вечеру того же дня неожиданно заболела и вскоре умерла одна из девушек, помогавших леди Стелле распаковывать ее чемоданы...

Утопию это нашествие губительных микробов застало врасплох — даже в бо́льшей мере, чем появление самих землян. В последний Век Хаоса на планете было огромное множество общих и инфекционных больниц, врачей и аптек; но все это давно уже исчезло и изгладилось из памяти утопийцев. Медики оказывали только хирургическую помощь при несчастных случаях, наблюдали за физическим развитием подрастающего поколения и местами отдыха для дряхлых стариков, где им предоставлялся необходимый уход, но почти ничего не осталось от санитарной службы, которая в далеком прошлом ведала борьбой с эпидемиями. Теперь ученым Утопии вдруг пришлось заново решать давно решенные проблемы, наскоро конструировать забытую аппаратуру, создавать специальные дезинфекционные отряды и пункты помощи заболевшим и, наконец, возрождать стратегию войны с микробами, составившей некогда целую эпоху в жизни планеты. Правда, в одном отношении эта война оставила Утопии в наследство и некоторые пре-

имущества. Были истреблены почти все насекомые — носители инфекций: крысы, мыши,— и неопрятные, разносящие заразу птицы тоже перестали быть проблемой санитарии. Это весьма ограничило распространение эпидемических болезней и самые способы заражения. Утопийцы могли воспринять от землян только такие болезни, которые передаются через дыхание или через прямое соприкосновение с носителем инфекции. Ни один из пришельцев не был болен, но вскоре стало ясно, что кто-то из них был носителем кори, а двое или трое других — приглушенной лекарствами инфлюэнцы. У землян была достаточная сопротивляемость, чтобы не заболеть самим, но они стали очагом обеих инфекций; а их жертвы, кашляя, чихая, целуясь и перешептываясь, разнесли заболевания по всей планете. Только к вечеру второго дня после появления землян Утопия поняла, что произошло, и принялась бороться с этим рецидивом бедствий эпохи варварства.

2

Мистер Барнстейпл, вероятно, последним из землян узнал об эпидемии, потому что в то утро отправился на прогулку в одиночестве.

Ему с самого начала стало ясно, что утопийцы не собираются тратить много времени и сил на то, чтобы просвещать гостей, прибывших с Земли. После вечерней беседы в день их вторжения хозяева больше не пытались знакомить гостей с устройством и образом жизни Утопии и почти не расспрашивали их о положении дел на Земле. Землян большей частью оставляли одних с тем, чтобы они обсуждали интересующие их вопросы в собственном кругу. Некоторым утопийцам было, очевидно, поручено заботиться об их удобствах и благоустройстве, но те как будто не считали себя обязанными просвещать землян. Мистера Барнстейпла раздражало многое в суждениях и мнениях его спутников, и поэтому он отдался естественному желанию — изучать Утопию в одиночку. Огромная равнина за озером, которую он успел заметить, прежде чем их аэроплан спустился в Долину Совещаний, поразила его воображение, и на второе утро он пошел к озеру, взял маленькую лодку и поплыл к замыкавшей

озеро плотине, чтобы осмотреть с нее заинтересовавшую его равнину.

Озеро оказалось намного шире, чем он думал, а плотина гораздо массивнее. Вода в озере была кристально прозрачной и очень холодной, в нем, видимо, водилось мало рыбы. Мистер Барнстейпл вышел из дому сразу после завтрака, но лишь около полудня добрался до гребня гигантской плотины и смог наконец посмотреть с ее высоты на нижнюю часть Долины Совещаний и на бескрайнюю равнину за ней.

Плотина была сооружена из огромных глыб красного камня с прожилками золота. Несколько лестниц вели к шоссе на ее гребне. Гигантские сидячие фигуры из камня, высившиеся на ней, казалось, были созданы каким-то легкомысленным и веселым художником. Фигуры словно стерегли что-то или думали о чем-то, огромные, грубо вытесанные изваяния, не то скалы, не то люди. Мистер Барнстейпл на глаз определил их высоту примерно в двести футов; он промерил шагами расстояние между двумя фигурами, потом пересчитал их все и пришел к выводу, что длина плотины — семь — десять миль. Со стороны равнины плотина круто уходила вниз футов на пятьсот и тут покоилась на мощных опорах, почти незаметно сливавшихся со скальным основанием. В пролетах между опорами гудели целые рои гидротурбин. Выполнив свою первую задачу, вода, яростно пенясь, низвергалась в другое широкое озеро, перегороженное новой большой плотиной — милях в двух дальше и примерно на тысячу футов ниже, еще дальше виднелось третье озеро и третья плотина, за ней наконец простиралась низменность. Среди всех этих титанических сооружений виднелись только три-четыре крохотных фигурки утопийцев.

Мистер Барнстейпл, песчинка рядом с одним из каменных колоссов, вглядывался в туманные просторы по-прежнему далекой равнины.

Что за жизнь течет там? Соседство равнинного и горного ландшафта напоминало ему Альпы и низменность Северной Италии, где он не раз бродил в годы юности, завершая этим свои путешествия в летние каникулы. Но лежавшая сейчас перед его глазами далекая равнина была бы в Италии застроена городами и деревня-

ми и покрыта тщательно обработанными, заботливо орошаемыми полями. В этой густонаселенной местности люди трудились бы с истинно муравьиным усердием, чтобы добыть себе пропитание; население все возрастало бы, пока болезни и эпидемии — обычный результат перенаселения — не создали бы определенного равновесия между площадью этих земель и числом семей, которые на них работают, чтобы прокормиться. И поскольку труженик способен вырастить больше хлеба, чем сам может съесть, а добродетельная женщина — произвести на свет больше детей, чем требуется рабочих рук, излишек безземельного населения стал бы скапливаться в сильно разросшихся и без того перенаселенных больших и малых городах; впоследствии одни занимались бы там законодательной или финансовой деятельностью, направленной против земледельца, другие изготовляли бы различные изделия, кое-как отвечающие своему назначению.

Девяносто девять из каждой сотни этих людей на всю жизнь — с детства до старости — были бы обречены делать одно и то же тяжелое дело: зарабатывать себе на хлеб. И повсюду стали бы расти питаемые суевериями храмы и часовни, кормя паразитические орды священников, монахов, монахинь. Еда и продолжение рода — простейшие формы общественной жизни, возникшие вместе с человеческим обществом, сложность добывания пищи, ухищрения, стяжательства и дань страху — такова была бы картина жизни людей на Земле, на любом сколько-нибудь солнечном и плодородном ее клочке. Конечно, и там слышались бы иногда взрывы смеха, веселые шутки, бывали бы редкие праздники, цвела бы кратковременная юность, быстро угасающая в труде зрелых лет; но подневольная работа, злоба и ненависть, порождаемые скученностью населения, неуверенность бедняка в завтрашнем дне — вот что господствовало бы над всем. Дряхлость настигала бы человека в шестьдесят лет, к сорока годам женщины выглядели бы изнуренными и старыми.

Но равнина Утопии, лежащая там, внизу, такая же солнечная и плодородная, по-видимому, живет по совершенно иным законам. Прежняя человеческая жизнь с ее древними обычаями, старинными сказаниями и

шутками, повторяемыми из поколения в поколение, с ее зимними и летними праздниками, благочестивыми страхами и редкими удовольствиями, с ее мелкими, упрямыми и по-детски жалкими надеждами, с ее вездесущей нищетой и трагической безысходностью — такая жизнь здесь отошла в прошлое. Она навсегда исчезла из этого более зрелого мира. Великий поток примитивного человеческого существования здесь отступил и иссяк, а почва осталась все такой же благодатной и солнце — таким же ярким.

Мистер Барнстейпл почувствовал нечто вроде благоговейного трепета, подумав о гигантском размахе этого полного очищения человеческой жизни за два десятка столетий и о том, как смело и бесстрашно разум человека подчинил себе плоть, душу и судьбы своей расы. Теперь мистеру Барнстейплу стало особенно ясно, что сам он существо переходного периода, глубоко погрязшее в отживших привычках, хотя он всегда смутно мечтал о новом мире, заря которого едва-едва занималась над Землей. С давних пор он ненавидел и презирал смрадную крестьянскую жизнь, это прошлое человечества; но только теперь он впервые понял, как сильно опасался он и той строгой и чистой жизни, которая человечеству предстоит в будущем,— такой жизни, как здесь, в Утопии. Мир, который предстал сейчас перед ним, казался очень чистым и в то же время пугающим.

Что они делают там, на этой далекой равнине? Как течет там повседневная жизнь? Он уже достаточно знал об Утопии, чтобы предположить, что вся она превращена в сплошной сад и что малейший проблеск красоты встречает здесь поддержку и получает развитие, а врожденное уродство исправляется и преодолевается. Он понимал, что здесь все готовы трудиться, не жалея сил, просто во имя красоты — пример двух утопийцев, ухаживавших за розами, убедил его в этом. И всюду здесь трудятся: и те, кто приготовляет пищу, и те, кто строит дома, и те, кто направляет общий ход жизни,—все они помогают машине экономики работать плавно, без того скрипа, дребезжания, без тех внутренних поломок, которые составляют основную мелодию социальной жизни на Земле. Века экономических диспутов и экспериментов отошли здесь в прошлое; найден правильный путь развития общества.

Население Утопии, одно время сократившееся до каких-нибудь двухсот миллионов, теперь снова растет вместе с постоянным ростом ресурсов планеты. Освободившись от тысячи зол — а их при других условиях становилось бы все больше по мере роста населения,— утопийцы создали здоровую основу для этого роста.

Там, внизу, на равнине, окутанной голубой дымкой, почти все те, кто не занят производством продуктов питания, строительством, здравоохранением, образованием или координацией всех сторон жизни общества, отдаются творческому труду; они неустанно исследуют мир, окружающий человека, и его внутренний мир путем научных изысканий и художественного творчества. И так же непрерывно укрепляется их коллективная власть над природой и накапливаются познанные ценности бытия.

Мистер Барнстейпл привык думать, что жизнь на Земле — это бурный поток технических новшеств и научных открытий; но теперь он понял, что весь прогресс, достигнутый на Земле за целое столетие,—ничто по сравнению с тем, что успевают сделать за один год эти миллионы сплоченных единым стремлением умов. Знания здесь распространялись с неудержимой быстротой, тьма рассеивалась и исчезала, как исчезает тень от облака в ветреный день. Там, на равнине, они, вероятно, достают минералы из самого сердца своей планеты и плетут невода, в которые собираются поймать солнце и звезды. Жизнь идет здесь вперед... даже страшно подумать, какими гигантскими шагами! Страшно подумать потому, что в глубине сознания мистера Барнстейпла, как и многих мыслящих землян, притаилось убеждение, что научное познание мира близится к завершению и скоро уже нечего будет познавать. А потом мы будем жить счастливо до скончания веков.

Мистер Барнстейпл всегда бессознательно опасался прогресса. Утопия с первого дня показалась ему воплощением безмятежности, где все определено и установлено раз и навсегда. Вот и сегодня все выглядит мирным и спокойным под ровной, мягкой дымкой, окутывающей эти просторы. Но он знал, что это спокойствие скорее напоминает мнимую неподвижность водяной струи, которая приводит в движение мельничное колесо,— до тех пор,

пока какой-нибудь пузырек, клочок пены, щепка или листок не проскользнут по струе и не напомнят о стремительности падающей воды.

Как же все-таки живется в Утопии? Жизнь ее обитателей, должно быть, чем-то похожа на жизнь талантливых художников и ученых в земном мире: что ни день, то бодрящее открытие новых вещей и явлений, постоянные путешествия в неизведанное и неиспытанное. Когда приходит время отдохнуть, они путешествуют по своей планете, и жизнь их всегда полна веселого смеха, дружбы, любви и непринужденного и тесного общения с себе подобными. Игры, не способствующие физическому развитию, эти суррогаты умственной тренировки для тупиц, видимо, полностью исчезли здесь, но сохранилось много подвижных игр, в которые играют ради веселья, чтобы дать выход избыточной энергии... Должно быть, это хорошая жизнь — для тех, кто подготовлен к ней, жизнь, которой, право же, можно позавидовать...

И все здесь, наверное, пронизано радостным ощущением осмысленности жизни, ее непрерывного развития и совершенствования... В Утопии, несомненно, существует любовь, утонченная и красивая, может быть, немного суровая. На этих равнинах вряд ли часто проявляются жалость и нежность. Здесь живут одаренные и красивые, но отнюдь не жалостливые существа, у них просто нет нужды в таком чувстве...

Правда, та, которую зовут Ликнис, показалась ему доброй и отзывчивой.

Сохранилась ли у них верность в любви, нужна ли она им, как влюбленным там, на Земле? Какая она вообще, любовь утопийцев? Влюбленные и здесь шепчутся в темноте, но в чем суть их любви? Чувство предпочтения, приятная гордость, восхитительное чувство обретенного дара, чудесная умиротворенность души и тела!..

Какое бы это было ощущение — полюбить и быть любимым женщиной Утопии? Чувствовать ее пылающее лицо рядом с твоим, слышать, как сильнее забилось твое сердце от ее поцелуев...

Мистер Барнстейпл, в легком костюме, босой, сел в тени у подножия каменного колосса. Он казался себе

крохотным заблудившимся насекомым, взлетевшим на эту гигантскую плотину. Он уже не допускал возможности, чтобы торжествующая раса утопийцев когда-нибудь отказалась от своего величественного наступления на окружающие миры. Да, они воспарили на потрясающую высоту и продолжают подниматься все выше. И, конечно, достигнутое ими теперь уже незыблемо. А ведь всю эту поразительную незыблемость, все это безраздельное владычество над природой они завоевали на протяжении каких-нибудь трех тысячелетий!..

Утопийцы, конечно, не могли коренным образом измениться за такой короткий промежуток времени. По существу, они все те же люди каменного века: ведь не прошло и двадцати тысячелетий с тех времен, когда они ничего не знали о металлах и не умели читать и писать. Где-то в глубине их натуры должны до сих пор таиться скованные, непроросшие семена злобы, страха, розни. Наверное, и в Утопии есть много непокорных душ. Евгеника здесь, по-видимому, в самом зачатке... Он вспомнил умное, милое лицо девочки, которая разговаривала с ним при свете звезд в ночь их появления в Утопии, нотку романтического любопытства, прозвучавшую в ее голосе, когда она спросила: правда ли, что лорд Барралонг — очень сильный и жестокий человек?

Что же, дух романтики все еще тревожит воображение утопийцев? Или только воображение подростков?

И вдруг этот всеобъемлющий порядок еще может быть нарушен каким-нибудь сильным потрясением или внезапной полосой раздоров и волнений? А вдруг их система воспитания и образования станет жертвой каких-нибудь беспокойных экспериментаторов, которым прискучат ее дисциплинирующие цели? А вдруг эту расу подстерегает еще что-то непредвиденное? А что, если религиозное рвение отца Эмертона или неизлечимое тяготение мистера Руперта Кэтскилла ко всяким фантастическим предприятиям окажутся для утопийцев заразительными?

— Нет! Это невероятно. Достижения этого мира слишком надежны и полны спокойного величия.

Мистер Барнстейпл встал и спустился по ступеням громадной плотины — туда, где далеко внизу, как крохотный лепесток, покачивался на прозрачной воде его маленький ялик.

3

Внезапно он заметил какое-то волнение и суету в Садах Совещаний.

В воздухе кружилось больше трех десятков аэропланов — одни спускались, другие взлетали, а по дороге, ведущей к перевалу, мчались большие белые машины. Между зданиями сновали люди — правда, на таком расстоянии нельзя было различить, что они делают. Мистер Барнстейпл с минуту стоял, вглядываясь, потом сел в свою маленькую лодку.

Пересекая озеро, он не мог видеть, что происходит на берегу, потому что сидел к нему спиной, но внезапно очень близко от него пролетел аэроплан, и он заметил, что авиатор внимательно на него смотрит. В другой раз, отдыхая от гребли, он обернулся и увидел двух человек, которые несли что-то вроде носилок.

Когда он стал подплывать к берегу, ему навстречу вышел катер. Мистера Барнстейпла удивило, что пассажиры катера были в стеклянных шлемах с белым остроконечным забралом. Все это его озадачило.

Катер приблизился, и в сознании мистера Барнстейпла прозвучали слова:

— Карантин! Вам нужно отправиться в карантин. Вы, земляне, занесли к нам эпидемию, и вас необходимо отправить в карантин.

Значит, эти стеклянные шлемы — нечто вроде противогазов!

Когда катер подошел вплотную к лодке, мистер Барнстейпл убедился, что это так и есть. Противогазы были изготовлены из какого-то очень гибкого и прозрачного материала...

4

Мистера Барнстейпла провели мимо лоджий-спален, где в кроватях лежали утопийцы; те, кто за ними ухаживал, были в противогазах. Оказалось, что всех землян со всем их имуществом, кроме автомобилей, собрали

в тот самый зал, где происходила первая беседа. Ему сообщили, что землян перевезут вскоре на новое место, где они будут изолированы и где их будут лечить.

При землянах дежурили двое утопийцев в противогазах. Они стояли на открытой галерее в позах, вызывавших неприятное подозрение, что это не то часовые, не то стража.

Земляне расположились на сиденьях амфитеатра, и только мистер Руперт Кэтскилл расхаживал по апсиде и, не умолкая, ораторствовал. На нем не было его цилиндра, волосы его растрепались, он был красен и возбужден.

— Все идет так, как я предвидел,— твердил он.— Разве я не говорил вам, что сама Природа — наша союзница? Разве я не утверждал этого?

Мистер Берли был возмущен и протестовал.

— Право, не могу уловить логики в том, что происходит! — объявил он.— Мы здесь единственные, кто обладает полным иммунитетом, а нас, именно *нас*, сочли нужным изолировать.

— Они говорят, что мы их заражаем,— заметила леди Стелла.

— Отлично!—возразил мистер Берли, делая выразительный жест длинной белой рукой.— Отлично! Тогда пусть *их* изолируют. Нет, это какая-то китайщина. Все шиворот-навыворот! Я совершенно разочаровался в них.

— Поскольку они здесь хозяева,— заметил мистер Ханкер,— нам приходится считаться с их порядками.

Мистер Кэтскилл обратился к лорду Барралонгу и двум шоферам.

— А я даже рад, что они так обращаются с нами,— сказал он.—Я рад этому.

— Что вы имеете в виду, Руперт? — удивился лорд Барралонг.— Они ведь лишают нас свободы действия.

— Нисколько,— отпарировал мистер Кэтскилл,— нисколько. Наоборот, мы выигрываем. Нас хотят изолировать. Нас поселят на каком-нибудь острове или горе. Великолепно! Это только начало наших приключений. Мы еще посмотрим, что будет дальше!

— А что же именно?

— Не спешите — подождите до тех пор, пока мы сможем разговаривать совершенно свободно... Их действия свидетельствуют о панике. Эпидемия только начинается. Все только начинается. Поверьте мне.

Мистер Барнстейпл сидел, насупившись, у своего чемодана, старательно избегая торжествующего взгляда мистера Кэтскилла.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАМОК НА УТЕСЕ

1

Карантин, куда отправили землян, находился, видимо, на весьма значительном расстоянии от Садов Совещаний, так как перелет продолжался уже около шести часов, а летели они на большой высоте и очень быстро. Теперь все они летели на одном воздушном корабле, просторном и удобном, рассчитанном, вероятно, на вчетверо бо̀льшее число пассажиров. Их сопровождало около трех десятков утопийцев в противогазах, в том числе две женщины. На авиаторах были одеяния из белого пушистого материала, вызвавшего зависть у обеих дам — мисс Грей и леди Стеллы. Воздушный корабль пролетел над ущельем, над большой равниной, пересек узкий морской залив, пронесся над страной со скалистым побережьем и густыми лесами, а потом долго шел над огромным, совершенно пустынным морем. На этом море не было заметно почти никакого судоходства — мистер Барнстейпл подумал, что ни один океан на земле не был бы таким пустынным, только раз или два он заметил большие дрейфующие корабли, совершенно непохожие на земные суда и скорее напоминавшие плоты или плавучие платформы; потом встретились еще два-три судна, очевидно, грузовые пароходы,— на одном из них он разглядел мачты и паруса. В воздухе было так же пустынно: после того, как исчезла из виду суша, и вплоть до приземления корабля навстречу им попались всего три аэроплана.

Воздушный корабль миновал густонаселенную живописную прибрежную полосу и понесся дальше над безводной пустыней, где, видимо, находились рудники и шло какое-то промышленное строительство. Далеко впереди маячили высокие, покрытые снегом горные вершины, но корабль, не долетев до них, стал снижаться. Некоторое время земляне неслись над огромными отвалами породы — целыми горами, очевидно, извлеченными из гигантского колодца, уходящего в самые далекие, неизведанные глубины. Из этой бездны доносился оглушительный грохот машин и валил густой дым. То там, то тут попадались большие группы рабочих — видимо, они жили в палатках среди всего этого хаоса. Рабочие явно находились здесь временно: нигде не было никаких признаков постоянного жилья. Воздушный корабль обогнул эту территорию и теперь летел над скалистой, почти лишенной растительности пустыней, прорезанной глубокими, похожими на каньоны ущельями. Люди попадались редко, хотя повсюду было заметно, что и здесь ведется большое строительство. На каждом горном потоке, на каждом речном пороге работали турбины, вдоль скалистых ущелий и над пустынями тянулись кабели. Там, где ущелья были шире, виднелись сосновые леса и густой кустарник.

На развилке двух каньонов, выступая вперед, как отделившийся от берега мыс, высилась огромная скала. Это и было место их карантина. Скала взметнулась в высоту не меньше чем на две тысячи футов над пенящимся хаосом потоков, внизу — гигантское нагромождение бледно-зеленых и лиловых утесов, ощетинившихся острыми зубцами, пересеченных пластами других пород, испещренных сетью белых прожилок горного хрусталя. С одной стороны скала была гораздо круче, чем с другой, и это ущелье с нависшими над ним утесами казалось туннелем; через ущелье, примерно в ста футах от его начала, был переброшен легкий металлический мост. В нескольких ярдах над ним виднелись выступы — возможно, остатки более древнего каменного моста. Задняя сторона скалы круто обрывалась вниз на сотни футов и переходила в длинный, покрытый скудной растительностью склон, поднимавшийся к горному массиву — сплошному нагромождению скал, увенчанному плоской вершиной.

Вот на этот-то склон и опустился их воздушный корабль, а рядом с ним три или четыре машины поменьше. На вершине утеса виднелись развалины старинного замка. Между стенами развалин лепилось несколько строений, где жила недавно группа ученых-химиков. Их исследования в области структуры атома, совершенно непонятные для мистера Барнстейпла, как раз недавно были закончены, и здания пустовали. В лабораториях еще оставалось множество всяких аппаратов и материалов; к ним были подведены водопроводные трубы и электрические провода. Были здесь и достаточные запасы провизии. Когда земляне сошли с воздушного корабля, они увидели нескольких утопийцев, которые спешно приспосабливали здания к их новому назначению.

Появился Серпентин. Его сопровождал человек в противогазе, назвавшийся Кедром. Он оказался ученым-цитологом, и ему была поручена организация этого импровизированного санатория.

Серпентин объяснил, что он прилетел сюда заранее, так как знает местные условия и работу, которая здесь велась; наконец, он уже знаком с землянами, и его сравнительно стойкий иммунитет к инфекциям позволяет ему выступать посредником между ними и врачами, которые займутся их лечением. Все эти объяснения он давал мистеру Берли, мистеру Барнстейплу, лорду Барралонгу и мистеру Ханкеру. Остальные земляне стояли в стороне, у воздушного корабля, с которого только что сошли, и с явным недовольством разглядывали развалины на вершине утеса, жалкий кустарник на унылом склоне и торчащие над каньонами скалы.

Мистер Кэтскилл отошел в сторону, почти к самому краю обрыва, и остановился там, погруженный в раздумье, заложив руки за спину,— в почти наполеоновской позе, глядя вниз на эти пропасти, никогда не озарявшиеся солнцем. Шум невидимых потоков, то громкий, то почти затихающий, дрожал в воздухе.

Мисс Грита Грей неожиданно вытащила фотоаппарат «Кодак». Она вспомнила о нем, когда укладывала вещи для полета сюда, и теперь стала снимать всю группу.

Кедр сказал, что он сейчас объяснит метод лечения, к которому собирается прибегнуть. Лорд Барралонг крик-

нул: «Руперт!»,— приглашая и мистера Кэтскилла послушать.

Кедр говорил так же сжато и ясно, как Эрфред на первой беседе. Совершенно очевидно, начал он, что земляне носят в себе самые разнообразные инфекционные организмы, деятельность которых подавляется антителами; утопийцы же не обладают больше необходимой защитой против болезнетворных микробов и смогли бы приобрести иммунитет только в результате тяжелой и опустошительной эпидемии. Чтобы предотвратить распространение этой грозной эпидемии по всей планете, есть только один путь — надо прежде всего изолировать и лечить всех заболевших, что уже и делается,— место Совещаний превращено в огромный лазарет, а землян пришлось изолировать и держать в карантине до тех пор, пока они не будут очищены от живущей в них инфекции. Разумеется, признал Кедр, это не очень гостеприимно по отношению к землянам, но, очевидно, другого выхода нет: пришлось доставить их в не совсем обычное место — в высокогорную засушливую пустыню и здесь найти способы, с помощью которых будет достигнуто полное очищение их организма. Если только такое лечение окажется возможным, оно будет проведено, и тогда земляне снова смогут свободно передвигаться по Утопии.

— Предположим, однако, что ваше лечение окажется невозможным? — перебил его мистер Кэтскилл.

— Я надеюсь, что оно возможно.

— А если вы все-таки потерпите неудачу?

Кедр с улыбкой взглянул на Серпентина.

— Наши физики продолжают сейчас исследования, которые вели Арден и Гринлейк. Пройдет немного времени — и мы будем в состоянии повторить их эксперимент. А затем и провести его в обратном направлении.

— При нашем участии в качестве подопытных животных?

— Мы сделаем это не раньше, чем полностью убедимся, что для вас это будет совершенно безопасно.

— Вы хотите сказать...—спросил м-р Маш, подошедший к землянам, окружившим Кедра и Серпентина,— что собираетесь... отослать нас обратно?

— Если не сможем продолжать оказывать вам гостеприимство здесь,— ответил, улыбаясь, Кедр.

— Прелестная перспектива! — негодующе воскликнул мистер Маш.— Тобой выстреливают из пушки в космическое пространство. Да еще в виде опыта.

— А можно ли спросить,—раздался голос отца Эмертона.— Можно ли спросить: каков характер этого вашего *лечения*, этих опытов, для которых мы будем, так сказать, служить морскими свинками? Это будет нечто вроде вакцинации?

— Инъекции,— пояснил мистер Барнстейпл.

— Я еще не решил,— сказал Кедр.— Тут встает множество сложных проблем, о которых наш мир давным-давно забыл.

— Я сразу должен заявить, что являюсь убежденным противником вакцинации,— сказал отец Эмертон.— Решительным противником. Вакцинация—это оскорбление Природы. Если у меня были еще некоторые сомнения до того, как я попал в этот мир... *пороков*, то теперь мои сомнения исчезли. Исчезли бесследно! Если бы господь пожелал, чтобы наши тела содержали все эти сыворотки и ферменты, он создал бы для этого более естественные и пристойные средства, чем ваш шприц!

Кедр не стал спорить с ним. Он продолжал извиняться. Он вынужден просить землян на некоторое время ограничить свои передвижения — не уходить за пределы утеса дальше нижнего склона и скал у подножия горы. Он не может также поручить заботу о них молодежи, как это было до сих пор. Им придется самим готовить еду и вообще заботиться о себе. Все необходимое они найдут на вершине утеса, а он и Серпентин помогут им всеми нужными разъяснениями. Провизии здесь для них вполне достаточно.

— Значит, нас оставят здесь одних? — спросил мистер Кэтскилл.

— Временно. Когда мы найдем решение задачи, мы придем к вам и скажем, что собираемся делать дальше.

— Отлично! — сказал мистер Кэтскилл.— Отлично!

— Как жаль, что я послала свою горничную поездом! — вздохнула леди Стелла.

— У меня остался всего один чистый воротничок,— добавил мосье Дюпон с шутливой гримасой.— Не так-то просто отдыхать в обществе лорда Барралонга!

Лорд Барралонг вдруг повернулся к своему шоферу.

— Мне кажется, Ридли может стать очень недурным поваром.

— Что ж, я не против взяться за это,— ответил Ридли.— Чем я только не занимался, даже паровым автомобилем управлял!

— Человек, который имел дело с такой... такой штукой, может справиться со всем,— с глубоким чувством подхватил Пенк.— Я не возражаю стать на время подручным при мистере Ридли. Я начинал кухонным мальчиком и не стыжусь этого.

— Если этот джентльмен покажет нам посуду и прочую дребедень...— сказал Ридли, тыкая пальцем в Серпентина.

— Вот именно,— поддержал Пенк.

— И если все мы не будем слишком капризничать...— храбро добавила мисс Грита.

— Я полагаю, мы как-нибудь справимся,— заявил мистер Берли, обращаясь к Кедру.— Если вначале вы не откажете нам в совете и некоторой помощи.

2

Кедр и Серпентин оставались с землянами на Карантинном утесе до сумерек. Они помогли им приготовить ужин и сервировать его во дворе замка. Затем они улетели, обещав вернуться на следующий день, и земляне проводили глазами поднявшиеся в воздух аэропланы.

К своему удивлению, мистер Барнстейпл почувствовал, что очень расстроен отъездом утопийцев. Он уже видел, что его спутники затевают что-то недоброе, а отъезд утопийцев развязывает им руки. Он помог леди Стелле приготовить омлет, затем отнес блюдо и сковородку на кухню и поэтому сел за стол последним. И тут он увидел, что его опасения оправдываются.

Мистер Кэтскилл уже кончил есть и теперь, поставив ногу на скамью, держал речь перед остальным обществом.

— Я спрашиваю вас, леди и джентльмены,— говорил он.— Я спрашиваю вас: разве события сегодняшнего дня не указующий перст судьбы?.. Недаром это место в древ-

ние времена было крепостью. И вот оно уже готово снова превратиться в крепость... м-да... именно в крепость. Здесь будет положено начало деяниям, перед которыми померкнут подвиги Кортеса и Писарро!

— Дорогой Руперт! — воскликнул мистер Берли.— Что еще взбрело вам в голову?

Мистер Кэтскилл эффектно помахал двумя пальцами.

— Завоевание целой планеты!

— Боже правый!— воскликнул мистер Барнстейпл.— Да вы сумасшедший?

— Такой же сумасшедший,— ответил мистер Кэтскилл,— как Клайв или султан Бабер, когда он пошел на Панипат!

— Предложение довольно смелое,— заметил мистер Ханкер, хотя чувствовалось, что в душе он уже подготовился к подобным планам.— Однако я склонен думать, что оно заслуживает обсуждения. Альтернатива, насколько я понимаю, может быть только одна: нас почистят и выбелят изнутри и снаружи, а потом выстрелят нами в сторону Земли, причем не исключено, что по пути мы можем обо что-нибудь ушибиться. Говорите, говорите, мистер Кэтскилл.

— Да, да, говорите! — поддержал лорд Барралонг, который, видимо, тоже заранее все обдумал.— Я полагаю, здесь есть некоторый риск. Но бывают случаи, когда идти ва-банк необходимо, иначе тебя самого обыграют. Я целиком за решительные действия.

— Да, безусловно, здесь есть риск,— подтвердил мистер Кэтскилл.— Но, сэр, на этой узенькой скале, на территории в одну квадратную милю, должна решиться судьба двух миров! Сейчас не время для малодушия и для расслабляющей осторожности. Быстро выработать план — и немедленно действовать!..

— Просто дух захватывает! — воскликнула мисс Грита Грей, обхватив руками колени и ослепительно улыбаясь мистеру Машу.

— Эти люди,— заговорил мистер Барнстейпл,— впереди нас на три тысячи лет. А мы уподобляемся кучке готтентотов из эрлкортского балагана, которые задумали бы завоевать Лондон.

Мистер Кэтскилл, упершись руками в бока, повернулся к мистеру Барнстейплу и посмотрел на него с полнейшим благодушием.

— На три тысячи лет *старше* нас — да! На три тысячи лет *впереди* нас — нет! Вот в чем мы расходимся с вами. Вы говорите, это сверхлюди... М-м... Как сказать!.. А я говорю: это вырождающиеся люди. Разрешите изложить вам мои основания для такого мнения, несмотря на внешнюю красоту этих людей, их значительные материальные и духовные достижения и прочее. Идеальная раса, допустим!.. Ну, а дальше?.. Я утверждаю, что они достигли вершины и уже прошли ее, а теперь движутся по инерции, утратив не только способность сопротивляться болезням — эта их слабость будет, как мы увидим, все больше сказываться,— но и вообще бороться против любой непривычной угрозы! Они кроткий народ. Даже слишком кроткий. Они ни на что не способны. Они не знают, что им делать... Вот перед вами отец Эмертон. Он грубо оскорбил их во время первой нашей беседы с ними. (Да, да, отец Эмертон, вы не можете этого отрицать. Я не виню вас. Вы весьма чувствительны в вопросах морали, и у вас были причины для возмущения.) Так вот, они угрожали отцу Эмертону, как старая бабушка грозит маленькому внуку. Они собирались что-то сделать с ним. И что же? Разве они выполнили свое намерение?

— Приходили мужчина и женщина и беседовали со мной,— сообщил отец Эмертон.

— А что сделали вы?

— Просто-напросто опроверг их. Возвысил голос и опроверг.

— А что говорили они?

— Что они могли сказать?

— А мы с вами,— продолжал мистер Кэтскилл,— думали, что отца Эмертона ожидает нечто ужасное!.. Но возьмем более серьезный случай. Наш друг лорд Барралонг мчался, не разбирая дороги, в своем автомобиле — и убил одного из них. М-м-да... Даже у нас, как вы знаете, за это лишили бы права управлять автомобилем. И оштрафовали бы шофера. А здесь?.. Они и не упоминали больше об этом. Почему? Потому что не знают, что об этом сказать и как поступить... А теперь они упрята-

ли нас сюда и просят быть паиньками — пока они не явятся и не станут устраивать над нами всякие эксперименты, вливать в нас всякую всячину и делать с нами бог знает что еще. Если мы этому подчинимся, сэр, если мы подчинимся, мы потеряем одно из самых сильных наших преимуществ над ними: способность заражать бациллами других, самим же оставаться здоровыми, а заодно, пожалуй, и нашу инициативность, возможно, связанную с этой физиологической стойкостью, которой нас лишат... Как знать, не станут ли они воздействовать на наши железы внутренней секреции? Но наука говорит, что в этих железах сосредоточена индивидуальность каждого. Мы исчезнем интеллектуально и морально, то есть если мы подчинимся этому, сэр, если только мы подчинимся! Но предположим, мы не подчинимся, что тогда?

— Вот именно, что тогда? — спросил лорд Барралонг.

— Они не будут знать, что делать! Только не давайте себя обмануть всей этой показной красотой и процветанием. Эти люди живут так, как жили древние перуанцы времен Писарро, — в каких-то расслабляющих грезах. Они вволю наглотались этого одурманивающего питья, именуемого социализмом, и теперь у них, как у древних перуанцев, не осталось больше ни физического здоровья, ни силы воли. Горстка решительных и смелых людей может не только бросить вызов такому миру, но и восторжествовать над ним. Поэтому-то я и излагаю перед вами свой план.

— Вы собираетесь овладеть всей этой планетой? — осведомился мистер Ханкер.

— Нелегкое дело, — заметил лорд Барралонг.

— Я собираюсь, сэр, утвердить права более активной формы общественной жизни над менее активной! Мы в крепости. Это настоящая крепость, которую можно оборонять. Пока вы все распаковывали чемоданы, Барралонг, Ханкер и я осмотрели ее. В крепости есть крытый колодец — в случае необходимости мы сможем доставать воду из ущелья внизу. В скале вырублены помещения и укрытия; стена задняя прочная, высокая и совершенно гладкая, по ней не взберешься. Большие ворота можно при нужде легко забаррикадировать. Лестница в скале ведет к тому легкому мостику — его можно разрушить.

Мы еще не осмотрели все помещения в скале. В лице мистера Ханкера мы имеем химика — то есть он был химиком до того, как кинопромышленность провозгласила его своим королем,— и он утверждает, что в лабораториях достаточно материалов для изготовления большого запаса бомб. Наша группа, как я убедился, располагает пятью револьверами с достаточным количеством патронов. Это лучше, чем я ожидал. Что же касается продовольствия,— его хватит надолго.

— Как это нелепо! — воскликнул мистер Барнстейпл, вскакивая с места и тут же садясь снова.— Совершеннейший абсурд! Выступить против этих гостеприимных людей! Да стоит им захотеть — они разнесут вдребезги всю эту жалкую скалу!

— А! — вскричал мистер Кэтскилл и указал на него пальцем.— Мы и об этом подумали. Мы можем последовать примеру Кортеса: он в самом сердце Мехико держал взаперти Монтецуму в качестве пленника и заложника. У нас тоже будет заложник. Прежде чем начинать действовать, сперва заложник...

— А бомбы с аэропланов?

— А есть ли они в Утопии? Имеют ли они понятие о них? И опять-таки — у нас ведь будет заложник!

— Надо только, чтобы это была какая-нибудь важная персона,— сказал мистер Ханкер.

— Кедр и Серпентин — оба достаточно значительные люди,— сказал мистер Берли тоном беспристрастного наблюдателя.

— Неужели, сэр, и вы станете поддерживать эти мальчишеские пиратские фантазии! — воскликнул глубоко возмущенный мистер Барнстейпл.

— Мальчишеские! — вознегодовал отец Эмертон.— Перед вами член кабинета, пэр Англии и крупный промышленник!

— Дорогой сэр,— сказал мистер Берли,— мы ведь в конце концов только рассматриваем всякие возможные случаи. Право же, я не вижу, почему нам нельзя обсудить эти возможности. Хотя я молю небо, чтобы нам не пришлось ими воспользоваться... Итак, вы говорили, Руперт, что...

— Мы должны утвердиться здесь, и заявить о своей независимости, и заставить утопийцев с нами считаться.

— Правильно! — крикнул от всего сердца мистер Ридли.— Кое с кем из этих утопийцев я сам с удовольствием посчитаюсь!

— Мы должны,— продолжал мистер Кэтскилл,— превратить эту тюрьму в наш Капитолийский холм, где твердо станет нога земного человека. Это будет нога, всунутая в дверь, чтобы она осталась навсегда открытой для нашей расы!

— Дверь закрыта наглухо,— сказал мистер Барнстейпл.— Только по милости утопийцев мы можем надеяться снова увидеть наш земной мир. Да и это еще сомнительно.

— Эта мысль не дает мне уснуть по ночам,— пожаловался мистер Ханкер.

— Эта мысль, видимо, приходит в голову всем нам,— заметил мистер Берли.

— И мысль эта чертовски неприятна, настолько, что о ней не хочется говорить,— заявил лорд Барралонг.

— А я как-то об этом до сих пор не подумал! — пробормотал Пенк.— Неужто и вправду, сэр, мы... мы *не сможем выбраться отсюда?*

— Будущее покажет,— сказал мистер Берли.— Именно поэтому я с большим интересом жду дальнейшего изложения идей мистера Кэтскилла.

Мистер Кэтскилл снова упер руки в бока и заговорил очень торжественно:

— В одном я согласен с мистером... мистером Барн... Барнаби... Я считаю, что у нас мало шансов снова увидеть когда-нибудь столь милые нашему сердцу города родной планеты.

— Я чувствовала это,— прошептала леди Стелла побледневшими губами.— Я это *знала* еще два дня назад.

— Подумать только, что мой воскресный отдых растянется на целую вечность! — добавил мосье Дюпон.

Несколько мгновений все молчали.

— Так как же это...— начал наконец Пенк.— Это же... Выходит, что мы вроде как померли?

— Но я непременно должна вернуться туда! — внезапно разразилась мисс Грита Грей, словно отмахиваясь от бреда сумасшедшего.— Это нелепо! Я должна выступать в «Альгамбре» второго сентября. Это совершенно

обязательно! Мы сюда попали без всякого труда — почему же вы говорите, что я не могу вернуться тем же путем обратно?

Лорд Барралонг посмотрел на нее и сказал с нежным злорадством:

— Вам придется подождать.

— Но я должн-а-а! — пропела она.

— Бывают вещи, невозможные даже для мисс Гриты Грей.

— Закажите специальный аэроплан! — настаивала она.— Делайте что хотите!

Он снова посмотрел на нее с усмешкой состарившегося эльфа и покачал головой.

— Мой милый,— сказала она,— вы до сих пор видели меня только во время отдыха. Работа — это серьезное дело.

— Деточка, ваша «Альгамбра» так же далеко от нас сейчас, как дворец царя Навуходоносора... Это невозможно.

— Но я должна! — повторила она с обычным царственным видом.— И больше говорить не о чем.

3

Мистер Барнстейпл встал из-за стола, подошел к пролому в стене замка, откуда открывался вид на погружающийся в темноту дикий ландшафт, и сел там. Глаза его перебегали от маленькой группы людей, разговаривающих за столом, к озаренным лучами заходящего солнца утесам над краем ущелья и к угрюмым склонам горы, раскинувшимся под скалой. В этом мире ему, возможно, придется провести остаток своих дней...

А ведь этих дней будет не так много, если мистер Кэтскилл настоит на своем. Сайденхем, жена, сыновья — все это действительно так же далеко, «как дворец царя Навуходоносора».

Он почти не вспоминал о семье с тех пор, как опустил письмо жене. Сейчас у него мелькнуло смешное желание — подать им весточку о себе, хоть какой-нибудь знак, если бы только это было возможно! Как странно, что они никогда больше не получат от него письма и ничего не узнают о его судьбе! Как они будут жить без него? На-

верное, у них будут затруднения с его счетом в банке. И со страховой премией? Он давно собирался завести с женой совместно-раздельный банковский счет, но почему-то решил не делать этого... Совместно-раздельный... Так должен бы поступать каждый муж и глава семьи... Он снова стал прислушиваться к речи мистера Кэтскилла, развивавшего свои планы.

— Мы должны привыкнуть к мысли, что наше пребывание здесь будет долгим, очень долгим. Давайте же не будем обманываться на этот счет. Пройдет много лет, возможно, даже сменится много поколений.

Это поразило Пенка.

— Я что-то не пойму,— сказал он.— Как это может быть — «много поколений»?

— Я еще скажу об этом,— ответил мистер Кэтскилл.

— Да уж! — заметил мистер Пенк и погрузился в глубокую задумчивость, устремив взгляд на леди Стеллу.

— Нам придется оставаться на этой планете небольшой самостоятельной общиной до тех пор, пока мы не покорим ее, как римляне покорили греков, пока не овладеем ее наукой и не подчиним ее нашим целям. Это потребует длительной борьбы. Да, очень длительной борьбы. Мы должны оставаться замкнутой общиной, считать себя колонией, если угодно, гарнизоном, пока не наступит день воссоединения. Мы должны иметь заложников, сэр, и не только заложников. Возможно, для нашей цели будет необходимо — а если необходимо для нашей цели, то и быть посему! — залучить сюда и других утопийцев, захватить их в юном возрасте, пока здешнее так называемое образование не сделает их непригодными для нашей цели — для воспитания их в духе великих традиций нашей империи и нашей расы.

Мистер Ханкер хотел было что-то сказать, но воздержался.

Мосье Дюпон резко поднялся из-за стола, сделал несколько шагов, вернулся и продолжал стоя слушать мистера Кэтскилла.

— Поколений? — повторил мистер Пенк.

— Да,— сказал мистер Кэтскилл.— Поколений! Потому что здесь мы чужеземцы, такие же, как другой отряд искателей приключений, который двадцать пять столетий назад воздвиг свою цитадель на Капитолийском

холме у вод стремительного Тибра. Наш Капитолийский холм здесь, и он намного величественнее, как и наш Рим величественнее и обширнее того, старого. И, подобно этому отряду римских искателей приключений, мы должны увеличить наши небольшие силы за счет окружающих нас сабинян — захватывать себе слуг, помощников и подруг! Нет жертвы слишком великой, если она будет принесена ради великих возможностей, которые таятся в нашем начинании.

Судя по виду мосье Дюпона, он уже готов был принести эту жертву.

— Но с обязательным бракосочетанием! — изрек отец Эмертон.

— Да, да, с бракосочетанием,— согласился мистер Кэтскилл и продолжал: — Итак, сэр, мы укрепимся, и утвердимся здесь, и будем держать в руках эту пустынную область, и будем внедрять наш престиж, наше влияние и наш дух в инертное тело этой вырождающейся Утопии. Мы будем делать это до тех пор, пока не овладеем секретом, которого искали Арден и Гринлейк, и не найдем путь обратно, к нашему собственному народу, открыв тем самым миллионам людей нашей перенаселенной империи доступ...

4

— Одну минуту,— перебил мистер Ханкер.— Одну минуту. Я насчет империи...

— Вот именно! — подхватил мосье Дюпон, словно вдруг очнувшись от каких-то романтических грез наяву.— Относительно вашей империи!

Мистер Кэтскилл задумчиво и несколько смущенно взглянул на них.

— Я употребил слово «империя» в самом широком смысле.

— Вот именно! — воинственно бросил мосье Дюпон.

— Я имел в виду... э... нашу Атлантическую цивилизацию вообще...

— Сэр, прежде чем вы начнете рассуждать об англосаксонском единстве и о народах, говорящих на английском языке,— заявил мосье Дюпон со все возрастающим раздражением,— позвольте напомнить вам, сэр, об одном важном факте, который вы, вероятно, упустили из виду.

Язык Утопии, сэр,— французский язык! Я хотел бы напомнить вам об этом. Я хотел бы, чтобы вы удержали это в памяти. Я не стану здесь подчеркивать, сколько жертв понесла и сколько мук претерпела Франция во имя цивилизации...

Его прервал мистер Берли:

— Вполне естественное заблуждение. Простите меня, но я должен указать: язык Утопии не французский язык.

«Ну, конечно,— подумал мистер Барнстейпл,— мосье Дюпон ведь не слышал объяснений относительно языка».

— Позвольте мне, сэр, верить свидетельству своих собственных ушей,— ответил с надменной учтивостью француз.— Эти утопийцы, смею вас заверить, говорят по-французски, именно по-французски, это прекрасный французский язык!

— Они не говорят ни на каком языке,— сказал мистер Берли.

— Даже на английском? — насмешливо прищурился мосье Дюпон.

— Даже на английском.

— И даже на языке Лиги Наций? Ба, да зачем я спорю? Они говорят по-французски. Даже бош не посмел бы отрицать этого. Надо быть англичанином, чтобы...

«Очаровательная перепалка»,—подумал мистер Барнстейпл. Поблизости не было ни одного утопийца, чтобы разубедить мосье Дюпона, и тот твердо отстаивал свое убеждение... Со смешанным чувством жалости, презрения и гнева мистер Барнстейпл слушал, как кучка людей, затерянных в сумерках огромного, чужого и, быть может, враждебного мира, все больше и больше распаляется, споря о том, какая из их трех наций имеет «право» на господство над Утопией, «право», основанное исключительно на алчности и недомыслии. Голоса то переходили в крик, то понижались до судорожного полушепота по мере того, как разгорался привычный национальный эгоизм. Мистер Ханкер твердил, что не знает никаких империй; мосье Дюпон повторял, что право Франции превыше всего. Мистер Кэтскилл лавировал и изворачивался. Мистеру Барнстейплу это столкновение патриотических пристрастий казалось дракой собак на тонущем корабле. В конце концов упорный и находчивый

мистер Кэтскилл сумел умиротворить своих противников.

Стоя во главе стола, он объяснил, что употребил слово «империя» в переносном смысле, извинился за то, что вообще употребил его, и указал, что под «империей» он подразумевал всю западную цивилизацию.

— Когда я произносил это слово,— сказал он, обращаясь к мистеру Ханкеру,— я имел в виду общее наше братство и согласие. Я имел в виду,— добавил он, поворачиваясь к Дюпону,— и наш испытанный и нерушимый союз.

— По крайней мере здесь нет русских,— сказал мосье Дюпон.— И немцев тоже.

— Правильно,— подтвердил лорд Барралонг.— Мы опередили здесь бошей и не допустим их сюда.

— Я надеюсь, что японцы тоже полностью устраняются,— сказал мистер Ханкер.

— Не вижу причин, почему бы нам сразу не установить цветной барьер,— задумчиво произнес лорд Барралонг.— Мне кажется, мы нашли здесь уже готовый мир белого человека.

— И все-таки,— холодно и настойчиво добавил мосье Дюпон,— вы извините меня, но я попрошу вас несколько уточнить наши теперешние отношения и закрепить их соответствующими гарантиями, эффективными гарантиями, дабы величайшие жертвы, которые принесла и продолжает приносить Франция на алтарь цивилизации, могли получить надлежащее признание и соответствующее вознаграждение в предпринимаемом нами деле... Я прошу только справедливости,— заключил мосье Дюпон.

5

Негодование придало смелости мистеру Барнстейплу. Он спустился со своего насеста на стене и подошел к столу.

— Кто из нас сошел с ума? —спросил он.— Вы или я? Вся эта грызня вокруг флагов, престижа своей страны, фантастических притязаний, заслуг и прочего — безнадежная чепуха. Неужели вы до сих пор не понимаете, в каком мы положении?

На мгновение у него перехватило дыхание, но он справился с собой и продолжал:

— Неужели вы не способны разговаривать о человеческих делах иначе, как на языке войны, захватов, грабежа, национальных флагов? Неужели вы не ощущаете подлинную меру вещей, не видите, в какой мир мы с вами попали? Я уже говорил, мы похожи на кучку дикарей из эрлкортского балагана, задумавших покорить Лондон. Да, мы — как эти жалкие каннибалы в сердце гигантской столицы, мечтающие возродить в Утопии нашу старую мерзость, давно здесь забытую. На что мы можем рассчитывать в этой дикой затее?

Мистер Ридли укоризненно заметил:

— Вы забыли то, что вам только что сказали. Забыли начисто. Половина их населения валяется в инфлюэнце и кори. Во всей Утопии уже некому сопротивляться.

— Вот именно,— подтвердил мистер Кэтскилл.

— Хорошо,— не сдавался мистер Барнстейпл.— Предположим, что у вас есть какие-то шансы на успех, но тогда ваш план ещё более отвратителен. Сейчас мы вырваны из тревог и волнений нашего земного века, и перед нами видение, вернее, реальность другой цивилизации, которую наш мир может обрести только через много десятков столетий! Здесь мир спокойствия, сияющий, счастливый, мудрый, полный надежды! А мы — если только наши хилые силенки и низкое коварство нам позволяют — хотим его разрушить! Мы собираемся уничтожить целый мир! Я говорю вам: это отнюдь не славное деяние. Это преступление. Это гнусность. Я не желаю участвовать в этом. Я протестую против вашей затеи.

Отец Эмертон попытался было возражать, но мистер Берли остановил его движением руки.

— А что предлагаете вы? — спросил он мистера Барнстейпла.

— Довериться их науке. Научиться у них всему, чему сможем. Возможно, мы очень быстро будем очищены от того яда, что носим в себе, и нам будет позволено снова вернуться из этой отдаленной пустыни, где одни шахты, турбины и скалы, в города-сады, которые мы даже и не разглядели по-настоящему. Там мы тоже кое-что узнаем

о подлинной цивилизации... А в конце концов мы, вероятно, вернемся в собственный хаотичный мир с приобретенными знаниями, принесем ему надежду и помощь, как миссионеры нового социального порядка.

— Но позвольте!..— начал отец Эмертон.

Его снова опередил мистер Берли.

— Все, что вы говорите,— заметил он,— опирается на недоказанные предпосылки. Вам угодно смотреть на эту Утопию сквозь розовые очки. Все остальные...— он пересчитал присутствующих,— все одиннадцать против вас одного, смотрят на вещи без такой благожелательной предвзятости.

— И могу ли я спросить, сэр! — воскликнул отец Эмертон, вскочив с места и так ударив по столу, что задребезжали все стаканы.— Могу ли я спросить, кто вы такой, чтобы брать на себя роль судьи и цензора над мнением всего человечества? Ибо я говорю вам, сэр, что перед нами отверженный, безнравственный и чуждый мир, а мы — все двенадцать — представляем здесь человечество. Мы авангард, пионеры в этом новом мире, который даровал нам господь, точно так же, как он даровал Ханаан своему избранному народу — Израилю — три тысячи лет тому назад... Я спрашиваю, кто вы такой...

— Вот именно? — подхватил Пенк.— Кто вы такой?

— Кто вы такой, черт побери? — поддержал его мистер Ридли.

Мистер Барнстейпл был слишком неопытным оратором и не знал, как встретить такую лобовую атаку. Он беспомощно молчал. К его удивлению, на выручку ему пришла леди Стелла.

— Это нечестно, отец Эмертон,— заметила она.—Мистер Барнстейпл, кем бы он ни был, имеет полное право высказать свое мнение.

— А высказав свое мнение,— подхватил Кэтскилл, который все время ходил взад и вперед, по другую сторону стола,— м-да, высказав его, он дает нам возможность продолжать обсуждение стоящих перед нами вопросов. Я полагаю, неизбежно должно было случиться, чтобы даже здесь, в Утопии, среди нас оказался человек, уклоняющийся от воинской повинности из принципиальных соображений. Остальные же, я уверен, единодушны

в своем мнении относительно положения, в котором мы находимся.

— Да, единодушны! — подтвердил мистер Маш, смерив мистера Барнстейпла злобным взглядом.

— Очень хорошо,— сказал мистер Кэтскилл.— Тогда мы должны следовать тем прецедентам, которые уже имели место в подобных случаях. От мистера... мистера Барнстейпла мы не станем требовать, чтобы он разделил с нами опасности и славу воинов. Мы попросим его нести какую-нибудь полезную вспомогательную гражданскую службу...

Мистер Барнстейпл протестующе поднял руку.

— Нет,— сказал он,— я не собираюсь быть вам чем-либо полезным. Я отказываюсь признать эту аналогию с мировой войной, но так или иначе я решительно против вашего плана разгромить целую цивилизацию. Вы не можете назвать меня принципиально уклоняющимся от воинской повинности, потому что я не отказываюсь воевать за правое дело. Но ваша авантюра не правое дело... Я умоляю вас, мистер Берли, вас, не только политика, но и человека высокой культуры, философа, еще и еще раз взвесить то, на что нас толкают: на акты насилия и разбой, после чего возврата уже не будет!

— Мистер Барнстейпл! — сказал мистер Берли с большим достоинством и легким упреком.— Я все взвесил. И осмелюсь сказать, у меня есть некоторый опыт, традиционный опыт в общественных делах. Я, может быть, не во всем согласен с моим другом мистером Кэтскиллом. Более того, в некоторых отношениях я с ним совершенно не согласен. Если бы я обладал единоличной властью, я сказал бы, что мы должны сопротивляться этим утопийцам, сопротивляться из уважения к себе, однако не путем насилия и агрессии, как предлагает мистер Кэтскилл. Я считаю, что нам следовало бы быть более гибкими, более осмотрительными, и тогда мы могли бы рассчитывать на больший успех, чем может надеяться мистер Кэтскилл, но это — мое личное мнение. Ни мистер Ханкер, ни лорд Барралонг, ни мистер Маш, ни мосье Дюпон не разделяют его. И мистер... словом, наши друзья... э-э-э... наши друзья из технической службы тоже, кажется, его не разделяют. Но что, по моему мнению, абсолютно необходимо нашей группе землян, попавших в

этот чуждый мир,— это единство действия. Что бы ни случилось, мы не должны пасть жертвами разногласия между нами. Нам надо держаться вместе и действовать как единое целое. Обсуждайте, если желаете — когда есть время обсуждать,— но в конце концов решайте. А решив, лояльно выполняйте это решение... Что же касается необходимости взять одного-двух заложников — я ее не отрицаю. В этом мистер Кэтскилл совершенно прав.

Мистер Барнстейпл был плохим спорщиком.

— Но ведь эти утопийцы такие же люди, как и мы,— возразил он.— Все, что есть в нас разумного, цивилизованного, говорит о необходимости признать их превосходство...

Его подчеркнуто грубо перебил мистер Ридли.

— О господи! — воскликнул он.— Долго мы еще будем болтать! Уже вечер, а мистер... вот этот джентльмен уже все сказал, даже больше, чем надо. Мы должны распределить обязанности, чтобы до наступления ночи каждый знал, что ему делать. Я предлагаю избрать мистера Кэтскилла нашим командующим с вручением ему всей полноты военной власти.

— Я поддерживаю предложение,— с внушительным смирением проговорил мистер Берли.

— Может быть,— сказал мистер Кэтскилл,— мосье Дюпон согласится быть моим заместителем, как представитель своей великой страны, нашего славного союзника?

— Только за неимением кого-нибудь более достойного,— согласился мосье Дюпон,— и для того, чтобы интересы Франции должным образом уважались...

— А мистер Ханкер, возможно, согласится быть моим лейтенантом?.. Лорд Барралонг будет нашим квартирмейстером, а отец Эмертон — нашим капелланом и блюстителем нравов. Мистер Берли, само собой разумеется, станет нашим гражданским главой.

Мистер Ханкер кашлянул и нахмурился с видом человека, которому предстоит нелегкое объяснение.

— Я не буду лейтенантом,— сказал он.— Я не хотел бы занимать никакого определенного поста. Я не люблю брать на себя... международные обязательства. Я буду наблюдателем. Наблюдателем, который помогает. И вы

убедитесь, господа, что на меня можно рассчитывать во всех случаях, когда моя помощь окажется необходимой.

Мистер Кэтскилл уселся во главе стола и указал на стул рядом с собой мосье Дюпону. По другую сторону мистера Кэтскилла, между ним и Ханкером, села Грита Грей. Мистер Берли остался на своем месте — через два стула от Ханкера. Остальные пододвинулись поближе и стали вокруг командующего, за исключением леди Стеллы и мистера Барнстейпла.

Мистер Барнстейпл почти демонстративно повернулся спиной к этому штабу. Он заметил, что леди Стелла осталась сидеть у дальнего конца стола, с большим сомнением посматривая на маленькую группу людей у другого конца; потом она перевела взгляд на мрачный горный кряж позади них.

Она вздрогнула и поднялась.

— После захода солнца здесь будет очень холодно,— сказала она, ни к кому не обращаясь.— Я пойду и достану накидку.

Она медленно направилась в отведенную ей комнату и больше не появлялась.

6

Мистер Барнстейпл всячески старался показать, что не слушает того, о чем говорят на военном совете. Он отошел к стене старого замка, поднялся по каменным ступеням и прошел вдоль парапета до самой верхушки скалы. Здесь грозный шум потоков в двух сходящихся каньонах был слышен очень отчетливо.

Скалы напротив были еще позолочены солнцем, но все остальное уже обволакивалось синими тенями; курчавый белый туман клубился в каньонах, скрывая бурные потоки. Туман подымался все выше и почти достиг маленького мостика, перекинутого через более узкий каньон к огороженной перилами лестнице на противоположной стороне. Впервые после того, как он попал в Утопию, мистер Барнстейпл почувствовал холод и одиночество, мучившие, как приступ боли.

В отдалении, в более широком каньоне, шли какие-то работы, и наползающий туман время от времени озарял-

ся вспышками света. Высоко над горами плыл одинокий аэроплан, временами сверкая в лучах заката и отбрасывая вниз ослепительные золотые отблески. Потом он повернул и пропал в сгущающихся сумерках.

Мистер Барнстейпл посмотрел вниз, на широкий двор старинного замка. Современные здания среди этих массивных каменных построек казались в сумерках какими-то сказочными беседками. Кто-то принес фонарь, и командующий Руперт Кэтскилл, новый Кортес, принялся писать приказы, а его отряд стоял вокруг него.

Свет фонаря падал на лицо и руки мисс Гриты Грей; она наклонилась через плечо командующего, стараясь разглядеть, что он пишет. Мистер Барнстейпл заметил, что она вдруг подняла руку, прикрывая невольный зевок.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИСТЕР БАРНСТЕЙПЛ ПРЕДАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

1

Мистер Барнстейпл почти всю ночь просидел на своей кровати, размышляя о том, какими неисчислимыми сложностями чревато положение, в котором он очутился.

Что он может сделать? Что он должен сделать? И в чем заключается его долг? Из-за варварских обычаев Земли и ее болезней эта удивительная встреча с новым миром так внезапно породила уродливый и опасный антагонизм, что он не успел еще разобраться в своих мыслях. Теперь он видел только две возможности: либо утопийцы окажутся намного сильнее и мудрее их, и тогда он и все его спутники-пираты будут раздавлены и уничтожены, как вредные насекомые, либо безумные замыслы мистера Кэтскилла осуществятся, и земляне станут язвой, разъедающей здоровое тело этой благородной цивилизации, шайкой грабителей и разрушителей, которая станет год за годом, век за веком тянуть Утопию назад, к земному хаосу. Для него самого был только один выход: бежать из крепости к утопийцам, рассказать им о плане землян и отдать себя и своих спутников на их милость. Но сделать это надо поскорее — раньше, чем

земляне успеют захватить заложников и начнется кровопролитие.

Однако ускользнуть от шайки землян будет, видимо, нелегко. Мистер Кэтскилл, наверное, уже расставил своих дозорных, а покинуть утес так, чтобы они не заметили, невозможно. Кроме того, в душе мистера Барнстейпла жило воспитанное с детства отвращение к ябедничеству и раскольническим действиям. Школа приучила его хранить верность той группе или организации, частью которой он был,— своему классу, своей команде, своему школьному отделению, своей школе, своему клубу, своей партии и так далее. Однако его ум и безграничная любознательность всегда боролись в нем с этой узкой отгороженностью от остального мира И поэтому вся его жизнь была мучительным внутренним бунтом. Он питал отвращение к политическим партиям и политическим лидерам, презирал и отвергал национализм, «служение империи» и все связанные с ним мишурные традиции патриотического долга; он ненавидел агрессивного завоевателя, хищного финансиста, напористого дельца — так же, как ненавидел ос, крыс, гиен, акул, блох, крапиву и тому подобное; всю свою жизнь он, по существу, был гражданином Утопии, прозябающим на Земле. И по-своему он всегда старался служить Утопии. Почему же он не должен служить ей сейчас? Пусть эта шайка землян мала и решилась на все — это еще не причина, чтобы служить делу, которое тебе ненавистно! Пусть они полны решимости, но тем не менее они носители зла! Нельзя низводить либерализм до болезненного почитания меньшинства!

Из землян только двое, леди Стелла и мистер Берли, вызывали в нем симпатию Впрочем, в отношении мистера Берли он был не так уж уверен. Мистер Берли принадлежал к тем странным людям, которые как будто все понимают, но ничего не чувствуют. Он производил на мистера Барнстейпла впечатление интеллектуальной безответственности. А это, пожалуй, еще хуже, чем быть таким антиинтеллектуальным авантюристом, как Ханкер или Барралонг? Мысль мистера Барнстейпла вернулась от абстрактных этических норм к реальной действительности. Завтра он еще раз обдумает все, выработает план действий и, возможно, в сумерках постарается ускользнуть.

Это было в его характере — откладывать намеченное действие на следующий день. Вся его жизнь почти с самого начала состояла из таких отложенных действий.

2

Но события не собирались ждать мистера Барнстейпла.

На рассвете его разбудил Пенк, объяснивший, что отныне гарнизону будет даваться по утрам побудка электрической сиреной, которую изготовили они с Ридли. Не успел Пенк договорить, как оглушительный вой этого механизма возвестил начало новой эры. Пенк протянул мистеру Барнстейплу вырванный из записной книжки листок бумаги, на котором мистер Кэтскилл написал:

«*Нестроевой Барнеби. Помогать Ридли* готовить завтрак, обед и ужин, вывешивать меню на стене столовой, убирать и мыть посуду; в остальное время быть в распоряжении лейтенанта Ханкера в химической лаборатории для проведения опытов и изготовления бомб. Содержать лабораторию в полной чистоте».

— Вот ваши обязанности,— сказал Пенк.— Ридли ждет вас.

— Ну что ж,— сказал мистер Барнстейпл и встал. Не было смысла вступать в пререкания, раз он все равно собирался бежать. Он отправился к исцарапанному и забинтованному Ридли, и они вместе приготовили несколько недурных блюд британской кухни образца 1914 года, великого года сухоядения.

По второму воплю сирены все ровно в половине седьмого собрались к завтраку. Мистер Кэтскилл произвел смотр своего гарнизона: мосье Дюпон стоял рядом с ним, мистер Ханкер несколько в стороне, а все остальные выстроились в шеренгу, кроме мистера Берли, который нес обязанности гражданского главы Утопии и по этой причине пребывал в постели, и мистера Барнстейпла, как нестроевого. Мисс Грита Грей и леди Стелла сидели в солнечном уголке и шили флаг. Это должен был быть голубой флаг с белой звездой, не похожий ни на один из существующих национальных флагов, чтобы не задевать ничьи патриотические чувства. Этот флаг должен был символизировать Лигу Наций землян.

После смотра маленький гарнизон разошелся по своим постам, мосье Дюпон принял на себя главное командование, а мистер Кэтскилл, бодрствовавший всю ночь, отправился спать. Подобно Наполеону, он умел засыпать на часок в любое время дня.

Мистер Пенк поднялся на башню замка, где была установлена сирена, и занял там наблюдательный пост.

У мистера Барнстейпла выдалось несколько свободных минут после того, как он уже кончил помогать Ридли, а мистер Ханкер еще не позвал его, и эти свободные минуты он использовал для осмотра стены замка над обрывом. Пока он стоял на парапете, обдумывая, удастся ли ему сбежать сегодня вечером, над Карантинным утесом появился аэроплан и спустился на соседнем склоне. Из машины вышли двое утопийцев, они что-то сказали своему авиатору и повернулись лицом к крепости землян.

Сирена коротко рявкнула, и на парапете рядом с мистером Барнстейплом появился мистер Кэтскилл. Он вытащил полевой бинокль и стал разглядывать приближающихся утопийцев.

— Серпентин и Кедр,—сказал он, опуская бинокль.— Они идут сюда одни. Прекрасно.

Он обернулся, сделал знак Пенку, и сирена рявкнула дважды. Это был сигнал общего сбора.

· Внизу, во дворе замка, появилось остальное Союзное войско и мистер Ханкер. Все выстроились, почти как настоящие солдаты.

Мистер Кэтскилл прошел мимо мистера Барнстейпла, не обратив на него никакого внимания, и, спустившись к Дюпону, Ханкеру и своим подчиненным, принялся объяснять им, как вести себя, когда настанет решительный момент. Мистер Барнстейпл не слышал, о чем шла речь. Он только отметил с ироническим неодобрением, что каждый, получив инструкции мистера Кэтскилла, щелкал каблуками и отдавал честь. Затем по команде все разошлись по своим постам.

С нижнего склона во двор замка можно было попасть через большие сводчатые ворота, к которым вела полуразрушенная каменная лестница. Ридли и Маш спустились по лестнице и притаились справа от нее, за каменным выступом,— так, чтобы их не мог увидеть человек,

поднимающийся снизу. Отец Эмертон и мистер Ханкер спрятались с левой стороны. Отец Эмертон, как заметил мистер Барнстейпл, держал в руках свернутую веревку; затем он взглянул на мистера Маша и увидел в его руке револьвер, который тут же был спрятан в карман. Лорд Барралонг занял позицию несколькими ступенями выше, сжимая револьвер в здоровой руке. Мистер Кэтскилл, тоже с револьвером, стоял на верху лестницы. Он повернулся к башне замка, несколько мгновений изучал позицию Пенка, а затем сделал ему знак присоединиться к остальным. Мосье Дюпон, вооруженный массивной ножкой от стола, встал справа от мистера Кэтскилла.

Некоторое время мистер Барнстейпл глядел на все эти маневры, не понимая, что они означают. Потом его взгляд упал на двух ничего не подозревающих утопийцев, которые спокойно поднимались к воротам замка, где притаились земляне. Только тогда мистер Барнстейпл сообразил, что через несколько минут Серпентин и Кедр будут биться в руках своих врагов.

Он понял, что надо немедленно действовать. Однако всю жизнь он был только созерцателем и не умел мгновенно принимать решения и выполнять их.

Он дрожал, как в лихорадке.

3

Даже в эти роковые последние мгновения у мистера Барнстейпла оставалась смутная надежда, что все можно уладить. Он поднял руку и крикнул «Эй!», обращаясь больше к землянам в замке, чем к утопийцам за его пределами. Но никто не обратил внимания ни на его жест, ни на слабый возглас.

Тогда его воля словно освободилась от пут, и у него мелькнула самая простая мысль. Нельзя допустить, чтобы Серпентина и Кедра схватили! Ему уже было стыдно за свои колебания. Конечно же, этого нельзя допустить! Это безумие должно быть немедленно предотвращено. В несколько прыжков он очутился на стене над воротами и закричал громко и отчетливо.

— Берегитесь! — кричал он. — Опасность! Берегитесь!

Он услышал удивленный возглас мистера Кэтскилла, и тут же в воздухе рядом с ним просвистела пуля.

Серпентин резко остановился, посмотрел вверх, дотронулся до плеча Кедра и показал на стену.

— Земляне хотят захватить вас в плен! Не ходите сюда! Берегитесь! — кричал мистер Барнстейпл, размахивая руками.

«Щелк-щелк-щелк!» — Это мистер Кэтскилл лишний раз убеждался, какое ненадежное оружие револьвер.

Серпентин и Кедр повернулись и пошли назад, но как-то медленно и нерешительно.

Несколько мгновений мистер Кэтскилл не знал, что делать. Потом он бросился вниз по лестнице, крича:

— За ними! Остановить их! Вперед!

— Уходите! — кричал мистер Барнстейпл вслед утопийцам.— Уходите! Скорее! Скорее!

Снизу до него донесся топот, и восемь человек — вся боевая сила землян в Утопии — появились из-под арки ворот и побежали к двум изумленным утопийцам. Впереди, целясь из револьвера и что-то крича, мчался мистер Маш, за ним по пятам следовал мистер Ридли. Далее с весьма старательным и деловитым видом следовал мосье Дюпон. Отец Эмертон, размахивая своей веревкой, был в арьергарде.

— Уходите! — надрывался, почти лишившись голоса, мистер Барнстейпл.

Потом он замолк и стал глядеть, сжимая кулаки.

На помощь Серпентину и Кедру бежал вниз по склону от своей машины авиатор. В это время в небе появились еще два аэроплана.

Оба утопийца не желали бежать, и через несколько секунд преследователи настигли их. Атакующих возглавляли теперь Ханкер, Ридли и Маш. Мосье Дюпон, размахивая ножкой от стола, забирал вправо, видимо, намереваясь отрезать утопийцев от авиатора. Мистер Кэтскилл и Пенк несколько отстали от передней тройки; однорукий Барралонг был шагах в десяти позади них, а отец Эмертон и вовсе остановился, чтобы распутать свою веревку.

Несколько секунд они как будто переговаривались, затем Серпентин сделал быстрое движение, словно желая

схватить Ханкера. Раздался выстрел, потом еще три подряд.

— О боже! — воскликнул мистер Барнстейпл.— О боже!

Он увидел, как Серпентин, раскинув руки, упал навзничь, Кедр схватил мистера Маша, поднял его в воздух и швырнул в Кэтскилла и Пенка, свалив их всех в одну кучу. Мосье Дюпон с диким воплем подскочил к Кедру, но тот оказался проворнее. Он выбил из его рук дубину, схватил его за ногу, опрокинул и, завертев в воздухе, словно кролика, ударил им мистера Ханкера.

Лорд Барралонг отбежал на несколько шагов и принялся стрелять в приближающегося авиатора. Из клубка рук и ног, корчившегося на земле, снова возникли три человека. Мистер Кэтскилл, выкрикивая распоряжения, ринулся на Кедра, за ним Пенк и Маш и мгновением позже — Ханкер и Дюпон. Все они вцепились в Кедра, как собаки в кабана. Раз за разом он отбрасывал их прочь. Отец Эмертон со своей веревкой бестолково топтался рядом.

На несколько секунд внимание мистера Барнстейпла было поглощено этой свалкой вокруг Кедра. И тут он увидел, что по склону горы бегут другие утопийцы. Два аэроплана успели опуститься.

Мистер Кэтскилл заметил это подкрепление почти одновременно с мистером Барнстейплом. Он закричал:

— Назад! Назад! В замок!

Земляне отбежали от высокой, взъерошенной фигуры, несколько мгновений колебались и начали отступать к замку — сначала шагом, а потом бегом.

Вдруг Ридли обернулся и, прицелившись, выстрелил в Кедра; тот схватился за грудь и сел на землю.

Земляне отступили к подножию лестницы, ведущей через ворота в замок, и там остановились, запыхавшись, потирая ушибленные места. В пятидесяти шагах от них неподвижно лежал Серпентин, корчился и стонал авиатор, которого ранил Барралонг, и сидел Кедр с окровавленной грудью, ощупывая спину. Пятеро других утопийцев спешили к ним.

— Что это за стрельба? — спросила леди Стелла, внезапно появляясь рядом с мистером Барнстейплом.

— Взяли они заложников? — осведомилась мисс Грита Грей.

— Боже мой! — воскликнул мистер Берли, который тоже поднялся на стену.— Этого не должно было случиться! Каким образом... все сорвалось, леди Стелла?

— Я предупредил утопийцев,— сказал мистер Барнстейпл.

— Вы... их предупредили? — не веря своим ушам, воскликнул мистер Берли.

— Вот уж не думал, что возможно такое предательство! — донесся из-под арки ворот гневный голос мистера Кэтскилла.

4

Несколько секунд мистер Барнстейпл не делал никаких попыток спастись от нависшей над ним угрозы. Он всегда жил в условиях полной личной безопасности, и, как у многих цивилизованных людей, у него был почти атрофирован инстинкт самосохранения. И по темпераменту и по воспитанию он был наблюдателем. И сейчас он увидел себя словно со стороны — главным персонажем какой-то страшной трагедии. О бегстве он подумал не сразу и неохотно, словно в чем-то перед собой оправдываясь.

— Расстрелян как предатель,— сказал он вслух.— Расстрелян как предатель.

Он посмотрел на мостик через узкое ущелье. Можно было и сейчас еще перебежать его, если только сразу броситься туда. Надо только оказаться проворнее их. Но он был слишком благоразумен и не побежал туда опрометью — ведь тогда они сразу же кинулись бы в погоню. Он двинулся вдоль стены неторопливой походкой прогуливающегося человека и прошел мимо мистера Берли. Тот был слишком цивилизован, чтобы помешать ему. Все ускоряя шаг, мистер Барнстейпл дошел до лестницы, которая вела в башню. Там он на мгновение остановился, чтобы оглядеться. Кэтскилл был занят: расставлял часовых у ворот. Возможно, он еще не вспомнил о мостике или решил, что мистером Барнстейплом можно будет заняться и позже. Утопийцы несли вверх по склону своих убитых или только раненых.

Мистер Барнстейпл стал подниматься вверх по ступенькам, словно погруженный в задумчивость, и несколько секунд простоял наверху, заложив руки в карманы и делая вид, что любуется ландшафтом. Потом он повернул к винтовой лестнице, которая вела вниз, к чему-то вроде кордегардии. Как только он оказался вне поля зрения землян, он стал думать и двигаться гораздо быстрее.

В кордегардии он растерянно остановился. Тут было целых пять дверей, и любая из них, кроме той, через которую он вошел, могла вести к нужной лестнице. Одна из дверей была загорожена штабелем аккуратно составленных ящиков. Оставалось три двери, из которых надо было выбирать. Он распахнул их одну за другой. Каждая выходила на каменную лестницу с площадкой, за которой был поворот. Он стоял в нерешительности перед третьей дверью, как вдруг почувствовал, что оттуда потянуло холодным воздухом. Ну, разумеется, эта дверь ведет вниз, к обрыву, иначе откуда тут быть сквозняку? Несомненно, это так.

Закрыть остальные двери? Нет, лучше пусть все три останутся открытыми.

Он уже слышал топот шагов по лестнице, ведущей из башни. Бесшумно и быстро он сбежал по ступенькам и на секунду задержался на площадке — послушать, что делают преследователи.

«Вот дверь, которая ведет к мосту, сэр!» — услышал он голос Ридли. В ответ Кэтскилл сказал: «Тарпейская скала!» «Совершенно верно,— откликнулся Барралонг,— зачем тратить патрон? А вы уверены, что эта дверь ведет к мосту, Ридли?» Шаги послышались уже в кордегардии, потом ниже, на соседней лестнице.

— Всего лишь короткая передышка! — прошептал мистер Барнстейпл и замер на месте.

Он попал в западню! Лестница, по которой спускались сейчас преследователи, и была та, которая ведет к мосту!

Теперь они спустятся до самого моста и сразу увидят, что его нет ни там, ни на другой стороне ущелья, и, следовательно, он еще в крепости. Теперь этот путь закрыт: они либо запрут ведущую туда дверь, либо поста-

вят на лестнице часовых, а потом вернутся и начнут, не торопясь, искать его.

Что сказал Кэтскилл?.. «Тарпейская скала»?

Ужасно!

Нет. Живым он не сдастся!..

Он будет драться, как крыса, загнанная в угол, и заставит их пристрелить его...

Он стал спускаться дальше по лестнице. Становилось все темнее, потом вдруг снова забрезжил свет. Лестница кончалась в обыкновенном большом погребе, который когда-то был, вероятно, арсеналом или казематом. Погреб был довольно хорошо освещен двумя бойницами, прорубленными в скале. Теперь в нем хранились запасы всякой провизии. Вдоль одной стены тянулись полки со стеклянными флягами, в которых обычно хранилось вино в Утопии; вдоль другой стены были нагромождены ящики и какие-то бруски, обернутые в листовое золото. Он поднял за горлышко одну из фляг. Она могла сойти за недурную дубинку. А что, если соорудить баррикаду из ящиков поперек входа, стать сбоку и бить преследователей флягой по голове? Как будут разлетаться брызгами стекло и вино на их черепах!.. Но на сооружение баррикады потребуется время... Он выбрал и поставил у входа три самые большие фляги, чтобы они были под рукой. Потом его осенила новая мысль, и он посмотрел на бойницу.

Некоторое время он выжидал, прислушиваясь. Сверху не доносилось ни звука. Он подошел к бойнице, влез в нее и пополз вперед, пока не смог выглянуть наружу. Внизу был отвесный обрыв — мистер Барнстейпл мог бы плюнуть в поток, бурлящий в полутора тысячах футов прямо под ним. Скала состояла здесь из почти вертикальных слоев породы, то выступавших вперед, то уходивших внутрь; большой каменный контрфорс заслонял почти весь мостик, за исключением его дальнего конца; сам мостик был футов на сто ниже амбразуры, из которой выглядывал мистер Барнстейпл.

На мосту появился мистер Кэтскилл, казавшийся совсем крохотным,— он разглядывал лестницу в скале за мостиком; мистер Барнстейпл поспешно убрал голову. Затем он осторожно выглянул снова. Мистера Кэтскилла больше не было видно; видимо, он возвращался назад.

За дело! Медлить больше было нельзя.

В молодости, до того, как мировая война сделала путешествия дорогими и неудобными, мистер Барнстейпл лазил на скалы в Швейцарии, а кроме того, занимался этим в Камберленде и Уэльсе. Теперь он осмотрел соседние скалы взглядом опытного человека. Они были прорезаны почти горизонтальными пластами какой-то белой кристаллической породы — он решил, что это известковый шпат. Порода эта выветривалась быстрее, чем остальная масса скалы, образовывая неровные горизонтальные борозды. Если ему повезет, он сможет пробраться по этим бороздам вдоль обрыва, обогнуть контрфорс и вскарабкаться на мост.

Но тут ему показалось, что есть более надежный план. Он ведь легко может пробраться вдоль утеса до первой выемки, притаиться там и подождать, пока земляне не обыщут погреб. А когда они уйдут, он проберется обратно в погреб. Даже выглянув в окно, они не увидят его, а если он оставил в амбразуре какие-то следы, они все равно решат, что он либо выпрыгнул, либо сорвался в каньон. Правда, чтобы пробраться по обрыву, потребуется много времени... И, кроме того, он лишится своего единственного оружия — фляг...

И все-таки мысль о том, чтобы спрятаться на утесе, захватила его воображение. Он очень осторожно вылез из бойницы, нащупал опору для рук, нашел ногами выступ и начал пробираться по направлению к намеченному им углублению.

Но тут же возникло неожиданное препятствие: примерно на протяжении шести шагов скала на уровне его рук была совершенно гладкой, и держаться было не за что, оставалось только прижаться к скале и довериться ногам. Несколько секунд он стоял неподвижно.

Дальше он наступил на выветрившийся кусок породы и с ужасом почувствовал, что и нога лишилась опоры, но, к счастью, он сумел ухватиться за выступ и твердо стал другой ногой. Обломки зашуршали по обрыву, и тут же все стихло: они полетели в бездну. Некоторое время он стоял не двигаясь, словно парализованный.

— Нет, я не в форме,— прошептал мистер Барнстейпл.— Не в форме.

Все так же, не шевелясь, он стал молиться.

Потом, сделав над собой усилие, он заставил себя двинуться дальше.

Он уже был у самой впадины, когда какой-то слабый шорох заставил его покоситься на бойницу, из которой он вылез. Из бойницы медленно и осторожно высовывалась голова Ридли. Глаза его под белой повязкой горели яростным огнем...

5

В первый момент он не заметил мистера Барнстейпла. Потом, увидев его, крикнул: «Ух, черт!» — и поспешно спрятался.

Изнутри донесся невнятный шум голосов.

Повинуясь какому-то смутному инстинкту, мистер Барнстейпл замер на месте, хотя он мог бы уже скрыться в выемке раньше, чем из бойницы выглянул мистер Кэтскилл с револьвером в руке.

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.

— Вернитесь, или я буду стрелять,— сказал мистер Кэтскилл, но это прозвучало как-то неубедительно.

— Стреляйте! — ответил мистер Барнстейпл после некоторого размышления.

Мистер Кэтскилл вытянул шею и посмотрел вниз, на окутанные синими тенями глубины каньона.

— В этом нет нужды,— сказал он.— Нам надо беречь патроны.

— Просто смелости не хватает,—сказал мистер Барнстейпл.

— Не в этом дело,— возразил мистер Кэтскилл.

— Да, не совсем в этом,— согласился мистер Барнстейпл,— все-таки вы цивилизованный человек.

Мистер Кэтскилл нахмурился, но поглядел на него без всякой враждебности.

— У вас очень богатое воображение, — задумчиво продолжал мистер Барнстейпл.— Вся беда в вашем проклятом воспитании. В чем ваша беда? Вы пропитаны духом Киплинга. Империя, англосаксонская раса, бойскауты, сыщики — вот каким мусором начинена ваша голова. Если бы я учился в Итоне, я, наверное, был бы таким же, как вы.

— В Хэрроу,— поправил мистер Кэтскилл.

— Самая мерзкая из этих школ. Пригородное заведение, где ученики носят кок и соломенные шляпы. Можно было догадаться, что вы из Хэрроу. Но, как ни странно, я не питаю к вам ненависти. Если бы вас прилично воспитывали, вы, наверно, были бы совершенно другим. Будь я вашим школьным учителем... Но теперь поздно об этом говорить.

— Да, конечно,— подтвердил мистер Руперт Кэтскилл, любезно улыбаясь и поглядывая вниз, в каньон.

Мистер Барнстейпл начал ощупывать одной ногой уступ в выемке.

— Погодите еще одну минутку,— сказал мистер Кэтскилл.— Я не буду стрелять.

Изнутри донесся голос, возможно, лорда Барралонга, советовавшего сбросить на мистера Барнстейпла обломок скалы. Кто-то — должно быть, Ридли — свирепо одобрил это предложение.

— Только после судебного разбирательства,— сказал через плечо мистер Кэтскилл. Лицо его было непроницаемо, но у мистера Барнстейпла появилась фантастическая мысль: а вдруг мистер Кэтскилл не хочет его смерти! Может быть, он обдумал положение и теперь предпочел бы, чтобы мистер Барнстейпл спасся, добрался до утопийцев и как-нибудь уладил дело.

— Мы собираемся судить вас, сэр! — сказал мистер Кэтскилл.— Да, мы намерены судить вас. Мы предлагаем вам явиться в суд.

Мистер Кэтскилл облизнул губы и помолчал, как бы размышляя о чем-то.

— Заседание суда начнется немедленно,— продолжал он; его умные карие глаза быстро оценили положение мистера Барнстейпла; он вытянул шею и посмотрел на мост.— Мы не станем тратить время на долгие процедуры. Не сомневаюсь, каков будет приговор. Мы приговорим вас к смерти. Вот так обстоит дело, сэр. Думаю, что не пройдет и четверти часа, как ваша судьба будет решена на законном основании.

Он посмотрел вверх на скалы.

— Возможно, что мы сбросим на вас обломок скалы,— сказал он.

— Moriturus te saluto [1],— ответил мистер Барнстейпл тоном удачно сострившего человека.— Если позволите, я сейчас продвинусь вперед, чтобы устроиться немного поудобнее.

Мистер Кэтскилл по-прежнему пристально смотрел на него.

— Я нисколько на вас не в претензии,— сказал мистер Барнстейпл.— Будь я вашим школьным учителем, все было бы совсем по-иному. Благодарю вас за лишние пятнадцать минут, которые вы мне даете... И если случится так, что...

— Вот именно,— сказал мистер Кэтскилл.

Они поняли друг друга.

Когда мистер Барнстейпл обогнул уступ и забрался в свое убежище, мистер Кэтскилл все еще глядел из бойницы, а едва слышный голос лорда Барралонга настаивал, чтобы обломки скалы были пущены в ход немедленно.

6

Пути человеческого сознания неисповедимы. Отчаяние в душе мистера Барнстейпла сменилось теперь радостным возбуждением. Тошнотворный страх, вызванный карабканьем по утесу на огромной высоте, уступил место почти мальчишеской самоуверенности. Мысль о неминуемой смерти исчезла. Ему уже нравилось это приключение, он даже наслаждался им, совершенно не задумываясь о том, чем оно может кончиться.

Он довольно быстро добрался до контрфорса, хотя у него сильно болели руки... И вдруг он снова похолодел. Теперь, когда он мог видеть полностью весь мост и узкое ущелье, оказалось, что карниз, по которому он пробирался, проходит футов на тридцать ниже моста. И что еще хуже — между ним и мостом были две расселины неизвестной глубины. Сделав это открытие, он впервые пожалел, что не остался в погребе и не дал там боя своим преследователям.

---

[1] «Идущий на смерть приветствует тебя» *(лат.)* — перефразировка приветствия, с которым обращались в Древнем Риме к императору выходившие на арену гладиаторы.

Несколько минут он не мог ни на что решиться. Боль в руках все усиливалась.

Из оцепенения его вывела какая-то мелькнувшая на скале тень — он сначала принял ее за тень пролетевшей мимо птицы. Тень промелькнула снова. Он надеялся, что на него хотя бы не нападут птицы,— он читал такой рассказ... впрочем, неважно.

Тут над головой у него раздался громкий треск; подняв глаза, он увидел, как камень, ударившись о выступ над ним, разлетелся в куски. Из этого он сделал два вывода: во-первых, суд вынес приговор раньше, чем предполагал мистер Кэтскилл, а во-вторых, его видно сверху. Он начал с лихорадочной энергией продвигаться в сторону расселины.

Расселина оказалась более удобной, чем он ожидал,— это был «камин». Мистер Барнстейпл подумал, что по нему было бы нелегко подниматься, но спуститься будет возможно. Сверху расселина была прикрыта выступами скал. Примерно в ста футах ниже виднелось что-то вроде ниши, образовавшей довольно широкую площадку, где, вероятно, можно было прилечь, чтобы дать отдохнуть рукам. Не теряя времени, мистер Барнстейпл пополз к «камину», спустился туда и предался восхитительному ощущению: ему не надо было больше ни за что цепляться! Теперь он был недосягаем и невидим для своих преследователей-землян.

По стенке ниши текла струйка воды. Он напился, подумал о том, что недурно было бы подкрепиться, и пожалел, что не захватил с собой немного еды из запасов, хранившихся в погребе,— можно было бы вскрыть один из обернутых в золото брусков и сунуть в карман маленькую фляжку с вином. Как подбодрил бы его сейчас глоток вина! Но об этом не приходилось и думать. Он долго, как ему показалось, просидел, не двигаясь, в этой уютной нише, внимательно разглядывая уходящий вниз «камин». Мистеру Барнстейплу показалось, что здесь была возможность для дальнейшего спуска. Правда, стенки «камина» были гладки, как отполированные, но они сходились достаточно близко — можно было упереться спиной в одну, а ногами в другую.

Он посмотрел на ручные часы. Было всего без десяти девять. Ридли вызвал его к себе в половине шестого.

В половине седьмого он подавал завтрак во дворе, Серпентин и Кедр, должно быть, появились около восьми. Через десять минут Серпентин был убит. А потом — бегство и преследование. Как быстро произошло все это!

У него впереди еще целый день. Спускаться дальше он начнет в половине десятого. А до тех пор отдохнет. И незачем внушать себе, что он уже проголодался.

Около половины десятого мистер Барнстейпл уже продолжал спуск. Первые сто футов дались ему легко. А потом расселина начала незаметно расширяться. Он понял это только тогда, когда стал соскальзывать вниз. Он скользил, ожесточенно пытаясь уцепиться, наверное, около двадцати футов, потом пролетел футов десять, ударился о скалу и оказался на новом выступе, более широком, чем прежний. Он сильно ушибся и покатился, к счастью, внутрь ниши. Он был покрыт синяками, но серьезных повреждений не оказалось.

«Мне везет,— сказал он себе.— Счастье мне не изменяет».

Снова он некоторое время отдыхал, потом, уже твердо уверовав, что дальше все пойдет хорошо, стал рассматривать следующий этап спуска. Он долго не мог поверить, что дальнейший спуск абсолютно невозможен. Расселина совершенно вертикально уходила на двадцать ярдов вниз, и стенки ее отстояли друг от друга по меньшей мере на шесть футов. С таким же успехом он мог бы просто прыгнуть с обрыва. Тут же он убедился, что невозможно и вернуться назад. Он отказывался верить этому — настолько это было нелепо. Он даже рассмеялся, как человек, которого собственная мать не узнала после однодневной отлучки.

Потом он перестал смеяться.

Он снова все внимательно осмотрел. Он даже провел пальцами по гладкому камню.

— Но это просто бессмысленно,— сказал он, и холодный пот выступил у него на спине. Значит, из этой западни, куда он с таким трудом и усердием сам себя загнал, нет выхода! Он не может ни продолжать спуск, ни вернуться назад. Конец! Счастье изменило ему.

7

Когда стрелка на его часах показала полдень, он все еще сидел в своей нише, как бессильный, страдающий неизлечимой болезнью инвалид сидит в кресле, отдыхая между приступами боли, обреченный на бездействие и безнадежность. Не было и одного шанса на десять тысяч, что какой-нибудь счастливый случай сможет вызволить его из этой мышеловки. Рядом тоже текла струйка воды, но подкрепить силы было нечем — не было даже травинки, чтобы пожевать. Если он не бросится в пропасть, то умрет от голода. По ночам здесь холодно, хотя не настолько, чтобы холод мог убить его...

Так вот к какому концу привела его унылая работа в редакции лондонской газеты и семейная жизнь в Сайденхеме! Странную прогулку совершили они с Желтой Опасностью... Камберуэлл, Виктория, Хайнслоу, Слау, Утопия, горный рай, сотни захватывающих, дразнящих мимолетных впечатлений от мира подлинного счастья и порядка... долгий-долгий полет на аэроплане почти на другую сторону планеты... И вот теперь — смерть.

Мысль о прыжке вниз, который разом прекратил бы все мучения, была ему неприятна. Нет, он останется здесь и вытерпит все, что ему, возможно, придется вытерпеть перед концом. А в каких-нибудь трехстах ярдах отсюда его спутники-земляне тоже будут ждать свершения своей судьбы... Как все это удивительно! И как обыденно!..

Но ведь в конце концов такой или подобный исход уготован почти всем людям... Рано или поздно человеку приходится лечь на смертное ложе и думать, думать все лихорадочнее, а потом все туманнее, пока мысль не угаснет окончательно.

«Вообще говоря,— размышлял мистер Барнстейпл,— лучше умереть так, чем внезапно; ведь это чего-нибудь да стоит — глядеть некоторое время прямо в лицо смерти, успеть еще мысленно написать «конец» в своем сознании, подумать о жизни вообще и о жизни, которую прожил ты сам, оценить ее со стороны беспристрастно, твердо зная, что эту жизнь уже не изменишь ни на йоту».

Его мозг работал сейчас четко и спокойно; безмятежность, холодная, как ясное зимнее небо, охватила все его существо. Впереди были страдания — он знал это, но он не верил в то, что эти страдания будут невыносимы. А если и так — что ж, внизу разверзает свою пасть каньон. В этом отношении его выступ не такое уж плохое смертное ложе, пожалуй, даже более удобное, чем другие. На одре болезни человеку дается большой срок,— он успевает узнать и изучить болезнь во всех ее подробностях. А голодная смерть не так страшна, он где-то читал об этом; голод особенно мучителен на третий день, а после этого человек слабеет и страдает уже меньше. Должно быть, это намного легче, чем мучения от некоторых форм рака или воспаления мозга. Голодная смерть и на десятую долю не так страшна, как это. ...Одиночество? Но разве человек менее одинок, когда умирает дома в собственной постели? К нему приходят, говорят: «Ну, полно, полно» — ухаживают, оказывают всякие услуги, но этим и исчерпывается твое общение с другими. Ты уже вступил на свою последнюю, одинокую стезю, от тебя уходят речь, движения, даже желание говорить или двигаться, и голоса людей постепенно замирают и исчезают для тебя. Нет, смерть повсюду — мгновение подлинного одиночества, человек уходит в небытие один.

Более молодого человека это полное одиночество над глубоким ущельем, наверно, ужаснуло бы, но мистер Барнстейпл давно уже вышел из того возраста, когда питают иллюзии относительно возможности близкого общения друг с другом. Он хотел бы в последний раз поговорить с сыновьями, ободрить жену, но даже это было скорее смутным сентиментальным самовнушением, чем реальным желанием. В разговорах с сыновьями он всегда как-то робел. По мере того как начинала складываться их индивидуальность и характеры и из подростков они превращались в юношей, он все больше приходил к выводу, что задушевные беседы с ними были бы посягательством на их право складываться в самостоятельную личность. Да и они, казалось ему, тоже были застенчивы с ним, как бы защищаясь. Может быть, позднее сыновья снова сближаются с отцом, но этого «позднее» у него уже никогда не будет. И все-таки ему хотелось бы дать им знать о том, что с ним случилось. Это его бес-

покоило. Тогда они думали бы о нем с уважением и он не нанес бы им душевной травмы, как нанесет теперь: ведь они почти наверное будут думать, что он просто сбежал от них, или помешался, или даже связался с преступниками и те его убили. И они будут очень тревожиться, стыдиться, хотя для этого нет никаких причин, или, что будет еще хуже, начнут его разыскивать, бесполезно тратя деньги...

Все люди смертны. Многие умерли той смертью, которой умрет и он: в странной и необычной обстановке, заблудившись в темной пещере, высаженные на необитаемый остров, затерявшись в австралийских зарослях, брошенные в тюрьму и оставленные там умирать. Хорошо умереть без тяжких мук, без оскорблений! Он подумал о несчетном числе людей, распятых на кресте в Древнем Риме... сколько их было, воинов Спартака, распятых вдоль Аппиевой дороги,— восемь тысяч или десять? Он вспомнил о неграх, подвешенных на цепях и оставленных умирать от голода, о бесконечном разнообразии таких смертей. Все это потрясало его воображение, но в мыслях они страшнее, чем в действительности... Немного больше мук, немного меньше — бог ведь не станет расточать напрасно лишние страдания. Крест, колесо, электрический стул или койка в больнице — суть одна: человек мертв, и с ним покончено.

Было даже какое-то приятное чувство в том, что он так мужественно размышляет обо всем. Он попал в западню и все-таки не обезумел от ужаса — в этом тоже есть что-то хорошее! К удивлению мистера Барнстейпла, его нисколько не заботил сейчас вопрос о бессмертии его души. Он вполне допускал мысль, что окажется бессмертным или по крайней мере часть его. Нелепо быть догматичным и отрицать, что эта частица — какое-то отражение его сознания или даже воли — может продолжать существовать самостоятельно. И в то же время он не мог представить себе, как это будет. Это было выше человеческого понимания. Этого нельзя было вообразить. Он не испытывал страха перед таким продолжением своего существования. Он не думал и о возможности суровой кары и не боялся ее. Ему часто казалось, что вселенная создана довольно небрежно, но он никогда не допускал, что она творение злобного глупца. Мир представлялся

ему чем-то весьма беспорядочным, но вовсе не порождением злобы и жестокости. Сам он всегда оставался тем, чем был,— слабым, ограниченным человеком, иногда глупым, но ведь наказанием за такие недостатки являются они сами...

Мистер Барнстейпл перестал думать о своей собственной смерти. Он принялся размышлять о жизни вообще, о том, как убога она теперь, но какие благородные цели в ней заложены. Глубокую горечь вызывала в нем мысль, что он больше никогда не увидит этого мира Утопии, который во многом был прообразом того, чем мог бы стать его собственный мир. Его радовала мысль о том, что он увидел воплощение лучших человеческих стремлений и идеалов; и в то же время ему горько было подумать, что это видение отняли у него раньше, чем он мог к нему приглядеться. Он вдруг обнаружил, что задает себе вопросы, на которые у него нет ответа,— об экономике Утопии, о любви утопийцев, об их борьбе. Но все равно он счастлив, что увидел хотя бы столько, сколько ему удалось. Все-таки как хорошо, что он прошел через это очищение и навсегда вырвался из трясины унылой безнадежности, в которую его вверг мистер Пиви, и впервые увидел жизнь в ее подлинной перспективе!..

Страсти, конфликты и бедствия тысяча девятьсот двадцать первого года — все это было не более как лихорадкой не получившего оздоровительной прививки мира. Век Хаоса на Земле тоже в свое время изживет себя — об этом позаботится та смутная, но неодолимая правда, которая живет в крови человека. И эта мысль служила утешением для странно устроенного ума мистера Барнстейпла, когда он, скорчившись, сидел в расселине огромной скалы, среди недоступных вершин и бездонных пропастей, продрогший, голодный, измученный.

Утопия открывала перед ним великолепные возможности, и какими жалкими и ничтожными показали себя он и его товарищи! Ни один из них даже не попытался развеять мальчишеские фантазии мистера Кэтскилла и твердой рукой обуздать животную агрессивность его единомышленников. Как беспрепятственно взял на себя отец Эмертон роль обличающего, ненавидящего, прокли-

нающего, сеющего рознь жреца! Каким безнадежно слабым и бесчестным оказался мистер Берли. Впрочем, и сам он, Барнстейпл, немногим лучше! Вечно что-то не одобряющий и вечно пребывающий в бездейственной оппозиции. Как глупа эта по-коровьи красивая женщина Грита Грей — жадная, требовательная, чуждая любой мысли, кроме мыслей самки о своей привлекательности. Леди Стелла — существо более тонкое, но обречена на полную бездеятельность. «Женщины,— подумал он,— не очень удачно представлены в этой случайной экспедиции: одна — полное ничтожество, другая — вялая посредственность. Нет, по ним нельзя справедливо судить о женщинах Земли».

Зрелище достижений Утопии вызвало у землян однoединственное желание: вернуть ее как можно скорее вспять—к насилию, завоеваниям, жестокостям Века Хаоса, в котором жили они сами. Серпентина и Кедра, ученого и врача, они хотели превратить в заложников, чтобы утвердить свое право разрушать, а когда это им не удалось, они убили их или пытались убить.

Они хотят вернуть Утопию к тому, чем живет сейчас Земля, а между тем, если бы не их глупость, злоба и ничтожество, Земля была бы Утопией. Да, наша старая Земля уже сейчас — Утопия, прекрасный сад, земной рай, но ее попирают, превращая все в прах и развалины, Кэтскиллы, Ханкеры, Барралонги, Ридли, Дюпоны и им подобные. И этому их злобному духу разрушения в земном мире не противостоит ничто, кроме жалкого повизгивания мистеров Пиви, снисходительного неодобрения мистеров Берли и нескончаемых бесплодных протестов таких людей, как он сам. И еще несколько писателей и учителей, чья деятельность пока не приносит видимых результатов...

Мистер Барнстейпл снова вспомнил о своем старом друге, школьном инспекторе и авторе учебников, который работал с величайшим упорством, но, не выдержав, умер так бессмысленно. Он всю свою жизнь трудился во имя Утопии! Быть может, на Земле есть еще сотни или тысячи таких утопийцев? Какая непонятная сила поддерживает их?

Ведь хотя сам он должен умереть голодной смертью, как сорвавшийся в пропасть зверь, Утопия победила и

будет побеждать. Стяжатели и завоеватели, тираны и шовинисты, личеватели и гонители и все остальные порождения близорукой людской жажды насилия сгрудились вместе перед окончательной гибелью. Даже когда они живут так, как им хочется, они не знают счастья, они мечутся от одного наслаждения к другому, от довольства к полному истощению. Все их предприятия и успехи, их войны и подвиги вспыхивают и гаснут, исчезая в небытии. Только настоящая правда растет непреодолимо, только ясная идея год за годом, век за веком растет медленно и непобедимо, как растет алмаз во мраке под страшным давлением земной толщи или как заря, разгораясь, затмевает мерцание гаснущих свеч какой-либо еще не окончившейся оргии.

Каков будет конец этих ничтожных людей там, наверху? Их жизнь находится в еще большей опасности, чем его собственная, потому что он будет лежать и умирать от голода медленно, долгими неделями, пока его сознание не угаснет совсем; они же бросили открытый вызов мощи и мудрости Утопии, и сейчас эта упорядоченная сила уже нависает над их головами и готова их уничтожить. Вопреки логике ему по-прежнему было немного неловко, что он выдал засаду, устроенную Кэтскиллом. Сейчас он уже не мог вспомнить без улыбки свою наивную мысль о том, что если Кэтскиллу удастся захватить заложников, то Земля возобладает над Утопией. Именно эта мысль и побудила его действовать с излишней поспешностью. Как будто один его слабый крик мог предотвратить эту чудовищную катастрофу. Ну, а если бы его там не было? Или если бы он поддался инстинкту товарищества, который побуждал его сражаться вместе с остальными? Что было бы тогда?

Он вспомнил, как Кедр одним толчком, словно назойливую собачонку, отбросил от себя мистера Маша; представил себе высокий рост, широкие плечи Серпентина и подумал, что земляне даже в своей засаде на ступеньках лестницы вряд ли одолели бы двух утопийцев. Все равно были бы пущены в ход револьверы, как это и случилось на склоне, и Кэтскилл получил бы не заложников, а только двух убитых.

Как невыразимо глуп был весь план Кэтскилла! Впрочем, не глупее, чем поведение Кэтскилла, Берли и всех

остальных государственных мужей Земли за последние несколько лет. Иногда в эти годы, когда мир корчился в муках мировой войны, ему казалось, что Утопия вот-вот придет на Землю. Черные тучи и дым этих лет были пронизаны проблесками смутных надежд на возрождение обетованного мира. Но националисты, финансисты, священники, патриоты не дали этим надеждам осуществиться. Они положились на старый яд, на бациллы прошлого и на низкую сопротивляемость цивилизованного сознания. Они подсчитывали силы, устраивали засады и поручали своим женщинам шить флаги розни и войны...

Они убили Надежду, но только на время. Ибо Надежда, эта искупительница рода человеческого, возрождается снова и снова.

— Утопия победит! — сказал мистер Барнстейпл и стал прислушиваться к звуку, который возник уже довольно давно,— к глухому рокоту в скале над ним, словно там катилась какая-то огромная машина,— этот звук все нарастал, потом стал стихать и замер.

Мысли его снова вернулись к его недавним спутникам. Ему хотелось надеяться, что они там, наверху, не так уж напуганы и несчастны. Он был бы особенно рад, если бы что-нибудь подбодрило леди Стеллу. Он искренне беспокоился о ней. Что касается остальных, для них будет лучше, если они сохранят свой боевой дух. Сейчас они все, наверно, трудолюбиво приводят в исполнение какой-нибудь нелепый и безнадежный план обороны, придуманный Кэтскиллом. Все, за исключением мистера Берли, который, несомненно, отдыхает, убежденный, что для него, во всяком случае, найдется какой-нибудь достойный выход из положения. И мысль о том, что такого выхода не окажется, тоже, вероятно, его не пугает. Эмертон и, возможно, Маш скорее всего впали в религиозный экстаз, а остальных это, наверно, немного раздражает, но зато отвлекает мысли леди Стеллы и мисс Гриты Грей. Ну, а для Пенка есть вино в подвале...

Они, конечно, будут подчиняться законам своего существа и делать то, чего требует от них их натура и привычки. И разве возможно что-нибудь другое?

Мистер Барнстейпл погрузился в метафизические рассуждения...

И вдруг он поймал себя на том, что смотрит на часы. Было двадцать минут первого. Он смотрит на часы все чаще и чаще или время вдруг стало идти медленней?.. Завести часы? Или дать им остановиться? Сейчас его уже начинал мучить голод. Впрочем, это еще не настоящий голод; просто у него разыгралось воображение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ КАРАНТИННОГО УТЕСА

1

Мистер Барнстейпл просыпался медленно и неохотно: ему снилась кухня. Он был Сойером, знаменитым поваром Реформ-клуба. Он изобретал и пробовал новые блюда. Однако по чудесным законам, управляющим страной снов, он был не только Сойером, но в то же время еще и очень талантливым утопийским биологом и, наконец, самим богом. Он мог не только готовить новые блюда, но и создавать новые овощи, новые виды мяса, которые могли пригодиться для этих блюд. Его особенно занимала новая порода кур, так называемая шатобриановская порода. Она сочетала в себе сочность хорошего бифштекса с нежным и тонким вкусом куриной грудки. Он собирался начинить кур стручковым перцем, грибами и луком, хотя грибы тут не совсем подходили. Грибы... он попробовал их, нужно было немножко подправить! И вот в сон вступил поваренок, несколько поварят, все обнаженные, как утопийцы; они принесли из кладовой кур, говорили, что куры эти лежалые, и, чтобы они не залежались совсем, начали подбрасывать их вверх, а затем сами полезли по стенам кухни, которые были скалистыми и для кухни чересчур близко сходились. Фигуры поварят вдруг потемнели, они казались черными силуэтами на фоне светящегося пара, валившего из котла с кипящим супом. Суп кипел, но все-таки это был холодный суп и холодный пар.

Мистер Барнстейпл проснулся.

Вместо светящегося пара он увидел заполнивший ущелье туман, освещенный яркой луной. На его фоне фигуры двух утопийцев казались черными силуэтами...

Как... утопийцы?

Его сознание металось между сном и реальностью. Он глядел вверх с напряженным вниманием. Да, утопийцы двигались, непринужденно жестикулируя, совершенно не подозревая, что он находится так близко от них. Очевидно, они уже закрепили где-то наверху веревочную лестницу, но как они это сделали, он не знал. Один все еще стоял на его уступе, другой, повиснув над ущельем, раскачивался на веревочной лестнице, упираясь ногами в скалу. Над краем уступа появилась голова третьего. Голова покачивалась из стороны в сторону: утопиец, видимо, поднимался вверх по второй веревочной лестнице. Они что-то обсуждали. Мистер Барнстейпл понял, что третий предлагает остановиться здесь, а стоящий наверху настаивает, чтобы они поднялись еще выше. Через несколько мгновений спор был улажен.

Верхний утопиец рывком подтянулся и исчез из поля зрения мистера Барнстейпла. Его товарищи последовали за ним и один за другим тоже исчезли; теперь мистер Барнстейпл видел только судорожно раскачивающуюся веревочную лестницу да еще какой-то длинный канат, который они, казалось, поднимали на вершину утеса.

Напряженные мышцы мистера Барнстейпла расслабились. Он беззвучно зевнул, потянулся, расправляя затекшие руки и ноги, и осторожно встал. Потом он выглянул из своего убежища. Утопийцы как будто добрались до верхнего уступа и что-то там делали. Свободно висевший канат вдруг натянулся. Утопийцы начали медленно поднимать что-то снизу. Это был большой узел — возможно, инструменты, или оружие, или какие-то материалы, завернутые во что-то для смягчения ударов о скалу. Узел внезапно возник перед мистером Барнстейплом, несколько секунд покружился на месте, и затем утопийцы рывком подтянули его к себе. Несколько минут стояла полная тишина.

Потом он услышал какое-то металлическое позвякивание, затем — тук-тук-тук! — глухие удары молотка. Он отпрянул назад: тонкая веревка, видимо, бегущая по блоку, едва не задела его. Теперь сверху доносилось что-то вроде скрежета пилы, потом несколько обломков скалы пролетели мимо него и исчезли в пустоте.

2

Он не знал, что ему делать. Он боялся окликнуть утопийцев и тем раскрыть свое присутствие. После убийства Серпентина он не мог быть уверен в том, как поведут себя утопийцы, обнаружив одного из землян, притаившегося в этом укромном местечке.

Он стал разглядывать веревочную лестницу, по которой утопийцы поднялись до его убежища. Она держалась на большом костыле, конец которого был забит в скалу рядом с расселиной. Возможно, что этим заостренным костылем выстрелили из какого-то аппарата снизу, когда он спал. Сама лестница состояла из колец, соединенных веревкой на расстоянии примерно двух футов друг от друга, и была сделана из такого легкого материала, что мистер Барнстейпл не поверил бы, что она может выдержать вес человека, если бы не видел, как по ней поднимались утопийцы... Ему пришло в голову, что и он может спуститься по этой лестнице и сдаться на милость утопийцев, которые, наверное, находятся внизу. Что касается тех троих, работающих наверху, то их внимание он может привлечь разве только каким-нибудь внезапным движением, которое, пожалуй, вызовет неприятные действия с их стороны, а если утопийцы внизу увидят, как он тихо и медленно спускается к ним сверху, у них будет достаточно времени, чтобы обдумать, как поступить. А кроме того, ему очень хотелось поскорее покинуть этот мрачный уступ.

Он крепко ухватился за кольцо, стоя спиной к обрыву, нащупал ногой второе нижнее кольцо, несколько мгновений прислушивался к слабым звукам наверху и начал спускаться.

Это был невероятно долгий спуск. Вскоре мистер Барнстейпл пожалел, что не стал считать кольца лестницы. Он, наверно, уже миновал сотню их. Но когда он, вытянув шею, заглянул вниз, там все еще зияла темная пропасть. В ущелье царила непроницаемая мгла. Свет луны не мог добраться до самых глубин каньона, и только слабые его отблески на клочьях тумана боролись с темнотой. Да и в вышине лунный свет становился все слабее.

Мистер Барнстейпл то прижимался вплотную к скале, то она словно отодвигалась, и тогда казалось, что лест-

ница уходит куда-то в черную бездонную пустоту. Ему приходилось нащупывать каждое кольцо — его руки и босые ноги были теперь натерты до крови. Вдруг ему в голову пришла новая и очень неприятная мысль. А что, если кто-нибудь из утопийцев вздумает подниматься снизу по этой же лестнице? Но нет, это будет сразу заметно: лестница натянется, задрожит, и он успеет крикнуть: «Я землянин. Я опускаюсь вниз! Я безобидный землянин!»

Он попробовал крикнуть это в виде опыта. Из ущелья отозвалось эхо, но никакого другого, ответного звука он не услышал.

Он продолжал молча, упорно спускаться, стараясь двигаться как можно быстрее. Нетерпеливое желание поскорее оставить эту проклятую лестницу, дать отдохнуть пылающим рукам и ногам преобладало над всеми другими чувствами.

Бум, бум!.. И вспышка зеленого света!

Он оцепенел и посмотрел вниз, на дно каньона. Снова зеленая вспышка! Глубина ущелья на мгновение осветилась, и ему показалось, что расстояние до дна все еще огромно. И над ущельем тоже что-то происходит, но за короткое мгновение вспышки он не успел уловить, что именно. Сначала ему показалось, что по ущелью ползет какая-то гигантская змея. Потом он сообразил, что это, вероятно, толстый кабель, и его тянут несколько утопийцев. Но как те три-четыре человека, которых он смутно разглядел, умудряются тащить этот огромный кабель, он не мог понять. Змеевидный кабель, казалось, полз вверх самостоятельно, наискось поднимаясь по скале. Может быть, его тянут вверх тросами, которых он не заметил? Он ждал третьей вспышки, но ее не было. Он прислушался, однако различил только рокочущий звук, который он уже отметил раньше, похожий на гул ровно работающей машины.

Он стал спускаться дальше.

Когда мистер Барнстейпл добрался наконец до выступа, куда можно было бы стать, его ожидал неприятный сюрприз. Веревочная лестница спускалась ниже этой площадки всего на несколько ярдов и там кончалась. По тому, как лестница все больше и больше раскачивалась, он еще раньше почувствовал это... Но тут он

вдруг разглядел в темноте что-то вроде горизонтальной галереи, вырубленной в. скале. Он вынул ногу из кольца, нащупал выступ и тут же откачнулся обратно. Он так устал и измучился, что долгое время не мог перебраться с лестницы на площадку. Наконец он сообразил, как это можно сделать. Повиснув на руках, он оттолкнулся ногами от скалы и, качнувшись к выступу, секунду держался над ним. Он проделал это дважды, потом собрался с духом и спрыгнул на выступ, отпустив лестницу. Она откачнулась, пропала в темноте, потом качнулась обратно и, словно играя, внезапно хлопнула его по плечу.

Галерея, в которой очутился мистер Барнстейпл, была проложена в большой кристаллической жиле какого-то минерала. Вглядываясь во мрак, он ощупью побрел по галерее. Если это была выработка, то, несомненно, она как-то соединялась с дном каньона. Шум потока сейчас был намного громче, и мистер Барнстейпл решил, что спустился с утеса примерно на две трети его высоты. Он решил, что лучше подождать утра. Он взглянул на светящийся циферблат часов: было четыре часа. Скоро наступит рассвет. Он выбрал удобное место и сел, прислонившись спиной к камню. Рассвет, казалось, наступил мгновенно, но на самом деле мистер Барнстейпл на некоторое время забылся: на часах было уже половина шестого.

Он подошел к краю галереи и посмотрел вверх, туда, где он видел в расселине кабель. В утреннем сумраке все предметы казались серыми либо белыми или черными, но очень отчетливыми. Стены каньонов, казалось, поднимались на бесконечную высоту и пропадали где-то в облаках. Внизу мелькнул утопиец, но его тотчас же заслонил выступ скалы. Мистер Барнстейпл подумал, что огромный кабель прижат вплотную к обрыву Карантинного Утеса и поэтому отсюда его не видно.

Он не нашел ступенек, которые вели бы вниз из галереи, но ярдах в тридцати — сорока он увидел пять тросов, которые под острым углом уходили к противоположной стене каньона. Тросы вырисовывались очень отчетливо. Он подошел к ним. По каждому тросу ходила маленькая вагонетка с большим крюком под ней. Это была маленькая подвесная дорога. Три троса были пусты, а на

остальных двух вагонетки находились на этой стороне. Мистер Барнстейпл осмотрел вагонетки и отыскал тормоза, которые их удерживали на тросе. Он отпустил один тормоз, и вагонетка рванулась вперед, чуть не столкнув его в пропасть. Он спасся, ухватившись за другой трос. Он видел, как вагонетка полетела вниз, как птица опустилась на песчаный берег по ту сторону потока и там остановилась. Спуститься, по-видимому, было можно. Весь дрожа,. он повернулся к последней вагонетке.

Его нервы были настолько истерзаны и воля настолько ослабела, что потребовалось некоторое время, прежде чем он заставил себя повиснуть на крюке и отпустить тормоз. Но вот он мягко и быстро полетел через ущелье на песчаный берег...

Там лежали большие груды кристаллического минерала. Откуда над ними висел канат? Должно быть, от невидимого в тумане подъемного крана. Но ни одного утопийца вокруг не было. Мистер Барнстейпл разжал руки и спрыгнул на песок. Песчаный берег расширялся вниз по течению, и он пошел вдоль потока.

Свет становился все ярче. Мир перестал быть миром серого и черного. Предметы обрели краски. Все вокруг было покрыто обильной росой. А он был голоден и невыносимо измучен. Песок стал каким-то другим, он сделался мягче, ноги в нем вязли. Мистер Барнстейпл почувствовал, что не в состоянии больше идти, и решил ждать чьей-нибудь помощи. Он уселся на камень и посмотрел на громаду Карантинного Утеса.

3

Огромный утес уходил ввысь и торчал почти вертикально, словно нос гигантского корабля, разделившего два синих каньона. Клочья и полосы тумана все еще скрывали от мистера Барнстейпла вершину и мостик, перекинутый через более узкий каньон. Небо, проглядывавшее между полосами тумана, было густого синего цвета. Пока он всматривался, туман рассеялся, и в лучах восходящего солнца старый зáмок засверкал ослепительным золотом; крепость землян была отчетливо видна.

Мост и замок были бесконечно далеко, и вся верхняя

часть скалы казалась маленьким шлемом на голове гигантского воина. Ниже моста, примерно на той высоте, на которой работали или еще продолжали работать три утопийца, тянулась темная змеевидная лента. Мистер Барнстейпл решил, что это и есть кабель, который он заметил ночью в свете зеленых вспышек. Потом он увидел какое-то странное сооружение — ближе к вершине, возле более широкого каньона. Это было нечто вроде огромной плоской спирали, поставленной у края обрыва, напротив утеса. Немножко ниже, над более узким каньоном, отчасти заслоненная выступом, виднелась вторая такая же спираль — почти возле самых ступенек, которые вели вверх от мостика. Двое или трое утопийцев, выглядевших на огромной высоте крохотными и приплюснутыми, копошились у края обрыва — они держали в руках какой-то аппарат, имевший отношение к двум спиралям.

Мистер Барнстейпл глядел на эти приготовления, ничего не понимая, как дикарь, никогда не слыхавший выстрела, глазел бы на человека, заряжающего ружье.

Послышался знакомый звук, слабый и далекий. Это сирена на Карантинном Замке дала сигнал к подъему. И почти одновременно на фоне голубого неба появилась маленькая наполеоновская фигура мистера Руперта Кэтскилла. Рядом с ним показались голова и плечи, очевидно, вытянувшегося перед ним Пенка.

Командующий вооруженными силами землян вытащил полевой бинокль и принялся разглядывать спирали.

— Интересно, понимает ли он, что это такое, — пробормотал мистер Барнстейпл.

Мистер Кэтскилл повернулся и что-то приказал Пенку; тот отдал честь и исчез.

Какой-то треск в более узком каньоне заставил мистера Барнстейпла обратить внимание на мостик. Его больше не было. Мистер Барнстейпл быстро посмотрел вниз и еще успел заметить падающий мост в нескольких ярдах от воды. Потом он увидел, как всплеснулась вода и металлическая рама, ударившись о камни, подпрыгнула и разлетелась на части. Только через несколько мгновений до ушей мистера Барнстейпла донесся грохот падения.

— Кто же это сделал? — спросил он самого себя.

На его вопрос ответил мистер Кэтскилл: он торопливо побежал к углу замка и стал глядеть вниз. Он был явно удивлен. Значит, мост обрушили утопийцы.

Возле мистера Кэтскилла почти тотчас же появились мистер Ханкер и лорд Барралонг. Судя по их жестам, они что-то взволнованно обсуждали.

Солнечные лучи все ниже скользили по Карантинному Утесу. Теперь они осветили кабель, окружавший подножие вершины, и при этом свете он засверкал, словно начищенная медь. Мистер Барнстейпл вновь увидел трех утопийцев, разбудивших его ночью,— они торопливо спускались по веревочной лестнице. И снова раздался рокот, который он не раз слышал ночью. Но теперь этот звук был гораздо громче, он словно доносился отовсюду и отдавался в воздухе, в воде, в скалах, в его костях.

Внезапно рядом с маленькой группой землян возник какой-то темный копьевидный предмет. Этот предмет словно выпрыгнул откуда-то — он подпрыгнул еще на высоту роста человека, потом выше и снова выше. Это был флаг; его поднимали на флагштоке, который мистер Барнстейпл заметил только сейчас. Флаг поднялся до конца флагштока и повис.

Затем ветерок на мгновение развернул его. Открылась белая звезда на голубом фоне, потом флаг опять повис.

Это был флаг Земли, флаг крестового похода за возвращение Утопии к конкуренции, хаосу и войнам.

Под флагом появилась голова мистера Берли — он тоже рассматривал в бинокль спирали утопийцев.

4

Рокот и гудение отдавались в ушах мистера Барнстейпла все громче и вдруг стали оглушительными. Внезапно над каньонами, между спиралями заметались фиолетовые молнии, пронзая насквозь Карантинный Замок с такой легкостью, словно его там и не было.

Однако он там был еще одно мгновение.

Флаг запылал, и клочья его свалились с флагштока. С головы мистера Берли слетела шляпа. Мистер Кэт-

скилл, фигура которого возвышалась до половины над парапетом, безуспешно боролся с полами сюртука, задравшимися и окутавшими ему голову. И в то же мгновение мистер Барнстейпл увидел, как замок стал поворачиваться вокруг оси, словно невидимый великан сжал пальцами верхушку утеса и стал ее откручивать. И тут же замок исчез.

На его месте поднялся огромный столб пыли; над потоками в каньонах взлетели фонтаны воды. Оглушительный грохот ударил в уши мистера Барнстейпла. Невидимая сила подняла его в воздух и отбросила на несколько шагов. Он упал среди града камней, тучи брызг и облака пыли, избитый и оглушенный.

— Боже мой! — простонал он.— Боже мой!

С трудом, едва превозмогая отчаянную тошноту, он поднялся на колени.

Он бросил взгляд на вершину Карантинного Утеса — она была срезана аккуратно, как верхушка сыра острым ножом. Истощение и усталость окончательно одолели его, он упал ничком и потерял сознание.

КНИГА ТРЕТЬЯ

НЕОФИТ В УТОПИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИРНЫЕ ХОЛМЫ У РЕКИ

1

«Бог создал больше миров, чем страниц в книгах всех библиотек; и среди множества божьих миров человек может познавать новое и становиться все совершеннее вечно».

У мистера Барнстейпла было ощущение, что он плывет от звезды к звезде через бесконечное многообразие чудес мироздания. Он перешагнул границы бытия; долгими столетиями он спускался по обрывам несчетных утесов; переходил от вечности к вечности в потоке неисчислимых малых звезд... Наконец наступила полоса глубочайшего покоя. Явилось небо с легкой пеленой облаков, озаренных лучами заходящего солнца, пологие холмы на горизонте с вершинами, покрытыми золотистой травой, с темно-лиловыми лесами и рощами и бледно-желтыми полями по склонам. То там, то тут были разбросаны увенчанные куполами строения террасы, цветущие сады, уютные виллы, большие бассейны с сверкающей на солнце водой.

Поблизости все склоны поросли деревьями вроде эвкалиптов, только листья у них были потемнее; весь

этот ландшафт уходил вниз, к широкой долине, по которой лениво петляла светлая река, исчезая в вечерней дымке.

Мистер Барнстейпл, заметив какое-то легкое движение, перевел взгляд — рядом с ним сидела Ликнис. Она улыбнулась ему и приложила палец к губам. Ему смутно захотелось что-то ей сказать, но он только слабо улыбнулся в ответ и повернул к ней голову. Она встала и скользнула куда-то мимо его изголовья. Он был еще настолько слаб и безразличен ко всему, что не смог даже посмотреть, куда она пошла. Все-таки он заметил, что она сидела за белым столиком, на котором стоит серебряная ваза с синими цветами,— их яркая окраска приковывала его взор, и он сосредоточил на них все то вялое любопытство, которое пробудилось в нем. Он старался понять, действительно ли в Утопии краски ярче или чистота и прозрачность воздуха так обостряют его зрение.

Стол стоял у белых колонн спальной лоджии, а между ними низко свесилась ветвь похожего на эвкалипт дерева с темно-бронзовыми листьями.

Зазвучала музыка. Звуки сочились тонкой струйкой, падали каплями, текли — ненавязчивый ручеек маленьких, ясных нот. Музыка звучала где-то на пороге его сознания — вроде песни какого-нибудь Дебюсси из волшебной страны... Покой...

2

Мистер Барнстейпл снова проснулся.

Теперь он изо всех сил старался вспомнить...

Что-то швырнуло его и оглушило. Что-то слишком огромное и мощное, чтобы можно было удержать это в памяти.

Потом какие-то люди окружили его и что-то говорили: он видел только их ноги — должно быть, он лежал ничком, уткнувшись лицом в землю. Потом его перевернули, и он был ослеплен яркими лучами восходящего солнца.

В ущелье, у подножия высокого утеса, две милые богини дали ему выпить какого-то лекарства. Потом женщина несла его на руках, как ребенка... Какие-то туманные, отрывочные воспоминания о долгом полете по воз-

духу... И тут ему представился огромный сложный механизм, не имевший к остальному никакого отношения. Он попытался было разобраться, в чем тут дело, но сознание сразу устало работать... Чьи-то голоса о чем-то совещались. Боль от укола. Потом он вдыхал какой-то газ. И беспробудный сон. Вернее, сон, перемежающийся какими-то видениями...

Но что же это было за ущелье? Как он попал туда?

Да, ущелье, только в каком-то другом освещении, при вспышке зеленого света. Утопийцы тащат огромный, тяжелый кабель.

И вдруг перед его глазами четко встал Карантинный Утес на фоне яркого синего утреннего неба. Он вновь увидел, как вершина начала медленно поворачиваться вместе с развевающимся флагом, растрепанными фигурками, словно большой корабль, выходящий с флагами и пассажирами из гавани, увозя их в невидимое и неведомое... И вдруг мистер Барнстейпл вспомнил все свое невероятное, чудесное приключение от начала и до конца.

3

Он приподнялся на своем ложе. Лицо его выражало нетерпеливый вопрос, и тут же появилась Ликнис.

Она села рядом с ним, немного взбила подушки и стала его убеждать лежать спокойно. Она сообщила, что его вылечили от какой-то болезни и что он больше не носитель инфекции, но пока еще он очень слаб. «После какой же болезни?» — спросил он себя. Тут он вспомнил новые подробности недавнего прошлого.

— У вас вспыхнула эпидемия,— сказал он.— Какая-то смесь из всех наших инфекций.

Она улыбнулась успокаивающе. Эпидемия кончилась. Организованность и наука Утопии уничтожили опасность в самом зародыше. Сама Ликнис не участвовала в профилактических и санитарных работах, так быстро прервавших распространение вторгшихся микробов; она занималась другим — ухаживала за больными. Что-то сказало мистеру Барнстейплу, что Ликнис даже огорчена тем, что эта милосердная деятельность больше уже не нужна. Он поднял голову и посмотрел в ее красивые, добрые глаза, в которых светилось ласковое со-

страдание. Конечно, она огорчена не тем, что Утопия избавилась от эпидемии, это было бы невероятно; видимо, она опечалена тем, что больше не может отдавать всю себя страждущим, и рада хотя бы тому, что он еще нуждается в ее помощи.

— А что стало с этими людьми на Утесе? — спросил он.— Что стало с остальными землянами?

Она не знала, но думала, что их изгнали из Утопии.

— Назад на Землю?

Нет, она не думает, чтобы они вернулись на Землю. Возможно, они попали в другую вселенную. Но она не знает точно. У нее никогда не было призвания к математическим или физико-химическим наукам, и сложные теории о пространственных измерениях, которыми интересовалось в Утопии столько людей, были ей недоступны. По ее мнению, вершина Карантинного Утеса была выброшена за пределы утопийской вселенной. Множество утопийцев сейчас заинтересовалось проблемой иных измерений, но все это только пугало ее. Она отшатывалась от этого, как отшатывается очутившийся на самом краю пропасти.

Ей не хотелось думать о том, куда девались земляне, над какими безднами они проносятся, в какие необозримые пространства они погружаются. Когда она думала об этом, словно черные пропасти разверзались у нее под ногами и ее покидала спокойная уверенность в незыблемости мира. У нее был консервативный склад мышления; она любила жизнь такой, как она есть и какой была всегда. Она посвятила себя уходу за мистером Барнстейплом, когда выяснилось, что он избежал судьбы остальных землян; ее не очень занимали подробности того, что с ними произошло. Она просто не думала об этом.

— Но где же они? Куда они исчезли?

Этого она не знала.

Постепенно она рассказала ему, но как-то запинаясь и бессвязно, о своем смутном несочувствии этим новым открытиям, которые воспламенили сейчас воображение утопийцев. Толчком к этому энтузиазму был опыт Ардена и Гринлейк, благодаря ему земляне попали в Утопию. Это была первая брешь, пробитая в непреодолимом ранее барьере, который удерживал их мир в трехмерном

пространстве. Их опыт открыл путь к этим безднам. Он положил начало исканиям, заполонившим сейчас всю Утопию. Он был первым практическим результатом целой сложной системы теорий и научных выводов. Мистер Барнстейпл вспомнил о более скромных открытиях, сделанных на Земле: о Франклине, поймавшем воздушным змеем молнию, и о Гальвани с его дергающей лапками лягушкой — они оба размышляли над этим чудом, и в итоге электричество стало служить людям. Но потребовалось полтора столетия, чтобы электричество вызвало ощутительные перемены в человеческой жизни: ищущих умов на Земле было мало, а общественная система была враждебна ко всему новому. В Утопии сделать новое открытие значило воспламенить умы. Сотни тысяч экспериментаторов в свободном и открытом сотрудничестве работали теперь, следуя тем плодотворным путем, который открыли Арден и Гринлейк. Ежедневно, даже ежечасно открываются все новые, казавшиеся до сих пор фантастическими возможности взаимоотношения вселенных, лежащих в разных пространственных измерениях.

Мистер Барнстейпл потер рукой лоб и глаза, откинулся на спину и, прищурившись, стал смотреть на лежавшую внизу долину — закат медленно одевал ее золотом. Чувство какой-то безопасности и устойчивости охватывало его: ему казалось, что он в самом центре сферы, сияющей величием и безмятежностью. И все же это ощущение безграничного спокойствия было иллюзорным заблуждением: этот тихий вечер слагался из миллиардов и миллиардов спешащих и сталкивающихся атомов.

Весь этот покой и неподвижность, доступные человеку, не что иное, как мнимоспокойная поверхность потока, мчащегося с невероятной скоростью от водопада к водопаду. Было время, когда люди говорили о вечных горах. Теперь всякий школьник знает, что горы выветриваются от мороза, ветра и дождя и уносятся в море ежедневно и ежечасно. Было время, когда люди считали Землю у себя под ногами неподвижной. Теперь они знают, что Земля, кружась, мчится в пространстве, влекомая слепой силой, среди мириадов звезд. Вся эта праздничная завеса перед глазами мистера Барнстейп-

ла — тихая и мягкая роскошь заката и огромная пелена звездного пространства, висящая за синевой неба, — все теперь должно быть пронизано человеческим разумом, разъято и познано...

Его еще вялые мысли вернулись к тому, что занимало его больше всего.

— Но где же они, мои соотечественники? — спросил он. — Где их тела? А может быть, они все-таки не погибли?

Ликнис ничего не могла сказать ему.

Он лежал и думал... Естественно, что его поручили заботам несколько отсталой женщины. Более действенные умы Утопии нуждаются в нем не больше, чем мыслящий человек на Земле в собаке или кошке. Она не хотела и думать о связях различных вселенных; этот предмет был слишком труден для нее; она представляла собой одну из редких неудач утопийской системы образования. Она сидела рядом с ним с какой-то божественной мягкостью и спокойствием на лице, и он почувствовал, что его суждения о ней — что-то вроде предательства. Но он все-таки хотел получить ответ на свой вопрос.

Он решил, что вершина Карантинного Утеса была повернута и выброшена в пространство иного измерения. И маловероятно, что на этот раз земляне тоже попадут на какую-нибудь пригодную для жизни планету. Скорее всего их выбросили в пустоту, в межзвездное пространство еще одной неизвестной вселенной...

Что с ними произойдет? Они замерзнут. Или воздух будет мгновенно выжат из них, и их собственная тяжесть вдруг сплющит их... По крайней мере мучения их будут недолгими. Только один раз захватит дыхание, как у человека, внезапно брошенного в ледяную воду...

Он обдумал эти возможности.

— Выброшены! — сказал он вслух. — Словно клетка с мышами за борт судна...

— Не понимаю, — сказала Ликнис, поворачиваясь к нему.

Он умоляюще смотрел на нее.

— Но скажите мне, что будет со мной?

4

Некоторое время Ликнис молчала. Она сидела, устремив кроткие глаза на голубоватую дымку, постепенно окутывающую реку и долину. Потом повернулась к нему и ответила вопросом:

— Хотите вы остаться в нашем мире?

— Конечно! Любой землянин пожелал бы остаться здесь. Мое тело очищено. Почему бы мне не остаться?

— Наш мир вам нравится?

— Красота, порядок, здоровье, энергия, ищущая мысль — разве это не все то лучшее, во имя чего мучается и страдает мой мир?

— И однако наш мир все еще не удовлетворен.

— Мне этого достаточно.

— В вас говорят усталость, слабость...

— Этот воздух быстро вернет мне здоровье и силы. Я даже смог бы помолодеть в вашем мире. По вашей оценке возраста я еще далеко не стар.

Снова она некоторое время молчала. Огромная долина заполнилась смутной синевой, и только на горизонте темные силуэты деревьев на холмах ясно рисовались на фоне желто-зеленого вечернего неба. Никогда в жизни мистер Барнстейпл не видел такого мирного прихода ночи. Но слова Ликнис разрушили впечатление.

— Здесь,— сказала она,— нет покоя. Каждый день мы просыпаемся и спрашиваем себя: «Что нового сделаем сегодня? Что нам предстоит изменить?»

— Они превратили пустынную планету, полную болезней и беспорядка, в мир красоты и благополучия. Они заставили дикие джунгли человеческих инстинктов отступить перед союзом людей, перед знанием и властью над природой...

— Но наука никогда не успокаивается на достигнутом. Любознательность, жажда все нового и нового могущества снедают наш мир...

— Это здоровый аппетит,— возразил мистер Барнстейпл.— Я теперь устал. Я слаб и беспомощен, как только что родившийся младенец, но когда я окрепну, быть может, я тоже разделю эту любознательность, приму участие в великих открытиях, которые вдохновляют сейчас утопийцев. Кто знает!

Он улыбнулся и поглядел в ее добрые глаза.

— Вам придется многому учиться,— сказала она.

Казалось, она думала о своей собственной неполноценности, когда произносила эти слова.

Мистер Барнстейпл вдруг смутно почувствовал, что тысячелетия прогресса должны были внести в идеи, в способы мышления этого человечества глубочайшие изменения. Он внезапно вспомнил, что в общении с утопийцами воспринимает лишь то, что способен понять, а все, что находится вне круга его земных идей и представлений, он просто не слышит. Пропасть непонимания, возможно, была даже шире и глубже, чем ему казалось. Неграмотный негр с Золотого Берега, пытающийся постигнуть принципы термоэлектричества, и тот был бы, несомненно, в гораздо более выгодном положении по сравнению с ним.

— В конце концов меня влечет вовсе не участие в этих открытиях,— сказал он.—Вполне возможно, что они мне не по плечу; я просто хочу жить этой совершенной, красивой, повседневной жизнью, воплотившей в себе лучшие мечты моего собственного века. Я просто хочу жить здесь. Этого было бы для меня достаточно.

— Вы еще слабы и больны,— повторила Ликнис.— Когда вы окрепнете, у вас, возможно, появятся другие мысли.

— Какие же?

— Вы вспомните ваш собственный мир, вашу собственную жизнь.

— Вернуться обратно на Землю?!

Ликнис поглядела на сгущающиеся сумерки.

— Вы землянин по рождению и по сути. Чем же еще вы можете быть?

— Чем еще могу я быть?

Мистер Барнстейпл лежал и уже не размышлял больше, отдавшись охватившему его неопределенному чувству, а в сгущающейся синеве уже вспыхивали огоньки Утопии, образуя цепи, кольца, расплываясь светлыми пятнами.

Он мысленно боролся против той правды, которая таилась в словах Ликнис. Этот величественный мир Утопии, совершенный, уверенный в себе, готовящийся к грандиозным прыжкам в иные вселенные, был миром благо-

родных великанов и недоступной красоты — миром планов и свершений, в которых жалкий, малоразвитый, слабовольный землянин никогда не сможет принять участия. Они уже взяли от своей планеты все, что она могла им дать — как человек, вытряхивающий из кошелька последние монеты. И теперь они намерены испробовать свои силы среди звезд...

Они добры. Они очень добры. Но они совсем другие...

ГЛАВА ВТОРАЯ

БЕЗДЕЙСТВИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОМ МИРЕ

1

Через несколько дней мистер Барнстейпл совершенно выздоровел — телом и душой. Он больше не лежал в своей лоджии, полный жалости к себе, безучастный к красоте окружающего; он уже свободно передвигался и совершал длительные прогулки по долине, искал знакомств и открывал для себя все больше чудес и осуществленных человеческих чаяний.

Утопия казалась ему именно страной чудес. Почти все, что портит и искажает человеческую жизнь, было здесь преодолено; войны, эпидемии и болезни, голод и нищета — от всего этого человечество было освобождено. Мечты художников — о совершенном, прекрасном человеческом теле, о мире, преображенном гармонией и красотой,— эти мечты стали здесь действительностью; дух порядка и организации царил безраздельно. Все стороны человеческой жизни коренным образом изменились.

Климат Долины Отдыха, мягкий и солнечный, напоминал южную Европу, но здесь не было почти ничего характерного для пейзажа Италии или Испании. Не было дряхлых старух, согбенных под тяжестью ноши. Не было назойливых попрошаек, ни рабочих в лохмотьях, сидящих на обочинах дорог. Вместо жалких, крохотных террасок, вспаханных вручную, вместо корявых оливковых деревьев, искромсанных виноградных лоз, крохотных полей или фруктовых садов, вместо скудных, примитивных оросительных каналов, предмета вечных споров и тяжб, здесь, в Утопии, все говорило о широких планах сохране-

ния растительного мира, об умном и дальновидном использовании всей почвы, всех горных склонов, всех солнечных лучей. Здесь не было детей, пасущих среди камней тощих коз и овец, не было коров на привязи, пасущихся на жалких полосках травы; не было и лачуг вдоль дороги, ни часовен с кровоточащими распятиями, ни бездомных собак, ни ослов, которые, изнывая под тяжестью перегруженных корзин, задыхаясь, останавливаются перед крутым участком дороги, изрезанной рытвинами, усыпанной камнями и навозом. Вместо всего этого ровные и прочные дороги, без единого крутого подъема или спуска, пролегающие по широким виадукам над ущельями и долинами, ведущие сквозь горы, через туннели, подобные приделам собора, через скалы, заслоняющие пейзаж. Множество мест для отдыха, живописных убежищ, лестниц, взбирающихся к уютным верандам и беседкам, где друзья могли встретиться и поговорить, а влюбленные — найти уединение. Мистер Барнстейпл любовался рощами и аллеями — таких деревьев он никогда не видал, потому что на Земле редко встречаются совершенно здоровые взрослые деревья: почти все они источены паразитами, поражены гнилью и наростами, еще более изуродованы, искалечены и изъедены болезнями, чем само человечество.

Чтобы создать такой пейзаж, потребовался терпеливый и продуманный труд утопийцев на протяжении двадцати пяти столетий. В одном месте мистер Барнстейпл увидел большие строительные работы: заменяли мост, но не потому, что он обветшал и стал ненадежным, а потому, что кто-то сумел создать более смелый и более изящный проект.

Некоторое время мистер Барнстейпл не замечал отсутствия телефонной и телеграфной связи; нигде не было видно характерных для современной сельской местности столбов и проводов. Причину этого он узнал позднее. Не замечал он вначале и отсутствия железных дорог, станций, придорожных гостиниц. Он обратил внимание на то, что многие здания, видимо, имеют какое-то особое назначение, что люди входят туда и выходят из них с выражением интереса и деловой сосредоточенности. Из некоторых зданий доносится гудение и жужжание: здесь шла какая-то разнообразная работа; но его представления об

индустрии этого нового мира были слишком туманны и отрывочны, чтобы пытаться угадать назначение того или другого здания. Он гулял, озираясь по сторонам, словно дикарь, очутившийся в роскошном цветнике.

Он не видел ни одного города. Причины возникновения этих нездоровых людских скоплений исчезли. Как он узнал, существовали места, где люди собирались для научных занятий, для взаимного обогащения знаниями, для обмена мыслями,— для этой цели и строились специальные комплексы зданий; но мистер Барнстейпл ни разу не побывал в этих центрах.

По всему этому миру двигались рослые люди Утопии, необыкновенно красивые утопийцы, они улыбались или дружески кивали ему, проходя мимо, но не давали ему даже возможности задать вопрос или вступить в беседу. Они мчались в машинах по дорогам или шли пешком, а над ними то и дело беззвучно проносилась тень аэроплана. Мистер Барнстейпл немного побаивался их и благоговел перед ними, чувствуя себя какой-то нелепой диковиной, когда встречался с ними взглядом. Ибо, подобно богам Греции и Рима, они были облагороженными и совершенными людьми, и ему казалось, что они и в самом деле боги. Даже ручные звери, которые свободно расхаживали по этому миру, носили на себе отпечаток какой-то божественности, и это сковывало желание мистера Барнстейпла выразить им свои дружеские чувства.

2

Вскоре он нашел спутника для своих прогулок. Это был мальчик тринадцати лет, родственник Ликнис по имени Кристалл, кудрявый подросток, с такими же карими глазами, как у нее; он изучал историю — предмет, который он выбрал для самостоятельных занятий.

Насколько удалось понять мистеру Барнстейплу, главной частью учебных занятий мальчика была не история, а математика, связанная с физикой и химией. Но все это выходило за круг сведений, доступных землянам. Над основными предметами Кристалл работал вместе с другими мальчиками, и эти занятия носили исследовательский характер, как сказали бы о них на Земле. Мистер Барнстейпл не был в состоянии понять характер и других

предметов — например, того, что называлось культурой выражения мыслей. Однако история их сблизила. Мальчик как раз изучал сейчас возникновение социальной системы Утопии из первых ее зачатков, утверждавшихся еще в Век Хаоса. Воображение мальчика было занято этой трагической борьбой, из которой родился нынешний строй Утопии; у него были сотни вопросов к мистеру Барнстейплу, а сам он мог служить источником всяческих сведений, которые затем должны были стать само собой разумеющейся основой его зрелого мышления. Мистер Барнстейпл был для него чем-то вроде книги, а он для Барнстейпла — своего рода гидом. И они гуляли вместе, беседуя, как равные, этот обладающий незаурядным умом землянин и утопийский мальчик, который был выше его ростом на целый дюйм.

Основные факты истории Утопии Кристалл знал назубок. Он с увлечением объяснял, что нынешний порядок мира и красоты до сих пор поддерживается в Утопии во многом искусственно. Утопийцы, по его словам, в основном остались теми же, что и их далекие предки начала нового каменного века, тысяч пятнадцать или двадцать лет назад. Во многом утопийцы еще подобны землянам того же периода. С тех времен сменилось всего 600 или 700 поколений — срок очень малый для коренных изменений биологического вида. Не произошло даже сколько-нибудь серьезного смешения рас: в Утопии, как и на Земле, были белые и цветные народы, и они до сих пор сохранили свои различия. Расы уравнялись в социальном отношении, но почти не смешивались, скорее каждая раса культивировала свои особенности и дарования. Часто бывает, что люди разных рас страстно любят друг друга, однако они редко решаются иметь детей... В Утопии произведено сознательное уничтожение уродливых, злобных, ограниченных, глупых и угрюмых типов характера, и это длилось примерно около десяти столетий; но средний житель Утопии, если не считать более полного выявления заложенных в нем способностей, мало чем отличается от деятельного и способного человека позднего каменного века или раннего бронзового. Утопийцы, разумеется, бесконечно лучше питаются, несравненно более развиты умственно и тренированы физически, они ведут

здоровую и чистую жизнь, но плоть у них была в конечном счете такой же, как у нас.

— Неужели,— сказал мистер Барнстейпл, не в силах сразу освоиться с этой мыслью,— по-вашему, добрая половина детей, рождающихся сейчас на Земле, могли бы вырасти такими богами, каких я вижу здесь?

— Если бы они жили в нашем воздухе, в нашем окружении...

— И если бы у них была такая наследственность...

— И наша свобода...

Мальчик напомнил мистеру Барнстейплу, что в Век Хаоса каждый человек вырастал с изуродованной и искалеченной волей, был опутан всякими бессмысленными ограничениями или подпадал под власть обманчивых иллюзий. Утопия и сейчас помнит, что людская натура была низменной и дикой и ее нужно было приспосабливать к условиям общественной жизни; но Утопия сумела найти наилучшие методы этого приспособления — после многих неудач и попыток добиться этого принуждением, жестокостью и обманом.

— На Земле мы укрощаем зверей раскаленным железом, а себе подобных — насилием и обманом,— заметил мистер Барнстейпл, и он принялся рассказывать своему изумленному спутнику о школах и книгах, газетах и публичных диспутах начала XX века.— Вы не можете себе представить, как на Земле подчас забиты и боязливы даже порядочные люди. Вы изучаете сейчас Век Хаоса вашей истории, но вы не знаете, что такое эта атмосфера смятенных умов, недейственных законов, ненависти, суеверий. Когда ночь спускается на Землю, сотни тысяч людей лежат без сна, охваченные страхом перед грубой силой, жестокой конкуренцией, боясь, что они не смогут свести концы с концами, мучимые непонятными болезнями, удрученные какой-нибудь бессмысленной ссорой, доведенные почти до безумия неутоленными желаниями, подавленными извращенными инстинктами...

Кристалл признался, что ему трудно представить себе печали и горести Века Хаоса. Многие из теперешних страданий на Земле он тоже не может вообразить. Очень медленно Утопия создавала нынешнюю гармонию между законом, обычаем и воспитанием. Люди больше не подвергаются принуждению, которое только уродует и при-

нижает их; было признано, что человек является животным, и его повседневная жизнь должна вращаться в кругу удовлетворенных потребностей и освобожденных инстинктов. Повседневное существование в Утопии состоит из бесконечного многообразия вкусной еды и напитков, разнообразных и увлекательных физических упражнений, труда, спокойного сна, счастливой любви, не знающей страха и злобы. Запреты были сведены к минимуму. Только тогда, когда животное начало в человеке получило полное удовлетворение, оно стало сходить на нет —тут вступила в свои права власть воспитания, принятого в Утопии. Драгоценным алмазом в голове змеи, лучи которого вывели Утопию из хаоса этого примитивного существования, была любознательность, стремление к игре, которые у взрослых перерастали в ненасытную жажду знаний, в привычную тягу к творчеству. Все утопийцы, как дети,— одновременно учатся и творят.

Было удивительно слышать, как просто и ясно этот мальчик рассуждает о процессе воспитания, которому подчинен он сам, и в особенности как откровенно он рассуждает о любви.

Земная застенчивость чуть было не помешала мистеру Барнстейплу задать вопрос: «Но вы... Неужели вы уже любили?»

— Я испытывал определенное любопытство,— сказал мальчик, по-видимому, отвечая так, как его учили.— Но желанию любить не следует слишком рано поддаваться. Молодых это только расслабляет, если они легко уступают желаниям, от которых часто уже нелегко избавиться. Это портит и калечит воображение. А я хочу хорошо работать, как работал до меня мой отец.

Мистер Барнстейпл искоса поглядел на красивый профиль юноши и вдруг поморщился, вспомнив темную комнату номер четыре для самостоятельных занятий и некий отвратительный период своего отрочества, душную, темную комнату и горячечное и уродливое, что там произошло. Он вновь остро ощутил себя грязным землянином.

— Ах! — вздохнул он.— Ваш мир чист, как звездный свет, и приятен, как холодная вода в жаркий день!

— Я люблю многих,— ответил мальчик,— но не чувственно. Когда-нибудь придет и это. Не надо быть нетер-

пеливым и беспокойным и спешить навстречу чувственной любви; иначе можно обмануться и обмануть других... Торопиться незачем. Никто не помешает мне, когда придет моя пора. Все приходит в свое время... Только труда нельзя просто дожидаться,— своему призванию, поскольку это касается только тебя самого, надо идти навстречу.

Кристалл много размышлял о той работе, которой он сможет заняться. И мистеру Барнстейплу показалось, что труд в смысле непривлекательной и нелюбимой работы исчез в Утопии. И в то же время вся Утопия трудилась. Каждый выполнял работу, которая соответствовала его естественным склонностям и была ему интересна. Каждый трудился радостно и увлеченно — как те люди, которых на Земле мы называем гениями.

И вдруг мистер Барнстейпл стал рассказывать Кристаллу о счастье настоящего художника, подлинного ученого или мыслителя, возможном и на нынешней Земле. Они тоже, подобно утопийцам, делают дело, которое становится частью их души, высокой целью их жизни. Из всех землян только им и можно позавидовать.

— А если даже такие люди несчастливы на Земле,— добавил мистер Барнстейпл,— так это потому, что они еще не до конца избавились от людской пошлости, еще сохранили свойственную вульгарным людям жажду дешевого успеха и почестей и все еще слишком чувствительны к невниманию или притеснениям, хотя это не должно было бы их волновать. Но для человека, который увидел, как сияет солнце над Утопией, самые высшие почести и самая громкая земная слава означали бы не больше и были бы не более желательны, чем награда от какого-нибудь вождя дикарского племени — поощрительный плевок или нитка бус.

3

Кристалл был еще в том возрасте, когда хочется похвастаться своим жизненным опытом. Он показал мистеру Барнстейплу свои книги и рассказал о наставниках и занятиях.

В Утопии все еще употреблялись печатные книги; книги по-прежнему оставались простейшим способом довести до сосредоточенного ума какую-нибудь истину.

Книги Кристалла были великолепно переплетены в мягкую кожу, которую искусно приготовила для него его мать, и напечатаны на бумаге, изготовленной ручным способом. Буквы представляли собою какие-то скорописные фонетические письмена, Барнстейпл не мог их понять. Они напоминали арабские. Почти на каждой странице были чертежи, схематические карты и диаграммы. Домашним чтением Кристалла руководил наставник, которому он готовил нечто вроде отчета о своих упражнениях; чтение дополнялось посещением музеев. Однако в Долине Отдыха не было ни одного учебного музея, который мистер Барнстейпл мог бы посетить.

Кристалл уже прошел начальную ступень обучения; как он рассказал, оно проводилось в учебных центрах, всецело приспособленных для этой цели. В Утопии детей до одиннадцати-двенадцати лет, видимо, воспитывали значительно заботливее, чем на Земле. Со всякого рода душевными травмами, детскими страхами или дурными привычками здесь боролись со всей настойчивостью, как борются с инфекцией или стихийным бедствием; к восьми или девяти годам уже прочно закладывались основы утопийского характера, навыки чистоты, правдивости, искренности, доброжелательности, доверие к окружающим, бесстрашие и сознание своего участия в общевеликом деле всего человечества Утопии.

Только после девяти или десяти лет ребенок выходил из сада, где он рос, и вступал в повседневную жизнь. До этого возраста забота о нем возлагалась на воспитательниц и учителей, а затем все больше усиливалось влияние родителей. Родители обычно старались быть поближе к ребенку, посещать его в яслях или детском саду; но если на Земле родители обычно отдалялись от детей в тот период, когда ребенок отправлялся в школу или начинал работать, то в Утопии родители как раз в этот период становились ближе к детям. В Утопии исходят из той идеи, что между родителями и ребенком обязательно существует определенная внутренняя связь. Подрастающий ребенок мечтал о дружбе и обществе родителей, а родители мечтали о том, как они помогут формированию интересов подростка, и хотя родители в Утопии практически не имеют власти над сыном или дочерью, они естественно играют роль защитников, советчиков, добрых дру-

зей. Эта дружба была тем искреннее и теснее, что она не основывалась на родительской власти, как это имеет место на Земле. И дружба эта тем легче завязывается, что утопийцы одного возраста с землянами были намного моложе их телом и духом.

Кристалл, по всей видимости, был очень привязан к матери. Он очень гордился отцом, который был замечательным художником и декоратором, но сердцем мальчика владела мать. Во время второй прогулки с мистером Барнстейплом он сказал, что собирается сейчас получить весточку от матери. И тут мистер Барнстейпл увидел то, что заменило в Утопии почтовую переписку. У Кристалла была с собой маленькая связка проводов и какие-то легкие стержни; подойдя к колонне, стоявшей посреди лужайки, он собрал свой аппарат — получилось что-то вроде рамы. Потом постучал по маленькой кнопке в колонне ключом, который носил на шее на тонкой золотой цепочке. Затем он взял приемник, прикрепленный к его аппарату, и что-то громко сказал, потом прислушался, и вскоре раздался чей-то голос.

Это был приятный женский голос. Женщина некоторое время что-то говорила Кристаллу. Кристалл ответил, а потом раздались и другие голоса. Одним из них мальчик отвечал, других просто выслушивал. Наконец он сложил свой аппарат.

Так мистер Барнстейпл узнал, чем заменены в Утопии письма и телефон. Оказалось, что утопийцы не разговаривают по телефону, разве только по особому уговору. Нужное сообщение попросту передается на районную станцию, где известен адресат; там сообщения хранятся, пока получатель не пожелает их услышать. Если ему захочется, чтобы сообщение повторили, он может прослушать его еще раз. Потом он отвечает своему корреспонденту и передает ему все, что пожелает. Все эти передачи беспроволочные. Колонны дают электрическую энергию для таких передач, а также и для других потребностей. Например, садовники пользуются ими, чтобы пустить в ход механическую косилку, копатель, грабли, каток и прочее.

Кристалл показал рукой куда-то на край долины — там находилась окружная станция, на которой собирается и откуда передается корреспонденция. Станцию обслу-

живает всего несколько человек: все виды связи автоматизированы. Сообщения можно получить из любого места Утопии.

Это вызвало у мистера Барнстейпла целый ряд вопросов.

Он узнал, что служба связи в Утопии располагает сведениями о местонахождении каждого жителя планеты. Она следит за их передвижением и всегда знает, в каком округе связи они находятся. Каждый зарегистрирован и отмечен.

Мистер Барнстейпл, привыкший к грубым приемам, к бесчестности земных правительств, даже испугался.

— На Земле все это превратилось бы в средство шантажа и насилия,— сказал он.— Каждый мог бы стать жертвой слежки. В нашем Скотлэнд-Ярде служил один человек. Попади он в вашу службу связи, он за неделю сделал бы жизнь в Утопии невыносимой. Вы не можете себе представить, что это было за вредное существо...

Тут мистеру Барнстейплу пришлось подробно объяснять Кристаллу, что такое шантаж. Кристалл сказал, что когда-то и в Утопии было все это. Так же, как на Земле, здесь старались использовать осведомленность и силу во вред своим ближним, и поэтому люди ревниво оберегали свою частную жизнь. Когда в Утопии был каменный век, жители держали в тайне свои настоящие имена и отзывались только на клички. Они боялись злых чар...

— Некоторые и сейчас поступают так на Земле,— заметил мистер Барнстейпл.

Медленно и постепенно утопийцы учились доверять врачам и дантистам, и опять-таки прошло много времени, пока те стали заслуживать доверие. Это продолжалось десятки столетий, но наконец злоупотребление доверием и правдивостью, свойственное современной организации общества, было повсеместно преодолено.

Каждый молодой утопиец должен был усвоить Пять Принципов свободы, без которых невозможна истинная цивилизация.

Первым был Принцип уважения к частной жизни. Это означало, что факты, относящиеся к отдельному индивидууму, являются его личной собственностью и тайной между ним и общественной организацией, которой он их доверил; эти факты могут быть использованы толь-

ко для его блага и с его согласия. Разумеется, подобные факты могут быть использованы для целей статистики, но без указания источника.

Вторым принципом был Принцип свободы передвижения. Гражданин, выполнив определенные обязательства перед обществом, может отправиться без всяких разрешений или объяснений в любую часть Утопии. Все средства транспорта предоставляются ему бесплатно. Каждый утопиец может по своей воле менять местожительство, климат и общественную среду. Третьим был Принцип неограниченного знания. Все, что известно в Утопии, кроме фактов личной жизни, регистрируется и записывается, и доступ к ним открыт каждому, кто пожелает воспользоваться полнейшим каталогом, библиотеками, музеями и справочными бюро. Все, что утопиец желает знать, он может узнать с полнотой и точностью, соответствующими его способностям и трудолюбию. Ничто не может быть скрыто от него или представлено ему в ложном свете. Отсюда, как узнал мистер Барнстейпл, вытекал четвертый Принцип свободы, объявлявший ложь самым черным из всех преступлений. Определение лжи, которое дал ему Кристалл, было всеохватывающим: ложь — это неточное изложение фактов или даже умолчание.

— Там, где есть ложь, не может быть свободы.

Мистера Барнстейпла глубоко захватила эта идея. Она показалась ему необычайно новой и в то же время давно знакомой и привычной.

— Добрая половина различий между Утопией и земным миром,— сказал он,— заключается именно в этом: наша атмосфера насыщена и отравлена ложью и притворством.

— Стоит подумать, и это становится ясно!— воскликнул мистер Барнстейпл и принялся рассказывать Кристаллу, на какой системе лжи строится жизнь людей на Земле.

Все основные начала, которыми руководствуются земные людские сообщества,— это все еще в значительной мере ложь. Тут и лживые теории о неизбежности различий между нациями и странами, и лицемерное распределение функций и власти при монархии, и всякие ложные научные теории, религиозные и моральные догмы и про-

чий обман. И человеку приходится жить среди всего этого, быть частицей всего этого! Его изо дня в день ограничивают, сковывают, мучают, убивают все эти бессмысленные фикции...

Ложь — высшее преступление! Как это просто! Как это верно и необходимо! В этой мысли — основное отличие научно организованного всемирного государства от всех ему предшествовавших.

Отправляясь от этой мысли, Барнстейпл разразился длинной тирадой против дезориентации и фальсификации, которыми занимаются земные газеты.

Это была тема, которая всегда задевала его за живое. Лондонские газеты давно перестали быть объективными передатчиками информации; они умалчивали о фактах, искажали их, просто лгали. Они ничем не отличались от бульварных листков. Журнал «Природа» в пределах своей тематики блистал точностью и полнотой, но ведь это был чисто научный журнал, и он не касался повседневных дел! Пресса, утверждал он, была единственной солью, возможной для современной жизни, но что поделаешь, если эта соль потеряла свою силу!..

Бедный мистер Барнстейпл ораторствовал так, словно вернулся в Сайденхем и сидел за завтраком, раздосадованный только что прочитанной утренней газетой.

— В далекие времена и Утопия была в таком же тяжелом положении,— сказал Кристалл, стараясь его утешить.— Но есть пословица: «Правда возвращается туда, где она уже раз побывала». Не надо так огорчаться. Когда-нибудь и ваша печать будет чистой.

— А как у вас здесь обстоит с газетами, с критикой? — спросил мистер Барнстейпл.

Кристалл объяснил, что в Утопии проводится строгая граница между информацией и дискуссиями. Есть здания — вот там как раз виднеется одно из них,— где устроены читальные залы. Туда ходят узнавать всевозможные новости. В эти залы поступают сообщения обо всем, что случается в Утопии, об открытиях, о том, что придумано и сделано. Сообщения составляются по мере необходимости; не существует никаких рекламных обязательств, заставляющих ежедневно сообщать строго определенный объем новостей. Кристалл добавил, что в течение некоторого времени поступало очень подробное и за-

бавное сообщение о попавших в Утопию землянах, но сам он уже давно не читал газет, так как появление землян пробудило в нем интерес к истории. В газете всегда можно найти увлекательные новости о последних научных открытиях, огромный интерес обычно вызывают сообщения, излагающие какой-нибудь план значительной научно-исследовательской работы. Особенно большой шум вызвала информация об опытах по проникновению в другие измерения, во время этих опытов погибли Арден и Гринлейк. Когда в Утопии кто-нибудь умирает, принято сообщать историю его жизни...

Кристалл обещал проводить мистера Барнстейпла в читальный зал и позабавить его, прочитав описание жизни на Земле, составленное утопийцами со слов землян. Мистер Барнстейпл сказал, что хотел бы узнать что-нибудь и про Ардена и Гринлейк, которые были не только великими первооткрывателями, но и любили друг друга, а также о Серпентине и Кедре, которые внушили ему глубокое уважение и восхищение.

Утопийские новости, разумеется, были лишены того перца, которым сдабриваются земные газеты,— сенсационных отчетов об убийствах или забавных скандалах, о смешных следствиях, неосведомленности и неопытности в вопросах пола, раскрытых мошенничествах, о судебных разбирательствах по искам о клевете, о торжественном появлении членов королевской фамилии на улицах столицы, и о захватывающих дух колебаниях цен на бирже, и о спорте. Но если информации в Утопии не хватало пикантности, это восполнялось оживленнейшими спорами. Ибо пятым Принципом свободы в Утопии был Принцип свободного спора и критики.

Каждый утопиец свободен обсуждать и критиковать все что угодно, разумеется, при условии, что он не будет лгать ни прямо, ни косвенно; он может уважать или не уважать кого-либо или что-либо, как ему угодно. Он может вносить любые предложения, даже самые подрывные. Может обличать в стихах или в прозе, как ему понравится. Он вправе выражать свои мысли в любой удобной для него литературной форме или с помощью рисунка или карикатуры. Единственно, что требуется,— это воздерживаться от лжи, это — единственное правило любого спора. Всякий вправе требовать, чтобы сказанное им

было напечатано или разослано в центры информации. А будут ли читать его сообщение, зависит от того, согласен с ним посетитель или нет. Если прочитанное понравилось, можно взять с собою копию. Среди книг Кристалла было несколько научно-фантастических романов об исследовании космического пространства — увлекательные повести, очень нравившиеся мальчикам, страниц в тридцать — сорок, напечатанные на красивой бумаге, которая делалась, как сообщил Кристалл, из чистого льна и некоторых видов тростника. Библиотекари отмечают, какие книги и газеты читаются или уносятся посетителями; унесенное заменяется новыми экземплярами. Из груды книг или газет, которые не находят читателей, оставляются лишь одиночные экземпляры, остальные отсылаются для переработки. Но произведения поэтов, философов и беллетристов, творчество которых не находит широкого отклика, тем не менее сохраняются в библиотеках, и преданные этим авторам немногие почитатели заботятся о том, чтобы память о них не угасла.

4

— Мне все-таки не совсем понятна одна вещь,— сказал мистер Барнстейпл.— Я не видел здесь монет и вообще ничего похожего на деньги. Может показаться, что тут существует какая-то форма коммунизма, как он изображен в книге, очень ценимой нами на Земле,— книга эта называется «Вести ниоткуда». Написал ее один землянин по имени Уильям Моррис. Это очаровательная книга о невозможном. В этой фантазии каждый трудился из-за радости самого труда и получал все, что ему было нужно. Но я никогда не верил в коммунизм, потому что признаю, как признали и вы в Утопии, что человек от природы жаден и воинствен. Разумеется, есть радость творчества на пользу другим, однако невозмещенная услуга не может вызвать естественной радости. Себялюбие говорит в человеке сильнее, чем желание служить другим. Очевидно, вы установили какое-то равновесие между работой, которую каждый делает для Утопии, и тем, что он потребляет или уничтожает. Как вы этого достигли?

Кристалл на мгновение задумался.

— В Утопии в последний Век Хаоса были коммунисты. В некоторых местах нашей планеты они пытались внезапно и насильственно уничтожить деньги и вызвали глубокое экономическое расстройство, нужду и нищету. Эта попытка сразу установить коммунизм потерпела неудачу, и очень трагическую. И тем не менее в сегодняшней Утопии практически осуществлен коммунизм. Если я и брал в руки монеты, то только как исторические редкости.

Он объяснил дальше, что в Утопии, так же как и на Земле, деньги явились великим открытием, средством к достижению свободы. В древние времена, до того как были изобретены деньги, услуги между людьми осуществлялись в форме рабства или путем натурального обмена. Сама жизнь превратилась в рабство, и выбор был крайне узок. Деньги открыли новую возможность: работающему был предоставлен выбор в использовании платы за свой труд. Утопии потребовалось более трех тысяч лет, чтобы достигнуть истинного осуществления этой возможности. Идея денег была чревата опасностями и легко извращалась, Утопия с трудом пробивала себе дорогу к более разумному экономическому строю через долгие столетия кредита и долгов, фальшивых и обесцененных денег, невероятного ростовщичества, всякого рода спекуляций и злоупотреблений. Деньги больше, чем какая-либо область жизненного обихода, порождали коварство, подлое стремление хищнически наживаться на нужде ближних. Утопия, как сейчас Земля, несла на себе тяжелый груз всяких паразитических элементов: биржевых дельцов, перекупщиков, шулеров, хищных ростовщиков — шейлоков, использующих любые мыслимые способы извлечения прибыли из слабостей денежной системы. Чтобы оздоровить ее, потребовались столетия. И только тогда, когда в Утопии установились начатки общепланетарного единства, когда был проведен полный точный учет ресурсов и производительных сил планеты, общество смогло наконец обеспечить каждому отдельному работающему деньги, которые и сегодня, и завтра, и в любое время имели одну и ту же неизменную ценность. И поскольку на всей планете воцарились мир и общественная стабильность, проценты — это мерило всякой шаткости и неуверенности — наконец ушли в небытие. Банки стали

в силу вещей обыкновенными общественными учреждениями, поскольку уже невозможной была прибыль для отдельного банкира.

— Класс рантье,—сказал Кристалл,—никогда не был постоянным элементом какого-либо общества. Это — порождение переходного периода от эры неустойчивости и высоких процентов к эре полной обеспеченности без всяких процентов. Рантье — это явление преходящее, как предрассветные сумерки.

Мистер Барнстейпл долго размышлял над этими объяснениями Кристалла, которым в первый момент не мог поверить. Задав еще несколько вопросов молодому утопийцу, он убедился, что Кристалл действительно имел довольно правильное представление о классе рантье — о его нравственной и умственной ограниченности и роли, которую он может сыграть в интеллектуальном развитии человечества, порождая класс независимых умов.

— Жизнь не терпит никаких независимых классов,— сказал Кристалл, видимо, повторяя прописную истину.— Либо вы зарабатываете на жизнь, либо вы грабите... Но мы избавились от грабежа.

Мальчик, все еще придерживаясь своих учебников, продолжал объяснять, как постепенно исчезали деньги. Это было результатом создания прогрессивной экономической системы, замены конкурирующих предприятий коллективными, розничной торговли — оптовой. Было время, когда в Утопии оплачивалась деньгами каждая мелкая сделка или услуга. Человек платил деньги за газету, спички, букетик цветов или за право воспользоваться средствами передвижения. У всех карманы были набиты мелкой монетой, которая непрерывно расходовалась. С успехами экономической науки получили распространение методы, применяемые в клубах или при различных подписках. Люди получили возможность покупать билеты, годные для проезда на всех видах транспорта в течение года, десятилетия, всей жизни. Государство переняло у клубов и отелей метод снабжения спичками, газетами, письменными принадлежностями, транспортом за определенное ежегодное возмещение. Из отдельных и случайных областей это распространилось на более важные стороны жизни: обеспечение жилищем, продовольствием, даже одеждой. Государственная почтовая система,

располагающая сведениями о местонахождении каждого гражданина Утопии, теперь могла вместе с общественной банковской системой гарантировать ему кредит в любой части планеты. Люди перестали получать наличными деньгами за проделанную работу; различные учреждения по обслуживанию населения, экономические, образовательные и научные органы стали кредитовать каждого через общественные банки и предоставлять ему в долг все необходимое под обеспечение его заработка.

— Нечто вроде этого есть на Земле уже сейчас,— сказал мистер Барнстейпл.— Мы пользуемся наличными деньгами в крайних случаях, а большая часть коммерческих сделок — это уже просто дело бухгалтерии.

— Сотни лет, которые протекли в обстановке единства и упорного труда, дали Утопии полный контроль над источниками природной энергии планеты,— это стало наследством, получаемым каждым новорожденным. Родившись, он получал кредит, достаточный для того, чтобы получать воспитание и полное содержание до 20—25-летнего возраста, а затем он должен был избрать какое-либо занятие и возмещать эти затраты.

— А если он не захочет? — спросил Барнстейпл.

— Этого не бывает.

— А если все-таки случится?

— Тогда ему трудно будет жить. Я ни разу не слыхал о подобном случае. Я думаю, что это стало бы предметом обсуждения. Им занялись бы психологи... Каждый должен что-то делать.

— Но предположим, что Утопия не может дать ему работу!

Кристалл не мог себе этого представить.

— Работа всегда есть.

— Но ведь в Утопии когда-то, в старое время, была безработица?

— Да, это было следствием хаоса. Мир был опутан сетью долгов, вызвавших нечто вроде паралича. Ведь одновременно с отсутствием работы существовала неудовлетворенная потребность в жилье, еде, одежде. Безработица — и рядом нужда. Этому трудно поверить.

— У вас каждый получает примерно одну и ту же плату за свой труд?

— Энергичные, творчески активные люди часто по-

лучают больший кредит, особенно если им нужны помощники или какие-либо редкие материалы... Художники тоже иногда становятся богатыми, если их произведения имеют большой успех.

— Такие золотые цепочки, как эта у вас на шее, приходится покупать?

— Да, у мастера, который ее сделал. Мне ее купила мама.

— Значит, у вас есть магазины?

— Вы увидите некоторые из них. Это места, куда люди ходят, чтобы увидеть какие-либо новые и красивые вещи.

— А если художник становится богатым, что он может сделать на свои деньги?

— Он может не торопясь делать особенно красивые вещи из самых дорогих материалов, чтобы оставить по себе память, может собирать коллекции или помогать другим художникам. Или тратить эти деньги на то, чтобы учить утопийцев пониманию прекрасного. Или вообще ничего не делать... Утопия может себе это позволить — если он выдержит безделье...

5

— Кедр и Лев,— сказал мистер Барнстейпл,— объясняли нам, что ваше правительство, так сказать, растворено среди тех, кто имеет специальные познания в какой-либо области. Равновесие между различными интересами, как мы поняли, поддерживается теми, кто изучает общественную психологию и воспитательную систему Утопии. Вначале для наших земных умов показалось странным отсутствие в Утопии всемогущего органа, сосредоточившего в себе все знание и всю реальную власть, какого-либо лица или собрания лиц, чье решение могло бы быть окончательным. Мистер Берли и мистер Кэтскилл убеждены, что это абсолютно необходимо, и я всегда тоже так полагал. Кому принадлежит право решать — вот что они пытались выяснить. Они предполагали, что их пригласят на прием к президенту или в Высший Совет Утопии. Вероятно, вам кажется вполне естественным, что у вас нет ничего подобного и что любой вопрос должен решаться теми, кто наиболее сведущ в нем...

— Но и их можно подвергнуть свободной критике,— добавил Кристалл.

— Значит, всякий подвержен тому самому процессу, который сделал его выдающимся и ответственным. Но разве люди и здесь не стараются выдвинуться хотя бы из тщеславия? Разве у вас нет таких, которые стараются оттеснить лучших из зависти?

— Зависти и тщеславия еще много в душе каждого утопийца,— сказал Кристалл.— Но все привыкли к откровенности друг с другом, а критика очень глубока и свободна. Поэтому мы всегда стараемся хорошо обдумать наши побуждения, прежде чем хвалить или порицать кого-либо.

— Истинная ценность всего того, что вы говорите и делаете, очевидна,— сказал мистер Барнстейпл.— У вас невозможно обливать кого-либо грязью исподтишка или, улучив удобную минуту, очернить человека ложными обвинениями.

— Несколько лет назад был у нас один художник,— сказал Кристалл,— который всячески мешал работе моего отца. В области искусства критика у нас бывает очень острой, но у этого человека она носила ожесточенный характер. Он рисовал карикатуры на моего отца и все время оскорблял его. Он следовал за ним по пятам. Он пытался даже добиться, чтобы отцу отказали в материалах для работы. Но все это было впустую. Некоторые отвечали ему, но большинство не обращало внимания на его выпады...

Мальчик вдруг осекся и замолчал.

— Ну и что же?

— Он покончил с собой. Он уже не мог избежать последствий своей глупости. Ведь всем было известно, что он говорил и делал...

Мистер Барнстейпл решил вернуться к главной теме разговора.

— У вас в Утопии были когда-то и короли, государственные советы и разные конгрессы?

— Мои книги учат меня, что другим путем наше государство не могло бы и возникнуть. Нельзя было обойтись без всех этих профессиональных посредников между людьми: политиков, юристов — это был неизбежный

этап в политическом и социальном развитии. Так же, как нужны были солдаты и полиция, чтобы удерживать людей от насилия друг над другом. Правда, потребовалось много времени, чтобы и политики и юристы поняли, что даже для их деятельности нужны какие-то знания. Политики проводили на карте границы, не имея элементарных знаний в этнологии и экономической географии, юристы решали вопросы о человеческой воле и намерениях, не смысля ничего в психологии. Они с серьезным видом вырабатывали нелепые, ни к чему не пригодные правила и законы.

— Все равно как приходский бык в Тристраме Шенди, который попробовал заложить в Версале основу всеобщего мира,— вставил мистер Барнстейпл.

Кристалл поглядел на него в недоумении.

— Это сложный и непонятный вам намек на чисто земную проблему,— объяснил мистер Барнстейпл.— Полное растворение политических и правовых профессий в массе людей, обладающих действительными знаниями,— это одно из самых интересных для меня явлений в вашем мире. Такой процесс начинается и на Земле. Например, люди, разбирающиеся в вопросах общественной охраны здоровья, решительно выступают против существующих политических и законодательных методов так же, как и наши лучшие экономисты. А большинство людей никогда не бывает в судах по своей воле и не знает их от колыбели до могилы... Но что же стало с вашими политиками и юристами? Они пытались бороться?

— По мере того как распространялись знания, эти профессии потеряли смысл. В дальнейшем люди этих профессий стали собираться изредка только для того, чтобы назначить каких-либо экспертов по определенной отрасли, но потом и это потеряло смысл. Все слилось в общей системе критики и обсуждения. Кое-где сохранились старые здания, где помещались совещательные палаты или суды. Последний профессиональный политик, избранный в законодательное собрание, умер около тысячи лет назад. Это был эксцентричный и болтливый старик; он оказался единственным кандидатом в собрание, и за него голосовал всего один человек. Однако он заседал в единственном числе и требовал, чтобы велась стенограмма всех его речей. Мальчики и девочки, учив-

шиеся стенографии, охотно ходили записывать все это. В конце концов им занялись психиатры.

— А последний судья?

— Этого я не знаю,— сказал Кристалл.— Надо будет расспросить моего наставника. Наверное, последний судья был, но он вряд ли уже судил кого-нибудь. Так что ему пришлось найти себе более разумное занятие.

6

— Я начинаю постигать повседневную жизнь этого мира,— сказал мистер Барнстейпл.— Это жизнь полубогов, очень свободная и индивидуализированная, где каждый следует своим личным склонностям и каждый вносит вклад в великое дело всей расы. Жизнь эта не только чиста, радостна и прекрасна, но она еще исполнена достоинства. Да, я вижу, что практически это коммунизм, заранее когда-то задуманный и осуществленный после долгих столетий подготовки, просвещения и воспитания всех в духе коллективной дисциплины. Я никогда раньше не думал, что коммунизм может возвысить и облагородить человека, а индивидуализм сделать его хуже, но теперь убеждаюсь, что здесь это доказано на деле. В вашем счастливом мире — и в этом я вижу венец всех его совершенств и счастья — не существует Толпы. Старый мир, к которому принадлежу я, был и, увы, еще остается миром Толпы, миром отвратительных скоплений, безликих, зараженных бесчисленными болезнями индивидов... Вы никогда не видели Толпы, Кристалл, и за всю свою счастливую жизнь не увидите. Вы никогда не видели, как Толпа устремляется на футбольный матч, на скачки, бой быков, на публичную казнь или подобные зрелища, услаждающие ее. Вы не наблюдали, как Толпа теснится и задыхается в какой-нибудь узкой загородке и улюлюкает и ревет, словно в припадке безумия. Вы не видели, как Толпа медленно течет по улицам, чтобы поглазеть на короля, криками требовать войны или — с таким же шумом — мира. Наконец, вам не довелось видеть Толпу, охваченную паникой, мгновенно превратившуюся в Чернь, начинающую все крушить и искать жертв. Зрелища, устраиваемые для Толпы, ушли в прошлое на вашей планете — все, что сводит с ума Толпу: скачки, спорт,

военные смотры, коронации, торжественные похороны и подобные зрелища. Только ваши маленькие театры... Счастливый Кристалл! Вы ведь никогда не видели Толпы!

— Но ведь я видел Толпы! — возразил Кристалл.

— Где?

— Я видел синематографические картины, где были Толпы, снятые более трех тысяч лет назад, их показывают в наших исторических музеях. Я видел, как Толпа расходится после скачек — ее фотографировали с аэроплана; и Толпы, бушующие на площади,— их разгоняла полиция. Тысячи и тысячи сбившихся вместе людей. Но то, что вы сказали, верно. У нас нет больше Толп и стадного инстинкта Толпы.

7

Когда через несколько дней Кристаллу пришлось уехать — настало время занятий математикой,— мистер Барнстейпл почувствовал себя совсем одиноким. Другого собеседника он так и не нашел. Ликнис всегда была где-нибудь поблизости, чтобы составить ему компанию, но отсутствие у нее широких духовных интересов, столь необычное в этом мире интенсивнейшей умственной жизни, заставляло его сторониться ее. Он встречал и других утопийцев, очень дружественных, веселых, учтивых, но они целиком были поглощены своими занятиями. Они с любопытством расспрашивали его, отвечали на два-три вопроса, заданные им, и тут же уходили, словно куда-то торопясь.

Ликнис — он все больше в этом убеждался — была непохожа на остальных утопийцев. Она принадлежала к еще не совсем исчезнувшему романтическому складу и таила в душе неизбывную скорбь. У нее когда-то было двое детей, и она их страстно любила. Они были на редкость бесстрашны, и из глупой материнской гордости она уговорила их заплыть подальше в море; их захватило быстрое течение, и они утонули. Вместе с ними утонул и отец, который пытался их спасти, да и сама Ликнис чуть не разделила их участи. Но ее спасли. Однако вся ее эмоциональная жизнь с этого времени кончилась, словно застыла. Она жила только этой трагедией. Она отворачи-

валась от смеха и счастья и тянулась к скорби. В ней снова проснулось утраченное утопийцами чувство жалости — сначала к себе самой, а затем и к другим. Ее больше не привлекали мощные и цельные натуры: единственным утешением для нее было утешать других. Она пыталась излечиться, излечивая других. Ей не хотелось разговаривать с мистером Барнстейплом о счастье Утопии; она предпочитала, чтобы он рассказывал ей о горестях Земли и своих собственных страданиях,— этому она могла бы сочувствовать. Но и он не рассказывал ей о своих страданиях: таков уж был склад его характера, что он не страдал, а лишь сердился или сожалел о чем-нибудь.

Он заметил, что она мечтает о том, чтобы очутиться на Земле и отдать свою красоту и нежность больным и бедным. Ее сердце жаждало облегчить людские страдания и немощи, тянулось к страждущим жадно и ненасытно...

Прежде чем он уловил ее умонастроение, он все-таки успел рассказать ей кое-что о болезнях и нищете людей. Но говорил он об этом не с соболезнованием, а скорее с возмущением, как о том, чего не должно быть. И когда он заметил, как жадно она впивает его рассказы, он стал говорить об этом меньше или в оптимистическом тоне, как о вещах, которые обязательно скоро исчезнут.

— Но до тех пор люди еще будут страдать,— говорила она.

Ликнис всегда была рядом, и она поневоле начала занимать непропорционально большое место в его представлениях об Утопии. Она омрачила их, как некая тень. Он часто думал о ней, о ее жалостливости и о том отвращении ко всему жизнелюбивому и сильному, которое воплощалось в ней. В мире страха, слабостей, эпидемий, темноты и бесправия жалость, то есть акты милосердия, все эти приюты и убежища, вся эта благотворительность могли еще казаться привлекательными, но в мире Утопии, в этом мире нравственного здоровья и смелой предприимчивости, жалость оказывалась пороком. Кристалл, юный утопиец, был тверд, как его имя. Когда однажды он споткнулся о камень и вывихнул щиколотку, он хромал, но все время смеялся. А когда мистер Барнстейпл однажды задохнулся, поднимаясь по крутой лест-

нице, Кристалл держался скорее вежливо, чем сочувственно. Ликнис не находила единомышленников в своем стремлении посвятить жизнь несчастным; даже у мистера Барнстейпла она не встречала отклика. Он даже решил, что по характеру он, пожалуй, стоит ближе к утопийцам, чем она. Он, как и утопийцы, считал, что смерть детей и мужа, показавших свое бесстрашие, могла служить скорее поводом для гордости, чем для горя. Пусть они погибли, но смерть их была прекрасна, и волны моря все так же сверкают на ярком солнце. По-видимому, эта утрата разбудила в ней какие-то атавистические черты, нечто весьма древнее, еще не окончательно изжитое в Утопии — темное стремление к жертвенности. Мистеру Барнстейплу казалось странным, хотя, возможно, и не случайным, что он столкнулся в Утопии с человеческой душой, которая так часто попадается на Земле,— с душой, которая отворачивается от Царства Небесного, чтобы поклоняться терниям и гвоздям, этим излюбленным атрибутам, превращающим бога Воскресенья и Жизни в жалкого, поверженного мертвеца.

Она иногда заговаривала с ним о его сыновьях, словно завидуя ему,— ведь это еще сильнее подчеркивало ее потерю; ему же это только напоминало о несовершенстве земного школьного воспитания, о жалком будущем его сыновей и о том, насколько более содержательной, красивой и радостной могла бы быть их жизнь здесь. Он бы рискнул утопить их десять раз, лишь бы спасти от превращения в клерков, в жалких прислужников. Он чувствовал теперь, что даже по земной мерке не дал детям того, что должен был дать; многое в их жизни, да и в своей собственной и в жизни жены, он и вовсе пустил плыть по течению. Если бы он мог начать жизнь сначала, он, наверное, постарался бы пробудить в сыновьях интерес к политике, к наукам, не дал бы им целиком погрузиться в мелочи жизни пригорода — игру в теннис, любительские спектакли, пустой флирт и прочее. Они, в сущности, хорошие мальчики, казалось ему теперь, но он их полностью передоверил матери. А ее слишком уж предоставил самой себе, вместо того чтобы переубеждать, прививать ей свои идеи. Они жили серенькой жизнью, в тени великой катастрофы, не уверенные в том, что за ней не последует другая; они жили в мире пустых трат и мелких

нехваток. Вся его собственная жизнь была пустой тратой сил.

Эта жизнь в Сайденхеме мучила его теперь, как кошмар.

«Я все осуждал, но не изменил ничего,— говорил он себе.— Я был таким же, как Пиви. Был ли вообще от меня какой-нибудь прок на Земле? Или и там я был таким же никчемным, как здесь? Впрочем, все мы на Земле были расхитителями самих себя...»

Он стал избегать Ликнис, скрывался от нее на день или два и в одиночку бродил по долине. Он заглядывал в читальный зал, перелистывал книги, которые не мог прочесть; ему позволяли постоять в какой-нибудь мастерской, наблюдая, как скульптор делает из золота фигуру обнаженной девушки — несравненно более прекрасную, чем любое земное изваяние,— а потом бросает статуэтку в печь и расплавляет ее, недовольный своим творением; он видел людей, возводивших здания, работающих на полях, в глубоких шахтах, прорытых в холмах, где что-то сверкало и рассыпалось искрами,— туда ему не разрешали входить; он сталкивался с тысячей других вещей, недоступных его пониманию. Мистер Барнстейпл начал чувствовать себя так, как, наверное, чувствует себя умный пес в обществе людей; только у него не было хозяина, не было и инстинктов, которые могли бы послужить утешением в его собачьей сиротливости. В дневное время утопийцы занимались своим делом, улыбались ему, когда он проходил мимо, и это вызывало в нем непереносимую зависть. Они знали, что им делать. Они были у себя. В вечерний час они гуляли по двое, по трое, о чем-то беседовали, иногда пели. Проходили влюбленные, близко склонившись друг к другу. И тогда его одиночество становилось мучительным из-за неосуществленных надежд.

Ибо, как бы ни боролся с этим Барнстейпл, как ни старался спрятать это в самой глубине своего сознания, ему хотелось любить и быть любимым в Утопии. И понимание того, что никому не нужна близость с ним, еще больше унижало его, чем ощущение своей бесполезности. Красота утопийских девушек и женщин, поглядывавших на него с любопытством или проходивших мимо со спокойным безразличием, растаптывала его уважение к себе

и делала для него мир Утопии совершенно невыносимым. Молча, бессознательно эти богини Утопии вызывали в нем жгучее ощущение кастовой и расовой неполноценности. Эти мысли о любви преследовали его. Ему казалось, что каждый любит в этом мире Утопии, а для него любовь была здесь чем-то недоступным и невозможным...

Однажды ночью, когда он лежал без сна, сверх всякой меры измученный этими мыслями, ему пришел в голову план, как восстановить свое достоинство и завоевать нечто вроде прав гражданства в Утопии. Добиться того, чтобы утопийцы хотя бы вспоминали и говорили о нем с интересом и симпатией.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗЕМЛЯНИН ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ

1

После некоторых расспросов Барнстейпл отправился побеседовать к человеку, которого звали Золотой Луч. Видимо, он был стар: вокруг его глаз и на красивом лбу лежали морщины, в широкой темно-каштановой бороде пробивалась седина. Глаза под густыми бровями были карие и живые, но ниспадавшие гривой, почти не поредевшие волосы утратили уже свой былой медно-красный оттенок. Он сидел у стола за разложенными бумагами и делал на них какие-то пометки. Он улыбнулся мистеру Барнстейплу — видимо, ждал его — и указал на стул движением крепкой, веснушчатой руки. Потом с той же улыбкой стал ждать, когда гость заговорит.

— Ваш мир — это торжество порядка и красоты, о которой мечтают люди,— начал мистер Барнстейпл.— Но в нем нет места для единственной бесполезной души. Здесь все заняты плодотворной деятельностью. Все, кроме меня... Я здесь чужой. У меня нет своего дела. И нет... никого близких.

Золотой Луч наклонил голову, показывая, что он все понял.

— Землянину с его слабыми земными знаниями трудно найти себе место в вашем обществе. Найти какую-либо обычную работу или обрести какие-нибудь обычные

отношения с другими. Словом, я тут чужак... А еще тяжелее быть никому не нужным. Но мне кажется, что я мог бы оказаться полезен не меньше утопийцев,— в новых научных работах, в которых, мне рассказывали, вы осведомлены больше, чем кто-либо другой, и во главе которых вы, собственно говоря, стоите. Да, я хотел бы быть вам полезен, если возможно. Быть может, вам понадобится человек, готовый пойти на смертельный риск, ну, скажем, отправиться в какое-нибудь неизведанное место... Человек, который хочет служить Утопии... но не обладает особыми знаниями и умением, красотой или талантами...

Мистер Барнстейпл осекся и замолчал.

Золотой Луч ответил, что он хорошо понял мысль своего собеседника.

Мистер Барнстейпл сидел, дожидаясь ответа, а Золотой Луч некоторое время размышлял.

Потом в мозгу мистера Барнстейпла начали вновь складываться фразы.

Золотой Луч спросил, представляет ли себе мистер Барнстейпл весь размах великих открытий, которые совершаются сейчас в Утопии, все связанные с ними трудности.

— Утопия,— объяснил он,— переходит в фазу мощного интеллектуального подъема. Новые виды энергии и новые возможности воспламенили воображение ее человечества. И естественно, что необученный, неспособный обучиться и растерявшийся землянин чувствует себя подавленным и не находит себе места в той обширной и непонятной ему деятельности, которая сейчас начинается. Даже многие из самих утопийцев, наиболее отсталые, охвачены возбуждением. В течение столетий философы и ученые Утопии критиковали, пересматривали и перестраивали прежние инстинктивные и традиционные представления о пространстве и времени, о форме и сущности; сейчас новые представления становятся все более ясными и простыми и уже приносят плоды в самых неожиданных практических областях. Преграды, которые ставило мировое пространство и которые казались раньше непреодолимыми, теперь уже можно переступить, они устраняются, в необычной и поразительной форме, но они устраняются. Теперь не только доказано теоретически, но и быстро становится возможным практически пере-

нестись с планеты Утопии, к которой пока были прикованы утопийцы, в другие точки их вселенной, то есть достичь других планет и далеких звезд... Таково нынешнее положение.

— Я не могу представить себе этого,— сказал мистер Барнстейпл.

— Вы не можете этого себе представить,— приветливо согласился Золотой Луч.— Но это так. Сто лет назад это было бы и здесь чем-то невообразимым.

— Вы попадете туда как бы с черного хода, через другое измерение? — спросил мистер Барнстейпл.

Золотой Луч помолчал, обдумывая его догадку.

— Это курьезный образ,— заметил он,— но, с точки зрения землянина, он годится. Во всяком случае, он передает некоторые стороны открытия. На деле все это гораздо более удивительно. Новая, потрясающая воображение эра началась в нашей жизни. Мы на нашей планете давно уже разгадали главные секреты счастья. Жизнь в нашем мире хороша. Вы ведь считаете ее хорошей?.. И в течение тысячелетий этот мир по-прежнему будет нашей опорой и нашим домом. Но ветер новых исканий и замыслов веет над Утопией. Вся она напоминает зимний лагерь геологов, когда уже близится весна...

Он перегнулся через свои бумаги к мистеру Барнстейплу, поднял палец и заговорил вслух, словно стараясь получше довести свои мысли до сознания слушателя. Мистеру Барнстейплу казалось, что каждое слово переводится как бы само. Во всяком случае, он все понимал.

— Соприкосновение планеты Утопии с планетой Земля было довольно любопытной случайностью. Но случайностью весьма незначительной. Я хотел бы, чтобы вы это поняли. Ваш мир и наш — это всего лишь два мира среди гигантского количества мирозданий, существующих во времени и тяготении и объединяемых неисчерпаемой бесконечностью бога. Наши миры схожи, но ни в чем не идентичны. Ваша планета и наша находятся, так сказать, рядом друг с другом, но они движутся совсем не с одинаковой скоростью и не по строго параллельным орбитам. И вскоре они вновь разойдутся и будут следовать каждая своему предназначенному пути. Когда Арден и Гринлейк осуществили свой эксперимент, возможность

того, что они нащупают что-нибудь в вашей вселенной, была бесконечно мала. И они не учли этого, они просто вывели часть нашей материи за пределы нашего мироздания и затем заставили вернуться обратно. Так попали к нам вы — столь же неожиданно для нас, как и для вас... Однако главное применение наши открытия найдут в нашей вселенной, а не в вашей. Мы не собираемся проникать в вашу вселенную, ни снова допускать вас к нам. Вы слишком похожи на нас и слишком темны и беспокойны, вы носите в себе болезни, а мы, мы пока не можем помочь вам, потому что мы не боги, а люди.

Мистер Барнстейпл молча кивнул.

— Что могли бы мы, утопийцы, делать с землянами? У нас нет достаточно сильного инстинкта поучать другие зрелые существа и тем более властвовать над ними. Этот инстинкт давно исчез в результате долгих веков равенства и свободного сотрудничества. И вас слишком много для того, чтобы нам вас учить; у большинства из вас сложившиеся характеры и дурные привычки. Ваши нелепости мешали бы нам, ваши споры, зависть, традиции, ваши национальные флаги и религии, закоренелая злоба, деспотизм — все это создавало бы нам помехи во всех наших начинаниях. И мы стали бы нетерпеливыми по отношению к вам, несправедливыми, а затем и деспотичными. Вы слишком похожи на нас, чтобы мы могли терпеть вашу неумелость. Нам было бы трудно постоянно помнить о том, что вы плохо воспитаны. Мы уже очень давно убедились в Утопии, что не может быть расы настолько великой, умной и сильной, чтобы она могла думать и действовать за другую расу. Возможно, что и вы на Земле убеждаетесь в этом по мере того, как ваши расы вступают в более тесное соприкосновение. Но тем более это применимо к отношениям между Утопией и Землей. Из того, что мне известно о ваших соплеменниках, об их невежестве и упрямстве, ясно следует, что мы стали бы презирать вас, а презрение есть первопричина всякой несправедливости. Могло бы кончиться тем, что мы истребили бы вас... Зачем же рисковать подобной возможностью? Нам лучше не соприкасаться с вами, раз мы не можем положиться на себя... Поверьте мне, для нас это единственно разумный путь.

Мистер Барнстейпл так же молча выразил согласие.

— Другое дело — вы и я, два индивида: мы можем быть друзьями и понимать друг друга.

— Все то, что вы говорите,— правда,— сказал мистер Барнстейпл.— Да, правда. Но мне горько, что это так... Очень горько... И все же, если я правильно понял, лично я мог бы чем-то быть полезен Утопии.

— Да.

— Но чем?

— Тем, что вернетесь в свой мир.

Мистер Барнстейпл несколько секунд обдумывал этот ответ. Случилось то, чего он боялся. Но ведь он уже предложил свои услуги.

— Я сделаю это.

— Мне следовало бы сказать — попытаетесь вернуться. Это связано с риском. Вы можете погибнуть.

— Я готов рискнуть.

— Мы хотим проверить имеющиеся у нас данные о соотношении нашей вселенной и вашей. Мы хотим провести эксперимент, обратный тому, который проделали Арден и Гринлейк,— выяснить, можем ли мы вернуть живое существо в ваш мир. Сейчас мы уже почти уверены, что можем сделать это. И этот человек должен настолько любить и нас и свой мир, чтобы вернуться туда и дать нам знак, что он вернулся.

— Я сделаю это,— внезапно охрипшим голосом сказал мистер Барнстейпл.

— Мы поместим вас в вашу машину и оденем в ту одежду, которую вы носили. Вы будете выглядеть снова совершенно таким, каким оставили ваш мир.

— Да-да. Я понимаю.

— Ваш мир порочен, его раздирают неурядицы, но в нем, как ни странно, встречаются поразительно одаренные умы. И мы не хотим, чтобы ваши люди знали о том, что мы так близко от вас, ибо мы останемся вашими соседями по крайней мере еще несколько сотен лет; мы не хотим, чтобы они узнали про нас, ибо опасаемся, что они ворвутся к нам с помощью какого-нибудь неразумного гения, ворвутся жадными, тупыми, бесчисленными ордами, станут грубо стучаться в наши двери, угрожать нашим жизням, мешать нашим высоким исканиям, и мы в конечном счете будем вынуждены истребить их, как нашествие крыс или паразитов.

— Да, — сказал Барнстейпл. — Люди смогут быть допущены в Утопию не раньше, чем они научатся жить так, как живут здесь. Утопия, насколько я понял,— дом только для тех, которые научились этому.

Он помолчал, потом сказал, отвечая на свои мысли:

— Когда я вернусь, смогу ли я забыть Утопию?

Золотой Луч улыбнулся и промолчал.

— До конца моих дней меня будет томить воспоминание об Утопии.

— Оно будет поддержкой для вас.

— Я снова буду продолжать мою земную жизнь — с того самого момента, на котором ее оставил; но на Земле... я буду утопийцем, ибо чувствую, что, предложив свои услуги и получив согласие, я уже больше не отщепенец Утопии. Я здесь дома...

— Помните, что эксперимент может кончиться вашей гибелью.

— Пусть.

— Что ж, хорошо, брат!

Дружеская рука пожала руку мистеру Барнстейплу, а умные глаза улыбнулись.

— После того, как вы вернетесь и подадите нам знак, некоторые из ваших спутников-землян тоже могут быть отправлены обратно.

Барнстейпл подскочил на стуле.

— Как? — крикнул он изменившимся от изумления голосом.— Я думал, что их вышвырнули куда-то в пространство другого мироздания и что все они погибли!

— Некоторые погибли. Они погубили себя, выбежав из крепости, когда скала вращалась. Погиб человек, одетый в кожу...

— Лорд Барралонг?

— Да. И еще француз, который все пожимал плечами и говорил: «Что поделаешь?» Остальные вернулись, после того как в конце дня вращение закончилось, задыхающиеся, замерзшие, но живые. Их вылечили, и теперь мы не знаем, что с ними делать... Они совершенно бесполезны на нашей планете. Они нам в тягость.

— Это само собой разумеется,— сказал мистер Барнстейпл.

— Человек, которого вы зовете Берли, видимо, важное лицо в ваших земных делах. Мы исследовали его ра-

зум. Сила его убеждений весьма невелика. Он верит только в одно — в жизнь цивилизованного богатого человека, занимающего скромное, но видное положение в законодательных учреждениях какой-то почти фиктивной империи. Мы сомневаемся, чтобы он серьезно поверил в то, что ему пришлось здесь испытать. Мы постараемся сделать так, чтобы все это показалось ему причудливым сновидением. Он будет думать, что о подобной фантастике рассказывать не стоит: он, очевидно, побаивается своего разыгравшегося воображения. Он вернется в ваш мир через несколько дней после вас и постарается незаметно проникнуть к себе домой. Он будет вторым после вас. Вы узнаете об этом, когда он возобновит свою политическую деятельность. Возможно, он станет мудрее.

— Возможно,— сказал мистер Барнстейпл.

— А тот... как звучит его имя? Да, Руперт Кэтскилл. Он тоже вернется. Его будет недоставать в вашем мире.

— Этот никогда не поумнеет,— убежденно сказал мистер Барнстейпл.

— Вернется и леди Стелла.

— Я рад, что она жива. Она не будет говорить об Утопии. Она не болтлива.

— Что касается священника, то он сумасшедший. Его поведение становится крайне буйным и вызывающим, и поэтому он содержится под надзором.

— А что он натворил?

— Он изготовил несколько черных шелковых передников и кинулся надевать эти передники на нашу молодежь, совершая это в непристойной форме.

— Вы могли бы вернуть его на Землю,— сказал мистер Барнстейпл после некоторого размышления.

— А на вашей планете разрешается вести себя так?

— Мы называем такого рода вещи целомудрием,— объяснил мистер Барнстейпл.— Но, конечно, если вам хочется, оставьте его здесь.

— Он тоже отправится назад,— сказал Золотой Луч.

— Остальных вы можете оставить,— сказал мистер Барнстейпл. Собственно, вам и придется их оставить — никто на Земле их не хватится. В нашем мире так много людей, что постоянно кто-нибудь теряется... А ведь возвращение даже тех немногих, которых вы назвали, может

вызвать шум. Местные жители могут заметить странных путешественников, свалившихся неизвестно откуда и расспрашивающих на Мейденхедском шоссе, как им добраться до дома. Они могут проболтаться... Нет, остальных не следует возвращать. Устройте их на каком-нибудь острове или еще где-либо. Я посоветовал бы вам оставить и священника, но его отсутствие будет замечено многими. Его прихожане будут страдать от подавленной нравственности и начнут вести себя беспокойно. Кафедра церкви святого Варнавы удовлетворяет определенные инстинкты. Священника же будет легко убедить, что Утопия не более как сон и обманчивое видение. Любая Утопия, естественно, покажется священнику сном. А этот сочтет ее, если вообще про нее вспомнит, просто нравоучительным кошмарным испытанием,— наверное, так он и выразится.

2

Все было решено, но мистеру Барнстейплу не хотелось уходить.

Он посмотрел Золотому Лучу прямо в глаза и встретил все тот же добрый взгляд.

— Вы мне сказали о том, что мне предстоит сделать,— начал он.— И мне пора уходить, так как одно мгновение вашей жизни стоит больше, чем целый день моей. Но именно потому, что я скоро покорно покину этот огромный сверкающий мир и вернусь в наш хаос, у меня хватает смелости просить, чтобы вы рассказали мне, по возможности просто, о великих свершениях, заря которых уже занялась над вашим миром. Вы говорите о том, что вскоре сможете выйти за пределы Утопии и отправиться в самые отдаленные уголки вашей вселенной. Это меня озадачивает. Возможно, я не в силах постичь такую идею, но она очень важна для меня. В нашем мире давно существует убеждение, что в конце концов жизнь на Земле должна прекратиться, поскольку наше Солнце и другие планеты остывают, и что нет никакой надежды спастись, переселившись куда-нибудь с нашей маленькой Земли. Мы зародились на ней и вместе с ней должны умереть. Это лишало многих из нас надежды и жизненной энергии. Ибо для чего же работать, до-

биваться прогресса в мире, который обречен на то, чтобы замерзнуть и погибнуть?

Золотой Луч рассмеялся.

— Ваши философы сделали слишком поспешный вывод.

Он снова наклонился через стол к своему слушателю и пристально посмотрел ему в лицо.

— Сколько времени существуют на Земле точные науки?

— Два-три столетия.

Золотой Луч поднял два пальца.

— А ученые? Сколько было у вас ученых?

— В каждом поколении несколько сот, достойных этого имени.

— А нашей науке примерно три тысячи лет. И более ста миллионов выдающихся умов были подобны гроздьям винограда — они выжаты прессом науки... И все-таки мы знаем теперь... что знаем очень мало. На каждое научное открытие приходится сто неудачных попыток, которые послужили ему лишь сырым материалом. Стоит провести измерение, и какая-нибудь важнейшая истина, как призрак, скроется в допустимой ошибке. Я представляю себе положение ваших ученых — всех им успехов, бедным дикарям,— так как я изучал истоки нашей собственной науки в далеком прошлом Утопии. Как могу я выразить разделяющее нас расстояние? С тех пор мы изучили, испробовали, проанализировали и снова и снова испробовали ряд новых путей осмысления мирового пространства, в котором Время — лишь некая особая его форма. Мы не в силах сообщить вам те формы выражения, благодаря которым явления, казавшиеся нам трудными — а вам они, я полагаю, и сейчас кажутся невероятно трудными и парадоксальными,— утрачивают всю свою видимую сложность. Сообщить вам что-либо — тяжелая задача. Мы мыслим понятиями, в которых пространство и время образуют связное целое, а понятия, которыми мыслите вы, есть лишь частность этого целого. Наши и ваши чувства, инстинкты, повседневные привычки находятся в одной и той же системе; другое дело — наши знания и те виды энергии, которыми мы располагаем. Наше мышление ушло далеко за пределы нашего бытия. Так будет и с вами. Мы по-прежнему существа из

плоти и крови, по-прежнему надеемся, желаем, мечемся из стороны в сторону; но то, что казалось бесконечно далеким, становится близким, недоступное склоняется перед нами, то, что было непостижимо, лежит у нас на ладони.

— И вы не думаете, что ваше человечество — и раз уж на то пошло — и наше должны будут когда-нибудь погибнуть?

— Погибнуть? Да мы ведь только начали!

Старик сказал это очень проникновенно. Бессознательно он почти цитировал Ньютона.

— Мы как маленькие дети, которых привели на берег необъятного океана. Все знание, накопленное нами за короткий ряд поколений с тех пор, как мы вообще начали приобретать знания, не более как горсть камешков, собранных детьми на берегу этого безбрежного океана... Перед нами,— продолжал Золотой Луч,— лежит бесконечное Знание, и мы можем черпать и черпать из него и, черпая, расти сами. Растет наша сила, растет наша смелость. Мы вновь и вновь обретаем юность, и, заметьте, наши миры все молодеют. У поколений обезьян и полулюдей, которые предшествовали нам, ум был дряхлый — вся их узкая неподвижная мудрость была скудным плодом бесчисленных жизней, плодом, тщательно хранимым, утратившим свежесть и кислым. Они боялись всего нового, потому что все старое далось им тяжелой ценой. Постигать новое — это, в сущности говоря, значит становиться моложе, освобождать себя, начинать все вновь. Ваш мир по сравнению с нашим — это мир неспособных к учению, заскорузлых душ, закостенелых, дряхлых традиций, ненависти, обид. Но когда-нибудь и вы снова уподобитесь детям и проложите себе путь к нам, и мы будем ждать вас. Два мира встретятся, и обнимутся, и породят новый, еще более величественный мир... Вы, земляне, даже еще и не начали понимать значение Жизни. Но и мы, утопийцы, ненамного ушли в этом дальше вас... Жизнь все еще остается лишь обещанием. Она еще только ждет подлинного своего рождения из того жалкого праха.. Когда-нибудь здесь и повсюду проснется Жизнь, для который вы и я — лишь ничтожные атомы-предвестники, крохотные завихрения атомной пыли. Она обязательно проснется, единая, целостная и прекрасная, как дитя,

просыпающееся к сознательному бытию. Она откроет сонные глаза, потянется, улыбнется, глядя в лицо божественной тайне, как улыбаются восходу солнца... Там будем и мы, все непреходящее в нас... Но и это явится только началом, не более, чем началом...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛЯНИНА

1

Скоро, слишком скоро, наступило то утро, когда мистеру Барнстейплу осталось только бросить последний взгляд на прекрасные холмы Утопии, а затем подвергнуться великому эксперименту, для которого он предложил себя. Ему не хотелось спать, и он провел бессонную ночь. На рассвете он вышел из дому, в последний раз надев сандалии и легкую белую одежду, которые стали уже привычными для него в Утопии. Через несколько часов ему придется напяливать на себя носки, ботинки, брюки, воротничок — всю эту нелепую амуницию. Он знал, как будет задыхаться в этом костюме; протянув обнаженные руки к небу, он полной грудью вдохнул воздух. Долина еще дремала под легким одеяльцем курчавого тумана; он поднялся на холм, чтобы скорее увидеть солнце.

Никогда еще он не выходил бродить среди цветов Утопии в такой ранний час; было занимательно видеть сонно поникшие, огромные венчики, плотно сложенные лепестки пушистых шапок. Листья тоже казались съежившимися, как только что покинувшие кокон бабочки. Пауки деловито ткали тонкую паутину, и все вокруг было окроплено росой. Из боковой дорожки вышел большой тигр и несколько мгновений смотрел на мистера Барнстейпла в упор круглыми желтыми глазами, может быть, пытаясь вспомнить давно забытые инстинкты своей породы.

Выше на склоне мистер Барнстейпл прошел под темнокрасной аркой и стал подниматься по лестнице из каменных ступенек — это был кратчайший путь на вершину холма.

Его провожала стайка дружелюбных маленьких птичек в пестром оперении, и одна из них храбро вспорхнула ему на плечо; он поднял руку, чтобы приласкать ее,— она увернулась и улетела прочь. Он все еще поднимался по лестнице, когда взошло солнце. Склон холма словно сбросил с себя серо-голубое покрывало, обнажив сверкающее золотым загаром тело.

Мистер Барнстейпл остановился на площадке, следя за тем, как лучи восходящего солнца будят сонную глубину долины.

Далеко-далеко, словно, стрела, пущенная с востока на запад, обозначалась полоса ослепительного сияния — это было море.

2

— Безмятежность,— пробормотал он.— Красота... Все, что создано человеком,— в безукоризненной гармонии. Полная гармония духа...

По своей журналистской привычке он пробовал разные словесные обороты:

— Покой, насыщенный энергией... Рассеявшийся хаос... Мир кристально чистых душ...

Но что было толку в словах?

Несколько минут мистер Барнстейпл стоял неподвижно и прислушивался: со склона над ним взвился в небо жаворонок и рассыпал нежные трели. Он попытался разглядеть это крохотное поющее пятнышко, но его ослепила сверкающая голубизна неба.

Жаворонок слетел на землю и затих. Утопия молчала, и только где-то внизу раздавался детский смех.

Мистера Барнстейпла вдруг поразило то, как тих и спокоен в Утопии воздух по сравнению с беспорядочным земным шумом. Здесь не было слышно лая усталых или обозленных собак, ослиного рева, мычания или визга встревоженных домашних животных, суеты скотного двора, перебранки, злобных ругательств, кашля; не было оглушительного стука молотков, визга пил, скрежета, воя, свиста и гудения всяческих машин; не грохотали издали поезда, не тарахтели автомобили и другие плохо сконструированные механизмы. Исчезли утомительные и безобразные звуки, издаваемые надоедливыми насекомы-

ми. В Утопии ничто не раздражало ни зрения, ни слуха. Воздух, некогда загрязненный мешаниной всяческих шумов, был теперь прозрачен и тих. А звуки, которые все же ложились на эту тишину, напоминали четкие красивые буквы на большом листе прекрасной бумаги.

Он снова окинул взглядом весь пейзаж внизу — там уже рассеивались последние клочья тумана. Бассейны, дороги, мосты, здания, набережные, колоннады, рощи, сады, каналы, каскады, фонтаны — все это уже четко вырисовывалось в своем многообразии сквозь темную листву белоствольного дерева, росшего среди скал возле того места, где он стоял.

— Три тысячелетия назад этот мир еще был похож на наш... Только подумать: каких-нибудь сто поколений!.. За три тысячи лет мы тоже переделаем нашу запущенную, захламленную землю и превратим ее джунгли и пустыни, шлаковые отвалы и трущобы в такой же прекрасный и величественный рай.

...Да, два мира — схожих, но совсем разных...

...Если бы только я мог рассказать им о том, что видел!

...Если бы все люди могли увидеть Утопию!..

...Они не поверят, если я расскажу им... Нет...

...Они стали бы кричать на меня по-ослиному и лаять по-собачьи... Им не нужно другого мира, кроме их собственного. Им обидно даже думать о каком-либо другом мире. Ничто не может быть создано, кроме того, что уже создано. Думать иначе было бы унизительным... Смерть, муки, нищета — все, что угодно, только не унижение!.. И вот они сидят среди своих сорняков и отбросов, почесываются и мудро кивают друг другу, дожидаясь какой-нибудь доброй драки, злорадствуя по поводу чужих горестей и тяжкого труда, которые им неведомы, и твердо веря в то, что человечество смердело, смердит и должно всегда смердеть, и что этот запах, собственно, довольно приятен, и что нет ничего нового под луной...

Мистера Барнстейпла отвлекло от этих мыслей появление двух юных девушек, бежавших вверх по лестнице. Одна, смуглая до черноты, несла охапку голубых цветов; другая, бежавшая за ней следом, была на год или два моложе, светлая, с золотистыми волосами. В них играла неуемная радость расшалившихся котят. Первая бы-

ла так занята своей преследовательницей, что, поравнявшись с мистером Барнстейплом и увидев его, удивленно вскрикнула. Она метнула на него быстрый вопросительный взгляд, улыбнулась с шаловливым лукавством, бросила ему в лицо два голубых цветка и помчалась вверх по ступенькам. Ее подруга, все еще стараясь ее поймать, бросилась за ней. Они промелькнули, как две бабочки, шоколадная и розовая, на мгновение остановились высоко над ним, что-то сказали друг другу о чужестранце, махнули ему рукой и исчезли.

Мистер Барнстейпл ответил на их приветствие, на душе у него стало весело.

3

Площадка для обозрения, куда Ликнис посоветовала мистеру Барнстейплу подняться, находилась на вершине кряжа, разделявшего большую долину, где он провел последние несколько дней, и дикое, обрывистое ущелье, на дне которого шумел поток, впадавший после сотни миль изгибов и поворотов в реку на равнине. Площадка находилась на вершине кряжа, она опиралась на кронштейны и нависала над излучиной потока; по одну сторону вздымались дикие горы, словно обрызганные зеленой пеной растительности в ущельях, по другую раскинулся пейзаж, облагороженный человеком. Несколько минут мистер Барнстейпл вглядывался в ущелье, которое видел впервые. Футов на пятьсот ниже, прямо под ним, парил сарыч — мистеру Барнстейплу казалось, что он мог бы бросить в него камешек.

Он решил, что большинство деревьев внизу фруктовые, но расстояние было слишком велико, чтобы утверждать это наверняка. То там, то здесь глаз различал тропинку, петляющую между деревьями и камнями, а из гущи зелени выглядывали беседки,— он знал, что путник может там отдохнуть, приготовить чай и закусить, найти постель и книгу. Вся планета была усеяна такими вот легкими строениями и другими гостеприимными убежищами для путешественников...

Потом он подошел к другому краю площадки и снова стал глядеть на большую долину, простирающуюся до моря. В голове его мелькнуло слово «Фасги» — под ним

и в самом деле была Обетованная Земля, венец человеческих стремлений. Здесь навсегда утвердились мир, сила, здоровье, радость творчества, долголетие, красота. Все, что ищем мы на Земле, здесь найдено, и любая мечта стала действительностью.

Сколько еще времени пройдет, сколько столетий или тысячелетий, пока человек сможет взойти на такую вот вершину на Земле и увидеть человечество торжествующим, единым, живущим в вечном мире!..

Он облокотился о парапет, скрестив на нем руки, и глубоко задумался.

В Утопии не было ни одной науки, зародыша которой не существовало бы на Земле, ни одного вида энергии, которым не пользовались бы земляне. Здесь была та же Земля — только без невежества, темноты, злобы, коварства, столь обычных в земной жизни...

К миру, подобному Утопии, мистер Барнстейпл стремился всю жизнь по мере своих слабых сил. Если опыт, в котором ему предстоит принять участие, окажется успешным и если он благополучно вернется на Землю, вся его жизнь будет посвящена Утопии. И в этом он не будет одиноким. На Земле, наверно, есть тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей, которые и мечтой и делом стремятся найти для себя и своих детей выход из беспорядка и злобы земного Века Хаоса; сотни тысяч, которые хотят положить конец войнам и разрушениям, хотят лечить, воспитывать, восстанавливать разрушенное, воздвигнуть знамя Утопии там, где царит обман и рознь, которые губят человечество.

— Да, но у нас ничего не получается,— сказал себе мистер Барнстейпл и, раздосадованный, принялся расхаживать взад и вперед.— Десятки и сотни тысяч мужчин и женщин! А мы сделали так мало! Ведь, наверно, у каждого юноши, у каждой девушки всегда бывает хотя бы мечта — посвятить себя улучшению, усовершенствованию окружающего мира. Но мы разобщены и только губим себя по-пустому, и старые, прогнившие понятия, обычаи, заблуждения, привычки, ненаказуемое предательство, подлая повседневность — все это господствует над нами!..

Он снова подошел к парапету и остановился, поставив ногу на скамью, упершись локтем в колено и поло-

жив подбородок на ладонь. Он не мог оторвать взгляда от красоты этого мира, который он так скоро должен будет покинуть...

— А ведь мы могли бы сделать это!

И тут мистер Барнстейпл понял, что теперь он душой и телом принадлежит Революции — Великой Революции, которая уже зреет на Земле, которая уже началась и не прервется и не угаснет, пока старушка Земля не станет единым государством и на ней не воцарится Утопия. Он ясно видел теперь, что эта Революция и есть Жизнь, что все другие формы человеческого существования — лишь жалкая сделка между жизнью и смертью. Все это четко выкристаллизовалось в его мозгу, и он был убежден, что такие же мысли будут складываться в сознании тех сотен тысяч людей на Земле, души которых стремятся к Утопии.

Он выпрямился и снова принялся шагать взад и вперед.

— Мы сделаем это,— сказал он вслух.

Земное мышление еще даже не в силах охватить стоящие перед человечеством цели и возможности их осуществления. Вся земная история до сих пор была не более чем движениями, которые делает человек во сне, беспорядочно нарастающим недовольством, протестом против навязанных жизнью ограничений, неразумным бунтом неутоленного воображения. Вся борьба, восстания и революции, какие когда-либо видела Земля, были только смутным вступлением к Революции, которая еще впереди.

Мистер Барнстейпл понимал теперь, что, отправляясь в этот свой фантастический отпуск, он был в подавленном настроении и земные дела казались ему в высшей степени запутанными и непоправимыми; но, познакомившись с осуществленной Утопией, поздоровевший, он отчетливо видел, как неуклонно от неудачи к неудаче, человечество нащупывает путь к грядущей последней Революции. Он и сам был свидетелем того, как его современники старались разорвать сети лжи, которыми их опутывала монархия или догматическая религия и догматическая мораль, и стремились утвердить подлинную гражданственность, чистоту духа и тела. Они боролись за международную помощь нуждающимся, за освобожде-

ние всей экономической жизни от окутывающей ее паутины махинаций, бесчестия и обмана. В любой борьбе бывают отступления и поражения; но отсюда, с этой мирной высоты Утопии, он видел, что человечество непреклонно и упорно продвигается вперед...

Случались на этом пути и грубые промахи и длительные задержки, ибо до сих пор силы Революции действовали в полутьме. Мистер Барнстейпл сам был свидетелем великой попытки социалистического движения создать новое общество и неудач этого движения. Социализм был евангелием его юности; он разделял надежды этого движения и его сомнения, участвовал в его острых внутренних раздорах. Он видел, как это движение в узких рамках марксистских формул теряет кротость, свежесть и набирает силу. Он видел, как социализм жертвовал своей созидательной энергией в пользу воинствующей активности. На примере России он увидел способность социализма ниспровергать и неспособность его планировать и строить. Как и всех либерально настроенных людей, его отпугнула самонадеянность большевиков и их неудача. Некоторое время мистеру Барнстейплу казалось, что это явное банкротство большого творческого порыва есть победа реакции, что это снова открыло простор для обмана, мошенничества, коррупции, традиционной анархии и тирании, которые сковывают и калечат человеческую жизнь... Но теперь он видел ясно, что Феникс Революции сгорает и испепеляется только для того, чтобы возродиться снова. Революции возникают и умирают, но Великая Революция надвигается, неустанно и неотвратимо.

Это время близится — и сколько бы ни осталось жить ему самому, он все-таки может помочь приблизить тот час, когда силы последней, подлинной Революции больше не будут блуждать в полумраке, а выйдут на яркий свет дня. Тысячи и тысячи людей, сейчас очень далеких друг от друга, разобщенных и даже взаимно недоброжелательных, соберутся вместе, сплоченные видением вожделенного мира... Марксисты в течение полустолетия бесцельно растрачивали силы Революции; они не обладали предвидением, а лишь осуждали установившийся порядок вещей. Они оттолкнули от себя талантливых ученых своей чванной псевдоученостью, напугали их своей нетер-

пимой ортодоксальностью; их ошибочная уверенность, что все идеи обусловлены материальными обстоятельствами, заставила их пренебрегать воспитанием и критикой. Они пытались построить социальное единство на ненависти и отвергали всякую другую движущую силу, кроме ожесточенной классовой войны... Но теперь, в дни его сомнений и усталости, видение нового мира снова возвращается к социализму, и унылое зрелище диктатуры пролетариата снова уступает дорогу Утопии, требованиям общества справедливого и мирного, где все богатства будут создаваться и использоваться для общего блага, где каждый гражданин будет освобожден не только от принудительного труда, но и от невежества и где излишек энергии будет разумно направлен на развитие знаний и красоты. Проникновению этой идеи во все новые и новые умы сейчас уже нельзя помешать. Земля пройдет тот путь, который прошла Утопия. Земля доведет закон, долг и воспитание до такого совершенства, какого не знали люди. Они будут смеяться над тем, чего раньше боялись, отметут прочь обман, перед которым замирали в священном трепете, все нелепости, которые мучили их и уродовали их жизнь. И когда эта Великая Революция будет завершена и Земля вступит в свет дня, бремя человеческих страданий будет снято и мужество изгонит скорбь из людских сердец. Земля, которая сейчас только дикая пустыня, то страшная, то, в лучшем случае, живописная, пустыня, по которой разбросаны убогие поля, лачуги, трущобы и кучи шлака,— эта Земля тоже обретет сокровища красоты и станет такой же прекрасной, как Утопия. Сыны Земли, очищенные от болезней, умиротворенные, сильные и красивые, будут с гордостью шагать по своей вновь обретенной планете и устремят свои дерзания к звездам.

— Нужно только желание,— сказал мистер Барнстейпл.— Нужно только желание...

4

Откуда-то издалека донесся звон мелодичного колокола, отбивавшего время.

Пришла пора свершить обещанное, то, чему он посвятил себя. Теперь ему надо спуститься, и его увезут в то место, где должен быть осуществлен эксперимент.

Он бросил последний взгляд на ущелье и стал спускаться вниз, к долине, с ее озерами, бассейнами, террасами, с ее беседками, общественными зданиями и высокими виадуками, с ее широкими склонами и освещенными солнцем полями, с ее беспредельными и щедрыми благами.

— Прощай, Утопия! — сказал мистер Барнстейпл и сам удивился глубине своего волнения.

— Прекрасное видение надежды и красоты, прощай!

Он стоял неподвижно, охваченный чувством скорбного одиночества, слишком глубокого, чтобы он мог дать волю слезам.

Ему казалось, что душа Утопии, словно богиня, склонилась над ним, ласковая, восхитительная — и недоступная.

Мозг его оцепенел.

— Никогда,— прошептал он наконец,— никогда это не будет моим... Остается одно: служение... Только это...

Он начал спускаться по ступеням, уводившим вниз с площадки. Некоторое время он ничего не замечал вокруг себя. Потом его внимание привлек аромат роз. Он увидел, что идет между шпалерами кустов роз, смыкающихся над его головой, а среди крупных белых цветов весело порхают маленькие зеленые птички. Он резко остановился и стал глядеть на листья, пронизанные солнечным светом. Потом протянул руку, наклонил к себе один из больших цветков, и тот коснулся его щеки.

5

Мистера Барнстейпла переправили на аэроплане к тому месту на стеклянной дороге, где он впервые очутился в Утопии. С ним летели Ликнис и Кристалл: мальчику хотелось посмотреть эксперимент.

Мистера Барнстейпла ждала группа из двадцати — тридцати утопийцев, среди них был и Золотой Луч. Разрушенная лаборатория Ардена и Гринлейк уже была восстановлена, а по ту сторону дороги высилось новое здание; но мистер Барнстейпл легко узнал то место, где с ним заговорил мистер Берли, а мистер Кэтскилл подошел к леопарду. Расцвели здесь новые цветы, но голубые венчики, так очаровавшие его тогда, все еще преобладали.

На дороге стоял его старый автомобиль, «желтая опасность», показавшийся ему невообразимо неуклюжим сооружением. Мистер Барнстейпл подошел к автомобилю и осмотрел его. Он был в отличном состоянии: заботливо смазан, и бак был полон бензина.

В маленьком павильоне стоял его чемодан и лежала его земная одежда. Она была тщательно вычищена, выглажена. Он переоделся. Рубашка как будто слишком плотно обтягивала грудь, воротничок был решительно узок, пиджак слегка резал под мышками. Может быть, одежда немножко села после дезинфекции? Он уложил чемодан, и Кристалл поставил его в машину.

Золотой Луч очень коротко и просто объяснил все, что должен был сделать мистер Барнстейпл. Поперек дороги, вблизи от восстановленной лаборатории, была протянута тонкая, как паутина, проволочка.

— Направьте вашу машину на эту проволоку и разорвите ее,— сказал Золотой Луч.— Вот и все. Возьмите еще с собой этот красный цветок. Вы его положите на землю точно в том месте, где следы колес покажут вам границу перехода.

Мистер Барнстейпл остался один возле своего автомобиля. Утопийцы отступили на двадцать или тридцать ярдов, образовав круг, в центре которого находился он. Несколько мгновений все молчали.

6

Мистер Барнстейпл сел в автомобиль, запустил мотор, дал ему поработать с минуту, потом включил скорость. Желтая машина двинулась к пересекающей дорогу проволоке. Он помахал рукой остающимся, и ему ответила Ликнис. Золотой Луч и остальные тоже дружески подняли руки. Только Кристалл был так увлечен происходящим, что не помахал ему...

— Прощай, Кристалл! — крикнул мистер Барнстейпл, и мальчик, очнувшись, ответил ему.

Мистер Барнстейпл нажал на акселератор, крепко стиснул зубы и, хотя ему не хотелось делать этого, закрыл глаза как раз в то мгновение, когда автомобиль коснулся нити. Снова наступило ощущение невыносимого давления, и он услышал тот же звук, напоминающий звон лоп-

нувшей струны. У него мелькнуло непреодолимое желание остановиться, повернуть назад. Он убрал ногу с акселератора, но автомобиль словно стал падать куда-то, потом остановился так внезапно и резко, что мистера Барнстейпла бросило вперед, на рулевое колесо. Давление прекратилось. Он открыл глаза и огляделся.

Автомобиль стоял на недавно скошенном лугу. Он накренился на один бок из-за покатости почвы. Живая изгородь, в которой виднелись раскрытые черные ворота, отделяла луг от шоссе. Вблизи торчала реклама какого-то Мейденхедского отеля. По ту сторону шоссе тянулись ровные поля, а за ними цепь невысоких лесистых холмов. Слева виднелась маленькая гостиница. Мистер Барнстейпл повернул голову — в отдалении, за лугами и одинокими тополями, виднелся Виндзорский замок. Утопийцы немного ошиблись: он покинул Землю не совсем точно на этом месте, но оно находилось ярдах в ста отсюда, не дальше.

Некоторое время он просидел молча, обдумывая, что ему делать. Потом снова завел мотор и подвел «желтую опасность» к черным воротам.

Он вышел из автомобиля и остановился, держа в руке красный цветок. Теперь надо было пройти немного назад, к той черте, на которой он снова вступил в свой мир, и положить цветок на землю. Черту было легко определить: там начинался след шин автомобиля. Но мистер Барнстейпл вдруг почувствовал сильнейшее желание нарушить полученные инструкции. Ему хотелось оставить цветок у себя. Ведь это было последнее, единственное, что оставалось у него от того золотого мира. Цветок — и слабое благоухание, которого еще не утратили его руки.

Почему он больше ничего не захватил оттуда? Он мог взять с собой целый букет цветов! Почему они ничего не уделили ему из необъятной Сокровищницы Красоты, которой владеют? Желание сохранить цветок становилось все сильнее. Он уже подумал было заменить его веточкой жимолости из изгороди. Но потом вспомнил, что эта веточка может занести к ним новую инфекцию. Нет, он поступит так, как ему сказано! Он сделал еще несколько шагов по следу шин, мгновение постоял в нерешительности, оторвал от цветка один-единственный лепе-

сток, потом бережно положил цветок в самую середину следа. Лепесток он спрятал в карман и с тяжелым сердцем медленно вернулся к автомобилю и стал смотреть на сверкающую в колее красную звездочку.

Его скорбь и волнение были очень велики. Только сейчас ощутил он, как горько было ему расстаться с Утопией.

Видимо, здесь продолжалась великая засуха. Луг и изгородь совсем высохли и побурели. Это было для Англии редкостью. Над дорогой стояло облако пыли — ее беспрерывно поднимали проезжающие автомобили. Этот старый мир, казалось, весь состоял из некрасивых, уже наполовину забытых вещей, звуков, запахов. Доносились гудки автомобилей, грохот проезжавшего поезда, где-то жалобно мычала корова, видимо, прося пить; пыль раздражающе щекотала его ноздри, как и запах расплавленного гудрона; изгородь была увита колючей проволокой, она шла и по верхней части черных ворот. Под ногами валялся навоз, обрывки грязной бумаги. Прекрасный мир, из которого он был изгнан, свелся теперь лишь к этой сверкающей красной точке на лугу.

И вдруг что-то произошло. Словно появилась на мгновение чья-то рука и забрала цветок. В одно мгновение он исчез. Поднялся только маленький фонтанчик пыли, опал и исчез...

Это был конец.

При мысли о движении на шоссе Барнстейпл сгорбился, словно пряча лицо от проезжих. Несколько минут он не мог овладеть собой. Он так и стоял, закрыв руками лицо, прислонившись к облезлому коричневатому капоту своего автомобиля...

Наконец мистер Барнстейпл справился с приступом горя. Он снова сел за руль, завел мотор и выехал на шоссе. Он машинально повернул на восток. Черные ворота в изгороди он за собой не закрыл. Ехал он медленно, все еще не зная, куда же, собственно, ему направиться. Потом он сообразил, что в этом старом мире его, быть может, разыскивают, как исчезнувшего загадочным образом. В таком случае, если кто-нибудь его узнает, ему придется отвечать на тысячу всяких немыслимых вопросов. Это будет страшно утомительно и неприятно. В Утопии он не подумал об этом. Там ему казалось

вполне вероятным, что он вернется на Землю никем не замеченный. Теперь, на Земле, эта уверенность казалась нелепой. Он увидел впереди вывеску скромного кафе и решил, что ему следует здесь остановиться, прочесть газету и осторожно разузнать, что произошло в мире за это время и замечено ли его отсутствие.

Он сел за накрытый столик у окна. В середине комнаты стоял стол и на нем большой зеленый вазон с азиатскими ландышами и куча старых газет и иллюстрированных журналов. Но здесь был и сегодняшний, утренний выпуск «Дейли экспресс».

Он схватил газету, заранее боясь, что она вся будет посвящена загадочному исчезновению мистера Берли, лорда Барралонга, мистера Руперта Кэтскилла, мистера Ханкера, отца Эмертона, леди Стеллы, не считая прочих, менее крупных светил. Но постепенно, по мере того как он листал газету, страх его испарялся. О них не было ни одного слова!

«Как же так! — мысленно заспорил он, не желая теперь отказываться от своего предположения.— Их друзья должны были заметить, что они исчезли».

Мистер Барнстейпл прочел всю газету. Но нашел упоминание лишь о том, о ком он как раз и не думал: о мистере Фредди Маше. Премия имени принцессы де Модена Фраскатти (урожденной Хаггинсботтом) за труды об английской литературе никому не была вручена мистером Грейсфулом Глоссом «ввиду того, что мистеру Фредди Машу понадобилось уехать за границу».

Мистер Барнстейпл еще долго терялся в догадках, почему никто не заметил отсутствия всех остальных. Затем его мысли снова обратились к сверкающему красному цветку, лежавшему на скошенном лугу, и к руке, которая словно убрала цветок. В это мгновение чудом открывшаяся дверь между прекрасным и удивительным миром Утопии и Землей опять захлопнулась навсегда.

И снова мистер Барнстейпл был охвачен изумлением. Утопия, мир честности и нравственного здоровья, лежала вне самых удаленных границ нашей вселенной; этот мир навсегда останется недостижимым для него; и все-таки, как было ему сказано, это лишь один из бесчисленных миров, движущихся вместе во времени, находящихся бесконечно близко друг от друга, как

листки книги. И Земля и Утопия — ничто в безграничной множественности космических систем и пространств, которые их окружают.

«Если бы я мог, вращая свою руку, разогнать ее за пределы, которые ей поставлены,— сказал ему кто-то из утопийцев,— я мог бы проткнуть ею тысячи миров...»

Подошедшая с чаем официантка вернула его к земной действительности.

Еда показалась ему безвкусной и какой-то нечистой. Он проглотил чай, потому что его мучила жажда. Но есть он не мог.

Случайно засунув руку в карман, он нащупал что-то мягкое. Это был лепесток, оторванный от красного цветка. Лепесток уже потерял свой огненно-красный цвет, а соприкоснувшись с душным воздухом комнаты, и вовсе свернулся, сморщился и почернел; его нежный аромат сменился неприятным сладковатым запахом.

. — Ну, разумеется,— сказал мистер Барнстейпл,— этого надо было ожидать.

Он бросил сгнивший лепесток на тарелку, потом снова взял его и положил в вазон с ландышами.

Он снова принялся за «Дейли экспресс». Перелистывая газету, он на этот раз старался пробудить в себе интерес к земным делам.

7

Долгое время мистер Барнстейпл просидел над «Дейли экспресс» в кафе в Колкбруке. Мысли его были сейчас очень далеко, и газета соскользнула на пол. Он вздохнул, очнулся и попросил счет. Расплачиваясь, вдруг увидел, что бумажник его по-прежнему полон фунтовыми банкнотами.

«Это самый дешевый отпуск, какой у меня был когда-либо,— подумал он.— Я не истратил ни одного пенни».

Он спросил, где почта, так как решил послать телеграмму...

Через два часа мистер Барнстейпл затормозил у ворот своей маленькой виллы в Сайденхеме. Он открыл ворота; толстая палка, которой он обычно совершал эту операцию, была на своем месте. Как и всегда, он провел «желтую опасность» мимо полукруглой клумбы к дверям сарая. На крыльце появилась миссис Барнстейпл.

— Альфред! Наконец-то ты вернулся!

— Да, я вернулся. Ты получила мою телеграмму?

— Десять минут назад. Где же ты пропадал все это время? Ведь уже больше месяца прошло.

— О, просто ездил и мечтал. Я прекрасно провел время.

— Все-таки тебе следовало написать. Право же! Нет, Альфред, ты...

— Мне не хотелось. Доктор советовал мне избегать любого напряжения. Я ведь писал тебе. Нельзя ли выпить чаю? А где мальчики?

— Мальчики отправились на прогулку. Я сейчас заварю тебе свежего чая.— Она ушла на кухню, потом вернулась и уселась напротив него за чайным столиком.— Я так рада. что ты вернулся, хотя могла бы тебя побранить.

Ты прекрасно выглядишь,— продолжала она.— Никогда еще у тебя кожа не была такой свежей и загорелой.

— Я все время дышал чудесным воздухом.

— Ты побывал в Озерном крае?

— Нет, собственно говоря... Но и там, где я был, всюду воздух чудесный. Здоровый воздух.

— И ты ни разу не заблудился?

— Ни разу.

— Мне почему-то казалось, что ты потерял память. Такие вещи бывают. С тобой этого не случилось?

— Моя память ясна, как алмаз.

— Но где же ты был?

— Я просто путешествовал и мечтал. Грезил наяву. Часто я не спрашивал названия тех мест, где останавливался. Был в одном месте, потом в другом. Я не спрашивал названий. Я не затруднял этим свой мозг. Он у меня совершенно бездействовал. И я великолепно отдохнул от всего... Совершенно не думал ни о политике, ни о деньгах, ни о социальных вопросах, то есть о том, что мы называем социальными вопросами, ни о прочих неприятностях с той минуты, как пустился в путь... Это свежий номер «Либерала»?

Он взял газету, полистал ее и бросил на диван.

— Бедняга Пиви,— сказал он.— Конечно, я уйду из этой газеты. Она, как обои на сырой стене: вся в пятнах,

шуршит и никак не приклеится... От нее у меня ревматизм мозга...

Миссис Барнстейпл удивленно уставилась на него.

— Но я думала, что «Либерал» — это обеспеченная работа...

— Мне теперь больше не нужно обеспеченной работы. Я могу делать кое-что получше. Меня ждут другие дела... Но ты не беспокойся, после такого отдыха я управлюсь с любым делом... А как мальчики?

— Меня немного беспокоит Фрэнки.

Мистер Барнстейпл взял «Таймс». Ему бросился в глаза странный текст в колонке объявлений о пропажах. Текст гласил: «Сесиль! Твое отсутствие вызывает толки. Что сообщать посторонним? Пиши на шотландский адрес. Д. заболела от беспокойства. Все указания будут исполнены».

— Прости, я не расслышал тебя, дорогая,— сказал он, откладывая газету.

— Я говорила всегда, что у Фрэнки нет деловой жилки. Его к этому не влечет. Я хотела бы, чтобы ты хорошенько с ним поговорил. Он растерян, потому что мало знает. Он говорит, что хочет изучать точные науки в политехническом институте — хочет продолжать учиться.

— Что ж, пусть будет так. Очень разумно с его стороны. Я не предполагал, что он настолько серьезен. Я и сам хотел поговорить с ним, но это облегчает мне задачу. Конечно, ему следует изучать точные науки...

— Но ведь мальчику придется зарабатывать на жизнь!

— Это придет. Если он хочет заниматься точными науками, пусть занимается.

Мистер Барнстейпл говорил тоном, совершенно новым для миссис Барнстейпл,— тоном спокойной и уверенной решимости. Это удивило ее тем больше, что делал он это вполне бессознательно.

Он откусил кусочек от ломтика хлеба с маслом, и она заметила, как он поморщился и с сомнением посмотрел на остаток ломтика в руке.

— Ну, конечно,— сказал он.— Лондонское масло. Трехдневной давности. Валялось где-нибудь. Забавно, как быстро меняется вкус у человека.

Он снова взял «Таймс» и принялся пробегать колонки.

— Нет, решительно наш мир склонен к ребячествам,— сказал он наконец.— Да, это так. А я было забыл... Воображаемые заговоры большевиков... Воззвания синфейнеров... Принц такой-то... Польша... Явная ложь насчет Китая... Явная неправда о Египте... Вечное подшучивание над Уикхэмом Стидом... Мнимо благочестивая статья о троицыном дне.... Убийство в Хитчине... Гм!.. Довольно отвратительная история!.. Картина Рембрандта из коллекции Помфорта... Страховые компании... Письмо пэра Англии, возмущенного налогами на наследство... Унылые страницы спорта... Гребля... Теннис... Школьный крикет... Поражение команды Хэрроу!.. Будто это имеет хоть малейшее значение! Как все это глупо — все! Словно бранятся горничные и лепечут ребятишки.

Он увидел, что миссис Барнстейпл внимательно к нему приглядывается.

— Я не читал газет с того времени, как уехал,— объяснил Барнстейпл.

Он положил газету и встал. Несколько мгновений миссис Барнстейпл казалось, что у нее нелепая галлюцинация. Потом она поняла, что это реальный поразительный факт.

— Да,— сказала она.— Это именно так! Не двигайся. Стой на месте! Я знаю, это покажется смешным, Альфред, но ты стал выше ростом. Ты не просто перестал горбиться. Ты вырос — о! — на два или три дюйма!

Мистер Барнстейпл поглядел на нее, потом протянул вперед руку. Да, действительно, рукав был решительно коротковат. Он поглядел, не коротки ли брюки.

Миссис Барнстейпл приблизилась к нему даже с некоторым почтением. Она стала рядом, плечом к его плечу.

— Твое плечо всегда было на одном уровне с моим,— сказала она.— Посмотри, где оно теперь.

Она подняла на него глаза. Она очень рада его возвращению.

Но мистер Барнстейпл погрузился в размышления.

— Наверно, это все воздух. Я все время дышал удивительным воздухом. Удивительным!.. Но в моем воз-

расте — вырасти!.. Хотя я, право же, чувствую, что действительно вырос. Душой и телом...

Миссис Барнстейпл принялась убирать чайную посуду.

— Ты, видно, избегал больших городов?

— Да.

— И держался больше проселочных дорог?

— Да, почти... Это были совершенно новые для меня места... Красивые... Изумительные...

Жена все так же приглядывалась к нему.

— Ты должен когда-нибудь взять туда и меня с собой,— сказала она.— Я вижу, что это принесло тебе пользу. Очень, очень большую пользу!..

1923


Рассказы

ЧУДОТВОРЕЦ

Весьма сомнительно, чтобы этот дар был врожденным. Лично я считаю, что он появился у него неожиданно. Ведь до тридцати лет этот человек был заядлым скептиком и не верил в чудотворные силы.

А теперь, за неимением более подходящего места, я упомяну здесь, что рост у него был маленький, глаза карие, а волосы рыжие и вихрастые; кроме того, он обладал усами, которые закручивал вверх, и большим количеством веснушек. Его звали Джордж Макуиртер Фодерингей — имя отнюдь не из тех, которые сулят чудеса,— он служил клерком в конторе Гомшотта. Он очень любил по всякому поводу доказывать свою правоту, и его необычайный дар обнаружился именно в тот момент, когда он категорически заявил, что чудеса невозможны.

Этот спор завязался в баре «Длинного Дракона», и оппонент мистера Фодерингея, Тодди Бимиш, парировал все его аргументы довольно однообразным, но весьма действенным утверждением: «Это по-вашему так»,— чем совсем вывел его из себя.

Кроме них двоих, в баре были запыленный велосипедист, хозяин заведения Кокс и мисс Мейбридж — в высшей степени порядочная и весьма корпулентная буфетчица «Дракона». Мисс Мейбридж стояла спиной к мистеру Фодерингею и мыла стаканы. Остальные же смотрели на него, забавляясь тщетностью его попыток доказать свою правоту.

Доведенный до белого каления торрес-ведрасской тактикой[1] мистера Бимиша, мистер Фодерингей пустил в ход все свое красноречие.

— Послушайте-ка, мистер Бимиш,— сказал он.— Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто не совместимое с законами природы и произведенное усилием воли, нечто такое, что не могло бы произойти, если бы кто-то не сделал подобного усилия.

— Это по-вашему так,— сказал мистер Бимиш победоносно.

Мистер Фодерингей воззвал к велосипедисту, который до сих пор слушал молча, но теперь выразил свое согласие, смущенно кашлянув и взглянув на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, но когда мистер Фодерингей вновь повернулся к мистеру Бимишу, тот неожиданно согласился с таким определением чуда, хотя и со значительными оговорками.

— Например,— сказал, воспрянув духом, мистер Фодерингей,— чудом было бы следующее: вот та лампа, согласно законам природы, не может гореть, если ее перевернуть вверх дном, не так ли, Бимиш?

— Это по-вашему не может,— ответил Бимиш.

— А по-вашему как? — воскликнул Фодерингей.— Значит, по-вашему она...

— Да,— неохотно согласился Бимиш,— не может.

— Отлично,— продолжал мистер Фодерингей.— Допустим, кто-то приходит, ну хотя бы я, например, становится здесь и, собрав всю силу воли, говорит этой лампе, вот как я сейчас скажу: «Перевернись вверх дном, но не разбейся и продолжай гореть и...» Ой!

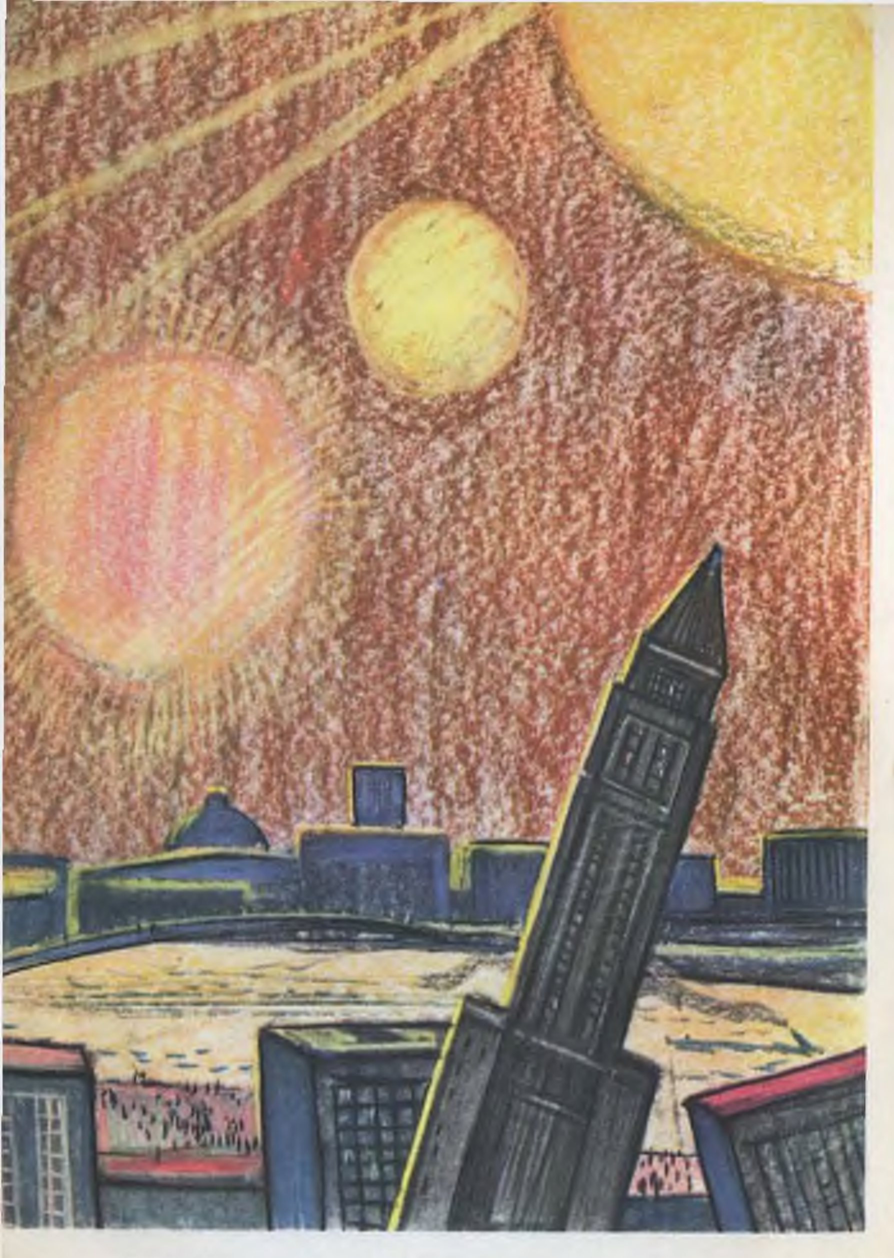
Тут было из-за чего воскликнуть «Ой!». Невозможное, невероятное свершилось у всех на глазах. Перевернувшись вверх дном, лампа повисла в воздухе и продолжала спокойно гореть, а ее пламя было обращено вниз. Это был факт столь же достоверный и неоспоримый, как и сама эта лампа, обыкновенная лампа в баре «Длинного Дракона».

Мистер Фодерингей стоял, вытянув вперед указательный палец и сдвинув брови, как человек, ожидающий неизбежной катастрофы. Велосипедист, который сидел бли-

[1] Тактика, применявшаяся англо-португальскими войсками у города Торрес-Ведраса в 1810 году.



«ЛЮДИ КАК БОГИ»



«ЗВЕЗДА»

же всех к лампе, пригнулся и перепрыгнул через стойку. Все повскакали с мест. Мисс Мейбридж обернулась и взвизгнула.

Около трех секунд лампа продолжала спокойно висеть.

Затем мистер Фодерингей испустил стон, исполненный мучительной тревоги:

— Я больше не могу удерживать ее!

Он попятился, перевернутая лампа выбросила язык пламени, стукнулась об угол стойки, отлетела в сторону, разбилась об пол и погасла. К счастью, резервуар у нее был металлический, иначе начался бы пожар.

Первым молчание нарушил мистер Кокс. Если отбросить излишнюю крепость выражений, смысл его слов сводился к тому, что Фодерингей дурак, но мистер Фодерингей находился в таком состоянии, что не стал оспаривать даже столь абсолютное утверждение. Он был слишком ошеломлен случившимся. Тут заговорили и другие, но не пролили света ни на суть дела, ни на роль в нем мистера Фодерингея. Общее мнение совпало с мнением мистера Кокса, но было выражено еще более бурно. Все обвиняли Фодерингея в глупой проделке и доказывали ему, что он легкомысленно нарушил покой окружающих и подверг их жизнь опасности.

Мистер Фодерингей до того растерялся и смутился, что был готов с ними согласиться, и, когда ему предложили удалиться восвояси, он не оказал почти никакого сопротивления.

Он брел домой, красный как рак; ворот его пиджака был измят, глаза щипало, уши пылали. Он с беспокойством косился на каждый из десяти уличных фонарей, мимо которых ему пришлось пройти. И только очутившись в уединении своей маленькой спальни на Черчроу, он наконец собрался с мыслями и, припомнив все обстоятельства вечера, спросил себя:

«Что же все-таки случилось?»

К этому времени он уже снял пиджак и ботинки и теперь сидел на краю кровати, засунув руки в карманы, в семнадцатый раз повторяя свое оправдание: «Я же не хотел, чтобы эта проклятая лампа перевернулась!»

Но тут он вспомнил, что, произнося слова команды, бессознательно пожелал, чтобы его приказ исполнился, и что потом, увидев лампу в воздухе, почувствовал, что поддерживать ее в таком положении должен тоже он, хотя и не понимал, каким образом.

Если бы мистер Фодерингей отличался философским складом ума, он непременно принялся бы размышлять над словами «бессознательно пожелал», поскольку они охватывают сложнейшие проблемы волевого акта; но он не был склонен к абстрактным размышлениям, и эта мысль была настолько смутной, что он принял ее безоговорочно. Затем, опираясь на нее, он — как я должен признать, без особой логики — прибегнул к проверке опытом.

Решительным жестом мистер Фодерингей протянул руку к свече, сосредоточился, хотя чувствовал, что делает глупость, и сказал:

— Поднимись!

В то же мгновение сомнения его исчезли: свеча поднялась и на какой-то миг повисла в воздухе, а затем вслед за его ошеломленным «Ах!» с громким стуком ударилась о тумбочку, оставив мистера Фодерингея в полной темноте, если не считать тлевшего фитиля.

Некоторое время мистер Фодерингей сидел в темноте и не шевелился.

— Значит, так оно и было,— проговорил он наконец.— Но в чем тут дело, не пойму.

Тяжело вздохнув, он начал рыться в карманах, отыскивая спички. Не найдя их, он поднялся и стал обшаривать тумбочку.

— Хоть бы одну найти,— сказал он.

Он взялся за пиджак, но и там спичек не было, и тут ему пришло в голову, что чудеса можно творить даже со спичками. Он вытянул руку и в темноте, грозно нахмурившись, произнес:

— Пусть в этой руке будет спичка.

Ему на ладонь упал какой-то легкий предмет, и он зажал его в кулаке.

После нескольких неудачных попыток зажечь спичку мистер Фодерингей обнаружил, что она безопасная. Он бросил ее, и тут же ему пришло в голову что она загорится, если он того пожелает. Он пожелал, и спичка вспыхнула на салфетке, постланной на тумбочке. Он по-

спешно схватил ее, но она погасла. Сообразив, что его возможности далеко не исчерпаны, Фодерингей ощупью нашел свечу и вставил ее в подсвечник.

— А ну-ка зажгись! — приказал он, и в ту же секунду свеча загорелась, и он увидел в салфетке черную дырочку, над которой курился дымок.

Некоторое время мистер Фодерингей глядел то на дырочку, то на свечу, а потом, подняв глаза, встретился взглядом со своим отражением в зеркале. Несколько секунд он с его помощью безмолвно общался со своей душой.

— Ну, а что вы сейчас скажете насчет чудес? — спросил он наконец вслух, обращаясь к отражению.

Последующие размышления мистера Фодерингея носили хотя и напряженный, но весьма смутный характер. Насколько он понимал, ему достаточно было пожелать, и его желания тут же исполнялись. После того, что случилось, он не был склонен рисковать и решался только на самые безобидные опыты. Он заставил листок бумаги взлететь в воздух и окрасил воду в стакане в розовый, а затем в зеленый цвет. Кроме того, он создал улитку, которую тем же чудодейственным способом сразу уничтожил, и сотворил для себя новую зубную щетку. Когда миновала полночь, он пришел к выводу, что его воля должна быть на редкость сильной. Разумеется, он это и раньше подозревал, хотя и не был твердо уверен, что прав. Испуг и растерянность первых часов теперь сменились гордостью от сознания своей исключительности и от туманного предчувствия возможных выгод.

Неожиданно до его сознания дошло, что куранты на церковной башне бьют час ночи, и, поскольку он не сообразил, что чудесным образом может избавиться от необходимости пойти утром в контору Гомшотта, он стал раздеваться дальше, чтобы поскорее лечь в постель.

Он уже начал стаскивать рубашку, но тут его внезапно осенила блестящая мысль.

— Пусть я окажусь в постели,— произнес он и очутился там.

— Раздетый,— тут же поправился он и, почувствовав прикосновение холодных простынь, поспешно добавил:

— И в ночной рубашке... Нет, не в этой, а в хорошей, мягкой, из тонкой шерсти. А-ах! — вздохнул

он удовлетворенно.— А теперь я хочу уснуть сладким сном...

Проснулся он в обычное время и за завтраком был задумчив: все, что произошло с ним накануне, начало казаться ему необыкновенно ярким сном. Тогда он решил проделать еще несколько безопасных опытов. Так, например, за завтраком он съел три яйца: два, поданные хозяйкой — приличные, но все же чуточку лежалые, и третье — превосходное гусиное яйцо, снесенное, сваренное и поданное на стол его чудодейственной волей.

Мистер Фодерингей поспешил в контору Гомшотта в состоянии сильного волнения, которое он тщательно скрывал. И о скорлупе третьего яйца он вспомнил лишь вечером, когда о ней заговорила хозяйка. Весь день чудесные свойства, которые он открыл в самом себе, не давали ему спокойно работать, однако это не навлекло на него никаких неприятностей, так как вся работа была выполнена за последние десять минут при помощи чуда.

К вечеру удивление сменилось глубокой радостью, хотя ему по-прежнему неприятно было вспоминать обстоятельства его изгнания из «Длинного Дракона», тем более что сильно приукрашенный рассказ об этом событии дошел до его сослуживцев и вызвал немало шуток. Мистер Фодерингей пришел к выводу, что хрупкие вещи следует поднимать с большой осторожностью, зато во всех остальных отношениях его дар обещал ему все больше и больше. В частности, он решил пополнить свое имущество, неприметно сотворив кое-что. Он уже создал пару великолепных бриллиантовых запонок, но тут же поспешно уничтожил их, так как к его конторке подошел Гомшотт-младший. Мистер Фодерингей опасался, что Гомшотт-младший может заинтересоваться, откуда они у него. Он ясно сознавал, что должен пользоваться своим даром осторожно и осмотрительно, но, насколько он мог судить, это было не труднее, чем научиться ездить на велосипеде, а эти трудности он уже преодолел. Быть может, именно эта ассоциация идей даже в большей степени, чем предчувствие холодной встречи в «Длинном Драконе», побудила его после ужина отправиться в проулок за газовым заводом и там втихомолку поупражняться в сотворении чудес.

Пожалуй, опыты мистера Фодерингея не отличались оригинальностью, так как, если не считать его необычайного дара, он был самым заурядным человеком. Он вспомнил чудо с жезлом Моисея, но вечер был темный и неподходящий для присмотра за огромными сотворенными змеями.

Затем он припомнил чудо из «Тангейзера», о котором однажды прочитал в концертном зале на обороте программы. Оно показалось ему очень приятным и безопасным. Он воткнул свою трость — превосходную пальмовую трость — в траву у дорожки и приказал этой сухой деревяшке зацвести. В то же мгновение воздух наполнился ароматом роз, и, чиркнув спичкой, мистер Фодерингей убедился, что это прекрасное чудо было повторено. Его радость была прервана звуком приближающихся шагов. Боясь, что его чудодейственный дар будет обнаружен преждевременно, он поспешно скомандовал зацветшей трости:

— Назад!

На самом деле он хотел сказать: «Стань снова тростью»,— но второпях оговорился.

Трость стремительно понеслась прочь, и приближавшийся человек издал сердитый возглас, подкрепив его смачным словцом.

— В кого это ты швыряешься колючими ветками, дурак? Всю ногу мне исцарапал!

— Простите,— начал мистер Фодерингей, но, сообразив, что объяснения могут только еще больше испортить дело, смутился и начал нервно теребить усы.

К нему приближался Уинч, один из трех полицейских, охраняющих покой Иммеринга.

— Тебе что, нравится палками швыряться? — спросил полицейский.— А! Да это вы! Лампу в «Длинном Драконе» вы разбили?

— Нет, не нравится. Совсем нет,— ответил мистер Фодерингей.

— Так зачем же вы швырнули эту палку?

— Угораздило же меня! — воскликнул мистер Фодерингей.

— Вот именно! Она ведь колючая! Для чего вы ее швырнули, а?

Мистер Фодерингей растерянно пытался сообразить,

для чего он ее швырнул. Его молчание, по-видимому, раздражало мистера Уинча.

— Вы понимаете, что вы совершили нападение на полицейского, молодой человек? На полицейского!

— Послушайте, мистер Уинч,— с досадой и смущением сказал мистер Фодерингей.— Мне очень жаль.. Дело в том, что...

— Ну?

Мистер Фодерингей так и не сумел ничего придумать и решил говорить правду.

— Я творил чудо...— Он старался говорить небрежным тоном, но из его усилий ничего не получилось.

— Творил чу... Что это еще за чушь!.. Творил чудо! Смех, да и только. Да ведь вы тот самый молодчик, который не верит в чудеса... Значит, опять устроили дурацкий фокус! Ну, вот что я вам скажу...

Однако мистеру Фодерингею так и не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему мистер Уинч. Он понял, что выдал себя, разгласил свою драгоценную тайну! Злость придала ему энергии. Он яростно крикнул, шагнув к полицейскому:

— С меня довольно! Я вам сейчас покажу дурацкий фокус! Отправляйтесь-ка в преисподнюю! Марш!

И в то же мгновение он остался один.

В этот вечер мистер Фодерингей не творил больше чудес и не пытался даже узнать, что стало с его расцветшей тростью. Испуганный и притихший, он вернулся домой и прошел прямо к себе в спальню.

— Господи! — пробормотал он.— Какой же сильный дар! Просто всесильный! Я вовсе этого не хотел... Интересно, какая она, преисподняя?

Мистер Фодерингей сел на кровать, чтобы снять сапоги, и тут ему пришла в голову счастливая мысль. Он переправил полицейского в Сан-Франциско, а затем, предоставив события их естественному ходу, уныло лег спать. Ночью ему снился разгневанный Уинч.

На следующий день мистер Фодерингей услышал две интересные новости. Во-первых, кто-то посадил великолепный куст вьющихся роз перед самым домом мистера Гомшотта-старшего на Ладдабороу-роуд; а во-вторых, реку до самой мельницы Роудинга собираются обшарить, чтобы найти тело полицейского Уинча.

Весь день мистер Фодерингей был рассеян и задумчив и чудес больше не творил, если не считать нескольких распоряжений относительно Уинча и того, что он при помощи чуда безупречно выполнял свою работу, несмотря на беспокойные мысли, роившиеся в его голове, словно пчелы. Его необычная рассеянность и подавленность были замечены окружающими и сделались предметом шуток, а он все время думал об Уинче.

В воскресенье вечером Фодерингей пошел в церковь, и, как нарочно, мистер Мейдиг, который интересовался оккультными явлениями, произнес проповедь о «деяниях противозаконных». Мистер Фодерингей не особенно усердно посещал церковь, но его стойкий скептицизм, о котором я уже упоминал, к этому времени значительно поколебался. Содержание проповеди пролило совершенно новый свет на его недавно открывшиеся способности, и он внезапно решил сразу же после окончания службы обратиться к мистеру Мейдигу за советом. Приняв это решение, он удивился, почему не подумал об этом раньше.

Мистер Мейдиг, тощий, нервный человек с очень длинными пальцами и длинной шеей, был явно польщен, когда молодой человек, чье равнодушие к религии было известно всему городку, попросил разрешения поговорить с ним наедине. Поэтому мистер Мейдиг, едва освободившись, провел мистера Фодерингея к себе в кабинет (его дом примыкал к церкви), усадил его поудобнее и, став перед весело пылавшим камином,— при этом ноги его отбрасывали на противоположную стену тень, напоминавшую колосса Родосского,— попросил изложить свое дело.

Мистер Фодерингей смутился, не зная, как начать, и некоторое время бормотал фразы, вроде: «Боюсь, едва ли вы мне поверите, мистер Мейдиг...» Но потом собрался с духом и спросил, какого мнения он придерживается в вопросе о чудесах.

Мистер Мейдиг внушительно произнес «видите ли», потом еще раз повторил это слово, но тут мистер Фодерингей перебил его:

— Думаю, вы не поверите, чтобы самый обыкновенный человек, например, вроде меня, сидящего вот тут, перед вами, умел с помощью какой-то внутренней своей особенности творить усилием воли всякие чудеса.

— Это возможно,— сказал мистер Мейдиг.— Что-нибудь в этом роде, пожалуй, возможно.

— Если вы разрешите мне воспользоваться какой-нибудь вашей вещью, я покажу вам это на деле,— сказал мистер Фодерингей.— Вот, например, банка с табаком, там, на столе. Будет ли чудом то, что я собираюсь с ней сделать? Одну минутку, мистер Мейдиг.

Сдвинув брови, он протянул палец к банке с табаком и произнес:

— Стань вазой с фиалками!

Банка с табаком послушно выполнила приказание.

Увидев такое превращение, мистер Мейдиг вздрогнул и застыл на месте, поглядывая то на чудотворца, то на вазу с цветами. Он ничего не сказал. Наконец он все-таки решился нагнуться над столом и понюхать фиалки: они были только что сорваны и необыкновенно красивы. Затем он опять устремил взгляд на мистера Фодерингея.

— Как вы это сделали? — спросил он.

Мистер Фодерингей подергал себя за усы.

— Просто приказал, и вот вам, пожалуйста! Что это: чудо, или черная магия, или что-нибудь еще? Что это со мной, как вы думаете? Об этом-то я и хотел спросить вас.

— Явление это в высшей степени необычное.

— А неделю назад я не больше вашего знал, что способен на это. Все получилось совсем неожиданно. Моя воля, наверное, обладает каким-то странным свойством, а больше я ничего не знаю.

— Вы только вот это способны делать? А больше ничего?

— Да сколько угодно! — воскликнул Фодерингей.— Все, что хотите!

Он задумался и вдруг вспомнил фокус, который когда-то видел.

— Вот, пожалуйста! — Он протянул руку.— Наполнись рыбой... Нет-нет, не это! Стань прозрачной чашей, полной воды, и чтобы в ней плавали золотые рыбки! Так-то лучше. Видите, мистер Мейдиг?

— Удивительно! Невероятно! Или вы необыкновенный... Впрочем, нет...

— Я мог бы превратить эту вазу во что угодно,— сказал мистер Фодерингей.— Во что угодно. Смотрите! А ну-ка, стань голубем!

В следующее мгновение сизый голубь уже порхал по комнате и вынуждал мистера Мейдига наклоняться всякий раз, когда пролетал мимо него.

— Замри! — приказал мистер Фодерингей, и голубь неподвижно повис в воздухе.

— Я могу превратить его опять в вазу с цветами,— сказал он и, спустив голубя снова на стол, сотворил и это чудо.

— Вам, наверное, скоро захочется выкурить трубку.— И с этими словами он восстановил банку с табаком в ее первоначальном виде.

Мистер Мейдиг наблюдал за этими последними превращениями в молчании, которое было красноречивее всяких слов. Теперь он поглядел круглыми глазами на Фодерингея, осторожно поднял банку с табаком, осмотрел ее и опять поставил на стол.

— Мм-да!..— только и мог он сказать.

— Ну, теперь мне будет легче объяснить, зачем я пришел сюда...— И Фодерингей принялся сбивчиво и многословно рассказывать о странных событиях последних дней, начав с происшествия в «Длинном Драконе», но то и дело перескакивал на судьбу Уинча, чем сбивал слушателя с толку.

По мере того как он рассказывал, гордость, вызванная в нем изумлением мистера Мейдига, исчезла, и он опять стал самым обыкновенным мистером Фодерингеем, каким его знали все.

Мистер Мейдиг внимательно слушал, сжимая в руках банку с табаком, и выражение его лица постепенно менялось. Когда мистер Фодерингей дошел до чуда с третьим яйцом, священник, подняв дрожащую руку, перебил его.

— Это возможно! — воскликнул он.—Вполне вероятно. Конечно, это поразительно, зато позволяет объяснить некоторые совершенно загадочные явления. Способность творить чудеса есть дар, особое свойство, вроде гениальности или ясновидения. До сих пор оно встречалось очень редко, и только у исключительных людей. Но в данном случае... Меня всегда приводили в недоумение

чудеса Магомета, йогов и госпожи Блаватской,.. но теперь все стало ясно. Да, это особый дар! И как превосходно это доказывает правоту рассуждений нашего великого мыслителя,— мистер Мейдиг понизил голос,— его светлости герцога Аргайльского. Здесь мы проникаем в тайны, более глубокие, чем обыкновенные законы природы. Да... Так продолжайте, продолжайте же!

Мистер Фодерингей стал рассказывать о неприятном инциденте с Уинчем, а священник, уже забывший недавнее благоговейное изумление и испуг, то и дело прерывал его удивленными восклицаниями и жестами.

— Вот как раз это меня и беспокоит больше всего,— продолжал мистер Фодерингей.— Именно по этому поводу я хочу получить у вас совет. Уинч сейчас в Сан-Франциско, где это, я не знаю, но он, конечно, там. Но в результате мы оба — и он и я — оказались в весьма затруднительном положении, как вы сейчас сами поймете. Ему, конечно, трудно понять, что с ним стряслось, но, надо думать, он и напуган, и взбешен до крайности, и рвется поскорее рассчитаться со мной. Я уверен, что он все время пытается выехать из Сан-Франциско и вернуться сюда. А я каждые два-три часа отсылаю его обратно, едва вспомню об этом. Он, конечно, не понимает, что с ним происходит, и это, разумеется, его раздражает. И если он каждый раз покупает билет, то изведет уйму денег. Я сделал для него все, что мог, но ему ведь трудно поставить себя на мое место. Еще я подумал, что если преисподняя такова, какой мы ее себе представляем, то его одежда успела обгореть прежде, чем я переправил его в другое место. В таком случае в Сан-Франциско его могли бы посадить в тюрьму. Конечно, едва я об этом подумал, я тут же распорядился, чтобы на нем немедленно появился новый костюм. Но вы понимаете, как я запутался?

Мистер Мейдиг нахмурился.

— Да, я понимаю. Положение весьма затруднительное. Какой выход могли бы вы найти...— И он произнес несколько туманных и ничего не решающих фраз, а затем продолжал: — Но забудем на время об Уинче и обсудим вопрос более широко. Я не считаю, что это черная магия или что-нибудь в том же роде. Я не считаю, что в этом есть что-либо преступное, мистер Фодерингей, если

только вы не скрыли каких-нибудь существенных фактов. Нет, это чудеса, чистейшие чудеса, я бы сказал, чудеса высшего класса.

Он начал расхаживать по ковру, жестикулируя. А мистер Фодерингей с озабоченным видом сидел у стола, подперев щеку рукой.

— Не знаю, что мне делать с Уинчем,— проговорил он.

— Дар творить чудеса, по-видимому, весьма могучий дар, обязательно поможет вам уладить дела с Уинчем,— продолжал мистер Мейдиг.— Дорогой сэр, вы же совершенно исключительный человек, в ваших руках поразительные возможности. Взять хотя бы то, что вы сейчас показали. Да и в других отношениях... Вы можете сделать многое такое, что...

— Да, я уже кое-что придумал,— сказал мистер Фодерингей,— но не все получается как надо. Вы ведь помните, какой сперва получилась эта рыба: и рыба вышла не та и сосуд не тот. Вот и я решил посоветоваться с кем-нибудь.

— Весьма похвальное решение! — перебил мистер Мейдиг.— Весьма похвальное. Весьма!

Он на миг умолк и посмотрел на мистера Фодерингея.

— В сущности, ваш дар безграничен. Давайте испытаем вашу силу. Действительно ли она... Действительно ли она такова, какой кажется.

И вот, хотя это может показаться невероятным, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 года в кабинете домика позади пресвитерианской церкви мистер Фодерингей, подстрекаемый и вдохновляемый мистером Мейдигом, начал творить чудеса. Мы просим читателя обратить особое внимание на число. Он, конечно, может возразить, что некоторые детали этой истории неправдоподобны и что, если бы нечто похожее действительно случилось, об этом уже год назад было бы написано во всех газетах. Особенно невероятным покажется читателю все то, что будет рассказано дальше, ибо если допустить, что это произошло на самом деле, то читателю и читательнице придется признаться, что уже больше года назад они при совершенно небывалых обстоятельствах погибли насильственной смертью. Но ведь чудо и есть нечто невероят-

ное, иначе оно не было бы чудом, и читатель на самом деле погиб насильственной смертью больше года назад. Из дальнейшего изложения событий это станет вполне ясным и очевидным для каждого здравомыслящего читателя. Но сейчас еще рано переходить к концу рассказа, так как мы едва перевалили за его середину. К тому же мистер Фодерингей творил вначале лишь робкие и мелкие чудеса: немудреные фокусы с чашками и разными безделушками, столь же жиденькие, как и чудеса теософов. Тем не менее партнер мистера Фодерингея наблюдал за ним с благоговейным страхом. Мистер Фодерингей предпочел бы тут же уладить дела с Уинчем, но мистер Мейдиг всякий раз отвлекал его. Однако, когда они сотворили с десяток пустяковых домашних чудес, их уверенность в собственных силах возросла, воображение разыгралось, и они захотели дерзнуть на большее.

Первое более значительное чудо было вызвано все растущим чувством голода и нерадивостью миссис Минчин, экономки мистера Мейдига. Ужин, к которому священник пригласил Фодерингея, был, несомненно, приготовлен небрежно и показался двум усердным чудотворцам весьма неаппетитным.

Они успели уже сесть за стол, и мистер Мейдиг пустился рассуждать скорее печально, нежели сердито о недостатках своей экономки, когда мистер Фодерингей сообразил, что ему представляется новая возможность сотворить чудо.

— Не сочтете ли вы, мистер Мейдиг, дерзостью с моей стороны, если я позволю себе...

— Дорогой мистер Фодерингей, конечно, нет. Мне просто в голову не пришло...

Мистер Фодерингей сделал широкий жест.

— Что же мы закажем? — спросил он тоном, побуждавшим не стесняться и не ограничивать себя ни в чем.

Соответственно пожеланиям мистера Мейдига меню ужина было коренным образом пересмотрено.

— Что касается меня,— сказал мистер Фодерингей, разглядывая блюда, выбранные мистером Мейдигом,— то я предпочитаю кружку портера и гренки с сыром. Это я и закажу. Бургундское мне не совсем по вкусу.

И в тот же миг по его команде на столе появилась кружка портера и гренки с сыром.

Они просидели за ужином довольно долго, болтая как равные (мистер Фодерингей отметил это с приятным удивлением) о чудесах, которые им еще предстояло сотворить.

— Между прочим, мистер Мейдиг, я, пожалуй, мог бы помочь вам... в вашем доме.

— Я не совсем понял,— проговорил мистер Мейдиг, наливая в рюмку сотворенное чудом старое бургундское.

Мистер Фодерингей откуда-то из пространства взял вторую порцию гренков с сыром и принялся за нее.

— Полагаю,— начал он,— что мог бы («чавк-чавк») сотворить («чавк-чавк») чудо с миссис Минчин («чавк-чавк»), исправить ее недостатки.

Мистер Мейдиг поставил стакан на стол. Лицо его выразило сомнение.

— Она... она очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. Кроме того, сейчас уже двенадцатый час, и она, вероятно, спит. И, вообще говоря, стоит ли...

Мистер Фодерингей обдумал эти возражения.

— А почему бы не воспользоваться тем, что она спит?

Сперва мистер Мейдиг не соглашался, но в конце концов уступил. Тогда мистер Фодерингей отдал распоряжение, и сотрапезники вновь занялись ужином, хотя уже и без прежнего безмятежного спокойствия. Мистер Мейдиг начал перечислять возможные благодетельные перемены в характере своей экономки, с оптимизмом, который даже поужинавшему мистеру Фодерингею показался чуть-чуть вымученным и лихорадочным, и в этот момент сверху донесся какой-то неясный шум. Они вопросительно переглянулись, и мистер Мейдиг поспешно вышел из комнаты. Мистер Фодерингей услышал, как мистер Мейдиг окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней. Через несколько минут священник легкой походкой вернулся в комнату. Лицо его сияло.

— Удивительно, — воскликнул он,— и трогательно! В высшей степени трогательно!

Он начал расхаживать по коврику перед камином.

— Раскаяние, самое трогательное раскаяние... Сквозь щелку в двери... Бедняжка! Поистине удивительная пе-

ремена! Она уже встала! Вероятно, она встала сразу же. Специально проснулась, чтобы разбить бутылку коньяку, припрятанную в сундучке. И призналась в этом! Но ведь такой факт дает нам... Он открывает перед нами небывалые возможности. Если уж мы могли совершить такую чудесную перемену даже в ней...

— Возможности у нас, по-видимому, безграничны,— заметил мистер Фодерингей.— А что касается мистера Уинча...

— Несомненно, безграничны,— сказал мистер Мейдиг, расхаживая по ковру и, отмахнувшись от проблемы Уинча, принялся развертывать перед Фодерингеем целый ряд тут же приходивших ему на ум удивительных планов. Каковы бы ни были эти планы, непосредственного отношения к сути нашего рассказа они не имеют.

Достаточно сказать, что все они были проникнуты бесконечной благожелательностью, такого рода благожелательностью, которую принято называть послеобеденной. Достаточно сказать также, что проблема Уинча так и осталась нерешенной. Нет необходимости уточнять, далеко ли зашло выполнение этих планов. Так или иначе произошли удивительные перемены. Когда настала полночь, мистер Мейдиг и мистер Фодерингей метались при свете луны по холодной рыночной площади в настоящем экстазе чудотворства: мистер Мейдиг непрестанно жестикулировал, полы его сюртука развевались, а маленький мистер Фодерингей гордо шествовал рядом, уже не пугаясь своего могущества.

Они исправили всех пьяниц своего избирательного округа, превратили в воду все пиво и все горячительные напитки (в этом вопросе мистер Мейдиг настоял на своем, несмотря на возражения мистера Фодерингея), далее они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, улучшили почву на склонах холма Одинокого дерева и вывели у священника англиканской церкви бородавку. Затем они решили посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать с подгнившими сваями Южного моста.

— Завтра город станет неузнаваем! — захлебываясь от восторга, проговорил мистер Мейдиг.— Как все будут удивлены и восхищены!

Вдруг часы на колокольне пробили три.

— Вот те на! — воскликнул мистер Фодерингей.— Уже три часа. Мне пора домой. В восемь мне нужно быть в конторе, а, кроме того, миссис Уимс...

— Но мы ведь только начинаем,— возразил мистер Мейдиг, полный сладостного сознания неограниченной силы.— Подумайте, сколько добра мы сделаем. Когда все проснутся...

— Но...— начал мистер Фодерингей.

Мистер Мейдиг внезапно схватил его за руку. Глаза священника возбужденно сверкали.

— Мой дорогой друг,— сказал он,— незачем торопиться. Взгляните! — Он указал на плывшую над самой головой луну.— Иисус Навин!

— Иисус Навин? — переспросил мистер Фодерингей.

— Да! — повторил мистер Мейдиг.— Почему бы и нет? Остановите ее!

Мистер Фодерингей посмотрел на луну.

— Это, пожалуй, уже слишком! — проговорил он, помолчав.

— Но отчего? — спросил священник.— Впрочем, она ведь и не остановится: вы просто остановите вращение Земли, и время остановится. Мы же никому не причиним вреда.

— Гм! — сказал мистер Фодерингей.— Ну что ж...— Он вздохнул.— Я попробую. Вот...

Он застегнул пиджак на все пуговицы и обратился к земному шару настолько твердо и уверенно, насколько мог:

— А ну перестань вращаться, слышишь?

И в то же мгновение он кубарем полетел в пространство со скоростью нескольких десятков миль в минуту. Несмотря на то, что он ежесекундно описывал в воздухе круги, он все же сохранил способность думать. Ведь мысль — удивительная вещь: то она течет медленно, как смола, то вспыхивает мгновенно, как молния.

Поразмыслив секунду, мистер Фодерингей приказал:

— Пусть я спущусь на землю целый и невредимый! Что бы ни случилось, пусть я окажусь на земле целым и невредимым!

Он произнес это как раз вовремя, потому что его одежда, нагревшись от быстрого полета, уже начала тлеть.

Мистер Фодерингей шлепнулся на землю, но, несмотря на силу удара, уцелел, потому что опустился на кучу земли, которая показалась ему свежевырытой. Огромная глыба металла и камня, удивительно похожая на башню с часами с рыночной площади, рухнула на землю около мистера Фодерингея, подскочила и, перелетев через него, рассыпалась — в разные стороны полетели обломки камня, кирпича и штукатурки, словно разорвалась бомба. Мчавшаяся по воздуху корова с размаху ударилась о кусок стены и разбилась, как яйцо. Затем раздался оглушительный грохот, по сравнению с которым все, что ему приходилось слышать за свою жизнь, показалось лишь шелестом оседающей пыли, и последовал еще ряд более слабых ударов. Дул такой страшный ветер, что Фодерингей с трудом мог поднять голову, чтобы осмотреться, но он был слишком ошеломлен и измучен, чтобы сообразить, где он и что произошло. И начал он с того, что ощупал голову и убедился в целости своих развевающихся по ветру волос.

— Господи! — бормотал мистер Фодерингей, захлебываясь ветром.— Еще секунда, и мне была бы крышка! Что-то получилось не так. Буря и гром! А только минуту назад была такая тихая ночь. Это Мейдиг подбил меня на такую штуку. Ну и ветер! Если я и дальше буду делать подобные промашки, то это плохо кончится! Где Мейдиг? До чего же все перемешалось!

Он огляделся, насколько позволяли ему хлопавшие на ветру полы его пиджака. Все вокруг выглядело очень странно.

— Небо, во всяком случае, на месте,— проговорил мистер Фодерингей.— А вот про все остальное этого не скажешь. Да и небо выглядит так, будто надвигается ураган. Луна по-прежнему висит над головой. Совсем как несколько минут назад. Светло, как в полдень. Но все остальное... Где город? Где... где все? И почему только начал дуть этот ветер? Я же не заказывал никакого ветра.

После нескольких неудачных попыток подняться на ноги мистер Фодерингей остался стоять на четвереньках, цепляясь руками и ногами за землю. Он смотрел на залитый лунным светом мир с подветренной стороны, а вывернутый наизнанку пиджак хлопал над его головой.

— Да, в мире что-то нарушилось,— пробормотал Фодерингей,— а что именно, один бог ведает.

Вокруг, в белесом сиянии луны, сквозь облака пыли, поднятой завывающим ветром, можно было различить лишь огромные кучи перемешанной с обломками земли, которые все увеличивались; ни деревьев, ни домов, никаких привычных очертаний — ничего, кроме хаоса, теряющегося во тьме среди вихря, грома и молний приближающегося урагана. В блеске молний мистер Фодерингей различил возле себя бесформенную груду щепок, которые недавно были вязом, теперь расколотым от корней до кроны. А поодаль из развалин выступали согнутые и перекрученные железные балки. Он понял, что это был виадук.

Дело в том, что мистер Фодерингей, остановив вращение огромной планеты, забыл позаботиться о различных мелких предметах на ее поверхности, которые способны двигаться, однако земля вертится так быстро, что ее поверхность у экватора пробегает более тысячи миль в час, а в наших широтах — более пятисот миль. Поэтому и город, и мистер Мейдиг, и мистер Фодерингей — все без исключения полетело вперед со скоростью около девяти миль в секунду, то есть гораздо быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки, и каждый человек, каждое живое существо, каждый дом, каждое дерево, то есть абсолютно все, что находится на земле, было сорвано с мест, разбито и полностью уничтожено. Только и всего.

Мистер Фодерингей, разумеется, не понял, в чем было дело. Но он сообразил, что потерпел неудачу, и проникся отвращением ко всяким чудесам. Теперь он был в полной тьме, потому что тучи сгрудились и закрыли от него луну. В воздухе метались и дергались, как в пытке, полосы града. Оглушительный рев ветра и воды заполнил вселенную. Прикрыв глаза ладонью, мистер Фодерингей вгляделся в ту сторону, откуда дул ветер, и при свете молний увидел надвигающийся на него громадный водяной вал.

— Мейдиг! — Слабый голос Фодерингея затерялся в грохоте бушующей стихии.— Эй, Мейдиг!.. Стой! — крикнул он, обращаясь к приближавшейся воде.— Стой! Ради бога, остановись!

— Минуточку,— попросил он молнии и гром.— Погодите минутку! Дайте мне собраться с мыслями... Что мне теперь делать? Что же все-таки мне делать? Господи! Хоть бы Мейдиг был здесь... Знаю! — вдруг закричал мистер Фодерингей.— Только, ради бога, на этот раз обойдемся без путаницы.

Все еще стоя на четвереньках, лицом к ветру, он напряженно думал, как исключить возможность хотя бы малейшей ошибки.

— Вот,— сказал он наконец,— то, что я прикажу, пусть теперь исполнится только после того, как я крикну: «А ну!..» Господи! Почему я раньше об этом не подумал...

Он пробовал перекричать рев бури и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать собственный голос.

— Так вот!.. Начинаю! Не забудь о том, что я только что сказал! Во-первых, когда исполнится все, что я скажу, пусть я потеряю свой дар творить чудеса, пусть моя воля станет такой же, как у всех людей, и пусть будет покончено с этими опасными чудесами. Они мне не нравятся. Лучше бы я их не творил. Ни одного, даже самого маленького. Это во-первых. А во-вторых, пусть я вернусь к тому времени, когда еще не случилось первого чуда, и пусть все станет таким, каким было до того, как перевернулась та проклятая лампа. Это трудная задача, зато последняя. Понятно? Больше никаких чудес, все должно стать таким, каким было, а я хочу оказаться в «Длинном Драконе» как раз перед тем, как выпил свои полпинты. Вот и все! Да.— Он впился пальцами в землю, зажмурился и крикнул: — А ну!

Стало совсем тихо. Мистер Фодерингей почувствовал, что стоит на ногах.

— Это по-вашему так,— сказал кто-то.

Фодерингей открыл глаза. Он был в баре «Длинного Дракона» и спорил с Тодди Бимишем о чудесах. В памяти его мелькнуло воспоминание о чем-то очень важном, но сразу же исчезло.

Видите ли, если не считать того, что мистер Фодерингей потерял способность творить чудеса, все остальное стало таким, каким было, а следовательно, и его ум и память тоже стали такими, какими были до того, как началась эта история. Так что все рассказанное здесь

остается ему неведомым и по сей день. И, разумеется, он по-прежнему не верит в чудеса.

— Я утверждаю, что настоящих чудес не бывает, что бы вы там ни говорили, и готов вам это неопровержимо доказать.

— Это по-вашему так,— возразил Тодди Бимиш и добавил: — Докажите, если можете!

— Послушайте-ка, мистер Бимиш,— сказал мистер Фодерингей.— Давайте разберемся, что такое чудо. Это нечто несовместимое с законами природы и произведенное усилием воли...

1899.

ЗВЕЗДА

В первый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче, что его движение совершенно непохоже на движение планет и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты — явление совершенно беспрецедентное.

Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз,— таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей

звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.

На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. «Столкновение планет» — так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве мировых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда зашло солнце и на земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды.

Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суетящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу; развозчики молока и разносчики газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это) и в океане — моряки, ожидавшие дня: в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!

Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после насту-

пления дня, уже не мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещаемых этим огненным знамением в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы — все стояли под лучами восходящего солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.

А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппараты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление — гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир — планета, сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки — постоянные наблюдатели звезд,— ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении, и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.

А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала больше! — кричали они.— Она стала ярче!» И действительно, хотя серп Луны, заходившей на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды.

«Она стала ярче!»—восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных обсерваториях

переглядывались, затаив дыхание. «Она приближается,— говорили они.— Приближается!»

И один голос за другим повторял: «Она приближается!» И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные наборщики набирали слова: «Она приближается!» Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страшную возможность, заключенную в словах: «Она приближается!» Эти слова неслись по просыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом спрашивали: «Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!»

Одинокие бродяги, не нашедшие приюта в эту холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься: «Пусть приближается, ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного».

— Что мне за дело до новой звезды? — кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего.

Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло на большую, ярко сияющую белую звезду. «Центробежность! Центростремительность...— сказал он, подперев кулаком подбородок.— Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? Будет действовать сила центростремительная — и планета упадет на Солнце. И тогда... Окажемся ли мы на ее пути? Неужели...»

Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни, а в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся Луна казалась только бледно-желтой тенью

самой себя. Один из городов Южной Африки встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки. «Даже небеса иллюминованы»,— сказал льстец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. «Это наша звезда»,— шептали они, упоенные ее серебристым сиянием.

Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги: его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся и немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну, и штора, щелкнув, поднялась. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.

Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику.

— Ты можешь убить меня,— сказал он, помолчав.— Но я могу вместить тебя — и всю вселенную тоже — в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой. Даже теперь.

Он посмотрел на маленький пузырек.

— Больше спать незачем,— сказал он.

На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию, только если вертит в пальцах мел, и однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых, оживленных лиц и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы.

— По некоторым обстоятельствам, от меня не зависящим, — сказал он и остановился,— я не смогу закон-

чить этот курс. Судя по всему, милостивые государи, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно.

Студенты переглянулись: не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора.

— Было бы интересно,— продолжал он,— посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить. Предположим...

Он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно.

— Что значит «жило напрасно»? — шепотом спросил один студент другого.

— Слушай! — отозвался тот, кивая на лектора.

Скоро они начали понимать.

В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие Льва к Деве, и свет ее был так ярок, что, когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в зените, Капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом холодном, ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными.

В эту ночь на земле никто не спал, и в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквах для молитвы. А в небе, по мере того как Земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда.

Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народу. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасающая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращалась со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло «описать кривую» и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. «Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнения и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела» — вот что предсказывал великий математик.

А в вышине, подтверждая его слова, сияла одинокая, холодная, голубовато-белая звезда близящегося светопреставления.

Многим, кто, до боли напрягая зрение, смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно на глаз. И в эту же ночь неожиданно изменилась погода: мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью.

Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы,—это не значит, что весь мир был охвачен ужасом из-за появления звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром, и, если не считать разговоров в свободное от работы вре-

мя, созерцания великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время; врачи и гробовщики занимались своим делом, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленные искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты, и многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы, чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года: тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда, в сущности, не звезда, а только газ, комета; и даже если бы это была звезда, все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл — презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером, в семь часов пятьдесят минут по гринвичскому времени, звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, также вернулись к привычным занятиям, и все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду.

И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но казалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика и заключить, что опасность уже миновала.

Но скоро насмешки стихли: звезда росла. Она росла с грозным постоянством, час от часу; с каждым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под

влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день, но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда взошла над Англией, она была величиной в треть лунного диска, и оттепель все усиливалась. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть жаркий ветер, а в Виргинии, Бразилии и в долине реки святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозовых туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитобе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды, все реки, берущие начало в этих горах, вздулись, и забурлили, и скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском, и наконец вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин.

На южноатлантическом и аргентинском побережье приливы были выше, чем когда-либо на памяти людей, и во многих местах бури гнали воду на много миль в глубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения; они прокатились по всей Америке, от Полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Котопахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря.

А звезда продвигалась над Тихим океаном, имея в кильватере побледневшую Луну и волоча за собой, как шлейф, грозовые бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней, пенясь, захлестывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И наконец эта клокочущая страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ринулась в глубь

материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое Солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну, ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих в добела накаленное небо, а потом на них надвинулся все нарастающий рокот воды. Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей: они бежали, сами и не зная куда, задыхаясь, с помутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть.

Китай был залит слепящим белым светом, но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу — яростные потоки лавы, и вся Земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев, и вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны индийских джунглей пылали в тысяче мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам к последней надежде человечества — к открытому морю.

Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфоресцировать, и пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей.

И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что Земля перестала вращаться. Везде — на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях — люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за ча-

сом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые они считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя Земля содрогалась непрестанно, но в тропиках просвечивали сквозь пелену пара Сириус, Капелла и Альдебаран. И когда наконец большая звезда взошла — почти на десять часов позже, чем прежде,— вслед за ней почти сразу взошло Солнце, а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск.

Звезда начала замедлять свое движение, проходя еще над Азией, и вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль, и вдруг на это горнило отчаяния набежала тень, подул холодный ветер, и заклубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и Землей проходила Луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к богу, в минуту этой передышки на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло Солнце. И звезда, Солнце и Луна, все вместе, понеслись по небу.

И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она взошла почти одновременно с Солнцем; некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и наконец они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее уже нельзя было различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном отупении, порожденном голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться.

Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу.

Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний; по всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видали, а там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч, с неба низринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и земля, как взморье после бури, была усеяна всевозможными облаками и трупами людей и животных. Вода возвращалась в русла много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время и в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения.

Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города, к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробираясь среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше, Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за восемьдесят дней.

В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми; о том, как были спасены законы, книги и машины, о странной перемене, происшедшей с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива: такими зелеными, цветущими стали эти места, что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды.

Марсианские астрономы — потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане — существа, сильно отличающиеся от людей,— были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматрива-

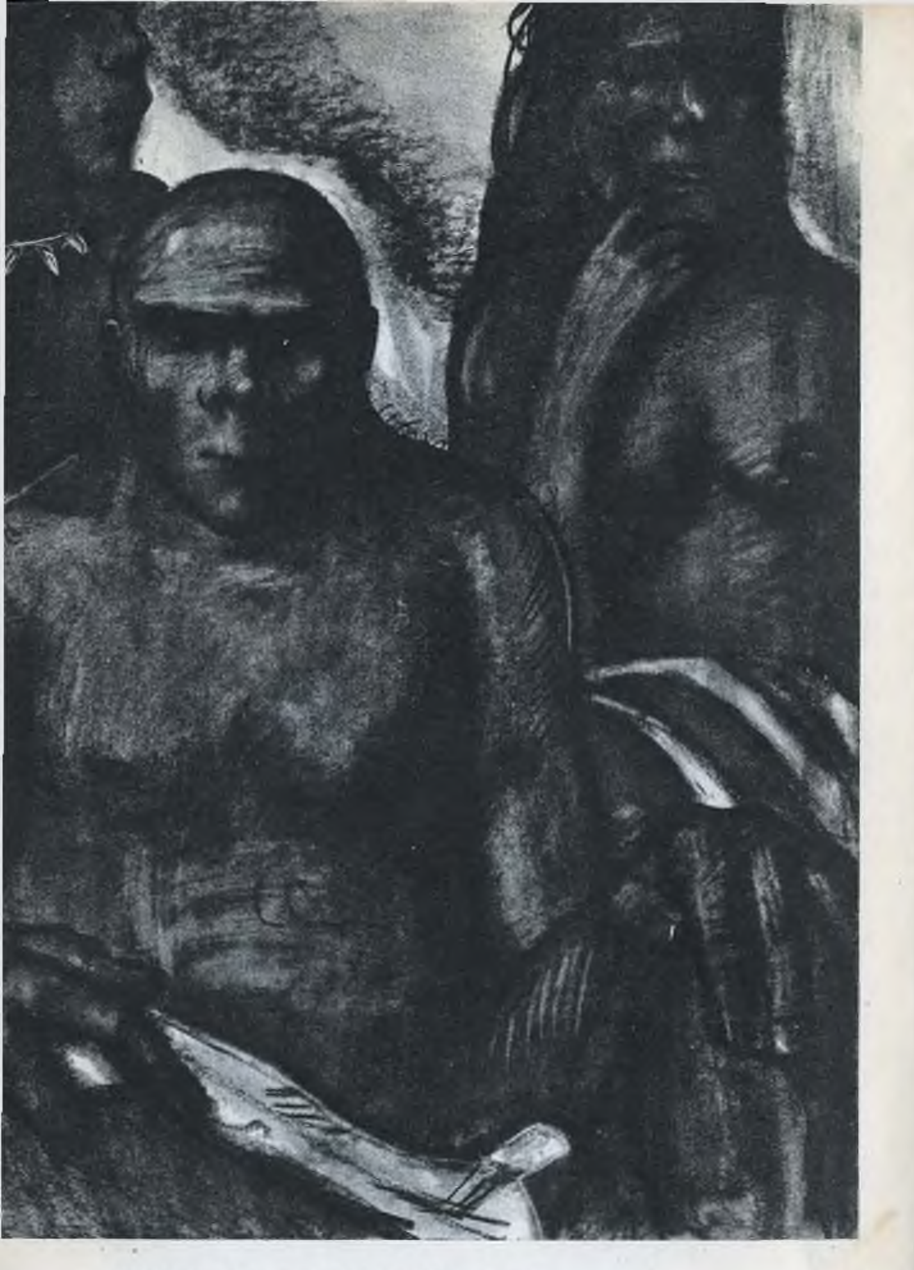
ли их со своей точки зрения. Один из них писал: «Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними, и единственно заметной переменой было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах».

Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.

1899



«ЭТО БЫЛО В КАМЕННОМ ВЕКЕ»



«ЭТО БЫЛО В КАМЕННОМ ВЕКЕ»

ЭТО БЫЛО В КАМЕННОМ ВЕКЕ

ГЛАВА I
УГ-ЛОМИ И АЙЯ

Случилось это в доисторические времена, не сохранившиеся в человеческой памяти, во времена, когда можно было, не замочив ног, пройти из Франции (как мы теперь ее называем) в Англию и когда широкая Темза лениво несла свои воды меж топких берегов навстречу отцу своему, Рейну, пересекавшему обширную равнину, которая ныне находится под водой и известна нам как Северное море. В те далекие времена низменности у подножия меловых холмов Южной Англии еще не существовало, а на юге Сэррея тянулась гряда поросших елью гор, чьи вершины большую часть года были покрыты снегом. Остатки этих вершин сохранились и по сей день — это Лейс-Хилл, Питч-Хилл и Хайндхед. На нижних склонах за поясом лугов, где паслись дикие лошади, росли тисы, каштаны и вязы, и в темных чащах скрывались серые медведи и гиены, а по ветвям карабкались серые обезьяны. У подножия этой гряды, среди лесов, болот и лугов на берегах реки Уэй, и разыгралась та маленькая драма, о которой я собираюсь рассказать. Пятьдесят тысяч лет прошло с тех пор, пятьдесят тысяч, если подсчеты геологов правильны.

В те далекие дни, как и сейчас, весна вселяла радость во все живое и заставляла кровь быстрей струиться в жилах. По голубому небу плыли громады белых облаков, веял теплый юго-западный ветер, мягко лаская

лицо. Взад-вперед носились вернувшиеся с юга ласточки. Берега реки были усеяны лютиками, на болотистых местах, всюду, где, опустив свои мечи, отступали полчища осоки, сверкали звездочки сердечника и горел алтей, а в реке, неуклюже барахтаясь, играли откочевывающие к северу лоснящиеся черные чудовища — бегемоты, сами не зная, чему радуясь, охваченные только одним желанием — взбаламутить до дна всю реку.

Выше по течению, неподалеку от бегемотов, в воде плескались какие-то коричневые зверята. Между ними и бегемотами не было соперничества, они не боялись друг друга, не питали друг к другу вражды. Когда, с треском ломая тростник, появились эти громадины и разбили зеркало реки на серебряные осколки, маленькие создания закричали и замахали руками от радости: значит, пришла весна.

— Болу,— кричали они.— Байя, Болу!

Это были человеческие детеныши — над холмом у излучины реки поднимались дымки становища. Эти малыши походили на бесенят — спутанная грива волос, приплюснутые носы, озорные глаза. Их тела покрывал легкий пушок (как это и теперь бывает у детей). Бедра у них были узкие и руки длинные, лишенные мочек уши заострялись кверху, что изредка встречается и теперь. Совершенно голые коричневые цыганята, подвижные, как обезьянки, и такие же болтливые, хотя им и не всегда хватало слов.

Гребень холма скрывал становище их племени от барахтающихся бегемотов. Оно представляло собой вытоптанную площадку среди сухих бурых листьев чистоцвета, сквозь которые пробивалась свежая поросль папоротника, раскрывавшего клейкие листочки навстречу теплу и свету. Посредине тлел костер — груда углей под серым пеплом, куда время от времени старухи подбрасывали сухие листья. Мужчины почти все спали — спали они сидя, уткнув головы в колени. В это утро они принесли хорошую добычу — убили оленя, затравленного дикими собаками, и мяса хватило на всех, так что ссориться не пришлось; некоторые из женщин до сих пор глодали кости, валявшиеся повсюду. Другие собирали и сносили в кучу листья и ветки, чтобы Брат Огонь, когда снова спустится ночь, мог снова стать высоким и силь-

ным и отгонять от них диких зверей. А две женщины перебирали кремни, которые набрали у речной излучины, где играли дети.

Все эти бронзовые дикари были голыми, но на некоторых были пояса из змеиной кожи или невыделанных звериных шкур, и с них свешивались кожаные мешочки (не сшитые, а содранные целиком с лап животных), в которых хранились грубо обтесанные кремни — их главное оружие и орудие труда. На шее одной из женщин, подруги Айи-Хитреца, висело удивительное ожерелье из окаменелостей, которое до нее уже служило украшением многих. Возле некоторых из спящих мужчин лежали большие лосиные рога с остро отточенными концами и длинные палки, заостренные при помощи кремня. Только оружие да тлеющий костер и показывали, что это люди, а не стая диких зверей, каких было много кругом.

Но Айя-Хитрец не спал, он сидел, держа в руке кость, и старательно скоблил ее кремнем, чего не стало бы делать ни одно животное. Он был старше всех мужчин племени, бородатый, с заросшим лицом, нависшими бровями и выдвинутой вперед челюстью; жилистые руки и грудь покрывала густая черная шерсть. Благодаря своей силе и хитрости он управлял племенем, и его доля добычи всегда была самой большой и самой лучшей.

Эвдена пряталась в ольховнике, потому что боялась Айи. Она была совсем молоденькая, с блестящими глазами и приятной улыбкой. Когда все ели, Айя дал ей кусок печени — редкое угощение для девушки, так как печень предназначалась для мужчин. А когда она взяла лакомый кусок, женщина с ожерельем посмотрела на нее злыми глазами, а из горла Уг-Ломи вырвалось неясное ворчание. Тогда Айя вперил в него долгий, пристальный взгляд, и Уг-Ломи опустил голову. Потом Айя взглянул на нее. Она испугалась, и, пока все еще ели и Айя был занят тем, что высасывал мозг из кости, она незаметно ускользнула. Поев, Айя некоторое время бродил вокруг становища,— наверное, разыскивал ее. И вот теперь она лежала, припав к земле, в зарослях ольхи и ломала голову, зачем это Айя скоблит кость кремнем. А Уг-Ломи нигде не было видно.

Вскоре над ее головой запрыгала белка, и она замерла, так что белка заметила ее, только когда оказалась от нее всего в нескольких шагах. Зверек тотчас же стремительно взлетел вверх по стволу и принялся болтать и браниться.

— Что ты делаешь здесь,— спрашивала белка,— вдали от других двуногих зверей?

— Не шуми,— сказала Эвдена, но белка только стала браниться еще громче.

Тогда Эвдена принялась отламывать черные ольховые шишечки и кидать в нее.

Белка увертывалась и дразнила ее, и, забыв обо всем, девушка вскочила на ноги, чтобы лучше прицелиться, и тут только увидела, что с холма спускается Айя. Он заметил, как мелькнула в кустарнике ее светло-золотистая рука — у него были очень зоркие глаза.

При виде Айи Эвдена забыла про белку и со всех ног пустилась бежать через ольховник и заросли тростника Она не разбирала дороги, думая лишь о том, как бы скрыться от Айи. Увязая по колено, она перебралась через болотце и увидела впереди склон, поросший папоротником, все более стройным и зеленым по мере того, как он уходил в тень молодых каштанов. Через мгновение она уже была там — быстрые ноги легко несли ее вперед! — и бежала все дальше и дальше, пока не оказалась в старом лесу с огромными деревьями. Там, куда проникал солнечный свет, стволы их оплетали лианы толщиной в молодое деревцо и ветви плюща, крепкие и тугие. Она бежала все дальше, петляя, чтобы запутать след, и наконец легла в поросшей папоротником ложбинке, на границе непроходимой чащи, и стала прислушиваться, а кровь стучала у нее в ушах.

Вот она услыхала, как далеко-далеко прошелестели в сухих листьях шаги и замерли, и снова наступила тишина, только комары звенели над головой — дело шло к вечеру — да неустанно шептались листья. Она усмехнулась при мысли, что хитрый Айя ее не заметил. Страха она не чувствовала. Играя со своими сверстниками, она иногда убегала в лес, хотя ни разу не забиралась так далеко. Приятно было оказаться одной, скрытой ото всех.

Она долго лежала, радуясь, что ей удалось ускользнуть, затем привстала и прислушалась.

Она услышала быстрый топот, все громче и ближе, и вот она уже различает хрюканье и треск веток. Это было стадо проворных и злобных диких свиней. Она вскочила, потому что кабан при встрече бьет клыками без предупреждения, и помчалась от них через лес. Но топот становился ближе; значит, свиньи не переходили с места на место в поисках пищи, а быстро бежали вперед, иначе они бы ее не нагнали, и, ухватившись за сук, Эвдена подтянулась на руках и взобралась по стволу с проворством обезьяны. Когда она взглянула на землю, там уже мелькали тощие щетинистые спины свиней. Она знала, что их короткое резкое хрюканье означает страх. Чего они испугались? Человека? Нет, они не стали бы так поспешно убегать от человека!

А затем — так внезапно, что она невольно крепче схватилась за сук — из кустарника выскочил молодой олень и пронесся вслед за дикими свиньями. Еще какой-то зверь промелькнул внизу — низкий, серый, с длинным телом,— но какой, она не успела разглядеть, так как он появился всего на одно мгновение в просвете между листьями. Затем все стихло.

Она продолжала ждать, словно приросшая к дереву, за которое цеплялась, напряженно всматриваясь вниз.

И вот вдалеке между деревьями на миг показался и сразу скрылся, снова мелькнул в высоком папоротнике и опять пропал из виду человек. По светлым волосам она узнала Уг-Ломи — его лицо пересекала красная полоса. При виде его безумного бега и багровой метки на лице Эвдене стало как-то не по себе. А затем ближе к ней, с трудом переводя дыхание, тяжело пробежал другой человек. Сначала она не разглядела, кто это, но потом узнала Айю, хотя сверху его фигура казалась приплюснутой. Выпучив глаза, он большими прыжками несся вперед. Нет, он не гнался за Уг-Ломи. Его лицо было совсем белым. Айя, охваченный страхом! Он пробежал мимо, но она еще слышала топот его ног, когда вдогонку за ним мягкими, мерными скачками промчалось что-то большое, покрытое серым мехом.

Эвдена вдруг вся оцепенела и перестала дышать. Ру-

ки ее судорожно сжали сук, в глазах отразился смертельный испуг.

Она никогда раньше не видела этого зверя, она и сейчас не разглядела его как следует, но сразу поняла, что это Ужас Темного Леса. О нем слагались легенды, его именем дети пугали друг друга и сами в испуге с визгом бежали к становищу. Человек еще ни разу не убил никого из его рода. Даже сам могучий мамонт опасался его гнева. Это был серый медведь, властелин мира в те далекие времена.

На бегу он, не переставая, сварливо рычал:

— Люди у самой моей берлоги. Драка и кровь. У самого входа в мою берлогу. Люди, люди, люди! Драка и кровь!

Ибо он был властелином лесов и пещер.

Еще долго после того, как он пробежал, Эвдена, окаменев, продолжала глядеть вниз сквозь ветви расширенными от страха глазами. В полном оцепенении она инстинктивно продолжала цепляться за дерево руками и ногами. Прошло довольно много времени, прежде чем она снова обрела способность думать, но и тогда она ясно осознала только одно: Ужас Темного Леса бродит между ней и становищем и спуститься вниз невозможно.

Когда страх ее чуть поулегся, она вскарабкалась повыше и устроилась поудобнее в развилке большого сука. Вокруг нее смыкались деревья, и Брат Огонь ей не был виден: ведь днем он черный. Зашевелились птицы, и мелкие твари, попрятавшиеся от страха перед ней, выбрались из своих убежищ.

Время шло, и вскоре верхушки деревьев запылали в лучах заката. Высоко над головой грачи, более мудрые, чем люди, с карканьем пролетели к своим становищам на вязах. Все предметы казались сверху потемневшими и резко очерченными. Эвдена решила вернуться в становище и начала спускаться, но тут страх перед Ужасом Темного Леса вновь овладел ею. Пока она колебалась, по лесу разнесся жалобный крик кролика, и она осталась на дереве.

Сумерки сгустились, и в глубине леса началось движение. Эвдена снова поднялась повыше, чтобы быть ближе к свету. Внизу под ней из своих убежищ вышли те-

ни и стали бродить вокруг. Синева неба быстро темнела. Наступило зловещее затишье, а затем начали шептаться листья.

Эвдену пробрала дрожь, и она вспомнила о Брате Огне.

Теперь тени стали собираться на деревьях; они сидели на ветвях и подстерегали ее. Ветки и листья превратились в грозные темные существа, готовые наброситься на нее, если только она шевельнется. Вдруг из мрака, бесшумно махая крыльями, возникла белая сова. Становилось все темнее и темнее, и наконец ветви и листья стали совсем черными, а земля потонула во тьме.

Эвдена провела на дереве всю ночь — целую вечность — и, не смыкая глаз, чутко прислушивалась к тому, что делается внизу, в темноте, боясь пошевельнуться, чтобы ее не заметил какой-нибудь крадущийся мимо зверь. В те времена человек никогда не оставался в темноте один, если не считать таких редких случаев, как этот. Поколение за поколением он учился бояться мрака, а теперь нам, его бедным потомкам, приходится с мучительным трудом отучаться от этого страха. Эвдена, по годам женщина, сердцем была, как дитя. Она сидела так тихо, бедная маленькая зверушка, как заяц, которого вот-вот вспугнут собаки.

На небе высыпали звезды и смотрели на нее, только это ее чуть-чуть и успокаивало. Она подумала, что вон та яркая звездочка немного похожа на Уг-Ломи. Затем ей представилось, что это и на самом деле Уг-Ломи. А рядом с ним, красная и тусклая,— это Айя, и за ночь Уг-Ломи убежал от него вверх по небу.

Эвдена попыталась разглядеть брата людей — Огонь, охраняющий становище от диких зверей, но его не было видно. Она услышала, как далеко-далеко затрубили мамонты, спускаясь к водопою, а один раз, мыча, как теленок, мимо пробежал, тяжело топая, кто-то огромный, но кто, ей разглядеть не удалось. По голосу она решила, что это Яаа, носорог, который дерется носом, ходит всегда в одиночку и без всякой причины впадает в ярость.

Наконец маленькие звезды начали исчезать, за ними и большие. Вот так и все живое скрывалось при появле-

нии Ужаса. Скоро должно было взойти солнце — такой же властелин небес, как медведь — властелин леса. Эвдена попробовала представить себе, что случилось бы, если бы какая-нибудь из звезд дождалась его. Но тут небо побледнело, и занялась заря.

Когда стало совсем светло, страх Эвдены перед тем, что таилось в лесу, прошел, и она отважилась спуститься на землю. Руки и ноги ее занемели, но не так, как (при вашем воспитании) занемели бы у вас, дорогая читательница, и, поскольку она не была приучена есть по меньшей мере каждые три часа, а наоборот, ей приходилось иногда по три дня обходиться без пищи, голод ее не слишком мучил. Она осторожно соскользнула с дерева и, крадучись, стала пробираться по лесу, но стоило прыгнуть белке или оленю промчаться мимо, как ужас перед медведем леденил кровь в ее жилах.

Она хотела только одного — найти своих. Одиночества она боялась теперь больше, чем Айи-Хитреца. Однако накануне она бежала куда глаза глядят и теперь не знала, в какой стороне становище и нужно ли идти по направлению к солнцу или от него. Время от времени она останавливалась и прислушивалась, и наконец до нее донеслось слабое, мерное позвякивание. Хотя утро стояло тихое, звук был еще слышен, и ей стало ясно, что раздается он где-то далеко. Но она знала: это человек затачивает кремень.

Скоро деревья начали редеть, потом путь ей преградила густая крапива. Эвдена обошла ее и увидела знакомое ей упавшее дерево, вокруг которого с гудением носились пчелы. Еще несколько шагов, и вдалеке показался холм, и река у его подножия, и дети, и бегемоты — все, как вчера,— и тонкая струйка дыма, колеблющаяся под утренним ветерком. Вдали у реки темнели заросли ольхи, где она пряталась накануне. При виде их ее вновь охватил страх перед Айей, и, нырнув в густой папоротник, откуда тотчас выскочил кролик, она притаилась там, чтобы посмотреть, что делается в становище.

Мужчин не было видно, только Вау, как всегда, изготовлял что-то из кремня, и это ее успокоило. Они, без сомнения, ушли на поиски пищи. Некоторые женщины бродили по отмели у подножия холма, ища мидий, ули-

ток и раков, и, увидев, чем они занимаются, Эвдена почувствовала, что голодна. Она поднялась и побежала к ним через папоротник. Но, сделав несколько шагов, услышала, что кто-то тихо зовет ее. Она остановилась. За ее спиной послышался шорох, и, обернувшись, она увидела, что из папоротника поднимается Уг-Ломи. На лице его засохли полосы грязи и крови, глаза свирепо сверкали, а в руке он держал белый камень Айи, белый Огненный камень, к которому никто, кроме Айи, не смел прикасаться. Одним прыжком он очутился возле Эвдены и схватил ее за плечо. Он повернул ее и толкнул к лесу.

— Айя,— шепнул он и махнул рукой.

Она услышала крик и, оглянувшись, увидела, что женщины, выпрямившись, смотрят на них, а две уже выходят на берег. Затем где-то ближе раздались громкие вопли, и бородатая старуха, стерегущая Огонь на холме, замахала руками, и Вау, который до того сидел и обтачивал кремень, вскочил на ноги. Даже маленькие дети с криком спешили к ним.

— Бежим,— сказал Уг-Ломи и потянул ее за руку.

Она все еще не понимала.

— Айя сказал мне слово смерти! — крикнул Уг-Ломи, и она оглянулась на приближавшуюся к ним изогнутую цепь пронзительно вопящих людей и поняла.

Вау, все женщины и дети, визжа и воя, подходили все ближе — нестройная толпа коричневых фигур с всклокоченными волосами. С холма поспешно спускались двое юношей. Справа в зарослях папоротника показался мужчина, отрезая им путь к лесу. Уг-Ломи отпустил плечо Эвдены, и они побежали бок о бок, перепрыгивая через папоротники. Зная, как быстро умеют бегать они с Уг-Ломи, Эвдена громко засмеялась, подумав, что преследователи ни за что не догонят их. Ведь у них были для тех времен необычно длинные и стройные ноги.

Вскоре поляна осталась позади, и Эвдена с Уг-Ломи бежали уже среди каштанов. Они не испытывали страха перед лесом, потому что были вдвоем, и замедлили бег, и так уж не очень быстрый. Вдруг Эвдена закричала и показала на что-то; Уг-Ломи увидел мелькающих между стволами мужчин, бегущих ему наперерез. Эвде-

на уже бросилась бежать в сторону. Он кинулся следом за ней, и тут к ним из-за деревьев донеслось яростное рычание Айи.

Тогда в их сердца закрался страх, но не тот, что вызывает оцепенение, а тот, что делает движения человека стремительными и бесшумными. Погоня приближалась к ним с двух сторон. Они оказались как бы зажатыми в угол. Справа, ближе к ним, тяжелой поступью быстро приближались мужчины — впереди бородатый Айя с лосиным рогом в руке; слева, рассыпавшись, как пригоршня зерна по полю — желтые пятна на зелени папоротника и травы,— бежали Вау, и женщины, и даже маленькие дети, игравшие на отмели. Обе группы преследователей уже настигали беглецов. Они бросились вперед — Эвдена, за ней Уг-Ломи.

Они знали, что пощады им не будет. Для людей тех давних времен не было охоты приятней, чем охота на человека. Едва ими овладевал азарт погони, еще непрочные ростки человечности исчезали без следа. А к тому же Айя ночью отметил Уг-Ломи словом смерти. Уг-Ломи был добычей этого дня, предназначенной на растерзание.

Они бежали прямо вперед, не разбирая дороги, в этом было их единственное спасение: заросли жгучей крапивы, солнечная прогалинка, островок травы, из которой с хриплым рычанием метнулась от них гиена. Затем снова лес — обширные пространства покрытой листьями и мхом земли под зелеными стволами деревьев. Дальше крутой лесистый склон и снова уходящие вдаль стволы, поляна, поросшее сочной зеленой травой болото, опять открытое место и заросли колючей куманики, через которые вела звериная тропа. Погоня растянулась, многие преследователи отстали, но Айя бежал чуть не по пятам за ними.

Легким шагом, нисколько не запыхавшись, Эвдена попрежнему бежала впереди — ведь Уг-Ломи нес Огненный камень.

Это сказалось на быстроте его бега не сразу, а спустя некоторое время. Вот топот его ног за спиной Эвдены стал стихать. Оглянувшись в то время, как они пересекали еще одну поляну, Эвдена увидела, что Уг-Ломи сильно отстал, а Айя настигает его и уже замахнулся ро-

гом, чтобы поразить Уг-Ломи. Вау и другие только показались из-под сени леса.

Поняв, в какой Уг-Ломи опасности, Эвдена свернула в сторону и, замахав руками, громко крикнула в тот самый миг, когда Айя метнул рог. Ее крик предупредил Уг-Ломи, и он быстро наклонился, так что рог пролетел над ним, лишь слегка задев и оцарапав кожу на голове. Уг-Ломи сразу обернулся, обеими руками поднял над головой Огненный камень и швырнул его прямо в Айю, который с разгона не сумел остановиться. Айя закричал, но не успел увернуться. Тяжелый камень ударил его прямо в бок, и, зашатавшись, он рухнул на землю, даже не вскрикнув. Уг-Ломи поднял рог — один из отростков был окрашен его же кровью — и снова пустился бежать, а из-под волос его текла красная струйка.

Айя перекатился на бок, полежал немного, а потом вскочил и продолжал погоню, но и он бежал теперь куда медленней. Лицо его посерело. Его обогнал Вау, потом и другие, а он кашлял, задыхался, но не сдавался и все бежал за Уг-Ломи.

Наконец беглецы достигли реки — тут она была узкой и глубокой. Они все еще были шагов на пятьдесят впереди Вау, ближайшего из преследователей человека, изготовлявшего метательные кремни. В каждой руке у него было зажато по большому кремню в форме устрицы, но в два раза больше ее, с остро отточенными краями.

Беглецы прыгнули с крутого берега в реку, пробежали несколько шагов вброд, в два-три взмаха переплыли глубокое место, и, роняя капли с мокрого тела, освеженные, выбрались из воды и стали карабкаться на другой берег, подмытый и густо поросший ивняком. На него нелегко было подняться, и в то время как Эвдена пробиралась сквозь серебристые ветви, а Уг-Ломи еще не вышел из воды — ему мешал лосиный рог,— на противоположном берегу появился Вау, и искусно брошенный кремневый дротик расшиб Эвдене колено. Напрягая последние силы, она выбралась наверх и упала.

Они услышали, что их преследователи обменялись возгласами. Уг-Ломи взбирался к Эвдене, кидаясь из стороны в сторону, чтобы Вау не мог в него попасть; второй

кремень все же задел его ухо, и он услышал внизу под собой всплеск воды.

И тут Уг-Ломи, юнец, показал, что он стал мужчиной. Бросившись вперед, он заметил, что Эвдена хромает и не может бежать быстро. Тогда, издав свирепый клич, он устремился мимо нее обратно на берег, размахивая над головой лосиным рогом; его окровавленное, искаженное яростью лицо было страшно. А Эвдена упорно продолжала бежать, хотя хромала при каждом шаге, и боль в ноге все усиливалась.

И вот, когда Вау, цепляясь за ветки ивы, поднялся над краем обрыва, он увидел над собой на фоне голубого неба громадного, как утес, Уг-Ломи, увидел, как он, откинувшись всем телом, замахнулся, крепко сжимая в руках лосиный рог. Рог со свистом рассек воздух, и... больше Вау уже ничего не видел. Вода под ивами закружилась воронкой, и по ней стало расплываться большое темно-красное пятно. Айя, войдя в воду следом за Вау, прошел несколько шагов и остановился по колено в воде, а мужчина, который уже переплывал реку, повернул обратно.

Остальные преследователи — ни один из них не был особенно силен (Айя отличался скорее хитростью, чем крепостью мышц, и не терпел соперников, которые могли оказаться сильнее его), — увидев страшного, окровавленного Уг-Ломи, который стоял на высоком берегу и, прикрывая хромающую девушку, размахивал огромным рогом, тотчас замедлили бег. Казалось, Уг-Ломи вошел в поток юношей, а вышел из него взрослым мужчиной.

Он знал, что у него за спиной широкий, покрытый травой луг, а за ним — чащи, в которых Эвдена сможет укрыться. Это он сознавал ясно, хотя его умственные способности были еще слишком слабо развиты, чтобы он мог себе представить, что будет дальше. Айя, безоружный, стоял по колено в воде, не зная, на что решиться. Массивная челюсть его отвисла, обнажив волчьи зубы; он часто и тяжело дышал. Волосатый бок побагровел и вздулся. Стоявший рядом с ним человек держал в руках дубинку с заостренным концом. Один за другим на высоком берегу появлялись остальные преследователи — волосатые длиннорукие люди, вооруженные камнями и пал-

ками. Двое из них побежали по берегу вниз, туда, где Вау выплыл на поверхность и из последних сил боролся с течением. Они уже вошли в реку, но тут он снова скрылся под водой. Двое других, стоя на берегу, осыпали Уг-Ломи бранью. Он отвечал им злобными криками, невнятными угрозами, жестами. Тогда Айя, все еще стоявший в нерешительности, взревел от ярости и, размахивая кулаками, бросился в воду. Остальные последовали за ним.

Уг-Ломи оглянулся и увидел, что Эвдена уже скрылась в чаще. Он, возможно, и подождал бы Айю, но тот предпочел грозить ему кулаками, не выходя из воды, пока к нему не подоспели остальные. В те дни, нападая на врага, люди придерживались тактики волчьей стаи и кидались на него скопом. Уг-Ломи, почувствовав, что сейчас они все бросятся на него, метнул в Айю лосиным рогом и, повернувшись, пустился бежать.

Когда, добежав до тенистой чащи, он приостановился и посмотрел назад, то увидел, что только трое из преследователей переплыли вслед за ним реку, да и те возвращаются обратно. Айя уже стоял на том берегу потока, ниже по течению; рот его был в крови, и он прижимал руку к раненому боку. Остальные вытаскивали что-то из воды на берег. На время по крайней мере охота приостановилась.

Сперва Уг-Ломи наблюдал за ними, сердито рыча, когда взгляд его падал на Айю. Потом повернулся и нырнул в чащу.

Через мгновение к нему быстро подбежала Эвдена, и они рука об руку двинулись дальше. Он, хотя и смутно, сознавал, что у нее болит разбитое колено, и выбирал самый легкий путь. Они шли весь день, не останавливаясь, миля за милей, через леса и чащи, пока не вышли к покрытым травой меловым холмам, где изредка попадались буковые перелески, а по берегам рек росла береза, и вот перед ними встали горы Уилдна, у подножия которых паслись табуны диких лошадей. Они шли, настороженно оглядываясь, держась поближе к зарослям, так как места эти были им незнакомы и все вокруг казалось непривычным. Они поднимались все выше, и вдруг у их ног голубой дымкой легли каштановые

леса и до самого горизонта раскинулась, поблескивая серебром, болотистая пойма Темзы. Людей они не видели: в те дни люди только-только появились в этой части света и очень медленно продвигались вдоль рек в глубь страны. К вечеру они снова вышли к реке, но тут она текла в теснине, между крутыми меловыми обрывистыми берегами, кое-где нависавшими над водой. Под самой кручей полоской тянулся молодой березовый лесок, где порхало множество птиц. А наверху, возле одинокого дерева, виднелся небольшой уступ, и на нем они решили провести ночь.

Со вчерашнего дня они почти ничего не ели: для ягод еще пора не наступила, а задержаться, чтобы поставить силок или ждать в засаде какого-нибудь зверя, у них не было времени. Голодные, усталые, они молча брели, с трудом передвигая ноги, и грызли побеги деревьев и их листья. Но все же по скалам лепилось множество улиток, в кустах они нашли только что снесенные яйца какой-то птички, а потом Уг-Ломи убил камнем белку, прыгавшую на буке, и они наконец наелись досыта. Всю ночь Уг-Ломи просидел на страже, уткнувшись подбородком в колени; он слышал, как совсем рядом лаяли лисята, трубили у воды мамонты и где-то вдалеке пронзительно кричали и хохотали гиены. Он озяб, но не решался развести костер. Стоило Уг-Ломи задремать, как его дух покидал его и сразу встречался с духом Айи, и они сражались. И каждый раз его охватывало какое-то оцепенение, и он не мог ни нанести удара, ни убежать, и тут он внезапно просыпался. Эвдене тоже снились нехорошие сны про Айю, и когда оба они проснулись, в их душе был страх перед ним; при свете утренней зари они увидели, что по долине бредет волосатый носорог.

Целый день они ласкали друг друга и радовались солнечному теплу и свету: нога у Эвдены совсем онемела, и девушка до самого вечера просидела на уступе. Уг-Ломи нашел большие кремни, вкрапленные в мел на обрыве,— он еще никогда не видел таких больших,— и, подтащив несколько штук к уступу, начал их обтесывать, чтобы у него было оружие против Айи, когда тот снова придет. Один камень показался ему смешным, и он от всего сердца расхохотался, и Эвдена смеялась тоже, и

со смехом они бросали его друг другу В нем была дыра. Они просовывали в нее пальцы, и это казалось им очень смешным. Потом они посмотрели сквозь нее друг на друга. Уг-Ломи взял палку и ударил по этому глупому камню, но палка вошла в дыру и застряла там. Он сунул ее туда с такой силой, что никак не мог вытащить. Это было странно... уже не смешно, а страшно, и сперва Уг-Ломи даже боялся трогать камень: можно было подумать, что камень вцепился в палку зубами и держит ее. Но затем Уг-Ломи привык к этому странному сочетанию, которое он не мог разнять. Он стал размахивать палкой и заметил, что благодаря тяжелому камню на конце она наносит удары сильнее, чем любое другое оружие. Он ходил взад и вперед, размахивая палкой и ударял ею по разным предметам, потом ему это наскучило, и он отбросил ее. Днем он поднялся на самый верх обрыва и лег в засаду возле кроличьих нор, поджидая, когда кролики выйдут играть. В тех местах не водилось людей, и кролики были беспечны. Он кинул в них метательным камнем и одного убил.

В эту ночь они высекли кремнем огонь, и развели костер из сухого папоротника, и, сидя у огня, разговаривали и ласкали друг друга. А когда они уснули, к ним снова пришел дух Айи, и в то время как Уг-Ломи безуспешно пытался побороть его, глупый камень на палке внезапно очутился у него в руке, он ударил им Айю, и — о чудо! — камень его убил. Но потом Айя снился ему опять и опять — духа не убьешь за один раз! — и снова приходилось его убивать. В конце концов камень не захотел больше держаться на палке. Проснулся Уг-Ломи усталый и довольно мрачный и весь день оставался угрюмым, несмотря на ласки Эвдены; вместо того, чтобы пойти на охоту, он снова поднял и принялся обтачивать удивительный камень и странно на нее поглядывал. А потом он еще привязал этот камень к палке полосками из кроличьей шкурки. Вечером он расхаживал по уступу, наносил куда придется удары своей новой палкой — приятно было ощущать в руке ее тяжесть — и что-то бормотал про себя. Он думал об Айе.

Несколько дней (больше, чем в те времена люди могли сосчитать, может быть, пять, а может, шесть) провели Уг-Ломи и Эвдена на этом уступе над рекой; они

совсем перестали бояться людей, и костер их ярко горел по ночам. Им было хорошо друг с другом; они каждый день ели, пили свежую воду и не опасались врагов. Колено у Эвдены зажило уже через два-три дня,— у первобытных людей все очень быстро заживало. Они были вполне счастливы.

В один из этих дней Уг-Ломи столкнул вниз обломок камня. Он увидел, как камень упал и, подпрыгивая, покатился по берегу в реку. Засмеявшись и немного поразмыслив, он столкнул другой. Этот самым потешным образом смял ветки на кусте орешника. Все утро они забавлялись тем, что бросали с уступа камни, а к вечеру обнаружили, что этой новой интересной игрой можно заниматься и стоя на самом верху кручи. На следующий день они забыли об этом развлечении. Так по крайней мере казалось.

Но Айя являлся им во сне и портил их блаженную жизнь. Три ночи он приходил сражаться с Уг-Ломи. Проснувшись утром после этих снов, Уг-Ломи беспокойно мерил шагами уступ и, размахивая своим топором, посылал Айе угрозы. А потом Уг-Ломи удалось размозжить голову выдре, и они с Эвденой устроили пир, и в эту ночь Айя зашел слишком далеко. На следующее утро Уг-Ломи проснулся, сердито насупив мохнатые брови, взял топор и, протянув к Эвдене руку, велел ей дожидаться его на уступе. Затем он спустился под откос, у подножия бросил еще один взгляд наверх и взмахнул топором: затем, ни разу больше не оглянувшись, широким шагом пошел вдоль берега реки и наконец скрылся у излучины за нависшим над водой утесом.

Два дня и две ночи просидела Эвдена у костра на уступе, поджидая Уг-Ломи; по ночам у нее над головой и в долине выли дикие звери, а по утесу напротив, черными силуэтами вырисовываясь на фоне неба, крадучись, проходили в поисках добычи горбатые гиены. Но ничто дурное, кроме страха, не посетило ее. Один раз далеко-далеко она услышала рыканье льва, который охотился на лошадей, переходивших с наступлением лета на северные пастбища. Все это время она ждала — и ожидание это было мукой.

На третий день Уг-Ломи вернулся с низовья реки. В волосах его торчали перья ворона. На первом в истории

человечества топоре были пятна крови и прилипшие длинные черные волосы, а в руке он нес ожерелье, украшавшее прежде подругу Айи. Он шел по сырым местам, не обращая внимания на то, что оставляет за собой следы. Если не считать кровоточащей раны под подбородком, он был цел и невредим.

— Айя! — с торжеством закричал Уг-Ломи, и Эвдена поняла, что все хорошо.

Он надел на нее ожерелье, и они стали есть и пить. А потом он принялся рассказывать ей все с самого начала, как Айя впервые приметил Эвдену и как, в то время, когда Уг-Ломи сражался с Айей в лесу, их стал преследовать медведь; недостаток слов он восполнял избытком жестов, вскакивая на ноги и размахивая каменным топором, когда доходил в своем рассказе до схваток. Последняя из них была самой жаркой,— изображая ее, он топал ногами, кричал и раз так ударил по костру, что в ночной воздух взлетел целый сноп искр. А Эвдена, багряная в свете костра, сидела, пожирая его глазами; лицо ее пылало, глаза сверкали, на шее поблескивало ожерелье, сделанное Айей. Это была изумительная ночь, и звезды, смотрящие сейчас на нас, смотрели на Эвдену — нашу прародительницу,— умершую пятьдесят тысяч лет назад.

ГЛАВА II

ПЕЩЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ

В те дни, когда Эвдена и Уг-Ломи бежали от племени Айи через леса сладкого каштана и покрытые травой меловые холмы к одетым елью горам Уилдна и скрылись наконец у реки, зажатой между крутыми белыми берегами, людей еще было мало, и их становища лежали далеко друг от друга. Ближе всего к беглецам находились люди их племени, но до них был целый день пути вниз по реке, а в ее верховьях среди гор людей не было вовсе. В те отдаленные времена человек еще только начал появляться в этих местах и медленно, поколение за поколением двигался вдоль рек, перенося свои становища все дальше на северо-восток. Звери, которые

владели этими землями,— бегемоты и носороги в речных поймах, дикие лошади на покрытых травой равнинах, серые обезьяны на ветвях, олени и кабаны в лесных чащах, быки предгорий, не говоря уже о живших в горах мамонтах или слонах, которые приходили сюда на лето с юга,— нисколько не боялись человека. И у них не было причин для страха: ведь его единственным оружием против копыт и рогов, зубов и когтей были грубо обработанные кремни, которые он в то время еще не догадался насадить на рукоятку и кидал не слишком метко, да жалкие заостренные палки.

Энду, уважаемый всеми громадный, мудрый медведь, обитавший в пещере там, где река скрывалась в теснине, ни разу в жизни не встречал человека. И вот однажды ночью, рыская в поисках добычи у края обрыва, он увидел яркое пламя костра на уступе, Эвдену в красных отблесках огня и Уг-Ломи, который, встряхивая гривой волос и потрясая топором — Первым Каменным Топором,— расхаживал по уступу, повествуя, как он убил Айю, а на белой стене утеса плясала гигантская тень, повторяя все его движения. Медведь стоял далеко, у начала ущелья, и эти неведомые существа показались ему скошенными и приплюснутыми. От удивления он застыл на краю обрыва, втягивая носом незнакомый запах горящего папоротника и раздумывая, не занимается ли нынче заря на новом месте.

Он был властелином скал и пещер, он — пещерный медведь, как его младший брат, серый медведь, был властелином густых лесов у подножия гор, а пятнистый лев (шкуру львов в те времена украшали пятна) — властителем колючих кустарников, тростниковых зарослей и открытых равнин. Он был самым крупным из хищников и никого не боялся; на него никто не охотился, никто не осмеливался с ним сражаться; с одним только носорогом справиться ему было не под силу. Даже мамонт избегал его владений. И появление этих существ привело его в недоумение. Он заметил, что они по виду напоминают обезьян и покрыты редкими волосами, наподобие молочных поросят.

— Обезьяна и молодая свинья,— сказал пещерный медведь,— должно быть, недурно на вкус. Но это красное прыгающее чудище и черное, которое прыгает вон

там вместе с ним! Никогда в жизни я не видел ничего подобного!

Он медленно пошел к ним по краю обрыва, то и дело останавливаясь, чтобы рассмотреть их получше и втянуть носом воздух: неприятный запах от костра становился все сильнее. Две гиены были тоже так поглощены этим зрелищем, что Энду, ступавший легко и мягко, подошел к ним вплотную, прежде чем они его заметили. Они с виноватым видом шарахнулись в сторону и кинулись бежать.

Описав кривую, они остановились шагах в ста от него и принялись пронзительно завывать и осыпать его бранью, чтобы отплатить за свой испуг.

— Я-ха,— вопили они,— кто не может сам себе выкопать нору? Кто, как свинья, ест корни? Я-ха!

У гиен уже в те времена были столь же дурные манеры, как и теперь

— Кто станет отвечать гиене? — проворчал Энду, вглядываясь в них сквозь туманную мглу и снова подходя к самому краю обрыва.

Уг-Ломи все еще продолжал рассказывать, костер догорал, и от кучи тлевших листьев шел едкий дым.

Некоторое время Энду простоял на краю мелового обрыва, тяжело переминаясь с ноги на ногу и покачивая головой; пасть его была раскрыта, уши насторожены, ноздри большого черного носа втягивали в себя воздух. Он был очень любопытен, этот пещерный медведь, куда любопытней нынешних медведей. Вид мерцающего пламени, непонятные телодвижения человека, не говоря уж о том, что человек вторгся в те места, где медведь считал себя неограниченным владыкой, вызвали в нем предчувствие неведомых событий. В ту ночь он выслеживал олененка — пещерный медведь охотился за самой разной добычей,— но встреча с людьми отвлекла его.

— Я-ха,— визжали гиены у него за спиной.— Я-ха-ха!

При свете звезд Энду увидел на фоне серого склона холма уже три или четыре тени, кружащих на одном месте гиен. «Теперь они не отстанут от меня всю ночь... пока я кого-нибудь не убью,— подумал Энду.— Грязные твари!» И главным образом, чтобы досадить гиенам, он

решил стеречь красное мерцание на уступе, пока рассвет не прогонит это отребье в их логова. Спустя некоторое время гиены исчезли, и он слышал, как они кричали и хохотали, точно компания ночных гуляк, далеко в буковом лесу. Затем они снова, крадучись, приблизились к нему. Он зевнул и двинулся вдоль обрыва, но гиены затрусили за ним по пятам. Тогда он остановился и пошел обратно.

Была великолепная ночь, на небе сверкали бесчисленные звезды — те же самые звезды, к которым привыкли мы, но не в тех созвездиях, ибо с тех пор прошло столько времени, что звезды успели переменить свои места. По ту сторону широкого луга, где с воем рыскали поджарые гиены с массивными передними лапами, темнел буковый лес, а за ним, почти невидимые во мгле, поднимались горы,— только снежные вершины, белые, холодные, четко вырисовывались на ночном небе, тронутые первыми бликами еще не взошедшей луны. Стояла всеобъемлющая тишина, лишь время от времени ее нарушал вой гиен, да вдалеке у подножия гор трубили бредущие с юга слоны, и легкий ветерок доносил сюда их перекличку. Внизу красное мерцание съежилось, перестало плясать и побагровело. Уг-Ломи окончил свой рассказ и готовился ко сну, а Эвдена сидела, прислушиваясь к незнакомым голосам неведомых зверей, и смотрела, как на востоке в темном небе забрезжила светлая полоса, возвещая восход луны. Внизу вела свой неумолчный разговор река и проходили неразличимые в темноте звери.

Постояв немного, медведь ушел, но через час возвратился. Затем, будто ему неожиданно пришло что-то в голову, он повернул и двинулся вверх по реке...

Ночь близилась к концу; Уг-Ломи спал. Поднялась ущербная луна и озарила высокий белый обрыв бледным, неверным светом; ущелье, где бежала река, оставалось в тени и стало как будто еще темнее. Наконец совсем незаметно, крадучись, неслышными шагами, по пятам лунного света пришел день. Эвдена взглянула на край обрыва над своей головой и второй раз и третий. Нет, она ничего не заметила на фоне светлого неба, и все же у нее возникло чувство, что там кто-то прячется. Костер становился все более багровым, покрывался серым налетом пепла, и уже можно было различить вертикальную струй-

ку дыма над ним, а в дальних концах ущелья все, что растворялось раньше во тьме, стало явственнее проступать в сером свете рождающегося дня. Она незаметно задремала.

Внезапно Эвдена вскочила на ноги и, запрокинув голову, настороженно стала оглядывать обрыв.

Она издала чуть слышный звук, и Уг-Ломи, который спал чутко, как зверь, в тот же миг проснулся. Он схватил топор и бесшумно подошел к ней.

Еще только светало, весь мир был окутан черными и темно-серыми тенями, и на небе еще замешкалась одна чуть видная звездочка. Уступ, на котором они стояли. представлял собой небольшую, шагов шесть в ширину и около двадцати в длину, покатую площадку; она поросла травой, и недалеко от края к небу тянулся крошечный кустик зверобоя. Под ними белый обрыв круто уходил вниз футов на пятьдесят, в заросли орешника, окаймлявшего реку. Ниже по течению склон становился более пологим и тощая травка покрывала его до самого гребня. Над ними на сорок — пятьдесят футов мел, как это обычно бывает, уходил вверх одной сплошной выпуклой массой, но сбоку от уступа тянулась почти вертикальная трещина, поросшая чахлыми кустами, цепляясь за которые Эвдена и Уг-Ломи поднимались и спускались с уступа.

Они стояли, застыв, как вспугнутые олени, напряженно вглядываясь и вслушиваясь. Сначала ничего не было слышно, потом из расселины донесся шорох осыпающейся земли и потрескивание веток.

Уг-Ломи крепче сжал топор и подошел к краю площадки, так как выпуклость склона над уступом заслоняла верхнюю часть трещины. И тут его сердце замерло от страха,— он увидел огромного пещерного медведя, который спускался, осторожно нащупывая плоской ступней точку опоры, и уже находился на полпути до уступа. Он был обращен к Уг-Ломи задом; цепляясь за выступы в скале и за кусты, медведь совсем распластался над обрывом, но выглядел от этого ничуть не меньше. От блестящего кончика носа до хвоста-огрызка он был длиной с целого льва и еще половину льва, длиной в двух высоких людей. Он поглядывал через плечо, и от усилия, с которым ему приходилось удерживать в равновесии свою

тяжелую тушу, его огромная пасть была широко разинута и язык вывалился наружу.

Он нащупал место, куда поставить лапу, и спустился еще на фут.

— Медведь,— сказал Уг-Ломи, обернувшись; лицо его было совсем белым.

Но Эвдена с ужасом в глазах указывала вниз.

У Уг-Ломи отвисла челюсть. Внизу, под ними, упершись большими передними лапами в скалу, стояла другая серо-коричневая громада — медведица! Не такая большая, как Энду, она все-таки была очень велика.

Внезапно Уг-Ломи вскрикнул и, схватив горсть разбросанных по уступу листьев папоротника, кинул их на покрытые серым пеплом угли костра.

— Брат Огонь! — закричал он.— Брат Огонь!

Выйдя из оцепенения, Эвдена стала тоже собирать листья.

— Брат Огонь, помоги! Помоги, Брат Огонь!

Жар еще теплился в сердце Брата Огня, но он погас, когда они его разбили.

— Брат Огонь! — кричали они.

Но он зашипел и умер — от него остался один пепел. Уг-Ломи затопал ногами от ярости и ударил по черному пеплу кулаком. А Эвдена принялась бить огненным камнем о кремень. Глаза их то и дело обращались к трещине, по которой спускался Энду.

— Брат Огонь!

Вдруг из-под выступа, который скрывал их от глаз медведя, показались его покрытые густой шерстью задние лапы. Он продолжал осторожно опускаться по почти вертикальному обрыву. Головы его еще не было видно, но они слышали, как он разговаривал сам с собой.

— Свинья и обезьяна,— бормотал он.— Это, должно быть, недурно.

Эвдена выбила искру и подула на нее; искра вспыхнула и... погасла. Тогда она бросила кремень и огненный камень и растерянно посмотрела вокруг.

Потом вскочила и стала карабкаться на обрыв над уступом. Как она удержалась там хотя бы мгновение,

трудно себе представить, так как обрыв поднимался совершенно отвесно и даже обезьяна не нашла бы, за что было уцепиться. Через несколько секунд, ободрав до крови руки, она снова соскользнула вниз.

Уг-Ломи метался по уступу, подбегая то к его краю, то к расселине. Он не знал, что делать, он ничего не мог придумать. Медведица казалась меньше своего супруга... куда меньше. Если они вместе бросятся на нее, один, может быть, останется в живых.

— Ух! — сказал медведь, и, обернувшись, Уг-Ломи увидел маленькие глазки Энду, устремленные на него из-за выступа.

Эвдена, съежившись от страха на другом конце площадки, завизжала, как пойманный заяц.

Когда Уг-Ломи услышал это, он словно обезумел. Подняв топор, он с громким криком бросился к Энду. Чудовище хрюкнуло от изумления. Через секунду он уцепился за куст прямо под медведем, а еще через мгновение, ухватившись за складку под его нижней челюстью, уже висел у него на спине, потонув в густом мехе. Медведь так был поражен этим дерзким нападением, что только и мог прижаться к скале. И тут топор, Первый Топор, гулко ударил его по черепу.

Медведь заворочал головой из стороны в сторону и раздраженно зарычал. Тут топор впился в кожу над левым глазом, и глаз залила горячая кровь. Наполовину ослепнув, зверь заревел от удивления и злости, и его зубы лязгнули в шести дюймах от лица Уг-Ломи. Но в это мгновение топор тяжело опустился на самую челюсть.

Следующий удар ослепил правый глаз и вызвал новый рев, теперь уже рев боли. Эвдена увидела, как огромная плоская ступня вдруг начала скользить и медведь тут же неуклюже прыгнул в сторону, как будто собираясь попасть на уступ. Затем все исчезло, и снизу донесся треск орешника, рев боли и перебивавшие друг друга крики и рычание.

Эвдена пронзительно взвизгнула и, кинувшись к краю площадки, поглядела вниз. На какой-то миг все смешалось в одну кучу — человек и медведи, но Уг-Ломи был сверху и в следующее мгновение одним прыжком достиг расселины и начал взбираться на уступ, а медведи про-

должали кататься среди кустарника, терзая друг друга. Однако топор Уг-Ломи остался внизу, а на его бедре багровели три красные полоски, заканчивавшиеся крупными каплями крови.

— Наверх! — закричал он, и Эвдена начала взбираться по трещине к вершине обрыва.

Вскоре они очутились в безопасности наверху — сердца гулко колотились у них в груди,— а Энду с супругой остались на дне ущелья. Энду сидел на задних лапах и быстро тер передними морду, пытался согнать с глаз слепоту, а взъерошенная медведица стояла в стороне, опираясь на все четыре лапы, и сердито рычала. Уг-Ломи кинулся плашмя на траву и, уткнув лицо в ладони, застыл; он тяжело дышал, из его ран струилась кровь.

Несколько мгновений Эвдена смотрела на медведей, затем подошла к Уг-Ломи, села рядом и устремила на него пристальный взгляд.

Вскоре она робко протянула руку и, прикоснувшись к его плечу, издала гортанный звук — его имя. Он повернулся и приподнялся на локте. Лицо его было бледно, как у тех, кто боится. Мгновение он пристально смотрел на нее и вдруг засмеялся.

— Ва! — сказал он, ликуя.

— Ва! — ответила она.

Примитивный, но выразительный разговор.

Уг-Ломи встал, затем опустился рядом с ней на четвереньки, заглянул вниз и внимательно осмотрел ущелье. Дыхание его стало ровным, кровь из ноги больше не сочилась, хотя рваные царапины от когтей медведицы еще не затянулись. Он присел на корточки и принялся разглядывать следы медведя-великана, ведшие к расселине,— они были шириной с его голову и в два раза длиннее. Потом вскочил на ноги и пошел вдоль края обрыва до того места, с которого мог увидеть уступ. Здесь он опустился на землю и задумался, а Эвдена смотрела на него. Вскоре она заметила, что медведи ушли.

Наконец Уг-Ломи поднялся, очевидно, приняв какое-то решение. Он вернулся к расселине, Эвдена подошла к нему, и они вместе спустились на уступ. Они взяли огненный камень и кремень, и затем очень осторожно Уг-

Ломи спустился в ущелье и отыскал свой топор. Стараясь как можно меньше шуметь, они поднялись наверх и быстрым шагом пошли прочь. Уступ больше не мог служить им убежищем, раз их стали навещать такие соседи. Уг-Ломи нес топор, Эвдена — огненный камень. Вот как просто переезжали на новую квартиру в эпоху палеолита!

Они шли вверх по течению реки, хотя это могло привести их прямо к логову медведя, но другого пути для них не было. В низовье жило их племя, а разве Уг-Ломи не убил Айю и Вау? А уйти от воды они не могли: ведь им надо было пить.

Они шли буковым лесом, а ущелье становилось все глубже, и вот уже река пенящимся потоком неслась в пятистах футах под ними. Из всех изменчивых вещей в нашем изменчивом мире меньше всего меняются направления рек, протекающих в глубоких лощинах. Это была река Уэй, река, которую мы знаем и сегодня; Эвдена и Уг-Ломи, первые люди, появившиеся в этой части земли, проходили по тем самым местам, где сейчас расположены города Гилдфорд и Годалминг. Один раз они заметили серую обезьяну — она прокричала что-то и скрылась, а всю дорогу вдоль края обрыва шел четкий след пещерного медведя-великана.

Внезапно след медведя свернул в сторону от обрыва, и Уг-Ломи подумал, что логовище, наверное, где-то слева. Они пошли дальше, вдоль обрыва, но вскоре им пришлось остановиться. Перед ними была огромная полукруглая выемка—некогда тут обвалился берег. Обвал перегородил ущелье, образовав запруду, которую река, разлившись, прорвала в одном месте. Обвал произошел давным-давно. Земля заросла травой, но стена скал над полукруглой площадкой внизу выемки оставалась белой и гладкой, как в тот день, когда часть берега оторвалась и сползла вниз. У подножия этой белой стены четко вырисовывались темные пасти пещер. И в то время как Уг-Ломи и Эвдена стояли, глядя на оползень и не испытывая особой охоты его огибать, так как думали, что медвежье логово расположено где-то слева, в том направлении, куда им придется идти, они вдруг увидели сначала одного, затем другого медведя, которые поднимались справа от них по травянистому склону и затем пе-

ресекли полукруглую площадку, направляясь к пещерам. Впереди шел Энду, немного прихрамывая на переднюю лапу, и вид у него был унылый; за ним, тяжело ступая, брела медведица.

Эвдена и Уг-Ломи попятились от края обрыва так, что им видны были только спины медведей. И тут Уг-Ломи остановился. Эвдена дернула его за плечо, но он отрицательно покачал головой, и она опустила руку. Уг-Ломи стоял, сжимая в руке топор и глядя на медведей, пока они не скрылись в пещере. Он еле слышно проворчал что-то и потряс топором вслед медведице. А затем, к ужасу Эвдены, вместо того, чтобы им потихоньку уйти вдвоем, Уг-Ломи лег на землю и пополз вперед до места, откуда была видна пещера. Это были медведи, а он держался так спокойно, будто подстерегал кроликов!

Он лежал в тени деревьев, весь в пятнах солнечного света, неподвижный, как поваленный ствол. Он думал. А Эвдена с детства знала, что когда Уг-Ломи застывал таким образом, подперев кулаками подбородок, вслед за тем случались небывалые вещи.

Пока он думал, прошло не менее часа. Настал полдень, когда два жалких человечка подошли к краю обрыва, нависшего над медвежьей пещерой. И до самого вечера они отчаянно сражались с огромным обломком известняка, вкатывая его голыми руками, с помощью одних только крепких мышц, вверх по склону из оврага, где он торчал, как шатающийся зуб. В добрых два обхвата, высотой Эвдене по пояс, он ощетинился острыми кремнями. К заходу солнца они установили его у края обрыва над входом в логово большого пещерного медведя.

В тот день беседа в пещере шла вяло. Медведица с обиженным видом — она любила лакомиться мясом кабанов и обезьян — дремала в углу, а Энду занимался тем, что лизал лапу и тер ею морду, чтобы охладить горящие раны. Потом он подошел к самому выходу из пещеры и сел там, щурясь здоровым глазом на вечернее солнце и размышляя.

— Никогда в жизни я не был так поражен,— проговорил он наконец.— Какие страшные звери! Напасть на меня!

— Мне они не нравятся,— отозвалась позади него из темноты медведица.

— Более хилых зверей мне никогда не приходилось видеть. И куда это только идет мир! Лапы тощие, как былинки... И как это они не замерзают зимой?

— Очень вероятно, что и замерзают,— сказала медведица.

— Я думаю, это что-то вроде неудавшейся обезьяны.

— Разновидность,— обронила медведица.

Молчание.

— Его успех — чистый случай,— снова начал Энду.— Такие вещи иногда бывают.

— Нет, я все-таки не понимаю, почему ты его отпустил,— проворчала медведица.

Вопрос этот уже неоднократно обсуждался и был решен. Поэтому Энду, умудренный жизненным опытом, на время умолк. Затем перевел разговор на другую тему:

— У него что-то вроде когтя... длинный коготь, сначала он торчал из одной лапы, потом из другой. Всего один коготь. Очень странные звери. У них есть еще такая яркая штука... как блеск, что ходит днем по небу... Только она прыгает... Право, стоит посмотреть. У этой штуки есть корень... И еще она похожа на траву в ветреный день.

— Она кусается? — поинтересовалась медведица.— Если кусается, какая ж это трава!

— Нет... не знаю,— сказал Энду.— Но, во всяком случае, любопытная штука.

— Хотела бы я знать, действительно ли они вкусные,— вздохнула медведица.

— На вид — да,— ответил Энду плотоядно. Пещерный медведь, подобно белому, был убежденным хищником: корни и мед его не интересовали.

Некоторое время медведи молча размышляли, затем Энду снова принялся лечить свой глаз. Солнечные блики на зелени склона перед входом в пещеру становились все золотистее, пока не достигли теплого багряно-янтарного тона.

— Странная это штука — день,— заметил пещерный медведь,— и чересчур длинная, по-моему. Совсем не го-

дится для охоты, всегда слепит мне глаза. И чую куда хуже, чем ночью.

Вместо ответа из темноты донесся хруст. Медведица грызла кость. Энду зевнул.

— Ну что ж,— сказал он.

Подойдя ко входу в пещеру, он высунул наружу голову и стал обозревать окрестность. Он обнаружил, что для того, чтобы увидеть что-нибудь справа от себя, ему приходится поворачивать всю голову. «Ну, к завтрашнему дню глаз, без сомнения, будет видеть, как раньше!» — решил Энду.

Он снова зевнул. Над его головой послышался легкий шорох, и с обрыва сорвалась большая глыба известняка; упав в трех футах от его носа, она разлетелась на дюжину неравных осколков. Энду даже подпрыгнул от неожиданности.

Немного придя в себя, он приблизился к обломкам и с любопытством стал их обнюхивать. У них был особенный запах, странным образом вызвавший в его памяти двух светло-коричневых зверьков с уступа. Энду сел, тронул лапой самый большой обломок, затем несколько раз обошел вокруг него, высматривая, нет ли здесь где-нибудь человека.

Когда наступила ночь, Энду отправился вниз по ущелью разведать, не удастся ли ему полакомиться хоть одним из тех, кто жил на уступе. Однако уступ оказался пуст, от красной штуки не осталось и следа, и так как в эту ночь он был голоден, то долго там не мешкал, а поспешил дальше на поиски олененка. О коричневых зверьках он забыл. Энду нашел олененка, но рядом с ним паслась его мать, и она отчаянно защищала детеныша. Ему пришлось оставить олененка, но лань была так разъярена, что продолжала драться, пока наконец Энду не ударил ее лапой по носу и не убил. Мяса в ней, правда, было больше, но зато оно не отличалось нежностью. Медведица, которая шла за ним следом, тоже получила свою долю.

На другой день, как это ни странно, сверху на него упал в точности такой же белый камень и разбился вдребезги таким же образом, как и предыдущий.

Однако третий, свалившийся на следующий вечер, попал в цель; он ударил по толстому черепу Энду с такой

силой, что по ущелью прокатилось эхо, а осколки брызнули во все стороны. Медведица вышла за ним следом, с любопытством повела носом и тут увидела, что Энду лежит как-то странно, а голова у него мокрая и бесформенная. Медведица была молодая, неопытная, поэтому, пофыркав и несколько раз его лизнув, она решила оставить его в покое, пока у него не пройдет это непонятное настроение, и отправилась на охоту одна.

Она искала детеныша той лани, которую они убили два дня назад, и нашла его. Но ей показалось скучно охотиться одной без Энду, и она повернула к дому еще до того, как начало светать. Небо, покрытое тучами, хмурилось, черные деревья в глубине ущелья казались незнакомыми, и в ее медвежьем мозгу зашевелилось смутное предчувствие беды. Она громко позвала Энду по имени. Отозвалось ей только эхо.

Подходя к пещерам, она заметила в полумраке двух шакалов и услышала затихающий топот; вслед за тем раздался вой гиены, и несколько неуклюжих теней тяжело побежали вверх по склону, а затем остановились и стали насмехаться.

— Властелин скал и пещер, я-ха! — донес ветер их пронзительный крик.

Уныние, охватившее медведицу, перешло вдруг в острую тоску. Она затрусила к логову.

— *Я-ха!* —визжали гиены, отступая.— *Я-ха!*

Пещерный медведь лежал уже не так, как раньше, над ним успели потрудиться гиены, и в одном месте изпод шерсти белели ребра. Вся трава вокруг него была усеяна обломками известняка. И в воздухе стоял запах смерти.

Медведица остановилась как вкопанная. Даже сейчас она не могла поверить, что великий Энду, удивительный Энду убит. И тут она услышала над головой какой-то звук, странный звук, похожий немного на крик гиены, но не такой пронзительный и высокий. Она взглянула вверх; ее маленькие, ослепленные разгоравшимся рассветом глазки почти ничего не видели, ноздри трепетали. Там, на краю обрыва, высоко над ней, на розовом фоне утренней зари чернели два небольших косматых шарика — головы Эвдены и Уг-Ломи,— люди осыпали ее насмешками. Разглядеть их как следует она не могла, но слышала хоро-

шо и начала что-то смутно понимать. В ее сердце закралось незнакомое раньше чувство страха перед грозящей неведомой опасностью.

Она принялась рассматривать обломки, разбросанные вокруг Энду. Несколько минут она стояла неподвижно, глядя вокруг и издавая низкое протяжное рычание, почти стон. Затем, все еще не веря, снова подошла к Энду, чтобы в последний раз попытаться его разбудить.

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ ВСАДНИК

До того как на свет появился Уг-Ломи, у диких лошадей не бывало с людьми никаких недоразумений. Жили они далеко друг от друга: люди — в чащах и в низинах по берегам рек, лошади — на открытых пастбищах, где росли каштаны и сосны. Случалось, лошадь, отбившись от табуна, попадала в трясину, и скоро кремневые ножи уже кромсали ее тушу, случалось, люди находили растерзанного львом жеребенка и, отогнав шакалов, пировали, пока солнце стояло высоко. Эти древние лошади были серовато-коричневой масти, с тяжелыми бабками, большой головой и жесткими хвостами. Каждую весну, когда равнины покрывались сочной травой, они приходили сюда с юго-востока, вслед за ласточками и перед бегемотами. Приходили небольшими табунами: жеребец, две-три кобылы и один или два сосунка; и у каждого табуна было свое пастбище, которое он покидал, когда начинали желтеть каштаны и с гор Уилдна спускались волки.

Паслись лошади обычно на открытых местах, прячась в тень только в самое жаркое время дня. Они избегали зарослей боярышника и бука, предпочитая отдельные группы деревьев, где можно было не опасаться засады и приблизиться к ним незаметно было очень трудно. Они не вступали в бой с врагом — копыта и зубы пускались в ход только в схватке между соперниками-жеребцами,— но на открытых равнинах их не мог догнать никто, кроме, пожалуй, слона, если бы ему вздумалось за ними погнаться. А человек в те дни казался со-

вершенно безобидной тварью. Ничто не предсказало предкам нашей лошади, какое тяжкое рабство предстоит ее потомкам, им не являлись пророческие видения хлыста, шпор и вожжей, тяжелых грузов и скользких мостовых, вечного голода и живодерен — всего того, что ожидало их вместо широкого раздолья лугов и полной свободы.

В болотистых низовьях Уэй Уг-Ломи и Эвдене никогда не случалось видеть лошадей близко, но теперь они каждый день встречали их, когда выходили на охоту из своего убежища на уступе. Они вернулись на уступ после того, как Уг-Ломи убил Энду: медведицы они не боялись. Медведица сама боялась их и, когда чуяла поблизости, сворачивала в сторону. Они повсюду ходили вместе; с тех пор как они ушли от племени, Эвдена стала не столько его женщиной, сколько его подругой; она даже научилась охотиться — в той мере, конечно, в какой это доступно женщине. Да, она была несравненной женщиной. Уг-Ломи мог часами лежать, подстерегая зверя или обдумывая какую-нибудь новую уловку, а она сидела рядом, устремив на него блестящие глаза и не надоедая ему глупыми советами,— безмолвно, как мужчина. Необыкновенная женщина!

Над обрывистым берегом расстилался луг, дальше начинался буковый лес, а за ним тянулась холмистая равнина, где паслись лошади. Здесь, на опушке леса, в папоротнике было много кроличьих нор. И Эвдена с Уг-Ломи часто лежали под перистыми листьями, держа наготове метательные камни и дожидаясь заката, когда зверьки покидают норы, чтобы щипать траву и играть в лучах заходящего солнца. Но если Эвдена, вся внимание, молча смотрела на облюбованную нору, Уг-Ломи то и дело переводил взгляд на удивительных животных, пасшихся на зеленой равнине.

Сам того не сознавая, он восхищался их грацией, быстротой и ловкостью. Вечером, на закате, когда дневная жара спадала, они, повеселев, с громким ржанием, потрясая гривами, принимались гоняться друг за другом и порой проносились так близко, что топот копыт звучал, словно частые раскаты грома. Это было прекрасно, и Уг-Ломи хотелось самому поскакать вместе с ними. Иногда какая-нибудь из лошадей начинала кататься по зем-

-ле, брыкаясь всеми четырьмя ногами, что выглядело, конечно, куда менее привлекательно, скорее даже страшно.

Пока Уг-Ломи, лежа в засаде, следил за лошадьми, в его уме роились какие-то смутные видения, и в результате два кролика избежали неминуемой смерти. А во сне, когда видения становились ярче, а дух смелее — так бывало и в те времена,— он подходил к лошадям и сражался с ними, камень против копыта; но потом лошади превращались в людей, вернее, в людей с лошадиными головами, и Уг-Ломи просыпался весь в холодном поту от страха.

И вот однажды утром, в то время как лошади щипали траву, одна из кобыл предостерегающе заржала, и все они увидели Уг-Ломи, который приближался к ним с подветренной стороны. Перестав жевать, они смотрели на него. Уг-Ломи двигался не прямо к ним, а с безразличным видом наискось пересекал луговину, глядя на что угодно, только не на лошадей. В его спутанных волосах торчали три листа папоротника, придавая ему весьма странный вид; шел он очень медленно.

— Это еще что такое? — спросил Вожак Табуна, жеребец, отличавшийся умом, но не умудренный жизненным опытом.

— Больше всего это похоже на переднюю половину зверя,— продолжал он,—передние ноги есть, а задних нет.

— Это всего лишь одна из розовых обезьян,— отозвалась Старшая Кобыла,— которые живут по берегам рек. На равнинах их водится сколько угодно.

Уг-Ломи, незаметно меняя направление, продолжал приближаться к ним. Старшую Кобылу поразило отсутствие смысла в его действиях.

— Дурак,— заявила она свойственным ей безапелляционным тоном и снова принялась щипать траву. Вожак Табуна и Вторая Кобыла последовали ее примеру.

— Гляньте-ка, он уже близко,— сказал Полосатый Жеребенок.

Один из сосунков забеспокоился. Уг-Ломи присел на корточки и, не отрываясь, смотрел на лошадей.

Через некоторое время он убедился, что лошади не собираются ни спасаться бегством, ни нападать на него.

Он стал раздумывать, как ему быть дальше. Особого желания убивать он не испытывал, но топор его лежал рядом, и в нем заговорила охотничья страсть. Как убить одно из этих животных, этих громадных, великолепных животных?

Эвдена, с боязливым восхищением наблюдавшая за ним из-за папоротников, увидела, что он встал на четвереньки и снова двинулся вперед. Но лошадям он больше нравился двуногим, чем четвероногим, и Вожак Табуна, вскинув голову, отдал приказ перейти на другое место. Уг-Ломи уже думал, что ему их больше не увидеть, но лошади, ринувшись галопом вперед, описали широкую дугу и остановились, втягивая ноздрями воздух. Потом, так как Уг-Ломи оказался скрыт от них небольшим холмиком, они построились гуськом — Вожак Табуна впереди — и, все суживая и суживая круги, стали к нему приближаться.

Лошади не знали, чего можно ожидать от Уг-Ломи, а Уг-Ломи не знал, на что способны лошади. И, насколько можно судить, он испугался. Его опыт говорил ему, что, если бы он подкрался таким образом к оленю или буйволу, они напали бы на него. Как бы то ни было, Эвдена увидела, что он вскочил на ноги и, держа в руке листья папоротника, медленно пошел к ней.

Она встала ему навстречу, и он улыбнулся, чтобы показать, что получил от всего этого большое удовольствие, и сделал как раз то, что и собирался сделать. Так окончилась эта встреча. Но до самого вечера Уг-Ломи о чем-то раздумывал.

На следующий день это глупое светло-коричневое существо с львиной гривой, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом — щипать траву или охотиться, опять, крадучись, бродило вокруг лошадей. Старшая Кобыла считала, что он не заслуживает ничего, кроме молчаливого презрения.

— Я думаю, он хочет чему-нибудь от нас научиться,— сказала она.— Пусть учится.

На третий день он снова принялся за свои штуки. Вожак Табуна решил, что у него нет никаких определенных намерений. На самом же деле, намерения Уг-Ломи, первого из людей, почувствовавшего то странное обаяние, какое имеет для нас лошадь и по сей день, были весьма

определенны. Лошади казались ему пределом совершенства. Боюсь, что в нем таились задатки сноба и ему хотелось быть поближе к этим прекрасным созданиям. Кроме того, в нем бродило смутное желание убить одно из них. Если бы только они подпустили его к себе! Но они, как он заметил, установили границу в пятьдесят шагов. Если он подходил ближе, они с достоинством удалялись. Пожалуй, мысль о том, чтобы вскочить одной из них на спину, подсказало ему воспоминание о том, как он ослепил Энду.

Спустя некоторое время Эвдена тоже стала выходить на равнину, и они вместе подкрадывались к лошадям, насколько те позволяли, но этим дело и ограничивалось. И вот в один знаменательный день Уг-Ломи пришла в голову новая мысль. Лошадь смотрит вниз или прямо перед собой, но никогда не смотрит вверх. Ни одно животное не станет смотреть вверх, для этого у него слишком много здравого смысла. Только это нелепое создание — человек тратит время попусту, глазея на небо. Уг-Ломи не делал никаких философских умозаключений, он просто заметил, что это так. Поэтому он провел утомительный день, сидя на буке, одиноко стоявшем на лугу, а Эвдена подкрадывалась к лошадям со стороны леса. Обычно лошади после полудня прятались от солнца в тень, но небо было покрыто тучами, и, несмотря на все старания Эвдены, лошади к дереву не подошли.

И только два дня спустя желание Уг-Ломи осуществилось. Нависла гнетущая жара, тучи мух носились в воздухе. Лошади перестали пастись еще до полудня и, укрывшись в тень бука, на котором сидел Уг-Ломи, стояли парами, положив головы друг другу на круп и отгоняя хвостами мух.

Копыта Вожака Табуна давали ему право стоять у самого ствола. Внезапно раздался шелест, затем треск, и на спину ему с глухим стуком свалилось что-то тяжелое... Остроотточенный кремень впился ему в щеку. Вожак Табуна покачнулся, припал на одно колено, затем подпрыгнул и понесся, как ветер. Вихрем взметнулись ноги, замелькали копыта, раздался испуганный храп. Уг-Ломи был подброшен на целый фут в воздух, опустился на спину жеребца, снова был подброшен, сильно ударился животом, и тут его колени обхватили что-то плотное.

Он уцепился руками и ногами и почувствовал, что, удивительным образом качаясь из стороны в сторону, он с невероятной быстротой несется по воздуху, а топор его кто знает где!

«Держись крепче»,— сказал ему Отец Инстинкт, и так он и сделал.

Лицо его тонуло в густых жестких волосах, которые набивались ему даже в рот; он видел, как из-под ног убегает покрытая травой земля. Перед его глазами было плечо Вожака Табуна, широкое, лоснящееся, с мягко перекатывающимися мускулами под кожей. Он понял, что руки его обвивают шею жеребца, и заметил, что отчаянные толчки повторяются довольно ритмично.

Стремительно неслись мимо стволы деревьев, затем веера папоротника и снова открытый луг. А там под быстрыми копытами замелькали камни,— мелкие камешки косыми брызгами отскакивали далеко в стороны. Голова Уг-Ломи отчаянно кружилась, его стало мутить, но он был не из тех, кто отступает от задуманного, испугавшись неудобств.

Разжать колени он не решался, но попробовал устроиться половчее. Отпустив шею, он схватился за гриву, потом подтянул колени вперед и, выпрямившись, заметил, что сидит на том месте спины, где она начинает расширяться. Это было нелегко, но он все-таки добился своего: хотя он тяжело дышал и чувствовал себя не очень уверенно, по крайней мере его перестало так страшно трясти.

Понемногу Уг-Ломи собрался с мыслями. Быстрота, с которой они неслись, казалась ему чудовищной, но обуявший его поначалу безумный ужас стал уступать место чувству, близкому к восторгу. В лицо ему бил свежий ветер, стук копыт изменил ритм, потом вновь стал прежним. Они мчались сейчас по широкой прогалине в буковой роще, посреди серебряной лентой извивался ручеек, там и сям проглядывавший из сочной зелени, где звездами пестрели розовые цветы. Вот в голубой дымке промелькнула перед ним долина — далеко-далеко. Восторг его все возрастал. Впервые человек познал, что такое скорость.

Мелькнула поляна — пасшиеся на ней лани бросились врассыпную при их приближении, а два шакала, по

ошибке приняв Уг-Ломи за льва, поспешили за ним вслед. Когда они убедились, что это не лев, они все-таки продолжали бежать за ними дальше из любопытства. Жеребец несся вперед и вперед, обуреваемый одним желанием — убежать, а за ним, навострив уши, бежали шакалы, обмениваясь отрывистыми замечаниями.

— Кто кого убивает? — пролаял первый.

— Этот убивает лошадь,— ответил второй.

Они издали вой, который подействовал на жеребца, как в наши дни — шпоры, ибо так воют шакалы, когда следуют за львом.

Все вперед и вперед, как маленький смерч среди ясного дня, мчались они, вспугивая птиц, заставляя множество разных зверьков стремительно кидаться в норы, поднимая в воздух тысячи негодующих навозных мух, втаптывая блаженствующие под солнцем цветы в землю, из которой они вышли. Снова деревья, а затем, разбрызгивая воду, они пересекли поток; вот у самых копыт Вожака Табуна из травы выскочил заяц, и шакалы их сразу покинули. Вскоре они снова вырвались из леса на простор покрытых травой холмов — тех самых меловых холмов, которые можно разглядеть с ипподрома в Эпсоме.

Вожак Табуна давно уже перестал так бешено мчаться, как вначале. Он перешел на размеренную рысь, и Уг-Ломи, хотя он весь был в синяках и ссадинах и не знал, что его ждет впереди, чувствовал себя наверху блаженства. Но тут дело вдруг обернулось по-новому. Вожак Табуна опять переменил аллюр, описал небольшую дугу и остановился, как вкопанный.

Уг-Ломи насторожился. Он пожалел, что у него не было с собой камня,— метательный кремень, который он привязывал к кремню, опоясывавшему его талию, остался, как и топор, неизвестно где. Вожак Табуна повернул голову, и Уг-Ломи увидел его глаза и зубы. Он убрал подальше ноги и ударил жеребца около глаза. В тот же миг голова исчезла из виду, а спина, на которой он сидел, взлетела кверху, изогнувшись в дугу. Уг-Ломи снова перестал мыслить и подчинялся только велениям Инстинкта, который говорил «цепляйся». Он обхватил бока жеребца коленями и ступнями, но его голова опустилась к

самой траве. Его пальцы вцепились в густую жесткую гриву, и это его спасло. Скат, на котором он сидел, выровнялся и тут же...

— Ух! — выдохнул пораженный Уг-Ломи, когда его опрокинуло на спину.

Однако Уг-Ломи был на тысячу поколений ближе к природе, чем современный человек: никакая обезьяна не могла бы уцепиться крепче. А лев давным-давно отучил лошадей опрокидываться на спину и кататься по земле. Правда, лягался жеребец мастерски и довольно ловко вскидывал задом. Пять минут показались Уг-Ломи вечностью. Он не сомневался, что жеребец убьет его, стоит ему упасть.

Затем Вожак Табуна решил применить прежнюю тактику и внезапно пустился в галоп. Он стремительно мчался вниз по крутому склону, не сворачивая ни вправо, ни влево, и по мере того, как они спускались, широко раскинувшаяся перед ними долина постепенно скрывалась из виду за приближавшимся авангардом дубков и боярышника. Вот они обогнули заросшую буйной травой ложбину, где между серебристыми кустами из земли пробивался родник. Почва делалась все сырее, трава — все выше, то и дело стали попадаться кусты шиповника, еще усеянные поздними цветами. Вскоре они очутились в сплошных зарослях, и ветки хлестали их так, что кровь выступила на коже и у человека и у лошади. Затем путь снова расчистился.

И тут случилось удивительное происшествие. В кустах вдруг раздался злобный вопль, пронзительный вопль обиды и возмущения. И, с треском ломая сучья, за спиной у них появилась огромная серо-голубая туша. Это был Яаа, свирепый носорог; в припадке беспричинной ярости, которые нередко у него бывают, он ринулся прямо на них во всю мочь, как это обычно делают носороги. Прервали его трапезу, и поэтому кому-нибудь — неважно кому — нужно было вспороть брюхо, кого-нибудь надо было затоптать ногами. Он приближался к ним слева; его маленькие злые глазки налились кровью, толстый рог опустился к земле, хвост торчал кверху. В первое мгновение Уг-Ломи готов был уже соскользнуть с лошади и спрятаться в кустах, но тут... дробь копыт участилась, и носорог, торопливо перебиравший короткими ногами-

тумбами, казалось, начал пятиться, и Уг-Ломи потерял его из виду. Через минуту кусты шиповника остались позади, и они вновь понеслись по открытой равнине. Сзади еще слышался тяжелый топот, но постепенно он затих, и Яаа словно вовсе не впадал в ярость, словно Яаа вообще не было на свете.

И все тем же стремительным аллюром они летели вперед и вперед.

Уг-Ломи ликовал. А ликовать в те дни значило поносить побежденного.

— Я-ха! Большой нос! — закричал Уг-Ломи, выворачивая шею, чтобы увидеть далеко позади крошечное пятнышко — своего преследователя. — Почему ты не носишь свой метательный камень в кулаке? — закончил он и испустил победный клич.

Это оказалось ошибкой. Неожиданный крик у самого уха напугал жеребца. Он метнулся в сторону, и Уг-Ломи внезапно снова очутился в самом неудобном положении, удерживаясь только одной рукой и коленом.

Остаток пути Уг-Ломи выдержал с честью, хотя удовольствия не получил. Ему не видно было ничего, кроме голубого неба, и ощущения при этом были самые неприятные. В конце концов его хлестнуло веткой шиповника, и он разжал пальцы.

Он ударился о землю скулой и плечом и, перекувырнувшись в воздухе, снова ударился — на этот раз копчиком. У него из глаз посыпались искры. Ему чудилось, что земля под ним скачет, как лошадь. Затем он увидел, что сидит на траве, а кустарник остался в пяти шагах позади. Впереди расстилался луг, чем дальше, тем более сочный и зеленый, и виднелось несколько человеческих фигур; а жеребец несся быстрым галопом далеко справа.

Люди находились на той стороне реки, но и те, кто был на берегу и кто бродил по воде, теперь со всех ног бросились от него прочь. Невиданное чудовище, на их глазах развалившееся надвое, было новинкой, которая пришлась им не очень по вкусу. Почти минуту Уг-Ломи сидел и смотрел на них безучастным взглядом. Излучина реки, холм среди зарослей тростника и чистоцвета, тонкие, тянувшиеся к небу струйки дыма — все это ему хорошо знакомо. Он очутился рядом со становищем племени

Айи — Айи, от которого убежали они с Эвденой, Айи, которого он подстерег среди молодых каштанов и убил Первым Топором.

Уг-Ломи поднялся на ноги, все еще ошеломленный падением, и тут бегущие люди остановились и стали его разглядывать. Некоторые указывали пальцем на удалявшегося жеребца и быстро что-то говорили. Уг-Ломи пошел прямо на них, не отводя взгляда. Он забыл про жеребца, забыл о своих ушибах,— эта встреча казалась ему все более интересной. Людей было меньше, чем раньше,— остальные, должно быть, попрятались, подумал он, — и куча папоротника у огня, приготовленная на ночь, выглядела не такой высокой. У груды кремней должен сидеть Вау... Но тут он вспомнил, что он убил Вау. Теперь, когда перед ним вдруг встало это знакомое зрелище, ущелье, медведи и Эвдена словно ушли в далекое прошлое, в мир сновидений.

Уг-Ломи остановился на берегу и стоял, глядя на своих соплеменников. Его математические способности находились в самом зачаточном состоянии, но он был прав: людей действительно стало меньше. Мужчины могли быть на охоте, но куда девались женщины и дети? Он издал приветственный крик. Он ведь враждовал с Айей и Вау — не с ними.

— Дети Айи! — закричал он.

В ответ они называли его имя, немного робко, напуганные тем, как он появился.

Некоторое время они говорили все разом. Потом их заглушил пронзительный голос одной из старух.

— Наш властелин — Лев! — крикнула она.

Уг-Ломи не понял ее слов. И тогда ему крикнули несколько голосов сразу:

— Айя вернулся. Он теперь Лев. Наш властелин — Лев. Он приходит по ночам. Он убивает, кого захочет. Но никто другой не смеет нас убивать, Уг-Ломи, никто другой!

Уг-Ломи все еще не понимал.

— Наш властелин — Лев. Он больше не говорит с людьми.

Уг-Ломи внимательно смотрел на них. Это ему снилось уже... Он знал, что, хотя он убил Айю, Айя все еще жив. И вот теперь они говорят ему, что Айя — Лев.

Сморщенная старуха, Старшая Хранительница Огня, внезапно повернулась и тихо сказала что-то тем, кто стоял с ней рядом. Она была очень стара, эта женщина — первая из женщин Айи, которой он дозволил жить дольше того возраста, до которого подобало оставлять в живых женщину. Она всегда отличалась хитростью, знала, как угодить Айе и раздобыть пищу. И теперь к ней все обращались за советом... Она тихо что-то говорила, а Уг-Ломи из-за реки смотрел на ее сгорбленную фигуру с необъяснимой неприязнью. Затем она громко позвала:

— Иди к нам, Уг-Ломи!

За ней закричала девушка:

— Иди к нам, Уг-Ломи!

И все принялись хором звать:

— Иди к нам, Уг-Ломи!

После того, как с ними поговорила старуха, они все как-то странно переменились.

Уг-Ломи стоял неподвижно и смотрел на них. Ему было приятно, что его позвали, а девушка, первая позвавшая его, была красива. Но она напомнила ему об Эвдене.

— Иди к нам, Уг-Ломи! — кричали они, и сгорбленная старуха — громче всех. При звуке ее голоса он снова заколебался.

Он стоял на берегу реки, Уг-Ломи — Уг-Думающий, и медленно его мысли обретали форму. А люди замолкали, один за другим, ожидая, что он сделает. Ему хотелось пойти к ним, ему хотелось повернуться и уйти. Наконец страх, а может быть, осторожность взяли верх, и, не ответив им, он повернулся и пошел по направлению к боярышнику тем самым путем, каким попал сюда. Увидев это, все племя стало еще громче звать его к себе. Он заколебался и повернул было, затем снова пошел вперед, опять оглянулся, раз-другой, в глазах его отразилась тревожная нерешительность,— его все еще продолжали звать. Потом он сделал два шага назад, но его удержал страх. Они видели, как он еще раз остановился, затем вдруг тряхнул головой и исчез в кустах боярышника.

Тогда женщины и дети сделали последнюю попытку и хором прокричали его имя, но все было напрасно.

Ниже по течению реки, там, где легкий ветерок шевелил камыш, поближе к своей новой добыче, устроил логово лев, ставший на старости лет людоедом.

Старуха повернулась туда лицом и указала рукой на заросли боярышника.

— Айя,— пронзительно закричала она,— вон идет твой враг! Вон идет твой враг, Айя! Почему ты пожираешь наших людей каждую ночь? Мы старались завлечь его в западню! Вон идет твой враг, Айя!

Но лев, облюбовавший их племя, отдыхал после еды, и крик ее остался без ответа. В тот день лев пообедал довольно толстой девушкой и пребывал в состоянии полнейшего благодушия. К тому же он не понимал, что он — Айя, а Уг-Ломи — его враг.

Вот так Уг-Ломи проскакал верхом на лошади и впервые услышал об Айи-Льве, который появился вместо Айй-Властелина и пожирал людей его племени. И в то время, как он спешил к ущелью, все мысли его были заняты не лошадьми, а тем, что Айя все еще жив, что он может убить или быть убитым. Снова и снова он видел перед собой поредевшую кучку женщин и детей, кричавших, что Айя стал львом.

Айя стал львом!

Но тут, боясь, что его застигнут сумерки, Уг-Ломи пустился бегом.

ГЛАВА IV

АЙЯ-ЛЕВ

Старому льву повезло. Племя даже гордилось своим властелином, но этим и ограничивалась вся радость, которую они от него получали. Появился он в ту самую ночь, когда Уг-Ломи убил Айю-Хитреца, и поэтому они дали ему имя Айи. Первой назвала его так старуха Хранительница Огня. В ту ночь ливень почти погасил костер, и стало совсем темно. И вот, когда люди переговаривались, вглядывались в темноте друг в друга и со страхом размышляли о том, что сделает умерший Айя, явившись к ним во сне, вдруг где-то совсем рядом заревел лев. Потом все стихло.

Они затаили дыхание; теперь слышен был только шум дождя да шипение капель на углях. А затем, через целую вечность,— треск, крик ужаса и рычание. Они вскочили на ноги и с визгом и воплями заметались взад-вперед; но головешки не разгорались, и через мгновение лев уже волок свою жертву через папоротник. Это был Ирк, брат Вау.

Так пришел лев.

На следующую ночь папоротник еще не успел просохнуть после дождя, а лев явился снова и унес рыжего Клика. Льву хватило его на две ночи, а затем во время новолуния лев приходил три ночи подряд, несмотря на то, что костры горели хорошо. Лев был старый, со сточенными от времени зубами, но опытный и хладнокровный охотник; с кострами за свою долгую жизнь он встречался и раньше: сыны Айи были не первыми людьми, которые питали его старость. Он прошел между двумя кострами, перескочил через кучу кремней и сбил с ног Ирма, сына Ирка, который, судя по всему, мог стать вождем племени. Эта ночь была страшной, они зажгли большие пучки папоротника и носились с пронзительными криками, так что лев даже выпустил свою жертву. При свете костра они увидели, что Ирм с трудом поднялся на ноги и пробежал несколько шагов им навстречу, но в два прыжка лев настиг его снова. И не стало Ирма.

Так пришел страх, и весна перестала их радовать. Племя уже недосчитывало пяти человек, а через четыре ночи было покончено еще с тремя. Поиски пищи потеряли для них всякий интерес, никто не знал, чья очередь завтра. Весь день женщины, даже любимые жены, без отдыха собирали ветки и сучья для костра. Охотники охотились плохо, и теплой весной к людям подкрался голод, словно все еще стояла зима. Будь у них вождь, они бы ушли с этого места, но вождя не было, и никто не знал, куда уйти, чтобы лев не нашел их. Старый лев жирел и благодарил небо за вкусное людское племя. Двое детей и юноша погибли еще до полнолуния, и вот тогда-то сгорбленная старуха Хранительница Огня в первый раз вспомнила во сне об Эвдене и Уг-Ломи и о том, как был убит Айя. Всю жизнь она жила в страхе перед Айей, а теперь — в страхе перед львом. Она не могла поверить, чтобы Уг-Ломи — тот самый Уг-Ломи, который родился

на ее глазах,— совсем убил Айю... Лев — это Айя, он рыщет в поисках своего врага!

А потом — внезапное и такое странное возвращение Уг-Ломи: далеко за рекой громадными скачками неслось какое-то удивительное животное и вдруг развалилось надвое — на лошадь и человека. И вслед за этим чудом на том берегу — Уг-Ломи... Да, все стало для нее ясно. Айя наказывал их за то, что они не поймали Уг-Ломи и Эвдену.

Золотой шар солнца еще висел в небе, когда мужчины один за другим вернулись к ожидавшим их превратностям ночи. Их встретили рассказами об Уг-Ломи. Старуха пошла вместе с ними на другой берег и показала им следы, говорившие о нерешительности. Сисс-Следопыт признал в отпечатке ногу Уг-Ломи.

— Айя ищет Уг-Ломи! — размахивая руками, кричала старуха, стоя над излучиной, и фигура ее, как бронзовое изваяние, пламенела в лучах заката. Нечленораздельные крики, вылетавшие у нее из горла, лишь отдаленно напоминали человеческую речь, но смысл их был ясен: «Льву нужна Эвдена. Ночь за ночью он приходит в поисках Эвдены и Уг-Ломи. Когда он не может найти Эвдены и Уг-Ломи, он сердится и убивает. Ищите Эвдену и Уг-Ломи. Эвдену, которую он выбрал для себя, и Уг-Ломи, которому он сказал слово смерти. Ищите Эвдену и Уг-Ломи!»

Она повернулась к тростниковым зарослям, как когда-то поворачивалась к Айе.

— Разве не так, мой повелитель? — закричала она.

И, словно в ответ, высокий тростник наклонился под порывом ветра.

Уже давно спустились сумерки, а в становище все еще слышен был стук камня о дерево. Это мужчины оттачивали ясеневые копья для завтрашней охоты. А ночью, перед самым восходом луны, пришел лев и утащил женщину Сисса-Следопыта.

Рано утром, когда еще солнце не взошло, Сисс-Следопыт, и молодой Вау-Хау, который теперь обтачивал кремни, и Одноглазый, и Бо, и Пожиратель Улиток, и Два Красноголовых, и Кошачья Шкура, и Змея — все оставшиеся в живых мужчины из сыновей Айи, взяв копья и колющие камни и наполнив метательными

камнями сделанные из лап животных мешочки, отправились по следу Уг-Ломи. Они шли через заросли боярышника, где пасся Яаа-Носорог со своими братьями, и по голой равнине, вверх, к буковым лесам на холмах.

В эту ночь, когда занялся молодой месяц, яркое пламя костров поднималось высоко в небо и лев не тронул скорчившихся на земле от страха женщин и детей.

А на следующий день, когда солнце стояло еще в зените, охотники вернулись — все, кроме Одноглазого, который с проломленным черепом лежал мертвый под уступом. (Когда Уг-Ломи вернулся в этот вечер к обрыву после целого дня выслеживания лошадей, он увидел, что над Одноглазым уже трудились стервятники.) Охотники вели с собой Эвдену, раненую, в кровоподтеках, но живую. Таков был странный приказ старухи — привести ее живой. «Это добыча не для нас, она для Айи-Льва». Руки Эвдены были стянуты ремнями, как будто охотники захватили мужчину, а не слабую женщину; слипшиеся от крови волосы падали ей на глаза, она еле держалась на ногах. Охотники окружили ее со всех сторон, и время от времени Пожиратель Улиток, получивший от нее свое прозвище, с хохотом бил ее ясеневым копьем. И всякий раз он оглядывался через плечо, словно пугаясь собственной смелости. Остальные тоже то и дело оглядывались, и все, кроме Эвдены, очень спешили. Когда старуха их увидела, она громко закричала от радости.

Они заставили Эвдену перебираться через реку со связанными руками, несмотря на быстрое течение, и, когда она поскользнулась, старуха завизжала, сперва со злорадством, потом от страха, что Эвдена утонет. А когда Эвдену вытащили на берег, как ее ни били, она не могла встать. Так они оставили ее сидеть там — ее ноги касались воды, глаза глядели в пространство, а лицо оставалось неподвижным, что бы они ни говорили и ни делали. Все племя, даже маленькая кудрявая Хаха, только-только начавшая ходить, спустилось из становища к реке и стояло, во все глаза глядя на Эвдену и на старуху,— так мы смотрели бы сейчас на какого-нибудь диковинного раненого зверя и на того, кто его изловил.

Старуха сорвала с шеи Эвдены ожерелье и надела его на себя,— она первой когда-то носила его. Потом она

вцепилась Эвдене в волосы и, выхватив у Сисса копье, изо всех сил стала ее бить. Излив свою злобу, она пристально посмотрела девушке в лицо. Глаза Эвдены были закрыты, все черты заострились, и лежала она так неподвижно, что на миг старуха испугалась, не мертва ли она. Но тут ноздри Эвдены вздрогнули. Увидев это, старуха захохотала и ударила ее по лицу, а потом отдала копье Сиссу и, отойдя в сторону, принялась кричать и насмехаться над девушкой, как она одна это умела.

Старуха знала слов больше, чем кто-либо в племени. И слушать ее было страшно. Ее вопли и визг казались совсем бессвязными, и в гортанных выкриках проскальзывала лишь слабая тень мысли. И все же Эвдена поняла, что ее ожидает,— узнала про Льва и про муки, которые он ей причинит.

— А Уг-Ломи! Ха-ха! Уг-Ломи убит?

И тут глаза Эвдены раскрылись, она приподнялась и села, и спокойно посмотрела прямо в глаза старухи.

— Нет,— медленно выговорила она, как бы пытаясь что-то припомнить.— Я не видела моего Уг-Ломи убитым. Я не видела моего Уг-Ломи убитым.

— Скажите ей! — закричала старуха.— Скажи ей тот, кто его убил. Скажи, как был убит Уг-Ломи.

Она переводила взгляд с одного мужчины на другого, а вслед за ней и остальные женщины и дети.

Ей никто не ответил. Они стояли, пристыженно понурившись.

— Скажите ей,— повторила старуха.

Мужчины переглянулись.

Лицо Эвдены озарилось радостью.

— Скажите ей, — сказала она.— Скажите ей, могучие охотники! Скажите, как был убит Уг-Ломи.

Старуха, размахнувшись, ударила Эвдену по губам.

— Мы не могли найти Уг-Ломи,— пробормотал Сисс-Следопыт.— Кто охотится за двумя, не убьет ни одного.

Сердце Эвдены затрепетало от счастья, но она сумела скрыть то, что чувствовала. И так было лучше: быстрый взгляд, брошенный старухой, красноречиво говорил, что ей несдобровать бы.

Тогда старуха обрушила свой гнев на мужчин за то, что они побоялись выследить Уг-Ломи. С тех пор как не стало Айи, она больше никого не боялась. Старуха бранила их, как глупых детей. А они, поглядывая на нее с хмурым видом, сваливали вину друг на друга. А потом Сисс-Следопыт вдруг громким голосом велел ей замолчать.

Когда солнце стало клониться к закату, они повели Эвдену — хотя их сердца леденил страх — по тропе, которую проложил в тростниках старый лев. Ее вели все мужчины племени. Увидев рощицу ольхи, они торопливо привязали Эвдену к стволу, чтобы лев легко нашел ее, когда в сумерки выйдет из своего логова, а затем опрометью побежали обратно и остановились только у самого становища. Первым остановился Сисс и посмотрел назад, на деревья. Из становища была видна голова Эвдены — маленькое черное пятно под суком самой большой ольхи. Это получилось очень удачно.

Все женщины и дети собрались на вершине холма посмотреть на нее. А старуха кричала, чтобы лев пришел за той, кого искал, давала ему советы, какие причинить ей муки.

Эвдена совсем обессилела от побоев, усталости и горя, и только ужас перед тем, что ее ожидало, не давал ей забыться. Вдали между стволами каштанов висело огромное кроваво-красное солнце, небо на западе пылало огнем; вечерний ветерок стих, и в теплом воздухе разлилось спокойствие. Над головой у нее роилась мошкара, по временам рядом в реке всплескивалась рыба, и слышалось гудение пролетающего майского жука. Краем глаза Эвдена видела часть холма и маленькие фигуры стоявших там и глазевших на нее людей. И слышала хотя очень слабый, но отчетливый стук камня о камень — это высекали огонь. Рядом с ней, тихий и неподвижный, темнел тростник, где устроил свое логово лев.

Вскоре удары огненного камня прекратились. Эвдена подняла глаза и увидела, что солнце уже зашло, над ее головой все ярче сияет молодой месяц. Эвдена посмотрела туда, где находилось логово льва, силясь разглядеть что-нибудь в тростнике, а затем вдруг стала метаться, со слезами призывая Уг-Ломи.

Но Уг-Ломи был далеко. Когда стоявшие на холме увидели, что Эвдена пытается освободиться, они громко закричали, и она снова застыла в неподвижности. Вскоре в воздухе замелькали летучие мыши, а звезда, похожая на Уг-Ломи, тихонько вышла из своего синего убежища на западе. Эвдена позвала ее, только шепотом, так как боялась льва. Но за все время, пока на землю спускалась ночь, тростник не шелохнулся.

Мрак окутал Эвдену, и луна засияла ярче; все тени, которые убежали вверх по холму, а затем с наступлением вечера совсем исчезли, вернулись к своим хозяевам, короткие и черные. В зарослях тростника и под ольхой, где обитал лев, стали собираться неясные существа и началось какое-то еле слышное движение. Но тьма сгущалась, а оттуда никто не выходил.

Эвдена посмотрела на становище и увидела дымные огни костров и людей, сновавших вокруг. В другой стороне, за рекой, курился белый туман. Откуда-то долетел жалобный визг лисят и пронзительный вопль гиены.

Время от времени она забывалась в напряженном ожидании. Спустя долгое время через реку с плеском перебралось какое-то животное и вышло на берег, выше логова, но кто это был, ей разглядеть не удалось. Она слышала, как к далекому водопою шумно спускались слоны,— такой тихой была ночь.

Земля потеряла все свои краски, превратившись в узор светлых пятен и непроницаемо-черных теней под синим небом. На серебряном серпе опускавшейся за лес луны тонким кружевом вырисовывались верхушки деревьев, а на востоке, над скрытыми тенью холмами, высыпали мириады звезд. Костры на холме горели теперь ярким пламенем, и на их фоне видны были стоявшие в ожидании фигуры. Они ждали вопля... Теперь уж, конечно, ждать оставалось недолго.

Внезапно ночь наполнилась движением. Эвдена затаила дыхание. Кто-то проходил мимо — одна, две, три бесшумно крадущихся тени — шакалы.

И снова долгое ожидание.

А затем, покрывая все звуки, которые ей чудились, в тростнике раздался шорох и отчаянная возня. Послы-

шался треск. Тростник захрустел еще и еще раз — а затем все стихло, и только через равные промежутки времени что-то со свистом рассекало воздух. Прозвучало глухое жалобное рычание, и вновь все смолкло. Тишина больше не прерывалась — неужели ей не будет конца? Эвдена, затаив дыхание, кусала губы, чтобы не закричать. Но тут по кустам что-то пробежало, и невольный крик вырвался из ее груди. Ответного хора криков с холма она не услышала.

В тростнике снова кто-то с треском задвигался. При свете заходящей луны Эвдена увидела, как заколыхался тростник, задрожали стволы ольхи. Она начала яростно вырываться из пут — последняя попытка. Но к ней никто не приблизился. Ей казалось, что по этому маленькому клочку земли носится не меньше десятка чудовищ, а потом вновь наступила тишина. Луна скрылась за дальним каштановым лесом, и мрак стал непроницаемым.

Затем послышался странный звук, словно прерывистое дыхание и всхлипывание — оно все учащалось и ослабевало. Опять тишина, и снова неясные звуки и храп какого-то животного.

И опять все смолкло. Далеко к востоку затрубил слон, из лесу донеслись рычание и вой, которые вскоре замерли.

Снова выглянула луна; теперь она светила сквозь стволы деревьев на гребне холма, посылая на поросшую тростником низину две широкие полосы света, разделенные полосой мрака. Раздался мерный шелест, всплеск, тростники закачались, раздвинулись в стороны и наконец расступились от корней до самых верхушек. Все кончено!

Эвдена напрягала зрение, стараясь рассмотреть, кто выйдет из тростника. На какое-то мгновение она как будто увидела, как и ждала, огромную голову с открытой пастью, затем голова съежилась, очертания ее изменились. Это было что-то темное, невысокое, безмолвное... но это был не лев. Вот оно застыло, и все кругом застыло. Эвдена прищурилась. Это существо походило на огромную лягушку — две лапы и за ними наклонно вытянутое тело. Голова поворачивалась из стороны в сторону, как будто оно всматривалось в темноту.

Раздался шорох, и оно неуклюжими толчками двинулось вперед и тихо застонало.

К сердцу Эвдены вдруг теплой волной прихлынула радость.

— Уг-Ломи! — шепнула она.

Существо остановилось.

— Эвдена,— тихо ответил Уг-Ломи, всматриваясь в чащу ольхи; в голосе его слышалось страдание.

Он снова двинулся вперед и выполз из тени в полосу лунного света. Все его тело было в темных пятнах. Она увидела, что он волочит ноги, а в руке сжимает свой топор. Первый Топор. Вот он с трудом поднялся на четвереньки и, пошатываясь, приблизился к ней.

— Лев! — произнес он голосом, в котором торжество странно смешивалось с болью.— Ва! Я убил льва. Вот этой рукой. Я убил его, как и большого медведя.

Он хотел жестом подкрепить свои слова и тут же, чуть слышно вскрикнув, замолк. Некоторое время он не двигался.

— Развяжи меня,— прошептала Эвдена.

Он ничего не ответил, но, уцепившись за ствол дерева, приподнялся с земли и принялся перерубать ее путы острым концом топора. Она слышала, что при каждом взмахе из его горла вырывается сдавленный стон. Он разрезал ремни, стягивавшие ей грудь и кисти, но тут его рука упала. Ударившись грудью о ее плечо, он соскользнул к ее ногам и замер.

Однако теперь она и сама могла освободиться. Торопливо сбросив путы, Эвдена отошла от дерева, и у нее закружилась голова. Она сделала шаг к Уг-Ломи — ее последнее сознательное движение,— пошатнулась и упала. Ее пальцы коснулись его бедра. Что-то мягкое и мокрое подалось под ее рукой. Уг-Ломи громко вскрикнул, дернулся от боли и снова затих.

Вскоре из тростника бесшумно вышла какая-то тень, похожая на собаку. Она остановилась, потянула носом воздух, постояла в нерешительности и, наконец, крадучись, снова ушла в темноту.

Очень долго они лежали неподвижно в свете заходящей луны. Медленно, так медленно, как клонилась луна к закату, надвигалась на них со стороны холмов

тень тростника. Она легла на их ноги, и от Уг-Ломи остались только посеребренные лунным светом плечи и голова. Тень наползла на его шею, покрыла лицо, и вот уже мрак ночи поглотил их обоих.

В темноте слышалось какое-то движение, легкие шаги, тихое рычание... удар.

В эту ночь женщины и дети в становище не сомкнули глаз, пока не услышали крика Эвдены. Но мужчины устали и сидя подремывали. Когда Эвдена закричала, они, решив, что теперь им ничто не угрожает, поспешили занять места поближе к огню. Старуха, услышав крик, засмеялась; засмеялась она еще и потому, что заплакала Си, маленькая подружка Эвдены. Как только забрезжил рассвет, все поднялись и стали смотреть туда, под деревья. Убедившись, что Эвдены там нет, они обрадовались: наконец-то Айя умиротворен. Но радость мужчин омрачалась мыслью об Уг-Ломи. Они понимали, что такое месть — ведь месть существовала в мире испокон веков,— но мысль о возможности подвергнуться опасности ради другого еще не приходила им в голову.

Вдруг из зарослей выскочила гиена и помчалась через тростники. Ее морда и лапы были в темных пятнах. При виде гиены все мужчины закричали и, схватив метательные камни кинулись ей наперерез — ведь нет животного трусливее, чем гиена днем. Люди ненавидели гиен, потому что они уносили детей и кусали тех, кто ложился спать далеко от костра. Кошачья Шкура, метко бросив камень, попал гиене прямо в бок, и все племя восторженно завопило.

Когда раздался их крик, в логове льва послышалось хлопанье крыльев, и в воздух медленно поднялись три белоголовых стервятника. Описав несколько кругов, они снова опустились на ветви ольхи над логовом.

— Наш властелин ушел,— сказала старуха, указывая на них.— Стервятники тоже поживились Эвденой.

Птицы еще посидели на дереве, потом вновь слетели вниз.

Между тем на востоке, из-за леса, расцвечивая мир и пробуждая его к жизни, как ликующие звуки фанфар, хлынул свет восходящего солнца. Дети хором закричали, захлопали в ладоши и, обгоняя друг друга, помчались к реке. Только маленькая Си не побежала с ними и недоуменно смотрела на деревья, где она накануне видела голову Эвдены.

Но Айя, старый лев, никуда не ушел. Он лежал совсем тихо, свалившись на бок, и лежал не в логове, а в нескольких шагах от него, на измятой траве. Под глазом виднелась запекшаяся кровь — слабый укус Первого Топора. Но вся земля вокруг была испещрена яркими ржаво-красными пятнами, а на груди у льва темнела рана, нанесенная острым копьем Уг-Ломи. Стервятники уже оставили свои отметины на его боку и шее.

Ибо Уг-Ломи убил льва, когда, поверженный его лапой на землю, он ткнул наудачу копьем ему в грудь и, собрав все силы, пронзил сердце великана. Так окончил свое царствование лев, второе воплощение Айи-Властелина.

На холме шумно готовились к охоте — оттачивали копья и метательные камни. Никто не произносил имени Уг-Ломи, боясь этим вызвать его. Мужчины решили в ближайшие дни во время охоты держаться вместе, тесной кучкой. И охотиться они собирались на Уг-Ломи, чтобы он не напал на них первым.

Но Уг-Ломи, безмолвный, неподвижно лежал неподалеку от логова льва, а Эвдена сидела подле него на корточках, сжимая в руке копье, обагренное львиной кровью.

ГЛАВА V

БИТВА У ЛЬВИНОГО ЛОГОВА

Уг-Ломи лежал, привалившись спиной к стволу ольхи, и на его бедро — сплошное кровавое месиво — страшно было смотреть. Ни один цивилизованный человек не выжил бы, получив такие тяжелые ранения. Но Эвдена дала ему шипы, чтобы стянуть рану и сидела возле него, днем отгоняя мух пучком тростника, ночью

топором отпугивая гиен. И скоро Уг-Ломи стал поправляться. Лето было в самом разгаре, и дожди давно не выпадали. В первые два дня, пока раны Уг-Ломи еще не затянулись, они почти ничего не ели. В низине, где они укрылись, не было ни съедобных корней, ни маленьких зверьков, а река, в которой водились улитки и рыба, протекала на открытом месте, шагах в ста от них. Отойти далеко Эвдена не могла, так как днем боялась людей племени, своих братьев и сестер, а ночью — диких зверей, угрожавших жизни Уг-Ломи. Поэтому они делили со стервятниками останки льва. Зато поблизости пробивался из земли родничок, и Эвдена поила Уг-Ломи водой из пригоршни.

Место, где они нашли себе приют, было надежно укрыто от племени густым ольховником и окружено высоким тростником. Мертвый лев лежал на истоптанной траве у своего логова, в пятидесяти шагах от них, и они видели его сквозь стебли тростника. Стервятники сражались над трупом за лучшие куски и не подпускали к нему шакалов. Скоро над ним нависло облако огромных, с пчелу, мух, и до слуха Уг-Ломи доносилось их гудение. И когда раны Уг-Ломи начали заживать — а на это понадобилось не так уж много времени,— от льва осталась только кучка отполированных белых костей.

Днем Уг-Ломи то неподвижно сидел, глядя в одну точку, иногда часами бормоча что-то о лошадях, медведях и львах, то ударял по земле своим Первым Топором, называя имена людей своего племени,— он, казалось, ничуть не боялся, что это привлечет их сюда. Но большую часть дня он спал, почти без сновидений,— из-за потери крови и скудной пищи. Короткие летние ночи оба они бодрствовали. И пока не наступал рассвет, вокруг них двигались какие-то существа — существа, которых они никогда не видели днем. Гиены первое время не появлялись, а затем в одну безлунную ночь их пришло сразу около десятка, и они устроили драку из-за костей льва. Ночь наполнилась воем и хохотом, и Уг-Ломи с Эвденой слышно было, как трещат кости у них на зубах. Но они знали, что гиены осмеливаются нападать только на мертвых и спящих, и поэтому не очень боялись.

Днем Эвдена иногда пробиралась к излучине реки по узкой тропе, проложенной старым львом в тростниках, и, спрятавшись в зарослях, смотрела, что делается в становище. Она лежала неподалеку от дерева, к которому ее привязали, отдавая в жертву льву, и видела маленькие фигурки у костра так же отчетливо, как и в ту ночь. Но она редко рассказывала Уг-Ломи о том, что видела, так как боялась привлечь людей в свое убежище. В те дни верили, что назвать живое существо — значило позвать его.

Она видела, как на следующее утро после того, как Уг-Ломи убил льва, мужчины готовили копья и метательные камни и затем ушли на охоту, оставив женщин и детей в становище. Когда охотники, вытянувшись гуськом, во главе с Сиссом-Следопытом двинулись к холмам на поиски Уг-Ломи, они и не подозревали, что он совсем рядом. Эвдена смотрела, как после ухода мужчин женщины и старшие дети собирали ветки и листья для костра, как играли и резвились мальчики и девочки. Но при виде старой Хранительницы Огня ей становилось страшно. Незадолго до полудня, когда почти все спустились к реке, она вышла на обращенный к Эвдене склон холма и стояла там — скрюченная коричневая фигура,— размахивая руками, так что Эвдена решила было, что ее заметили. Эвдена лежала, как заяц в ложбинке, не отрывая блестящих глаз от сгорбленной ведьмы, и в конце концов смутно поняла, что старуха возносит моленья льву — тому льву, которого убил Уг-Ломи.

На следующий день вернулись усталые охотники и принесли молодого оленя, и Эвдена с завистью смотрела на их пир. А затем произошло что-то непонятное. Она совершенно ясно видела и слышала, как старуха кричит, машет руками и указывает прямо на нее. Она испугалась и, как змея, уползла подальше в тростник. Но все же любопытство превозмогло, и она вернулась на прежнее место. Когда она выглянула между стеблями, сердце у нее перестало биться: все мужчины, держа в руках оружие, шли с холма прямо к ней.

Она не смела шевельнуться, чтобы движением не выдать себя, и только еще плотнее приникла к земле. Солнце стояло низко, и его золотые лучи били в лица

охотников. Она увидела, что они несут надетый на ясеневое копье кусок жирного окровавленного мяса. Вскоре они остановились.

— Дальше! — завизжала старуха.

Кошачья Шкура заворчал, но они пошли дальше, вглядываясь в заросли ослепленными глазами.

— Здесь! — сказал Сисс, и они всадили в землю ясеневое копье с куском мяса.

— Айя, — закричал Сисс, — вот твоя доля! А Уг-Ломи мы убили, правда, мы убили Уг-Ломи. Сегодня мы убили Уг-Ломи, а завтра принесем тебе его тело.

И остальные повторили его слова.

Охотники посмотрели друг на друга, оглянулись и боком попятились от зарослей. Сперва они шли медленно, затем повернулись к холму и только оглядывались через плечо, убыстряя шаг; скоро они уже бежали и, наконец, помчались, перегоняя друг друга. Только у самого холма Сисс, бежавший позади всех, первый замедлил шаг.

Солнце закатилось, спустились сумерки, костры на фоне подернутых голубоватой дымкой далеких каштановых лесов казались ярко-красными, и голоса на холме звучали весело. Эвдена лежала не шевелясь, поглядывая то на холм, то на мясо, то снова на холм. Она была голодна, но прикоснуться к мясу боялась. Наконец она потихоньку вернулась к Уг-Ломи.

Услышав, как под ногами ее тихо зашуршали листья, он обернулся. Лицо его было в тени.

— Ты принесла мне еду? — спросил он.

Она ответила, что ничего не могла найти, но поищет еще, и пошла обратно по львиной тропе, пока снова не увидела холм, но принудить себя взять мясо она не могла: смутный инстинкт заставлял ее остерегаться ловушки. Эвдена почувствовала себя очень несчастной.

Она прокралась обратно к Уг-Ломи и услышала, как он ворочается и стонет. Тогда она снова повернула к холму; возле мяса в темноте что-то шевелилось, и, всмотревшись пристальнее, она разглядела шакала. Вмиг страха Эвдены как не бывало: рассердившись, она выпрямилась во весь рост, громко крикнула и кинулась к жертвенному дару. Но споткнулась, упала и услышала, что шакал с рычанием убежал.

Когда она поднялась, только ясеневое копье лежало на земле, а мясо исчезло. И вот она пошла обратно, чтобы всю ночь страдать от голода вместе с Уг-Ломи; Уг-Ломи очень сердился, что она не принесла поесть, но она ничего ему не рассказала о том, что видела.

Прошло еще два дня, и они совсем изголодались, но тут племя убило лошадь. С той же церемонией на ясеневом копье у зарослей была оставлена задняя нога, но на этот раз Эвдена не колебалась.

Помогая себе жестами, она рассказывала обо всем Уг-Ломи, но он понял, что она говорит, только когда доел почти все мясо. А тогда он очень развеселился.

— Я — Айя, — сказал он. — Я — Лев. Я — Большой Пещерный Медведь. Я, который раньше был просто Уг-Ломи. Я — Хитрый Вау. Это хорошо, что они меня кормят, потому что скоро я всех их убью!

Сердце Эвдены наполнилось радостью, и она смеялась вместе с ним, а потом, довольная, доела остатки лошадиного мяса.

И вот после этого Уг-Ломи приснился сон, и на следующий день он велел Эвдене принести ему львиные зубы и когти — столько, сколько она сможет найти,— и вырезать ему из ольхи дубинку. Он очень искусно вставил зубы и когти в дерево так, что острые концы торчали наружу. Это заняло у него много времени, и, вколачивая зубы в дерево, он затупил два из них и очень рассердился и бросил всю эту штуку прочь; но после, с трудом волоча тело, он подполз туда, куда кинул ее, и доделал дубинку; она вышла совсем не похожей на прежние — вся утыканная зубами. В тот день они опять ели мясо, принесенное племенем в жертву льву.

Как-то раз (с тех пор как Уг-Ломи сделал новую дубинку, дней прошло больше, чем пальцев у человека на руках, больше, чем можно сосчитать) Эвдена, пока он спал, лежала в зарослях и смотрела на становище. Уже три дня им не приносили мяса. Но старуха пришла и возносила моления льву, как обычно. А в это время Си, маленькая подружка Эвдены, и еще одна девочка — дочь первой женщины, которую любил Сисс, — спустились по склону холма и стояли, глядя на ее костлявую фигуру, а

затем принялись ее передразнивать. Эвдене это показалось очень забавным. Но тут старуха вдруг обернулась и увидела их. На миг все они застыли неподвижно, затем старуха с криком ярости бросилась на детей, и все трое исчезли за гребнем холма.

Но вот девочки снова появились в папоротниках на склоне. Маленькая Си бежала впереди, она была легка на ногу, но другую, визжавшую от страха, старуха уже почти настигла. В это время на холме показался Сисс с костью в руке, за ним почтительно следовали Бо и Кошачья Шкура, каждый с куском мяса, и увидев, как разъярена старуха, они разразились смехом и криками. Старуха схватила девочку, испустившую жалобный вопль, и стала ее бить, а девочка громко плакала, и все это было для мужчин хорошим послеобеденным развлечением. Маленькая Си отбежала еще на несколько шагов и остановилась — страх боролся в ней с любопытством.

Но тут появилась мать девочки, всклокоченная, запыхавшаяся, с камнем в руке. Старуха повернулась к ней, как разъяренная кошка. Несмотря на свои годы, она еще могла потягаться с молодой, она — Главная Хранительница Огня; но, прежде чем она успела замахнуться, Сисс закричал на нее, и поднялся невероятный шум. Из-за гребня вынырнуло еще несколько лохматых голов. Эвдена поняла, что все племя сейчас находилось в становище и пировало. Старуха не посмела больше бить ребенка, который находился под защитой Сисса.

Все кричали и бранились, даже маленькая Си. Внезапно старуха выпустила девочку и бегом кинулась к Си, потому что за Си некому было заступиться. Си только в последний миг догадалась, какая ей грозит опасность, и, вскрикнув от ужаса, очертя голову бросилась от старой ведьмы, не разбирая дороги, прямо к логову льва. Но тут же, увидев, куда она бежит, свернула в сторону, к тростникам.

Однако это была поистине удивительная старуха, столь же проворная, как и злая. Она поймала Си за развевавшиеся волосы в тридцати шагах от Эвдены. А все племя со смехом и криками бежало вниз с холма в предвкушении интересного зрелища.

Сердце Эвдены дрогнуло, какое-то неведомое чувство шевельнулось в ней и, думая только о Си, совсем забыв

о страхе перед племенем, она выскочила из своего убежища и бросилась к девочке. Старуха ее не видела, она в упоении хлестала маленькую Си по лицу, и вдруг что-то твердое и тяжелое ударило ее в щеку. Она зашаталась и, обернувшись, увидела Эвдену, раскрасневшуюся, со сверкающими гневом глазами. Старуха взвизгнула от изумления и ужаса, а маленькая Си, так и не поняв, что произошло, стремглав пустилась бежать к пораженным людям своего племени. Они были теперь совсем рядом, появление Эвдены заставило их забыть и без того уже угасший страх перед львом.

В один миг Эвдена, бросив съежившуюся от страха старуху, догнала Си.

— Си! — закричала она. — Си!

Она подхватила остановившуюся на бегу девочку, прижала к себе ее исцарапанное ногтями личико и кинулась назад к своему логову, логову старого льва. Старуха стояла, по пояс скрытая тростником, и ожесточенно поносила Эвдену, но не осмелилась преградить ей путь. На повороте Эвдена оглянулась и увидела, что мужчины криками сзывают друг друга, а Сисс рысцой бежит по проложенной львом тропе.

Эвдена помчалась по узкому проходу в тростнике прямо к тому месту, где был Уг-Ломи. Нога его уже заживала; разбуженный криками, он сидел под деревом и тер глаза. Она подбежала к нему, его женщина, с маленькой Си на руках. Она задыхалась от страха.

— Уг-Ломи! — закричала она. — Уг-Ломи, племя идет!

Уг-Ломи оторопело смотрел на нее и на Си.

Не спуская девочку с рук, Эвдена указала назад. В своем скудном запасе слов она пыталась найти те, которые объяснили бы ему, что случилось. Она слышала, как перекликались мужчины. Должно быть, они остановились перед тростниковыми зарослями. Эвдена опустила Си на землю, схватила новую дубинку, утыканную львиными зубами, и вложила ее Уг-Ломи в руку, затем быстро подняла с земли лежавший в стороне Первый Топор.

— О,— сказал Уг-Ломи, взмахнув над головой новой палицей, но тут он наконец все понял и, перевернувшись на живот, напряг свои силы и встал.

Но стоял он не очень уверенно. Держась одной рукой за дерево, он только чуть касался земли больной ногой. В другой руке он сжимал палицу. Он взглянул на свое заживающее бедро; внезапно тростник зашелестел, затих, зашелестел снова, и, опасливо пригнувшись, подняв над головой обожженное на огне ясеневое копье, на тропе появился Сисс. Встретившись взглядом с Уг-Ломи, он замер.

Уг-Ломи забыл о ране в бедре. Он твердо встал на обе ноги. На землю упала капля. Он глянул вниз и увидел, что из подживающей раны сочится кровь. Он смочил кровью ладонь, чтобы крепче ухватить палицу, и снова посмотрел на Сисса.

— Ва! — закричал он и прыгнул вперед. Сисс настороженно следил за ним и быстрым движением метнул снизу в Уг-Ломи копье. Но оно только вспороло кожу на руке, поднятой для защиты, и в тот же миг палица опустилась — встречный удар, который Сиссу не суждено было оценить. Как бык под обухом мясника, он свалился к ногам Уг-Ломи.

Бо тоже ничего не понял. До этого он считал себя в безопасности: с двух сторон высокие стены тростника, а между ним и Уг-Ломи неодолимая преграда — Сисс. По пятам за Бо следовал Пожиратель Улиток, так что и сзади опасаться было нечего. Бо был готов следовать за Сиссом, предоставив ему победу или смерть. Таково было его место, место Второго мужчины. И вот он увидел, как толстый конец копья в руках у Сисса взметнулся и исчез, затем раздался глухой удар, широкая спина впереди рухнула, и он оказался лицом к лицу с Уг-Ломи, отделенным от него только телом простертого на земле вожака. Сердце Бо покатилось в пропасть. Он держал в одной руке метательный камень, в другой копье, но Уг-Ломи не дал ему времени решить, что из них пустить в ход.

Пожиратель Улиток был проворней, к тому же Бо, когда утыканная зубами палица опустилась ему на голову, не свалился ничком, как Сисс, а медленно осел на землю. Пожиратель Улиток быстро метнул копье прямо вперед и попал Уг-Ломи в плечо, а затем с отчаянным криком больно ударил его колющим камнем по другой руке. Палица, не задев врага, со свистом рассекла воздух и вре-

залась в тростник. Эвдена увидела, как Уг-Ломи, шатаясь, сделал несколько шагов назад из узкого прохода на прогалину и, споткнувшись о тело Сисса, упал; из плеча его на целый фут торчало древко ясеневого копья. И тут Пожиратель Улиток, которому она еще девочкой дала это прозвище, получил от нее смертельную рану: когда вслед за копьем из зарослей тростника появилось его сияющее торжеством лицо, Эвдена, с молниеносной быстротой взмахнув Первым Топором, угодила ему прямо в висок, и он свалился на Сисса рядом с распростертым на земле Уг-Ломи.

Однако Уг-Ломи не успел еще подняться, когда из тростника выскочили два брата Красноголовых — с копьями и камнями наготове, а сразу за ними — Змея. Одного Красноголового Эвдена ударила по шее, но свалить его ей не удалось; покачнувшись, он только помешал удару своего брата, который целился Уг-Ломи в голову. Уг-Ломи мгновенно бросил палицу, схватил своего противника поперек тела и со всего размаха швырнул на землю. Затем снова сжал в руке палицу. Красноголовый, которого чуть не сшибла с ног Эвдена, тут же поднял на нее копье, и, уклоняясь от удара, она невольно отступила в сторону. Он заколебался, не зная, кинуться ли на нее или на Уг-Ломи, повернул голову и испуганно вскрикнул, увидев того совсем рядом,— через мгновение Уг-Ломи уже сжимал его горло, и палица получила свою третью жертву. Когда он упал, Уг-Ломи издал крик — крик торжества.

Второй из Красноголовых лежал спиной к Эвдене в нескольких шагах от нее, и по голове его текли струйки, еще более красные, чем его волосы. Он пытался встать на ноги. Эвдена думала только о том, чтобы помешать ему подняться, она кинула в него топор, но промахнулась и увидела, как он повернул и, обежав маленькую Си, помчался сквозь тростник. На мгновение на тропе показался Змея, но тут же она увидела его спину. В воздухе мелькнула палица, и Эвдена заметила, как лохматая, с запекшейся на волосах кровью голова Уг-Ломи нырнула в заросли вслед за Змеей. И тут же раздался его пронзительный, почти женский визг.

Пробежав мимо Си к папоротнику, где торчала рукоятка топора, Эвдена, еле переводя дыхание, обернулась и

вдруг увидела, что на поляне, кроме нее, осталось только три бездыханных тела. Воздух звенел от криков и воплей. Голова у нее кружилась, перед глазами все плыло, но тут ее пронзила мысль, что на львиной тропе убивают Уг-Ломи, и, с невнятным возгласом перескочив через тело Бо, она помчалась вслед за Уг-Ломи. Поперек тропинки лежали ноги Змеи, его голова была скрыта в тростнике. Эвдена бежала, пока тропинка не повернула и не вывела ее на открытое место возле ольхи, и тут она увидела, что оставшиеся в живых люди племени бегут к становищу, рассыпавшись по склону, словно сухие листья, гонимые ветром. Уг-Ломи уже настигал Кошачью Шкуру.

Но быстроногий Кошачья Шкура ускользнул от него; не смог он догнать и молодого Вау-Хау, хотя преследовал его, пока не очутился далеко за холмом. Уг-Ломи был полон воинственной ярости, а кусок копья, застрявший у него в плече, действовал на него, как шпора. Убедившись, что ему не угрожает опасность, Эвдена остановилась и, тяжело дыша, смотрела, как вдалеке маленькие фигурки поспешно взбегают на холм и одна за другой скрываются за его гребнем.

Скоро она снова оказалась в одиночестве. Все произошло удивительно быстро. Дым Брата Огня ровным столбом поднимался над становищем к небу, точь-в-точь как еще недавно, когда старуха стояла на склоне, вознося моления льву.

Ей показалось, что прошло очень много времени, прежде чем Уг-Ломи снова показался на вершине холма. Тяжело переводя дыхание, он с торжествующим видом подошел к Эвдене, стоявшей на том самом месте, где несколько дней назад племя оставило ее в жертву льву. Волосы падали ей на глаза, лицо горело, в руке она сжимала окровавленный топор.

— Ва! — закричал Уг-Ломи и потряс в воздухе палицей, теперь красной от крови, с налипшими волосами. Он с признательностью посмотрел на бившуюся вместе с ним Эвдену. И она, взглянув на него, сияющего от счастья, почувствовала, как слабость разливается по ее телу, и заплакала и засмеялась.

При виде ее слез сердце Уг-Ломи сжала какая-то непонятная ему сладкая боль. Но он только громче крик-

нул: «Ва!» — и потряс топором. Как подобает мужчине, он велел Эвдене следовать за собой и, размахивая палицей, большими шагами направился к становищу, словно он никогда не уходил от племени; перестав плакать, Эвдена торопливо пошла за ним, как и подобает женщине.

Так Уг-Ломи и Эвдена вернулись в становище, из которого за много дней до того убежали от Айи. Возле костра лежал наполовину съеденный олень, точь-в-точь как это было до того, как Уг-Ломи стал мужчиной, а Эвдена — женщиной. И вот Уг-Ломи сел и принялся есть, и Эвдена села рядом с ним, как равная, а все племя смотрело на них из безопасных убежищ. Через некоторое время одна из старших девочек, робея, пошла к ним с маленькой Си на руках, и Эвдена позвала их и предложила им пищи. Но девочка испугалась и не захотела подходить к ним близко, хотя Си рвалась от нее к Эвдене. А потом, когда Уг-Ломи кончил есть, он задремал и наконец заснул, и мало-помалу все остальные вышли из своих убежищ и приблизились к ним. И когда Уг-Ломи проснулся, все (если не считать того, что нигде не было видно мужчин) выглядело так, будто он никогда и не покидал племени.

И вот что странно, хотя так это и было: пока Уг-Ломи сражался, он забыл о раненой ноге и не хромал, но, после того как он отдохнул, он стал хромым и хромал до конца своих дней.

Кошачья Шкура, и второй из Красноголовых братьев, и Вау-Хау, который искусно обтачивал кремни, как это делал раньше его отец, убежали от Уг-Ломи, и никто не знал, куда они скрылись. Но через два дня они пришли и, сидя на корточках поодаль в папоротнике под каштанами, смотрели на становище. Уг-Ломи хотел было их прогнать, но гнев его уже остыл, и он не тронулся с места, и на закате они ушли. В тот же день они набрели в папоротнике на старуху, там, где Уг-Ломи наткнулся на нее, когда преследовал Вау-Хау. Она лежала мертвая и в смерти стала еще безобразнее, но тело ее не было тронуто. Шакалы и стервятники, отведав, оставили ее — она была поистине удивительной старухой!

На следующий день мужчины пришли снова и сели ближе, и Вау-Хау держал в руке двух кроликов, а Крас-

ноголовый — лесного голубя, но Уг-Ломи встал и на глазах у женщин насмехался над пришедшими.

На третий день они сели еще ближе — у них не было ни камней, ни палок, только те же дары, что и накануне, а Кошачья Шкура принес форель. В те времена людям редко удавалось поймать рыбу, но Кошачья Шкура часами тихо стоял в воде и ловил ее без всякой снасти. И на четвертый день Уг-Ломи дозволил им с миром вернуться в становище и принести с собой пищу, которую они добыли. Форель съел Уг-Ломи. С этого дня и на многие годы Уг-Ломи стал главой племени, и никто не осмеливался противиться его воле. А когда пришло его время, он был убит и съеден точно так же, как Айя.

1899.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том V.

Редактор тома
А. Миронова.

Иллюстрации художника
И. Глазунова.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 10/VII 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 1334. Зак. 1359. Форм. бум. 84×108[1]/[32].
Физ. печ. л. 15,0 + 4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 25,01. Уч-изд. л. 26,09.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.